



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

В. И. БЕЛОВ,  
Ю. В. БОНДАРЕВ,  
В. Г. БОНДАРЕНКО,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,  
Г. М. ГУСЕВ,  
Т. В. ДОРОНИНА,  
С. Н. ЕСИН,  
Д. А. ЖУКОВ,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
М. П. ЛОБАНОВ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Г. РАСПУТИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
С. Н. СЕМАНОВ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ

### Проза

- Василий КИЛЯКОВ  
Капитал. Рассказ ..... 11
- Вячеслав ЩЕПОТКИН  
Холера. Рассказ ..... 23
- Булат ШАКИМОВ  
Односельчане. Рассказы ..... 61
- Александр ФУФЛЫГИН  
Юлечка уехала. Рассказ ..... 78
- Анастасия ЧЕРНОВА  
За стеной. Рассказ ..... 104
- Андрей АНТИПИН  
Теплоход "Благовещенск"  
Рассказ ..... 114
- Виктория ЧИКАРНЕЕВА  
Улыбайся! Рассказ ..... 133
- Юрий ЛЕОНОВ  
На краю Мещеры. Зарисовки .... 137

### Поэзия

- Иван ПЕРЕВЕРЗИН  
Мы рождены, чтоб песней жить... .. 5
- Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ  
Не сужу, да не буду судимым ..... 57
- Евгений ЭРАСТОВ  
Постою над открытою бездной .... 100
- Борис ОРЛОВ  
"Над перископом  
белый ангел вьётся"... ..... 130

### Парнас смеётся

- Юрий БАСТРИКОВ  
Юрий ХРОМОВ  
Марсель САЛИМОВ  
Сергей КАШИРИН ..... 150

### Очерк и публицистика

- Владимир ОВЧИНСКИЙ  
Криминал и кризис ..... 168
- Станислав КУНЯЕВ  
Жрецы и жертвы Холокоста ..... 189
- Александр АРЦИБАШЕВ  
Не угасай, Тимониха ..... 203

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
зам. главного редактора —  
(495) 625-01-81

В. Д. Попов —  
зам. главного редактора —  
(495) 625-02-81

Е. В. Шишкин —  
зав. отделом прозы —  
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —  
зав. отделом критики,  
отдел поэзии —  
(495) 625-41-03

Отдел публицистики —  
(495) 625-30-47

Н. С. Соколова —  
зав. редакцией —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
зав. техническим центром —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
гл. бухгалтер —  
(495) 625-89-95

Павел ФЛОРЕНСКИЙ  
Нафталий Френкель ..... 210  
Семён ШУРТАКОВ  
Любит ли Бог троицу ..... 215

### Дневник современника

Александр КАЗИНЦЕВ  
Поезд убирается в тупик ..... 219

### Мозаика войны

Фёдор ЛАПКО  
Солдаты 41-го ..... 240

### Память

Сергей КУНЯЕВ  
“Ты, жгучий отпрыск  
Аввакума...” ..... 156

### Мир Кожинова

Анатолий ПАРПАРА  
Вадим Кожин и “Москва” ..... 260

Михаил ШАПОВАЛОВ  
“Ты даже тенью знаменит...” .... 264

Сергей НЕБОЛЬСИН  
О России,  
в которой мы живём ..... 267  
Армавирские чтения ..... 272

### Критика

Иван УГРЮМОВ  
Леонид Абрамыч  
сражается с черепахами ..... 252

### Книжный развал

Виктор ГУМИНСКИЙ  
Тобольский конёк ..... 286

### Письмо в номер

Письмо президента  
Республики Беларусь  
Александра ЛУКАШЕНКО ..... 3

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Ю. Г. Бобкова, Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректор: С. А. Артамонова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Сдано в набор 10.06.10. Подписано в печать 30.06.10. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 23,7. Заказ №2287. Тираж 7500 экз.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес журнала в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

E-mail: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

(Рукописи по e-mail не принимаются)

Отпечатано в типографии ОАО “Издательский дом “Красная звезда”,  
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. [www.redstarph.ru](http://www.redstarph.ru)

## Президент Республики Беларусь

Минск, 28 июня 2010 года

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Считаю необходимым проинформировать Вас о реальной ситуации, сложившейся по так называемому “газовому конфликту” между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Это обусловлено тем, что в течение последней недели гражданам наших стран и всему мировому сообществу российскими политиками и СМИ активно навязывался искаженный взгляд на данный вопрос.

Каково же истинное положение дел?

Действительно, за истекший период текущего года образовалась задолженность ОАО “Белтрансгаз” перед ОАО “Газпром” в размере 186,7 млн долларов США. Это было вызвано тем, что, оплачивая газ по цене 2009 года, белорусская сторона последовательно продолжала переговоры по условиям контракта на 2010 год. Об этом мы договорились с Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым еще 10 декабря 2009 года на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Сразу хочу подчеркнуть, что переговорный процесс по вине российской стороны фактически оказался сорван. Хотя мы все время занимали гибкую конструктивную позицию, предлагали различные варианты взаимовыгодного решения вопроса, были готовы к приемлемым компромиссам. Белорусские инициативы игнорировались, а наших представителей, включая членов Правительства высокого уровня, вынуждали часами просиживать в газпромовских приемных.

Об этом почему-то российские политики и российские СМИ умалчивают.

Не было сказано ни слова также и о другой стороне конфликта – задолженности “Газпрома” за транзит газа через территорию Республики Беларусь. А она ведь значительно превосходила сумму нашего долга, составляя 259,8 млн долларов США. Причем в отличие от ОАО “Белтрансгаз”, который производил оплату за газ, ОАО “Газпром” с конца 2009 года не платил за транзит вообще.

Мы сознательно не поднимали тему этой задолженности, поскольку, находясь в переговорном процессе, всерьез рассчитывали на решение всех спорных аспектов в духе настоящего партнерства, о котором постоянно рассуждает российская политическая элита.

В подобном ключе мы говорили с Президентом Российской Федерации и Председателем Правительства России совсем недавно, 11 июня 2010 года, и договорились, что российская сторона внимательно изучит наши предложения и в течение нескольких дней проинформирует о своей позиции.

Каково же было наше удивление, когда свое решение руководство России сообщило не напрямую нам, своим партнерам, а инсценировало по телевизору в форме “газового” ультиматума.

Но еще большим шоком для белорусов стало то, что срок действия ультиматума и начало “газовой” блокады были назначены на 21 июня – в канун

69-летия со дня начала операции по порабощению советского народа гитлеровскими захватчиками.

Так Россия не поступала даже с менее дружественными странами. Всем известны примеры, когда ОАО “Газпром” молчаливо взирал на накопившиеся годами миллиардные долги других государств.

И такой удар в спину братскому народу сделан в условиях, когда долг российской стороны значительно превосходит белорусскую задолженность.

Наши люди восприняли этот шаг как оскорбление нации и предательство исторической памяти.

Оказывается, что, на словах рассуждая о недопустимости пересмотра уроков истории, российское руководство на самом деле святость братских уз оценивает в кубометрах газа и баррелях нефти.

Мы абсолютно не против прагматичности в экономическом сотрудничестве. Но она должна в равной степени касаться обеих сторон, учитывать весь спектр двусторонних взаимоотношений и соответствовать духу осуществляемых интеграционных процессов.

И, конечно, основываться на неукоснительном выполнении всеми сторонами принятых обязательств, без изъятий, ограничений и произвольного толкования.

Разве последние действия ОАО “Газпром” отвечают таким подходам? Ведь даже после того, как мы своевременно оплатили майскую поставку газа, а на следующий день, 23 июня, погасили всю сложившуюся задолженность, ОАО “Газпром” так и не выполнил свои контрактные обязательства в полном объеме.

Вместо этого занялся поиском различных уловок в стремлении уменьшить сумму своего долга и затянуть сроки его уплаты. А ведь у нас на руках имеются подписанные им акты, где четко указаны тарифы на транзит.

Давайте будем откровенны: неужели за действиями “Газпрома” во всей этой истории лежит только денежный интерес? Разве пара сотен миллионов долларов могут быть решающими для финансового положения одной из крупнейших транснациональных корпораций?

Убежден, что для всех ответ известен. Подоплека конфликта абсолютно в другом. Он лишь часть той недружественной политики, которая на протяжении последних лет планомерно проводится в отношении Беларуси. Достаточно вспомнить недавние “молочные”, “мясные”, “сахарные”, “нефтяные” и иные войны. Я уже не говорю о той целенаправленно проводимой большинством российских СМИ линии, которая приобрела характер настоящей информационной агрессии.

Цель очевидна: “отстроить” руководство Беларуси, заставить пойти на уступки в ущерб национальным интересам суверенного государства, заполучить лакомые куски белорусской собственности.

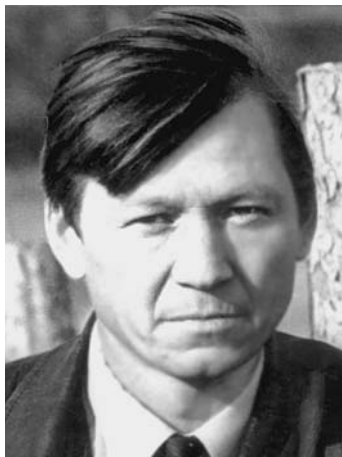
Мы, в Беларуси, все это видим и оцениваем соответствующим образом. Как результат, среди наших граждан, к сожалению, становится все меньше сторонников глубокой интеграции с Россией. Белорусы начинают относиться к самой близкой для нас стране – России – с настороженностью, ожидая от нее самых непредсказуемых ударов.

Мы, политики, можем и должны сделать все, чтобы не допустить надлома братских уз и разрыва союзных связей, кропотливо формируемых на протяжении столетий многими поколениями. Ни в коем случае нельзя принести эти святые ценности в жертву индивидуальным амбициям и сиюминутным интересам.

Надеюсь на Ваше понимание и поддержку, на Вашу способность объективно разобраться во лжи и клевете, которые выплескиваются в последнее время на страницах российских СМИ.

С уважением,  
Александр Лукашенко

## ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



## МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ ПЕСНЕЙ ЖИТЬ...

### УТРЕННЕЕ

Ах, сколько снега навалило,  
сугробов сколько намело...  
Как будто память возвратила  
меня — в якутское село.

И вспомнилось родное детство,  
когда на лыжах беговых  
срывался я с друзьями вместе  
с отвесных берегов речных.

В ушах свистел морозный ветер,  
а мнилось, что скворец запел  
в лесу сосновом, на рассвете,  
где куст рябиновый алел.

Но это только прибавляло  
любви к сияющим снегам,  
в которых жизнь меня ковала —  
так споро, что не ведал сам...

---

*ПЕРЕВЕРЗИН Иван — известный русский поэт. Родился 10 марта 1953 года в поселке Жатай Якутской АССР. Автор восьми книг стихотворений, лауреат многих престижных всероссийских премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В настоящее время живет и работает в Москве.*

Мне наплевать на злое горе, —  
я в горе стал навеки седым, —  
и свет встает в небесном море  
с летящим именем моим...

Вот всё, о чем душе хотелось  
сказать среди пиршества снегов,  
в преддверье праведного дела,  
где зло забыть навеки готов!

## РАННЯЯ ОСЕНЬ

Пожаром разгорелась осень  
в краю сохатых и ольхи,  
когда решительно я бросил  
любовь заветную — стихи.

На то, увы, была причина:  
с крутым характером своим  
я должен на любой вершине  
быть первым или — никаким!..

И с целью славной, но суровой —  
семью родную прокормить! —  
пошел я в скотники — коровам,  
как говорят, хвосты крутить...

И очень скоро все доярки  
на ферме убедились в том,  
что скотник я в работе жаркий,  
с ядреным сочным языком...

Другого языка, как это  
ни грустно, скот не понимал...  
С зимовкой справившись, я летом  
с косцами в ряд один вставал...

Стога взметались выше ёлок,  
дурманил душу иван-чай...  
За делом, с песнею веселой  
я времени — не замечал...

Я признавал — душою всею,  
что жизнь моя — навеки село,  
где в мае рожь, где в темень сеют,  
но скот пасут, пока — светло...

За летом разгорелась осень,  
и я, целуясь у ольхи,  
вдруг осознал: напрасно бросил  
любовь заветную — стихи...

## ОТТЕПЕЛЬ

Взаправду тепло сегодня, —  
кружится лёгкий снежок,  
сердце стучит свободно,  
будто от чистых строк...

Если б не ветер сильный,  
мог бы я смело сказать:  
нынешний полдень зимний —  
моей души благодать!

И всё же собой довольна  
уставшая драться душа  
при виде летящего вольно  
на крыльях судьбы стрижа.

В стужу не сгинул, милый,  
кроясь под теплой стрехой...  
И дай ему, Боже, силы  
дожить до весны со мной.

\* \* \*

Ну сколько можно нас делить  
на правых и неправых, —  
мы рождены, чтоб песней жить  
и не бояться — славы...

Но песня песне рознь! — в ответ  
вы скажете мне хмуро,  
и я пойму вас как поэт,  
кто бился с диктатурой...

Сначала вздрогну, но потом  
скажу тебе — по-русски:  
ведь Русь моя — мой отчий дом —  
и в радости, и в грусти.

И вновь продолжу вечный путь  
к отеческим истокам,  
чтоб песнь моя пронзала грудь,  
как небо гордый сокол...

Чтоб наконец-то я запел  
о счастье — без оглядки,  
как это дед-кулак умел,  
кормясь — с реки да грядки...

\* \* \*

Ах ты, псина, душевно родная,  
по глазам моим — мысли читая,  
понимаешь меня, словно друг...  
И в минуты печали со мною  
предаёшься сердечному вою, —  
пусть и людно бывает вокруг.

Если светел я сердцем от счастья,  
вновь исполнен святого участия,  
словно в море, бескрайней любви, —  
ты мне лижешь лицо без оглядки  
и летишь с звонким лаем по грядке,  
где недавно тюльпаны цвели.

Было всё у нас, в общем, неплохо,  
но гремит, словно поезд, эпоха.  
Если ты — еще только щенок,  
то я жизнью истерзанный старец,  
так уставший от подлых предательств,  
что душой, как собака, продрог.

Только что это я вдруг о грустном?!  
Приведу свои мысли и чувства  
в тот порядок, что силы дает...  
И еще мы с тобой, тварь земная,  
поживем в кущах звездного рая, —  
даром, что ли, вновь сердце поет!

### ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Мы и теперь в борьбе суровой  
неверно слышим отзвук дней,  
когда в поэтах зрело слово  
всё потаенней и мрачней...

Последним, кто те дни прославил  
в пропахших чабрецом стихах,  
был молодой Васильев Павел,  
отринувший и смерть, и страх...

Прямой защитник слов крылатых,  
с любовью жгучей, корневой  
к земле бескрайней и богатой, —  
он пел и пел про рай земной...

Но не понять глухим воронам,  
но не простить сове слепой, —  
летающих с колокольным звоном, —  
слов соловьиных в час святой...

Забился б в угол потемнее,  
да и сидел бы — тишь да гладь...  
Но он спешил в Москву скорее  
степную удаль показать.

И показал, да так, что сразу  
всем стало ясно — кто поэт  
народный и не по приказу,  
поэт, в котором вечный свет.

Воронам это и не снилось,  
сове — не виделось ничуть,  
вот и сошлись они в две силы,  
чтоб оборвать высокий путь.

Но все васильевские строки, —  
воистину — живей живых, —  
во мне — прекрасны и высоки,  
как ответ буден грозových.

Я сам из тех, кто им внимает, —  
и, отменяя грусть и боль,  
жизнь, как награду, принимает, —  
и бьется насмерть — за любовь!



## БОЖЬЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Не год, не два — во мраке лет  
живу в неистребимом страхе...  
Как будто пред судьбой ответ  
держу, распластанный на плахе.

Но свой уход не тороплю —  
мне сил хватает, без сомнений, —  
в ночи шептать тебе: “Люблю!”  
и воспевать весь мир весенний.

Тогда зачем пишу про страх,  
что мучает так сильно сердце, —  
и провожу я ночь в слезах —  
и без надежды на бессмертье?

Затем, что после слёз ночных  
приходит неземным спасеньем  
та сила, что в кругу живых  
зовется Божьим вдохновеньем.

И жизнь на месте не стоит,  
и страх безумный не помеха —  
и в счастье, что струной звенит,  
и в горе, где не слышно смеха...

\* \* \*

Успокой свою гордость живую, —  
ну, подумай, грубо толкнули,  
а могли ведь, ничем не рискуя,  
подарить смертоносную пулю.

И лежал бы сейчас бездыханно  
ты в грязи на полу перехода,  
вызывая совсем не обманно  
чувство двойственное — у народа...

Значит, вновь обернулась удачей  
жизнь, в которой ты выстоял в стужу  
и отдал, чуть от счастья не плача,  
милой женщине гордую душу...

И сейчас не куда-нибудь в горы,  
чьи вершины горят белоснежьем,  
а домой, к этим взорам-озерам  
ты торопишься с радостью нежной.

Торопись, ведь порой и мгновенья  
не хватает для полного счастья,  
чтоб душа, как в глухом песнопенье,  
у любви не просила участия...

А навек до конца забывалась  
от одной лишь улыбки рассветной...  
Торопись! Еще время осталось...  
Но — летят уже снежные ветры.

## ИУДА

Живя под нагрузкой двойной  
во славу рассветного чуда,  
я дам тебе имя, враг мой,  
вполне по заслугам — Иуда.

О, сколько достойных людей  
по злобе твоей на Лубянке  
томилось, кормя жирных вшей  
из пыточных ран, как из банки...

И после, в застой, так сказать,  
ты чем занимался, скажи-ка?  
Не ставил ли жирно печать  
запрета на праведных книгах?

Ты понял, Иуда, меня?  
Конечно же, понял, я вижу.  
Но сдуру не думай, что я  
тебя хоть чуть-чуть ненавижу...

Где я, а где ты, — разве сам  
не видишь, подлец, от досады?  
Я песней взлетел к небесам,  
ты падаешь — в пропасти ада!

## ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ



## КАПИТАЛ

### РАССКАЗ

В Осиновке не было объездчика злее Фомы Кукина. В свои сорок с небольшим — выглядел он подростком: невысок, рыжеволос, голова маленькая, острой тыковкой, густо поросшая волосами морковного цвета. Лицом красен, конопат и так курнос, как бывают ещё курносы малорослые, в третьем колене осевшие в России немцы, коротконогие, с подмесом мордовских кровей.

И сквернослов был на редкость. И хоть не выговаривал он “б” — “Бог”, а говорил “пох”, но матерщина эта богохульная страшила до дрожи осиновских, до озноба — столько зла, ненависти вкладывал он в крик:

— С-стой! — кричал он на поле, застав старуху за выкапыванием картошки, — стой, в пока, в душу мать!.. Засеку! — И так гнал лошадь, хлестал её — ожаривал наотмашь то с одного бока, то с другого, что обомлевшая, чуть живая от страха старуха бросала и ведро и мешок с голландской картошкой и ударялась бечь ни жива ни мертва от страха.

— Ой, смотри, — предупреждали Фому осиновские, — смотри, Фома, уж очень ты лют и матерщинник. Сказано: всё простится человеку, но хула на Духа Святого не простится — ни в этом мире, ни в будущем.

— Ты мне зубы не заговаривай. Вытряхивай картошку из мешка. Пешь потащишь к хозяину. Ишь, умная... Всю до единой выкладывай, засеку на-смерть! — И волок за собой вёрст пять-шесть, до конторы учёгчика, где на вора или воровку накладывали штраф.

---

*КИЛЯКОВ Василий Васильевич родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в г. Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Печатался в журналах “Новый мир”, “Октябрь”, “Юность”, “Молодая гвардия” и других изданиях. Лауреат литературной премии имени В. Полевого и Всероссийской литературной премии “Традиция”. Член Союза писателей России. Живёт в г. Электросталь Московской области*

— А ты меня не пужай, не боюся, — одёргивая подол рваной телогрейки, отвечала старуха, осмелев и отойдя от страха на выходе из конторы, и с упрёком добавляла: — Ба-арину служишь... холуй...

Фома был и впрямь неразборчив. Раз, застав на яблоне в саду, возле казённого пруда, мальчишку-сироту, — так ожёг ременным кнутом, что бедняга замер, и небо показалось с овчинку. Мальчик Филька так и явился домой, онемевший, мокрый. Залез он, дрожа, на печь и на вопросы не отвечал, только молча плакал. Тётка его, явившись из районной больницы, куда она ходила ежедневно за пятнадцать вёрст туда и пятнадцать обратно на заработки санитаркой (другой работы не было в разваленном, со скупленной землёю бывшем совхозе), — отодвинув шторку над печью и разглядывая спину мальчонки, — обомлела:

— Вот хамлет, а, хамлет фашист... Вот так гад навязался на нашу голову...

— М-ма-ма, — опоясанный несколько раз кнутом с наконечником, только и мог выговорить паренёк.

За мальчонку встряли мужики: был сад, и пруд, и сотки совхозные акционированы, акции же скупил у совхозных некто, будто бы голландец. В лицо его знал только Фома Кукин, нанятый им и ему же прислуживающий. В понимании же осиновокских — и сад и пруд как были, так и остались: ничьи. И картофельное поле за лещугой, за тальником у оврага — тоже. Мужики собрались, выпили самогону из грелки, что выставила им за Фильку Полина, и она попросила:

— Только не убивайте, а то посажают ещё за этот дерьма кусок...

Мужики выпили для куражу, стащили Фому с коня, били без зла, но долго. Таскали по базу, по телячьему навозу, в камень усохшему, раздрающему живот и бёдра, волочили по битому, огранистому как алмаз лизуну — крупным камням соли. Потом объявили:

— Ну всё, барский прислужник, теперь леворюцию тебе сделаем: сказним начисто.

— Это как?

— Как? Ты газеты читаешь? Радио слушаешь? — Всем действием взялся заправлять Колька Пряхин — из деревенских самый отчаянный. — Уже объявлено от правительства: прихватизацию прекратить, всем незаконным владельцам всё народу вертать, а кто добром имущество не сдаёт — того и казнить... По древнему и проверенному способу: посадить на кол. Как жука навозного...

— Мы тут посоветовались... Есть такое мнение... Словом, хана тебе, рыжий. А потому мы сейчас ещё выпьем и... того, акт проведём. Акт полноценного вандализма и торжества законности: на дручок тебя, того, задрючим. А ты не бойся, не ты первый, не ты последний, по длинной жердине съезжаешь вниз оттак от, задом на острую, хлоп, и готово, и всего делов, потому как есть ты незаконный объездчик, давно уже лютый и самовольный... Лицо не выбранное нами и нами не одобренное, к тому же как это... званием-то, ну как его, как?..

— Как есть: самовольный собственник. И нацмен ещё — тоже. Пусть так своему хозяину и передаст, если жив останется.

— Передаст?! Я? — взвился Фома. — Сами вы тут все передасты!

— Нет. Не то... А — во! Экспроприация экспроприаторов, то бишь прихватизация прихватизаторов... За большой хапок — всем буржуям хлопок!

Мужики принесли осиновокский кол, здоровенный и тяжёлый, и в цвет холодного свинца... Старательно и долго затёсывали его на колоде, из которой, на другом её конце пили быки, пуская долгую хрустальную слону, ничуть не боясь отмашек топорником, а только глядя на Фому долгим и печальным взглядом, пили воду... Фома тоже смотрел.

Потом разлили из грелки воняющий резиной самогон, сказали поминальный по объездчику тост:

— Ну, братцы, за Фому, земля ему пухом...

Но этого тоста Фома уже не слышал. Перегрызши украдкой кожаные подносившиеся уже путы, он был таков. И не видел, как хохотали ему вслед мужики.

На другой день явился милиционер, собрал всех участников самосуда, “учинённого давеча над доверенным лицом”, в хате и заставлял подписать протокол. Мужики были с похмелья, но категоричны, они так и не поняли, что протокол составлен на них, заявили:

— За него, за рыжего педераста, ничего подписывать не станем. Пусть его сажают, товарищ сержант. Хоть убей... Этот прыщ убийца и мучитель.

— Да постойте, да погодите, дураки вы, ведь вам, того, вам же лучше, если это самое... если добровольное признание... и так дальше. Явку с повинной вам оформим. Подпишите, и так дальше, это все. А то владелец посадит вас за издевательства над подчинённым и совершённый самосуд с непосредственным покушением на жизнь потерпевшего, и так дальше. Может, ещё на административное правонарушение, на мирового напишем... И это самое... Выйдете чистыми. Ну, там пятнадцать суток или штраф, и так дальше...

— Он мальчишку чуть не уколошил, фашист...

— А где побои, кто докажет теперь? — не унимался милиционер. — Вы их зафиксировали? То, что немой стал, это ещё не факт, немой и притвориться возможно...

— Да ты чё, Иваныч, — перешли на “ты” мужики, — против нас, что ли, бумагу-то оперу-то пишешь? — Догадались, наконец, мужики. — Ты что, не русский, не наш?

— Про вас, архаровцы, про вас... Опера про, сколько вас? Раз, два, пятеро — вот про пятеро белых лебедей... И срок, наверно, вам на пятерку наматает хозяин, и так дальше... Вы хоть знаете, кому паи-то продали, архаровцы? Фамилия его Шухерман Яков Львович... Понятно? Я вам по секрету скажу, когда я сюда собирался, он мне так и сказал: денег не пожалею, порву на части эти грязные вонючие онучи...

— Он кто же, немец, что ль, тоже? Иваныч?

— Немец, тут круче бери: слышал же — Яков Львович...

— Тут у милиционера зажужжал мобильник, он вытянулся в струну:

— Да, есть, так точно... Всё понял. Отказались. Все пятеро, доставим... это самое... Все, мужики, — он щёлкнул замком портфеля и молча ушёл.

Вечером того же дня приехал, качаясь на рессорах, воронок с решётками в окне задней двери, и мужиков, всех пятерых, увезли.

Фоме и вовсе словно руки развязали. Обездчик не унимался. Неутомимо гонялся он за бабами, сгоняя их с бахчей и огородов. Наезжал и на мужиков... Пускал жеребца давить.

— Что?! — орал он тогда, правя коня на человека, словно норовя затоптать. — Что, взяли Фому Кукина? Поняли, чья правда теперь? У... Стопчу! В пога, в духа...

— Ишь, вольный казак, руки назад. Теперь ему и вовсе нечего бояться...

— Казак палестинский!

— Погоди, — отвечали ему, — Колян Пряхин выйдет или сбежит, он отчаянный, всё припомнит... Не сдобровать тогда тебе, иуде...

— Оттель не сбежишь... Небось очухались, с кем связались, да поздно. Близок локоть. Да не укусишь... Вона! Колькой пугать, сгниёт на руднике. Нынче новая власть, не про вас, голодранцев, вона!

Говорили вполслуха, из уст в уста, что фермер Шухерман платил ему “баксами”, или “гриннами” — а это не наши деньги, не русские, навроне себренников, только гораздо ещё дороже и грязней. Давал и фураж на лошадь. Солярку в центральной усадьбе сливал Фома и тоже продавал сам. Он норовил поймать и с этого: загонял соляру частникам, скупившим совхозные трактора. Но “натуру” нужно было ещё суметь продать. А продавать он не умел и не любил, горячился, дерзил покупателю.

— Жаден, — говорили о нём. — Набаловал его хозяин... Шухерман.

— Хвалился вчера. Показывал доллары, эти самые...

— Ну, шо? Лучше наших рублей?

— Кой там лучше, ничего хорошего, голенькие какие-то денежки... Морды на них президентов ихних. За горло шарфами перетянуты, давленники. Удавлены, а улыбаются. В руки взять срам.

— Ну?!

— А на другой стороне пирамида и глаз...

— И шо, прямо это... висят, удавленники-то? На пирамиде, без глаз?

— Зачем “висят”. Сидят. Смотрят. Живые ешшо... И глаз... в каком-то сиянии, всё видит...

Смеялись:

— Да ты хорошо смотрела, у него, у Фомы-то? Может, это хрен, а не глаз, на той пирамиде-то? Хрен у Хеопса? У нас деньги — вот это деньги. Три кобылы на сотенной — и понесли... Не остановишь... А то — глаз... Нашёл чем удивить. А был и вовсе Ленин...

— Ох, бабы. Зачем мы только паи свои дали оттяпать... Теперь на нашем на русском поле командиром какой-то Херр голландский через подставное лицо, верёвки с нас вьёт — а может быть, и вот через того же Фому сживёт нас со свету совсем. Не зря же он так лют... Не просто же так. Капитал нажать ему пожелалось.

— Да мы и не продавали свои паи, и не сдавали. Ай не помнишь? Вызвали в собес: подпиши вот здесь бумагу, вторую пенсию получать будешь. Ну и подписали. Выдали ещё раз одну пенсию, и хана.

— А Фома-то так и говорит: “Жив не буду, а капитал сколочу, все мне в ноги упадёте... Поклонитесь...”. А уж лют-то, рыжий, ну фриц, как есть фриц.

— Почему же не бьёмся за паи-то. Чтоб назад вернуть?

— А налог-то какой за них платить, налог двадцать тыщ за гектар, откуда деньжищи такие, кормиться как? Не всем же пенсии дают. Хоть крохи — но деньги. А то ведь было и хлеба не купишь...

— А Фома лют! На то и хозяин. Не мы — дураки. Сразу нашёл, прод, кому продаться. Таких-то ретивых днём с огнём не сыскать.

— Плохо кончит...

— Плохо. Родную мать продаст. Не пощадил и племянника, кнутовищем огрел. Прикажут, так за деньги и до смерти заперет, как отца своего родного заморил.

Погубленного отца, Фоме Кукину, часто вспоминали, — таковы сельские. Отца он выгнал и вовсе незаконно из дома. Фома, казалось, и вообще жил по каким-то своим законам, внезапно откуда-то ставшим известными ему, козырял этим якобы знанием: “А ты знаешь, что такое закон Конституции, статья семнадцатая?... Не знаешь!” или: “А ты знаешь, что такое закон? Закон — это воля народа!”. А договорившись о чём-то, кричал, ударив по рукам: “Ну, всё, закон, закон!”.

Ходил он, раздувая ноздри, бил старуху-мать, которая перед ним делалась как бы невменяемой и глухой от робости. Однажды и приехавшего к нему погостить молодого племянника застал за тем, что тот тайком зачерпнул бражки, которую Фома в целях экономии готовил и отстаивал на картофельной кожуре, для крепости. Племянник не успел быстро выпить черпак, подавился гущей. Был он безответен и как бы глуп. Фома подошёл улыбаясь. И вдруг стал так бить кнутовищем по голове, так, что племянник после этих побоев не годился уже ни для каких работ, ни по двору, ни по дому, и у него временами стала течь кровь из ушей. Племянник оглох. Мать и отца он едва содержал, а себе велел готовить всегда самый сытный, жирный обед, который он съедал в присутствии всех, за одним столом, милостиво разрешая поддсть за собой только матери, да и то в своё отсутствие, чтобы не слышать, как она, беззубая, чавкает. Отец, дождавшись его дальнего разезда, варил иногда что-нибудь, но не в доме на газовой плите, а во дворе, на керосинке или в бане — Фома не терпел “посторонних запахов”, а вернуться он мог в любую минуту.

Отца своего Фома поставил наёмным сторожем на картофельном поле. И тот жил в шалаше из ивовых прутьев и лапника во всякую погоду, и весной и летом — до поздней осени, до заморозков. Однажды он так простыл под осенними дождями, что у него при его больном сердце сделался припадок и отекли ноги. Он стонал от этих болей, едва-едва передвигаясь, добрёл до дому и повалился в сених. Приехал Фома и с самым злым матом, увидев отца, лежащего на соломенном тюфячке (со страха и с сырости отец побо-

ялся сразу забраться на печь, обсохнуть), — толкая отца в сапог кнутовищем, сказал:

— Ты что же, так и бросил поле, спать будешь? А что как разворуют, чем отдавать? Или мне там сидеть, всё бросить... Как бы не так, — от молчания отца он ярился ещё больше, — сейчас же на место, в шалаш. И что бы больше такого не было.

Увезли старика назад, а через день проезжие рыбаки-охотники на верховую и водную птицу опять привезли его с жалости: помирает старик. Фомы дома не было. Они натопили печь, выпили что было, поднесли и старику для сугрева. На дворе всё больше разыгрывалась непогода.

— Как чайку хотца, — едва молвил старик.

Рыбаки напоили его и чаем, натерли водкой, дивясь на то, как отекли ноги старика, и на жестокость сына, бросившего старика в чистом поле. Словно дождавшись, пока уедут чужие, опять появился Фома. С порога он приказал идти отцу в сени, словно озверев, но старик не мог встать. Тогда он вытащил его волоком. Молча пил чай с сахаром, со вкусом, кричал что-то в сени отцу, точно приказчик.

— Да как тебе в душу-то идёт чай-то, — осмелев от отчаяния, заговорила мать, — ведь помрёт отец-то.

Она хотела помочь и перевести мужа на постель в горнице. Старик, кряхтя от боли, еле передвигал ногами, просил помочь ему встать, хотел пройти лечь рядом в свою комнату, как вдруг Фома, словно очнувшись от оцепенения, заорал:

— Ишь! Чего ещё не придумала, в горницу. В сени его, назад, да чтоб завтра и на поле!

Ничего не сказал отец, свели его опять в сени на промозглый и отсыревший камышовый тюфяк, на деревянную древнюю койку, на сквозняки. Часов в пять Фома пошёл уже будить его на поле, старик был мёртв. В доме, принадлежавшем отцу, выстроенном отцом, Фома остался полным хозяином. Под стать Фоме была и его “супружница”, тоже низкорослая, остроязыкая, как змея, жадно курящая сигарету за сигаретой, проворная, как оценившаяся волчица, торговавшая в сельмаге разведённым спиртом из-под полы. И часто, купив у неё бутылку разведённого, “буренного” спирта, в шутку дразнили её: “Ну, как спирт? “Закон”? — И передразнивали с гонором Фомы: — Закон, закон... Смотри, потравишь — посодют, не посмотрят, что муж на миллиардера спину гнёт. Законно! Закон это воля народа!” — “Воля народа!”...

— Сделаю капитал! — имел в виду эти подначки сельцовских Фома Кукин. — Сделаю капитал, они мне всё тогда... Облокотились... Сделаю — и укачу из этих мест.

Не принимала всерьёз, близко к сердцу подначек и жена Фомы, она ещё бойчей приторговывала левым бесланским спиртом, который покупала в достатке и вовсе за бесценок с далёкого кавказского электролизного завода через воровавших яд обходчиков и железнодорожников.

Она разводила спирт один к трём. Спирт поднимался к горлышку, нагревал бутылку, растворяясь в воде, мутнел на короткое время. Она ждала конца реакции и, стараясь не тряхнуть, зная, что градус вверху, осторожно ставила на полку под прилавком. Бутылка получалась втрое дешевле заводской “Касимовской” или “Шацкой”. Попробовав же “водки” “от Шурки”, глотнув сверху первача, почти живого спирта, мужики восторженно и удовлетворённо замирали, пережидали, когда потухнет в гортани душный пламень электролизного яда, чтобы вдохнуть воздуха и поблагодарить Шурку. Приложившись единожды, но неоднократно, они не понимали и не знали, что на дне бутылки была едва ли не простая вода, их растаскивало и валило от табака и первача.

Под конец торгового дня продавец и вовсе запирала двери магазина, представляла и наливала пластиковые стаканы, превращая тем самым сельцовский магазин в кружалю, в кабак. Навар от таких крутых поворотов в торговле был не мал и вполне надёжен: продукты из центра возили коммерсанты неохотно, а зимой на снях трактором — так и вовсе, водку — и то-

го реже. А то — и привезут, а на посевную председатель прикроет продажу. Да ещё и налог, и лицензию, да взятки чиновникам в центре заплати. И отступилась торговая нечисть. Шурка же — тут как тут. Церемония же с бражкой самогоном, сельцовским сильно поднадоела, утратила корни за двадцать лет “нового нэпа”. От самогоноварения отвыкли. К тому же не у многих хватало выдержки дожждаться, когда бражка поспеет, постоит и осядет. Ее выпивали “так” — ещё до полной готовности к самогоноварению. Кой гнать, она вся уже. Проще было украсть и продать чего ни попадя: снять кабель, выкрасть в домах, брошенных на зимовку, какой-нибудь скарб, алюминиевые тазы, ложки, — всё шло в дело... Выручить какую-то мелочь. А Шурка уже ждала... Наливала...

Слава объездчика и его супружницы стала со временем так велика, что однажды Шурка попала под “рубон”, наведённый по зависти ли, по обиде ли жён за вечно пьяных мужей. Но и тут Шурка вышла сухой из воды, “хвоста не замочив”. Деревенские с тех пор и вовсе разуверились найти правду.

— Шурупчик! — раззявив большой рот с гнилыми зубами и красными дёснами, раздувая не в меру широкие ноздри и выпучивая глаза, кричал, слезая с кобылы, объездчик во хмелю: — Шурупчик, а ты мне, похоже, седьмую девку швырнёшь? Ишь, живот-то какой, вона — вотстрый?..

А Шурка обрывала Фому, дерзко и зло отчеканивая, вполне резонно, впрочем:

— Что стругал, то и настругал. Какой ложился, такой и родился.

Дерзкий ответ жены приводил Фому в весёлое состояние духа, он обнимал её за талию и шептал горячо в ухо, возможно милее, продолжая кураж. Шепелявя и прикивая к жене, словно от этих его разговоров и впрямь что-то зависело:

— Неужели впрямь седьмую девку родишь?

— Да говорю же тебе: не знаю!

— То — я знаю!.. Сходи на аборт, — отчаянно и как бы раздумывая, настаивал Фома.

— Ходила, да поздно хватилась, — отвечала Шура, прижав руки к большому, тыквой, животу. — И за доллары не берутся, срок вышел.

— П-почему?

— Можно в кровях утонуть.

— Думаешь, тебя жалеют? Суда бояться!

— Или Бога.

— Пога? Какого такого Пога? — взвился Фома. — А где он, П-Пог? Это теперь моду завели: куда ни плюнь — все погомольцы, плюнь — в погомольца попадешь! Все за свечки схватились, — ворочая белёсыми зрачками, шипел Фома. — Может, и ты его поищешь?

— Кого?

— Пога, Пога?!

И он попадал этим вопросом в самую точку, доставал до сердца, как ножом. И всю ночь “Шурупчик” при храпящем Фоме ворочалась с боку на бок, чутко прислушивалась к испуганному голубиному какому-то шевелению в своём чреве, думала: “Вот. Говорят, ребёнок во чреве всё слышит. Тоже слышит, как и его судьба решается, ишь, ишь, закрутился, прямо веретено...” — и она затаила глубокую думу о нём, замолчала...

— Сами сделаем то, что надо, — вдруг заявил Фома.

Шура после бессонной ночи так и обомлела:

— Не дам, поздно!

— Ты с ума сошла, в пога! В веру! — орал Фома, но Шура была непоколебима и непреклонна, и осадила его с такой силой и яростью, на которую способна была только затравленная волчица за своего щенка-волчонка:

— Только тронь!

Фома зашипел:

— Я знаю как, меня научили. Знахарке отслонявил полста зелени. Трава крушина, баня. Взвар — и вона — выгоним за милую душу. Надо только потом память чуток, закопать послед и всё, за милую душу! Всё! Закон!



— Ну, если так, — вдруг ослабла и присмирела жена... — Делай. Я помогать стану...

Шура и впрямь терпела отчаянно, через пьяный полубоморок, как сквозь сон (чем опоил он её, уж не мухомором ли?) — подсказывала, как надо мять, куда ушёл ребёнок, да скрипела зубами от нестерпимой боли. Фома работал, “делал” отчаянно. Как заправский массажист, или как если бы всё это действие приносило ему удовольствие. Лишить же жизни человека, даже и такого крохотного, оказалось вовсе не таким простым делом, как предполагали они. С первой парилки ничего не вышло. И они готовы были через два дня ко второй, как вдруг узнали о капитале. Материнском капитале, от самого Президента!

— Триста с ...ем тыщ! Триста тыщ, Шурупчик! — чуть с тобой не выкинули. Чуть в землю не закопали. Вот дураки-то, — он крутил газетой у её носа, — на-ка. На-ка вот, читай! В райцентре дали...

Но дело оказалось куда сложнее. Капитал нельзя было ни взять, ни пустить в дело. И вообще пощупать было нельзя. Только переносить с книжки на книжку, из банка в банк. Нельзя было даже и построить или достроить ранее начатое. “А вот на учёбу, когда взрослый будет...” — сказали Фоме в банке, когда он пытал кассира. “Только на воспитание, да и то не ранее, чем через три года...”

— Хот суки, — искренне изумлялся Фома, — надо же что придумали. Вроде и есть деньги, на, возьми... И нет, не возьмёшь... Хот суки!

Но попытки вытравить ребёнка решено было оставить. Второй попытки не случилось, и ребёнок родился. Родился он всё-таки недоношенным, выскочил прямо на ходу, в “полотье”, “словно выронила” — как говорила Шурка. Она полола свёклу и родила прямо в огороде. Мальчик — со скрюченными руками, да и ноги не сгибались. Ходить он не мог и впоследствии без костылей, ползал. Сестрёнки возили брата в самодельной коляске, норовя провезти глухими улочками, вдоль оврага или огородами: ребятишки, увидев издалека колясочников — разбегались по сторонам, кидали в сестёр комьями сухой земли, дразнили. Взрослые же — порой останавливались в оцепенении, крестились и шептали молитвы, глядя вослед жалким детям Фомы, провожая взглядом урода...

Был он и впрямь страшен, Павлик: перекошенное лицо его с большой оскаленной волчьей пастью и “заячьей” двойной губой, всегда открытой и мокрой, — лицо его выражало то ли недоумение, то ли озлобленность, а несообразная с телом большая голова — качалась на тонкой шее, угрожая свалить мальчонку с коляски.

Сёстры не любили возить братца: тот мочился на прогулке, и особенно почему-то в знойные летние дни, когда Павлушу катали в распашонке и коротких штанишках, которые он нарочно подворачивал ещё выше, вытягивал ноги, ворошась и показывая прохожим уродливые, в стружьях щиколотки и запястья, поросшие редкими рыжими волосами.

На время прогулки Павлуши прохожие исчезали. Зрелище и впрямь было трудное: мальчишка, почти нагой, в обносках, к тому же нахватавшийся от родителей бранных слов — сышал ими, как орехами. Он был как бы физическим воплощением души своего отца Фомы. Орал на прохожих и проезжих с коляски, убогий и жалкий:

— Ну, что смотрите, в Пога, в веру! Ну! Глаза поломаете! — И было во всём облике этого уродца, в его брани — что-то сверхъестественное, непонятное. Почти мистическое, — ведь убогие — они какие? “У Бога”, где-то рядышком, под крылом, Его милостью... А этот — ревёт, как зверёныш... Страшно...

Доказывали Фоме, предупреждали его о сыне:

— Это тебе, Фома, наказание, убогий-то, за неверие твоё и слова паршивые, хульные. И ещё за то, что ты, Фома, палец в ребро Спасителю вложить пожелал, а без того и не веровал, и не веришь...

— Палец? Какой такой палец? — не понимал никогда не читавший Нового завета Фома. — И куда? В рёбра... Та-а... я бы их выдрал! Во сколько горя испытал...

— От зависти угораешь, — упрекали. — Ты и не Фома вовсе...

— А кто? Кто я?

— Каин!

И когда ему посоветовали прочесть это место в Святом Писании — место, где явлена была воля вознесшегося Бога, — он, отец уродца, Фома Кукин, — и впрямь затаил неожиданную и глубочайшую злобу. Злобу и зависть нешуточную. В самом деле, если есть он, “Пог” — то почему — одним — всё, полными пригоршнями, другому — ничего, кроме горечи слёз... И наконец уже вовсе не шуточный вопрос: родился-то парень, Павлуша... Не седьмая девка. Почему же он, великий и всемогущий “Пог”, не подсказал, не поддержал в трудную минуту. Значит, Он и виновен, Он сам, а вовсе не Фома... Он — “Пог”... Всячески подзадоривал он сына, с затаённой, глубинной обидой на уродство мстить “Погу”: рычать по-волчьи, ворчать на иконостас, занавешенный сборчатой занавеской с узором, доставшийся от родителей. Шурка же, в отсутствие которой проходили все эти “церемонии” — и не подозревала ни о чём, хотя какое-то настороженное, особое отношение домашних к иконостасу — втайне отмечала, и даже снимала и принялась прятать от Фомы иконы, на которые тот в пьяном кураже грозился, и даже поддальничал напоказ занавеску в красном углу.

— Дом спалишь... Это тебе не шутка...

— Оставь, язва, курва. Междворка! — орал уродец с тачки матери. — Не твоё это, значит, и не трогай!

— А чьё же? — Шура цепенела от неожиданности.

— Наше! — был ответ.

— Уберу в чулан от вас, от греха. Антихристы.

— Не трог, пусть висят: Бог не Ивашка, видит, кому тяжко.

— Молодец. Павлуша! За словом в карман не лезешь! Авось и себя в обиду не дашь, и меня на старость защитишь. Ничего не бойся! Гляди на меня, делай как я, закон! Ты первый, первой всех. Помни моё! Крой всех и вся. А уж я за тебя горло порву любому! Жми на страх: кого боятся, того уважают. Вот он, арапник-то, всегда при мне! — и сунул тайком сыну нож с выкидным лезвием под кнопку с наборной ручкой.

Тот ощерился, ощутив отглянцованную до телесной мягкости ручку финки, сделанную в недалёких мордовских лагерях, — нож с наборной ручкой из цветного плексигласа...

Повзрослев и узнав, что уродство его — “от Пога”, что “Пог наказал его, невинным ещё младенцем”, — матерился Павлуша самыми непроизносимыми скверными словами, брызжа слюной с такой отчаянностью и остервенелостью, что и отец и мать тотчас затаивались, чувствовали себя душегубами.

— ...А Бог не мишшка, зрит, на ком шишка, — говорили в деревне, — это ведь Он наказал, через отца с матерью... “До седьмого колена поразу” — сказано...

Но подлинное наказание было ещё впереди. И вот как случилось: Шура, торговавшая дешёвым спиртом, пристрастилась и сама к зелью, — травила с горя и ради прибыли и себя и посетителей, и однажды, в канун праздников “Мучеников Севастийских” —хватила стакан, легла на ночь да и не встала. Умерла.

— Шурупчик! — кричал объездчик в каком-то невиданном остервенении. — Шурупчик! Встань-встань. Поднимись, родная! Да ты что молчишь-то, ай оглохла?... Ой, встань-подымись, нет силушки на тебя смотреть мне, горемыке...

— Ну, будь орать-то... — просто и буднично оборвал его Павлик. — Что ты блажишь, как баба. Померла и померла, мол, закопаем...

Пришли деревенские плакиды. Волоча Шурашу за ноги, стали обмывать, болтали:

— Сгорела, как порох. Видно, и впрямь спирт-то — яд.

— Да ведь ты видишь ещё какое дело: баба. А бабы — они завсегда в это дело легче мужика вгружаются... И мрут чаще, не для бабьего организму спирт-то.

Объездчик слушал и не понимал, на земле он или на небе... или уже в аду, так горько и больно на душе ему было впервые.

— И ты своей смертью не помрёшь, — мрачно и трагично пригрозил отцу Пашка-Бутуз из темного угла прохладной комнаты, — теперь и ты соберайся следом. Издохнешь в одночасье. Туда тебе и дорога, живодёру. Очумел ты давно, и чёрт тебя ждёт, лапы потирает.

— Куда собирайся? Это ты отцу? Ах ты, босаявка...

— Не вращай глазами-то, не вращай... Сёстры тебя боятся. А я не боюсь: вот они, костыли-то... И нож со мной... Или крысиного яда всыплю, или того, запорю: не обижай никого зря. Злодей...

— Я добро стерегу от воров, — пытался оправдаться Фома, струхнув, — меня все боятся. Не тебе чета... Ты что, сынка, ай приснилось чего?

— Приснилось! Мёртвым ты приснился, вот что, аспид, изувер, — всё больше заводился Павлик. — Ты стеречь — стереги. А людей не забижай, не трогай... Она и, мать-то, не без твоей помощи ушла... Знаю... Ты за что Вадика Новикова чуть до смерти не засёк? За три мешка картошки голландской, да ещё с того года? А Стеню-Копейку, старую женщину испугал до полусмерти за огурец с бахчей? А меня уродом сделал, ирод, зачем? “Пог, Пог”... На Бога сослался, смотри... — поди-ка, кабы не детские деньги. Что “капиталом” называешь, так и вовсе бы мне не жить, в животе сгноили? Ай не так?... Ты да мамаша — одного поля ягоды...

Тут у Кукина возникла странная и страшная мысль, догадка по смерти жены. Но он столь же торопливо и не давая ей разрастись, как облаку, тихо и стараясь быть сдержаннее, спросил:

— Это кто тебе такое наврал? Откуда ты взял-то, Павлуша?

— Никто, сам знаю!

— Ты дерьмо моё, и не можешь мне угрожать! — едва не плакал от постигших несчастий и упрёков Фома. — Виноваты ли мы ай нет с твоей матерью — не тебе судить. Яйца курицу не учат... А ты не можешь мне такие слова, поскольку...

— А деньги мои где? Куда вы их дели? — не унимался Павел.

— Какие деньги? Были да больём унесло...

— Десять тысяч? Баксов — больём?... Врёшь — не возьмёшь...

Перепадка впервые чуть не кончилась дракой, Пашка скрюченными руками схватил костыль и, прыгая на больных ногах, кидался на отца. Девчонки орали в голос.

— Ты? На отца? — оскалась, кричал Фома и всех пятерых — девчонок и Павла — драл кнутом, покрикивая: “Цыц! Мокрохвостые! Ишь, на отца коситесь!”

Старуха-мать Фомы не выдержала и, всё помня смерть мужа, отца Фомы, посоветовала:

— Фома, сходи. Сходи в церкву-то... Сходи, не будь дураком-то, не будь. Покайся! Да лбом-то к паперти. К паперти да к иконам. Это тебе всё за отца отпущение и за Бога поругание. А Бог поругаем не бывает, вот и мучаешься, эвон, трясёт т-тебя как! Вот и сын супротив тебя. А ведь сказано: “Хула на Духа Святого не простится ни в этом мире, ни в следующем!”

Фома с лёгкостью, как игру, воспринял этот совет и однажды пришёл к заутрени. Священник, в начале исповеди в благостном состоянии принимая Фому, обильно потев, то и дело вытирая платочком пот, долго слушал его, и чем дольше слушал — тем реже кивал и менялся в лице. Потом и вовсе кивать перестал. Сказал только грустно и отрешённо: “Целуй Евангелие и крест”. Фома поцеловал.

После исповеди священник сел на лавочку и долго сидел так, не шелохнувшись, обхватив голову руками, как если бы голова стала невыносимо тяжела...

До причастия он не допустил Фому: тот не знал, что нельзя ни пить, ни есть до Чаши, и плотно позавтракал до церкви.

Какая-то прихожанка зашипела на Фому, что он протоптал по дорожке к аналою, тот — огрызнулся, и священник видел, как, не выстояв после “Отче наш” и пяти минут, объездчик вышел из храма вон, жадно закурив на крыльце.

Бабьим летом, в середине сентября, освободившись от дел, Фома Кукин каждый год уходил в отпуск. Так и в том году, когда опустели поля, сады и

огороды, по первой позёмке и получив задаток вперёд на лето от Шухермана (да и окрестные фермеры скинулись ему за подмогу — заплатили полностью долги — и долларами и рублями...).

— Голландец, — подначивали Фому сельцовские, — ты теперь богатый, своё дело открывай. Мечтал же, всё баял... — Шутили смеясь, Фома поскрипывал зубами, но, радуясь, считал и пересчитывал крупную сумму... Говорил себе: “Держись, Фома, небось теперь прижмёшь хвост голодраны...”

И когда шагал он деревенской улицей гоголем, тайком пощупывая и потрагивая пачку денег в кармане, мечтал он купить жеребца или молодую кобылку — решил открыть конезавод породистых лошадей, чистых и дорогих породой. Он давно мечту берёт и нежил, вынашивал и “обмусоливал” — овладеть такой красавицей или красавцем, для начала... в своё владение... и под себя — престижнее и скорее, и похвалиться будет чем.

Он даже зажмурился от предощущения большого счастья, медленно, облаком, но явно и зримо наплывающего, наваливающегося на него: вот он конезаводчик, вот он выводит племя. Редчайшее, как сегодня — русские борзые, и вот все конезаводчики едут к нему. Пишут ему. Кланяются и несут деньги... Деньги за жеребят... Вот он и капитал. И, закрывая глаза, он уже видел себя верхом, или, как говаривают по деревням, “верхами”, проезжающим по Осиновке таким аллором, по-цирковому, когда лошадь идёт медленно, выкидывая коленцы, и этак прелестно, из стороны в сторону, из стороны в сторону. Чтобы все рты разинули. Сенами он запаса заблаговременно, прикупил у фермеров и овсеца. До мечты осталось — рукой подать.

На ярмарках шли торги за торгами. Фома не пропускал ни одного. Присматривал хорошего жеребчика, ходил он и по заводам и к частникам, с пошком, прикидываясь бедняком-любителем. Больше на любовь к лошадям упирал... Частники, из тех, что владели хорошей породой — те как-то понимали его, сочувствовали. Но цены гнули громадные, объясняя жадность свою вовсе не корыстолюбием, а так, мол, лошадей — единицы, да ещё таких... “Ну подумай, кто же на торгу отдаст задёшево, когда торгуешь единственным. Просто из любви к породе даже...”

И вот попалась ему молодая буланая, ещё не объезженная кобылка... Потянула, как баба, на себя, повела и повела, потерял Фома голову. Ходит Фома возле неё кругами. Вроде и не на неё смотрит, вид делает, что не на неё, а сердце не на месте. Не колдунья и не ворожея — кобыла, а окольцевала Фому.

Осиротела она по чистой случайности: прогорел и разорился немолодой, в годах уже фермер: болячки достали его, инвалид, а детей — то ли нет, то ли не едут, бросили, деревенскими грязями брезгуют. Пораспродав он всё нажитое не то что с молотка, а и впрямь — за безделицу и сторяча, кобылку же берёт до последнего. Сидел косматый. Большой. Дурно и тяжело предсмертно пахнувший на подушках и громко и трагически спрашивал входящих, на Фому:

— А тебе чего, поди прочь!

— Гнедая. За сколь отдашь?

— Гнедая? — сразу же ожил косматый и погрустнел: — Не отдам!

Но Фома был стрелянный воробей, испытанный покупатель. Вынул четверть спирту и начал разговор. И хозяин, даже и сидящий среди подушек, больной но всё ещё высокий, ожил. Заросший, как древний иудейский пророк, медленно и истово положил длинные кресты страшными искалеченными подагрой пальцами, молвил: “Се, остаётся дом твой пуст...”

Слова эти были и вовсе непонятны Фоме, но настолько страшны и величественны, что он пал на колени перед хозяином. Но уже за околицей вводя в телегу непослушную гнедую, радовался за себя, за свою ловкость и артистизм притворства. И пошло-поехало: там — вятки или орловки, — запил, спустил всё после больших неудач помещик из “новых” — курского и владимирского тяжеловоза Фома нашёл у него, — он тут как тут. Фома подливал ему, всклокоченному, немьтому, но всё ещё пытавшемуся держать фасон, — оно так, у военных... Рассказывал тревожно:

— Так вот, Фома... Пришли назад паи свои просить. Сельские-то, на-

ши. Стали толпой под крыльцом, как встарь нам показывали, в фильмах. Вышел и я: “Чего вам?” — “Верни пай...” “А вот, видали?”... Молчат. Хлопнул я дверью, ушёл, и вдруг так за душу схватило: это кому же я дулю показал? Этим большим старикам, что всю жизнь навоз по этой земле, по этим паям ворочали, им, у которых поколения здесь лежат. В этой земле, навеки... И вот, видишь, запил... Запил вглухую, хоть святых выноси.

Фома слушал да подливал, кивал и всё же свёл со двора и тяжеловоза без жалости.

Впоследствии, в минуты уединения, хвалил себя: “Молодец...”. Но больше всего радовала кобылка, высокая, тонконогая, с узлами коленок, огнеглазая, с густой гривой волной и длинными ногами. Осиновские мужики зачастую на смотрины необъезженной красавицы. Фома допускал не всех: только нужных, весомых, с которыми стоило и вообще дружбу водить... Пытались тронуть под пьяный гогот жёсткую непослушную гриву, пышную, как пена после катера у берега на Оке... Пригнал он её в недоуздке, парой со своей гнедой, запряжённой в телегу. Непокорная кобылка бежала легко, играя.

Волна гривы лежала набок, высокая холка... Жмурились, цокали языками.

Буланая красавица зло косилась на зевак, норовила укусить, вставала свечой на задние ноги.

— Ишь. С норовом!

— О — огонь! — заикаясь, подтверждал Фома, — что не по ней — разобьёт на... Задними бьёт. Жерди с база напрочь выбивает, навывлет. А в них гвоздь — двухсотка... Орловка, одно слово. Огонь! Ишь, вся бела, аки снег. А жеребёнком-то была — черна, да с очками на глазах.

— Да разве так бывает. Чтобы из масти в масть?

— Это у них бывает, у орловских...

Фома называл её Милкой. Узду надевал, как фату... Долго он выбирал эту узду, чтоб была достойна, из наборных ремней крепкой мягкой кожи, надежную, как португеза генерала, да с бляшками, с кольцами, как для цыганки. Натягивал под челку, на лоб, заправлял силком мундштук в зубы, который Милка никак не хотела брать. Не желала покоряться... Заправил, чуть зубы не выворотил.

— Ишь, целка... — с ласковой злостью говорил Фома... А побрякушки, колокольцы-то любишь, как звенят... Что, любишь? Подарки, сладенькое... Вот жеребца тебе подведу, жди. На муки твои полюбуюсь...

Колокольцы и впрямь звенели волшеббно-тонко при малейшем движении.

На покорение Милки под седло собралась вся деревня, как на представление. Собрались за селом на выгоне. Мужики, бабы. Ребятишки... Впрочем, полагалось запрячь в повозку, да нагрузить потяжелее, да дать кнута. Но Фома давно придумал держать Милку исключительно как верховую... Да и была какая-то тайная надежда, что и она, Милка, тайно уже приняла его за кормильца, хозяина. Примет и за седека.

Фома сначала всё гонял кобылу, щёлкая кнутом, крутил по базу на длинной верёвке, постреливал кнутом, сыпал прибаутками. Рыжие, копной, волосы его горели огнём на ярком солнце разогретшего землю бабьего лета. Войдя в раж, оседлав Милку, верхом он нетерпеливо дёргал на себя узду, яро хлестал по бокам хлыстом. Милка-Колдунья заржала — словно захохотала, с эхом в гулких обособенных полях, да так, что мороз пошёл по коже.

— Ты с ей поласковой, — советовали мужики, — она хоть и кобыла, а тоже того, женского полу, ихнего, а оне подход любят...

— Эва, черемониться! Фома, поддай ей, курве! Ишь, ишь. Заплясала, руку почувствовала, эдак, эдак... Твёрже её держи, бабы, они силу любят!

— И седло полегшее надень. А то бока-то намнёшь ей. Дорогой такой...

— И по мне, что баба, что кобыла, что одного роду-племени. Не таких объезживал...

— Мотри, Фомка, знать, понесёт сейчас... Не зевай, Фома, на то ярмарка...

Кобыла рванула и грациозно вдруг пошла по кругу, заставляя людей отступать в страхе и в восхищении, словно всё ещё была она на длинной верёвке, стелила хвостом, стригла ушами.

— О-о, пока-мать, закоо-онно... Закон!.. — только и успел крикнуть Фома, Милка вдруг встала свечой, пугливо кинулась в сторону, рысью прощлась вдоль загорожки, заведённая от ударов хлыстом, и вдруг с лёгкостью, как на крыльях, перелетела через жерди база — взяла высокий барьер. Фома точно куль с овсом — вывалился из седла, повис на узде, да и ту бросил. А кобыла так и пошла, и пошла крупной рысью. Заметно припадая на правую заднюю ногу.

Её отловили только к вечеру, и то с хитростью, с уловкой: кузнец Терентий умело ржал наподобие жеребца, пролез по кустам всю округу, ждал и слушал, где отзовётся.

Сашка Пряхин — малый оторви и брось — подошёл к ней. Резко схватил под уздцы, с опаской, но не боясь на вид, вёл на баз, повторяя от волнения и страха одно и то же: “Узда наборная, лошадь задорная...”

— Чего-то хромает она, Фома, ты не дрейфь, я только гляну. На-ка, на. Подержи, что — сильно зашибся? Дайте клещи, что-то подкова стучит.

— Дайте клещи... Клещи... — зашумели в толпе, — без гвоздя. Бьёт подкова...

— Э-э, я сам, я сам, — заорал, осмелев и оправившись, Фома — дай-ка, я имею в этом деле... Смекаю... С-стой, стер-рва... — и, зажав копыто между колен, стал оттирать с усилием подкову.

Вдруг Милка-Колдунья всхрапнула, заржала, да так ударила Фому, что тот кувырнулся об землю замертво. Сашка отскочить не успел, как кобыла ша-рахнулась и потащила резво мёртвое тело. Его пытались отбить, а она тащи-ла его, топча, вцепившегося в узду, всё дальше и дальше, в сторону ферм бывшего хозяина, поднимая пыль по сухому логу, по навозу. По выгону, по тому самому месту, где тащили его когда-то мужики “сажать на кол”.

Народ сгολчился с испугу, потом рассылался и вытянулся в беге вслед за Милкой, но она шла и шла. Далеко и легко, освободившись уже от мёртвого свислого тела Фомы. Так и подняли его с обрывком в мёртвых руках зажатой узды...

Только один “обрубок” остался на выгоне, это был сын Фомы Кукина — уродец “Пашка-Полчеловека”, он сидел на коляске, ощерясь как бы против солнца и ветра, взглядывался...

— Пашка, убило отца-то, Фому-то!..

— Гы-ы... — И вдруг задёргал раздвоенной губой. Захохотал. Забил в ладоши, и, отталкиваясь на коляске, поехал вслед за толпой и всё кричал. Хлопал в ладоши. Да так отчаянно, что Сашка вернулся к нему:

— Ты чего? Чего орёшь, обрубок?

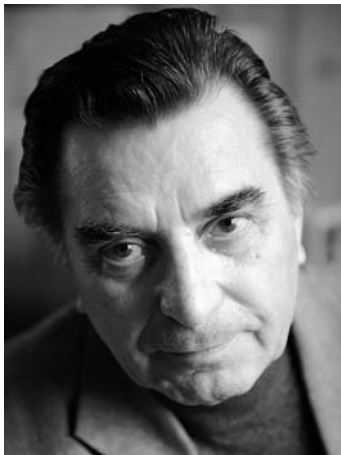
— О-о, — и Пашка выплонул из-за щеки гвоздь от конской подковы...

— Так это ты чего же вытащил? Или нашёл?

Пашка ещё яростней затрепыхался. Задёргался на коляске, крича: “Пока! Пока! Пока!”... Потом достал нож, бережно завернутый в тряпочку, — это был тот самый нож, который ему подарил когда-то Фома, и захохотал с таким победным видом, что неверующий Сашка закрестился часто и мелко и кинулся бежать напролом сквозь кусты. Он бежал, продираясь сквозь лещину и сухой репейник, крестясь и оглядываясь, шепча единственную молитву, которую знал: “Богородица, Дева, радуйся...”, какой его выучила в глубоком детстве прабабка Стеша. А сзади всё слышались визги и вскрики радостного Пашки.

Он бежал впервые в другую сторону от толпы, ошарашенный какой-то явной догадкой, смысл которой был ему неясен ещё, но так страшен сам по себе, как страшится запоздало малый ребёнок, впервые проходя по грани добра и зла, и с гибельным восторгом выбирая зло, и обомлев от выбранного, понятного... А в это время к селу подходил уже Николай Пряхин. Ему ско-стили срок за Фому. Бледный и худой, он откинулся с больнички, купив на зоне туберкулёзную мокроту — так велико было его желание выбраться из-за решек и заборов и отомстить. Списанный по активровке, он едва шёл. От былой силы и куража не осталось и следа, только прежняя сутулость стала ещё заметнее и острее торчали костлявые плечи...

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



ХОЛЕРА

РАССКАЗ

*Помни дальнего своего, ибо каждый из нас есть прошлое, и каждый из нас будущее есть...*

Молодой мужчина лет тридцати с небольшим, выше среднего роста, в светлых брюках и белой тенниске, решительно открыл входную дверь в Дом печати и с явным удовольствием вошел в прохладу вестибюля. За спиной осталась душно-знойная улица миллионного города, над которым уже к десяти часам утра, когда в редакции начинался рабочий день, повисало, словно из расплавленного стекла, сизовато-прозрачное марево. Кивнув вахтеру, мужчина бодро рванул вверх по лестнице, перешагивая сразу по две ступени. “Сайгак! — с доброй завистью подумал вахтер, глядя ему вслед. — Соседи не верят... Казарин, считают, в годах... а он пацаном прыгает...”

На втором этаже Дома печати располагался наборный цех. На третьем — издательство со всеми службами и отделами. На последнем — четвертом — редакция областной газеты. Вправо и влево от лестничной площадки расходились два коридора с кабинетами по каждой стороне. В центре, на стыке коридоров, под мраморной доской с фамилиями погибших журналистов стояли несколько кресел и небольшой столик. Здесь всегда сидели посетители. Одни дожидались, когда придет назначивший им встречу корреспондент, другие, как говорил заведующий отделом писем Михайлов, пытались “коротко изложить километры жалоб”...

---

*ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович по профессии журналист (окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова). Работал в областных молодежных и партийных газетах Волгограда, Ярославля и других городов. Полтора десятка лет — в “Известиях”: корреспондентом по Казахстану, зам. редактора отдела, обозревателем. В настоящее время работает в парламентском журнале “Российская Федерация сегодня”. В “Нашем современнике” публикуется не впервые.*

Стремительно войдя в холл, Казарин безразлично скользнул взглядом по сидящим в креслах посетителям и повернул направо, к своему кабинету.

— Андрей Петрович?

Позвавший как бы сомневался: того ли он окликнул? Казарин остановился:

— Да, я Андрей Петрович.

Тут сразу все трое ожидавших встали с кресел.

— Не узнаете? — спросил невысокий, полноватый мужчина с большими залысинами ото лба. Судя по голосу, это он окликнул Казарина.

— Дэ-э... как сказать... дайте вспомню...

— Захаров я. Валентин Иванович. Председатель профкома с фарфорового завода.

— Да-да-да, — зачастил Казарин, напряженно вспоминая.

— А это Кузьмин... Игорь Константинович... Наш художник... Вы его видели.

— Можно Игорь, — с некоторым смущением басовито сказал светловолосый парень. Он понял, что Казарин их не узнаёт и даже удивлен появлением троих мужчин.

— Собирались, как всегда, на Волгу... ну, где всегда... туда, в низовья, — заговорил третий — горбоносый, с черной шевелюрой мужчина. — Но Валентин сказал: вы звали на Дон. Там вроде рыбалка — мама родная!

— Ну да, я им сказал: Андрей Петрович, когда был у нас на заводе, звал к себе... Говорил: Дон не сравнить... Вот мы и приехали. Тройка наша... Это — Сергей Михалыч.

Захаров показал на горбоносого и растерянно замолчал. Повисла тягостная тишина. Казарин хотел было дежурно спросить: “Чем могу помочь?”, с той интонацией, после которой люди поспешно говорят: “Да нет, нам ничего не надо” и обе стороны, стыдясь возникшей неловкости, торопятся разойтись. Вдруг его словно пронзило. Он вспомнил все: и завод, и Захарова, и даже, кажется, горбоносого.

— Ё-моё, ребята! Как же я сразу-то не врубился? Здорово, Валентин Иванович!

Казарин с чувством обнял Захарова, быстро оглядел остальных. Те тоже заулыбались, отмякли.

— Чай-то только из вашего сервиза пью. Ничего другого не признаю. Все: ты где такой сервиз достал? Ну, я им говорю... Но разве все расскажешь?

\* \* \*

Год назад, также летом, Казарина вызвали в военкомат.

— Поедете на переподготовку. Совершенствовать военную специальность. Вы специальность-то свою военную помните?

— А как же! — самодовольно ответил Казарин. — Спецпропаганда в войсках и среди населения противника.

В чем эта пропаганда заключается, он представлял смутно. Из всего обучения на военной кафедре в университете запомнил только призыв, который надо было писать вверху каждой листовки: “Прочти и передай товарищу!”. А главное, немецкий язык, на котором предстояло вести “пропаганду”, он знал, как сам признавался, в объеме “взять в плен или сдать”. И демонстрировал это в лицах какой-нибудь очередной увлеченной слушательнице: “Хэндэ хох!”, “Гитлер капут!”.

Но несмотря на это, название своей военной специальности произносил с почтением. Чем-то таинственным отдавали эти слова, известным только узкому кругу посвященных. Поэтому, когда в военкомате сказали, что переподготовку он будет проходить в Москве, в Военном институте иностранных языков, редакционный приятель Казарина Юрий Шведов без всякого сомнения заявил: Андрея берут для подготовки в разведчики. На вечеринке по поводу отъезда Казарина, сильно выпив, он приставал к сомневающимся.



— Какого кандидата им еще надо? Молодой? Молодой. Симпатичный? Спросите любую нашу женщину. Вы знаете, как его зовут Лидия Федоровна? Секретаршу редактора Лидию Федоровну знали все. А как она называет Казарина, не знали.

— Она его зовет Граф. Весь из себя элегантный. Ну, скажи, Ира: хорош Андрей для шпиона?

— Он для всего хорош, — со знанием отвечала сотрудница отдела культуры Измайлова — тормозящая молодость дама.

Казарин вместе со всеми посмеивался над шведовской фантазией, но в глубине души полностью такую возможность не исключал. “Чем черт не шутит? Может, и правда берут на смотрины? Не искать же им среди женатых”.

Однако, приехав в Военный институт иностранных языков, понял: никаких тайных планов относительно него не было. Обычная переподготовка. Собрали людей из разных мест, разных возрастов, разбили на группы по десять человек, и началась языковая муштра. Утром, входя в аудиторию, преподаватели здоровались на немецком и вечером на немецком же прощались с “партизанами” — так в кадровой армии называли призванных “из гражданки” на переподготовку офицеров запаса.

Перспектива муштры Казарина не устраивала. Запоминать военные термины, которые ему никогда не пригодятся, он категорически не хотел. Заявил новым знакомым, что он пацифист, что за мир во всем мире и учиться допросу пленных не собирается. Преподаватели сначала спрашивали заданное, потом махнули рукой: пусть хотя бы сидит в аудитории.

Но Андрей и этого не хотел. В выходной день съездил к давнему товарищу Антону Орлову, с которым работал в молодежной газете в годы своих скитаний. Теперь располневший, добродушный, с манерами аристократа Орлов — потомок известного графа-декабриста, служил в профсоюзном журнале, через который надеялся получить прописку и квартиру в Москве.

Казарин уговорил Орлова дать ему командировку на какое-нибудь интересное предприятие в Подмоскowie. Будут деньги, чтоб до отъезда посидеть в ресторане Дома журналистов, потом Андрей напишет материал (Орлову польза), а получив гонорар, снова не забудет товарища.

Орлов полистал свои записные книжки.

— Давай на фарфоровый завод. Ты видел, как фарфор делают?

— Не-а.

— Заодно посмотришь. А мне чашку привезешь.

Дело оставалось за “малым”: изловчиться уехать на несколько дней из воинской части.

\* \* \*

Начальник курсов полковник Агеев сразу заинтересовал Казарина. Невысокий, молодцеватый, сохранивший выправку, он выглядел типичным офицером мирной поры. К тому же не армейским, из строевой части, а “паркетным” шаркуном, не нюхавшим пороха даже на учениях. Такие особенно раздражают офицеров-строевиков из дальних гарнизонов. Андрей помнил, как глядел капитан части, в которую они студентами приехали для завершения военной подготовки, на прибывших с ними полковников и майоров. В пропотевшей гимнастерке, в фуражке с разводами от пота, в стоптанных ежедневной маршировкой сапогах он с презрением и завистью смотрел на новые, еще скрипящие португели, не знающие проселочной пыли гимнастерки, не сбитые о камни сапоги, и этот взгляд лучше всяких слов рассказывал, кому на Руси служить хорошо.

Таким же столично ухоженным выглядел и Агеев. Но все представления путала звезда Героя Советского Союза и эмблема танковых войск на погонах.

Для участника Отечественной войны он был, по убеждению Казарина, молод. А где танкист мог получить Героя после войны, Андрей не знал. Поэтому разговор о командировке решил начать издалека.

— Николай Иванович, скажите...

— Какой я вам Николай Иванович! — оборвал Агеев. — Не знаете, как обращаться?

Казарин построил сконфуженную физиономию.

— Знаю, знаю... Но я — глубоко штатский человек, товарищ полковник. Я журналист.

Выпятив грудь, высокомерно заявил:

— Меня больше интересуют люди, их судьбы. Скажите, о вас писали? Вот вы Герой Советского Союза. За что получили?

Нахмуренное лицо Агеева посветлело.

— За Курскую дугу.

— Как! — изумился Казарин. — Вы воевали? Сколько же лет было, когда дали Героя?

— Двадцать.

— О вас писали?

Полковник с интересом посмотрел на “партизана” в лейтенантских погонах. Обычно этих людей не удается подтянуть даже за долгие трехмесячные курсы. Гимнастерки сидят мешком, животы нависают над ремнем, брюки мягкие, пилотки напялены на головы, словно ими хотят согреть уши.

А у этого пилотка сидит, как надо: верх острый, сама набочок; на гимнастерке спереди ни одной складки; сапоги, хоть и солдатские, но начищены до тусклого блеска.

— Писали, — неохотно сказал Агеев, и Андрей понял, что писали давно и, скорее всего, мимоходом.

— Надо будет о вас рассказать, Николай Иванович. Сделать хороший очерк. Сейчас друзья просят съездить на фарфоровый завод... Вот отпишусь...

Он быстро глянул, какотреагирует полковник на Николая Ивановича и слова о поездке. Полковник млел.

— А после займемся вами, — тоном мэтра закончил лейтенант.

Поездка на завод была в кармане.

\* \* \*

— Вы как же без предупреждения? — спрашивал Казарин то Захарова, то горбоносого, ведя всех троих к себе в кабинет. — А если б я был в командировке?

— Да мы, случай чего, на автобус — и к Дону, — отвечал горбоносый Сергей Михайлович.

— Не-е... Эт как пальцем в небо. Дон — большой.

— Ну, нашли бы, где удочки помочить, — улыбался Захаров, довольный, что Андрей Петрович его узнал и, кажется, хочет помочь. А Казарин, пока вел гостей по коридору, пока рассаживал их в кабинете, крутил в мыслях один вопрос: как отправить людей на Дон? Ведь он действительно звал Захарова с его компанией к себе. Теперь Андрей все вспомнил до мелочей.

Сначала с председателем профкома Захаровым разговор не получался. Казарин не знал, в чем заключается его работа, а тот, думая, что приехал знаток профсоюзных дел, которому все известно лучше, чем самому Валентину Ивановичу, говорил скупо, односложно. Вечером в заводской гостинице, которую сделали из обычной трехкомнатной квартиры в типовом доме, Захаров достал из холодильника заранее поставленную туда водку, порезанную колбасу, хлеб, овощи. После третьего или четвертого налива кто-то из двоих зацепил рыбалку. И понеслось. Про случаи. Про снасти. Про места. На время забыли даже о водке. Вспомнили. Налили. Казарин поднял рюмку.

— За хороших людей.

— Это за кого?

— За нас, конечно. За рыбаков!

— А-а, это верно. Хотя жена говорит: нет другого дурака, окромя как рыбака.

Выпили, презрели захаровскую жену. Валентин Иванович — гримасой и взмахом руки, но такими красноречивыми, что Казарин опешил: зачем живет, если настолько отвратительна? Сам он был холост. Вернее, разведен. Упивался свободой, крепким здоровьем, выносливостью племенного жеребца в постели. Последнее, как кроликов к удаву, притягивало женщин: хоть свободных, хоть замужних, в результате чего менял он их с азартом, но без вражды.

После упоминания о жене разговор перетек к житейским делам. Казарин был человеком болтливым, открытым и хвостоватым. Рассказал, откуда сам, как попал на фарфоровый завод (конечно, без особых подробностей), дотошно попытал Захарова.

Все остальные дни командировки влюбленный председатель профкома не отходил от Андрея. А тот, не скрывая, что ничего не знает о фарфоровом производстве, прошел с расспросами весь технологический путь. В цехе сырья тер в пальцах белую глину — каолин, глядел на обжиг в муфельных печах. Но особенно долго стоял возле художников. Больше всех ему понравилась работа Игоря Кузьмина — он сейчас ясно вспомнил ловкие движения кисти, черную тесемку на голове у парня, чтобы не распадались белокурые волосы. Художник настолько привлек Казарина, что он предложил председателю профкома позвать его на последний ужин. Уехать Андрей мог бы и вечером: в Москве переночевать у Орловых, а утром, на метро, в институт. Но к нему уже второй раз должна была придти секретарша главного инженера. Упустить такую возможность он не мог.

После недолгого разговора о производстве Захаров опять упомянул рыбалку. Весь оживился, карие выпуклые глаза заблестели. Андрей сразу подхватил волнующую тему. Пожалел мужиков: где вам здесь, в Подмоскowie, ловить?

— А мы тут не ловим, — сказал художник. — Ездим в Астраханскую область. На Волгу. Каждый отпуск туда.

— Подлещик, густера, судачок, — важно сообщил Валентин Иванович. — Прямо там солим, сушим.

Казарин снисходительно усмехнулся:

— Густера-а... У нас ее рыбой не считают. Мы едем на Дон. За два дня по полмешка. Лещ... Как вон та сковородка. Зобан...

— А это кто такой?

— Хрен его знает. Вроде гибрид леща и красноперки. Тоже по кило, по полтора.

— Вот бы куда попасть, — с завистью произнес художник.

— А что! Приглашаю!

Казарин уже немного опьянел. Его понесло: он любил чувствовать себя значительным.

— Приедете поездом, рядом с вокзалом редакция Областной газеты. Встречу. Отправлю.

“Встречу”, — мысленно пинал он теперь себя. — “Отправлю”.

— А вещи-то ваши где?

— В камере хранения. Удочки, рюкзаки.

— Ладно, мужики. Идите погуляйте часик-полтора. Я пока что-нибудь придумаю.

\* \* \*

Главное в хорошей рыбалке — уловистое место. Такое место на Дону у андреевой компании было. Они там ловили рыбу почти каждые выходные. А Глеб Пустовойтов — самый близкий из казаринских друзей, уезжал туда с женой и двумя девочками даже в отпуск. Но как переправить подмосковную тройцу?

Андрей позвонил Глебу: у того был мотоцикл с коляской. Пустовойтов удивился: “Ты что, Андрей? Меня никто не отпустит”. Он работал ведущим конструктором в проектно-институте. Казарина как-то поразило окончание

рабочего дня здесь. Он сидел в пустом вестибюле, ждал Глеба. Стояла тишина. Казалось, в большом здании вообще нет людей. Ровно в шесть пронзительно зазвенел звонок. Казарин не успел встать, а по лестницам уже грохотали, шаркали, цокали торопливые шаги. Похоже, люди заранее прекратили работу и только ждали звонка. Тогда Казарин в очередной раз вспомнил профессора Вяземского, по учебнику которого готовились все журналисты страны. “Вам никогда не придется снимать табельный номер в проходной. Вы люди свободной профессии”.

Как многие их преподаватели, Вяземский не знал реальной газетной жизни. А в ней было все: и книги прихода-ухода в приемных редакторов, и жесткий, почти военный график сдачи оперативных материалов в номер, а затем самого номера в типографию. Но вместе с тем номерки, действительные, никогда не снимали, и даже самые капризные редакторы, требовавшие без опозданий приходить на работу и строго по времени уходить из редакции, не могли уследить за свободным перемещением сотрудника в пространстве и времени. Что ни говори, а все-таки работа, близкая к творческой.

Переговорив с Пустовойтовым, Андрей задумался. Даже если бы Глеб согласился, одного мотоцикла мало. Нужен второй. Он есть — тяжелый мотоцикл “Урал”, тоже с коляской, еще у одного казаринского компаньона по рыбалке — Владьки Филонова. Но сначала надо найти Владьгу, что непросто — прорабы по стройке не бегают с телефонами. Потом — уговорить. Филонов был капризен, что порой вызывало сильное раздражение товарищей. Но Казарин понимал истоки этого и был, в отличие от других, более снисходителен. Владька с детства заикался и, расценивая это как свою ущербность, норовил, при случае, отомстить людям, оказавшимся у него в зависимости, за этот комплекс неполноценности.

Мотоциклы отпадали. Оставался единственный путь. Отправить подмосковных гостей автобусом.

Казарин снова позвонил Глебу. Договорились: когда объявятся рыбаки, подойдет и Пустовойтов — он работал в нескольких минутах ходьбы от редакции.

Примерно через час снизу позвонил вахтер:

— Андрей Петрович, тут к вам люди. С утра приходили. Сейчас с какими-то мешками, удочками.

— Спускаюсь, Максимыч.

Казарин позвонил Пустовойтову: двигай скорей ко мне. Взял несколько листов чистой бумаги и попрыгал вниз по лестнице.

— В общем так, Валентин Иванович. Сами виноваты. Надо было хоть позвонить. Мы бы подготовились. А то ни я...

В это время в вестибюль вошел высокий, плотный мужчина, одних лет с Казариным, темноволосый, с неожиданно яркими голубыми глазами.

— ...ни вот Глеб Семенович... Знакомьтесь. Мой друг: Глеб Семенович. Тоже рыбак. Что означает: наш человек. Короче, мужики: поедете на автобусе.

Он взглянул на приезжих. Захаров и художник довольно улыбнулись: на чем угодно, лишь бы скорей к воде. Небывалая жара домучивала их. Но горбоносый хмуро сдвинул черные брови: видно, он рассчитывал на более джентльменскую доставку.

— Зато отдаем вам свое лучшее место, — с легкой обидой сказал Андрей. — Глеб, нарисуй им.

Пустовойтов стал объяснять, куда идет автобус, где выйти, сколько пешком до Дона.

— Вот здесь, возле устья пересохшего ручья, выбирайте место.

— Вы на сколько приехали? — спросил Казарин.

— Как всегда: на двадцать дней, — ответил малость повеселевший горбоносый. Путь показался не сложным.

— Главное — с вами встретились, — уже торопясь сказал Валентин Иванович.

— Эт вам повезло, ребята, — неодобрительно покачал головой Казарин. — Могли бы поцеловать пробой и вернуться домой. Ну, пошли, пошли. Схватил связку удочек, заторопил людей.

— Быстрее на автовокзал. Он здесь рядом. Я позвонил. Заказал вам билеты. Сказал: журналисты приехали. А то будете сидеть, пока от жары не сваритесь. Но в пятницу вечером ждите... Проведаем.

\* \* \*

Вернувшись в редакцию, Казарин сразу пошел в отдел писем. По понедельникам почта была внушительная. Летом, правда, поток несколько усыхал, но все равно мешок писем приносили. При населении области в два с половиной миллиона человек и тираже газеты в 130 тысяч экземпляров желающих откликнуться на критическую публикацию и тут же пожаловаться на свою беду всегда хватало.

Письма в отделе сортировали. Основную массу направляли в соответствующие организации и органы власти. С дежурной припиской: “Для принятия мер и ответа автору”. Небольшую часть — самые выгодные письма: по легкости проверки, по курьезности фактов — оставляли заведующему отделом. Петр Ильич Михайлов готовил для субботних номеров сатирические подборки. Подписывал их “Петр Пим”.

Остальная почта, в зависимости от тематики, рассылалась по отделам. Отделу быта, в котором работал Казарин, писем всегда доставалось больше всех. Но он норовил, особенно по понедельникам, порыться в отложенных для Михайлова письмах. На что благодушный, попивающий и робкий Петр Ильич не обижался. “Дерьма, Андрюша, на всех хватит”, — говорил он на извинения Казарина.

Войдя в отдельную комнату Михайлова (две других занимали сотрудники отдела), Андрей поднял руку, чтоб произнести свое обычное приветствие: “Здорово, Пим — валенок!” Но Михайлов опередил его. Продолжая слушать кого-то по телефону, он приложил палец к губам.

— Хорошо... Хорошо... — сказал встревоженно в трубку. — Мы постараемся узнать. Хорошо... У вас какой телефон? Из автомата? Хорошо... До свидания.

— Ктой-то тебя с утра расстраиивает, Петр Ильич?

— Не поверишь, Андрей. Мужчина говорит: в городе холера.

— А чумы у него нет? Какая холера? Она в средних веках осталась.

— Сам не пойму. Соседа в больницу увезли, а там сказали: холера.

В это время в дверь вилыла высокая пышнотелая секретарша редактора Лидия Федоровна.

— А-а, и вы здесь, Андрюша! Всех вызывает Алексей Митрофанович.

Имя-отчество редактора газеты Малько она выговаривала четко, с уставившимся раз и навсегда любовным уважением.

Казаринский начальник, заведующий отделом быта, еще не приехал из отпуска: прохлаждался где-то в Англии. Поэтому на заседания редколлегии обязан был ходить Андрей.

С подтырками, шутками все вызванные столпились в приемной. Но едва пошли в кабинет редактора, как на лица моментально навесили одинаковые, словно униформа, выражения озабоченности. Малько был суровый, до самодурства крутой человек. Не терпел ошибок в материалах, безжалостно наказывал попавшихся “по пьяному делу” и когда поднимал тяжелый взгляд из-под седых бровей на виновного, не каждый отказывался потом от валидола.

Сейчас Малько был явственно не в себе. Он то начинал снимать черный пиджак, то снова поправлял его. Обычно в эту жару Малько ходил по редакции, как все: в рубашке с коротким рукавом. Пиджак — строгий, официальный, надевал, когда ехал в обком партии. Там работали кондиционеры, и первый секретарь требовал, чтоб все были одеты “как положено”. Выйдя из здания обкома в уличное пекло и усевшись в машину, Малько немедленно снимал пиджак и на четвертый этаж, в редакцию, поднимался, неся его в руке. В приемной отдавал Лидии Федоровне.

Теперь Малько прямо в пиджаке дошел до кабинета и никак не мог сообразить, что с ним делать дальше.

— Я был на бюро обкома...

Редактор остановился, глотнул воздух.

— Леонид Сергеич собрал... Экстренно.

Снова замолчал, оглядел всех расширенными глазами.

— В городе холера!

Кто-то нервно хихикнул. Несколько человек в недоумении переглянулись. Но большинство уже не с наигранной, а с настоящей озабоченностью уставились в багровое лицо редактора, над которым дыбился седой хохолок.

— Нам надо определиться, **что** писать и **как**. Слово “холера” употреблять нельзя.

— А “чума” можно? — меланхолично спросил Казарин. Он был уверен: произошла какая-то ошибка — и попробовал разрядить обстановку. Но Малько прожег его гневным взглядом. Редактор благоволил к Андрею, однако зарывать не позволял никому.

— Острая кишечная инфекция! Болезнь немытых рук!

— Но ведь мы так пишем о дизентерии, — подал голос Михайлов.

— И об этой... Так же про нее будем. Сейчас готовятся чрезвычайные меры. Важно не допустить паники. Нет никакой холеры! Есть кишечная инфекция. Андрей Петрович...

Казарин в это время повернулся к заведующему отделом промышленности и транспорта. Тот стал говорить Андрею, что чрезвычайные меры остановят жизнь в городе.

— Казарин! Я к вам обращаюсь! Немедленно свяжитесь с облздравом. Надо статью. О профилактике этой... инфекции. Лучше статью самого Краснова.

— Когда?

— В номер.

\* \* \*

Судя по тому, как секретарша сразу соединила Андрея с Красновым, Казарин понял: заведующий облздравотделом ждал звонка из редакции.

— Готовим, Андрей Петрович. Два варианта набросали. Где-нибудь через час придем.

— Нет уж, давайте я сам приеду.

Он хотел подробно расспросить Краснова, что за чудо-юдо появилось в городе. Да и только ли в областном центре? Тиф еще знали по книжкам о Гражданской войне. Но холера откуда могла появиться?

Однако Краснов разрушил все сомнения. Холера. Откуда? Пока не знаем. Есть предположение, что от соседей. Раскопали старое захоронение, девятнадцатого века. Подняли возбудителя. Называется “вибрион”. Выявляем контакты, но сразу всех не охватить. Достаточно одной капли воды на посуде, рукопожатия и вы — носитель холеры.

Казарин инстинктивно развернул ладони, с тревогой глянул на них.

— А как она проявляется?

— Жидкий “стул”, Андрей Петрович. Непрерывающийся жидкий “стул”. Диарея...

— Понос, что ли?

— Назовите так. Происходит полное обезвоживание организма, и человек за короткое время умирает.

— Ё-моё! А я думал, она осталась в истории. Как инквизиция.

— Вот опять пожаловала. Пришла... из истории. Назвать ее мы не можем, но опасность большая. Немедленно вводим карантин. Плохо, что туристов много. Июль, жара, немытые фрукты. Возбудитель — вибрион этот — может быть везде.

— Как же от нее уберечься? — с нарастающим беспокойством спросил Казарин.

— Дезинфекция. Воду — только кипяченую. Представляете, Андрей Петрович, жидкий “стул” через каждые пять-десять минут, — с неким злорадством сказал Краснов. — Потом рвота...

Он искоса посмотрел на лежащую у края стола брошюру. Андрей перехватил его взгляд и понял: заведующий облздравотделом сам только что прочитал о холере в срочно подобранных ему изданиях. Теперь как бы взвешивал: стоит ли заботиться об этом журналисте, раскрывая меры предосторожности. Краснов не любил и одновременно побаивался Казарина. Считал самым ядовитым писакой в газете. По-другому в своем кругу и не называл его. Кажется, только плохое искал этот журналист в областном здравоохранении. После каждой публикации приходилось кого-то наказывать, объясняться в обкоме партии, писать ответы. У Краснова еще не улеглось раздражение от казаринской статьи “Скорая смерть”, напечатанной месяца три назад. Конечно, случай был безобразный. Человек чуть не умер, ожидая приезда “Скорой помощи”. Но как успеть, когда машин не хватает, а вызывают порой по самым пустякам.

Теперь, видя растерянность обычно самоуверенного газетчика, заведующий облздравотделом мстительно наслаждался. Он встал из-за стола; высокий, грузный, каким становится человек, давно бросивший заниматься спортом. Окинул Казарина насмешливым умным взглядом.

— Рвота, Андрей Петрович... Затем начинаются судороги. Конечности холодеют... Руки-ноги холодные — ведь температура тела опускается до 34—32 градусов. Близость комы... то есть финала, выдает лицо... Черты лица заостряются, глаза и щеки западают... Язык сухой... Человек не говорит... шипит.

Андрей напряженно слушал, отчетливо представляя себе такого человека, как вдруг одна мысль враз обрушила всю картину: а зачем Краснов рассказывает эти подробности? Ведь их нельзя опубликовать! Глянул на заведующего и все понял.

— Да-а, плохи ваши дела, — хмуро сказал он.

— Наши? Почему наши?

— А чьи же? С кого спросят? С нас, что ли? С вас, Юрий Васильич. Скажут: не подготовились к чрезвычайной ситуации. А если это диверсия противника? Бактериологическая война?

Он встал.

— Ладно, не будем углубляться. Что там ваши подготовили? Мы ставим в номер.

\* \* \*

Следующий день прошел так буднично, что Казарин снова подумал: не фантазии ли это насчет холеры. Статья Краснова вышла, но на нее, похоже, не обратили внимания. Каждое лето в местных газетах появлялись публикации о желудочно-кишечных заболеваниях. Имелась в виду, конечно, дизентерия. Однако своим именем ее старались не называть. Благодаря прессе утвердилось наименование: болезнь немых рук. Санитарные чиновники рекомендовали не пить сырую воду из открытых источников — ручьев, рек, озер, как будто все только и норовили припасть к ним. Особенно напирала на личную гигиену: мыть руки с мылом, овощи и фрукты обмывать проточной водой.

Примерно то же самое советовал сейчас и заведующий облздравотделом. Но внимательный читатель мог заметить и нечто более настораживающее. На этот раз рекомендовались особо усиленные меры дезинфекции: руки и посуду мыть с хлоркой, воду использовать только кипяченую и сразу после кипячения, не давая ей застаиваться.

Андрей позвонил всем родственникам. Пересказал рекомендации и предупредил: это не дизентерия, будьте очень аккуратны, болезнь серьезная. Называть “холера” не стал. Он еще сомневался в точности определения. “Эскулапы хреновы, — думал с некоторым раздражением. — Сто лет не было холеры... не знают, наверно, как определить...”

Казарин уже собирался позвонить Шведову — спросить, не сорвалась ли намеченная встреча? Юрий был женат, но при малейшей возможности со-

скальзывал “влево”. Конечно, до Казарина ему было далековато — тот из любовниц, переходящих в платонические подруги и снова возвращающихся по первому зову, мог сколотить солидный отряд. Но у Шведова постоянно объявлялась “свеженькая”, а поскольку лучше казаринских возможностей трудно было найти — пустая двухкомнатная квартира в центре города, то для Андрея всегда подбиралась подруга. Бывало, в ходе винно-разговорной подготовки “свеженькая” выбирала Казарина, однако эти мелочи не мешали двум донжуанам пера вести волнительную жизнь.

Едва Казарин протянул руку к телефону, как тот вдруг зазвонил.

— Редакция?

— Ну да, а што ж еще?

— Вы почему молчите?

— В каком смысле?

— Тут у нас холера! А вы молчите! Совсем совести нет?

Андрей завидовал выдержке Михайлова. Тот, кажется, часами умел слушать всякий бред и не выходить из себя. Глуховатым прокуренным голосом время от времени что-то говорил звонившему, снова слушал и в конце концов человек на другом конце провода успокаивался, соглашался с ним, обещал обратиться туда, куда советовал Петр Ильич.

Но если для Михайлова выдержка стала частью характера, то для Казарина — частью его игры. Расследуя запутанные истории, он принимал разные обличья. То прикидывался простоватым мужичком, то надевал маску строгого начальника, то становился вроде как своим в доску парнем для человека, о котором готовил критический материал.

Но все это были заранее продуманные приемы поведения в разных ситуациях. В обычной обстановке он порой бывал вспыльчивым и несдержанным, что не раз приводило к жалобам на него.

— Почему ж это у нас совести нет? — тихо и зловеще спросил Казарин.

— Люди мрут. А вы молчите. В овраги трупы сваливают.

— И много навалили?

— Вы зачем там сидите? Ничего не знаете. Холера всех подряд косит!

Андрей открыл рот, чтобы рявкнуть на мужика, но в трубке раздались короткие гудки. “Надо ж, падала! — гневно подумал Казарин. — В овраги сваливают... Вот так поднимают панику”.

Он встал. Решил не звонить, а пойти к Шведову в кабинет. Однако телефон опять зазвонил.

— Отдел быта? — спросил женский голос.

— Да-да, — игриво сказал Казарин. — Он самый. Что-нибудь случилось?

— Не знаю, как сказать. Вы извините... Какие-то разговоры идут. Вы, конечно, извините, но, может, объясните мне... У нас что, правда холера в городе?

— С чего вы взяли?

— Мне сейчас звонили родственники. А им сказали друзья... Это такая страшная вещь.

— Вы успокойтесь. Вас напугала болезнь немых рук.

— Не-е-е. Значит, вы ничего не знаете, — разочарованно сказала женщина, и в трубке снова зазвучали короткие гудки.

“Это чё такое творится? — со злым недоумением подумал Казарин. — Завтра паника разнесется по всему городу”.

Но она, видимо, не хотела ждать завтра. От кабинета отдела быта до дверей промотдела, где сидел Шведов, было несколько комнат. Двери всех были закрыты — люди ушли из редакции. Однако за каждой дверью, не переставая, звонили телефоны.

— Андрюха, меня достали знакомые, — обескураженно сказал Шведов. — Спрашивают про холеру. Телефон Баландина я даже не беру, — показал он на звенящий аппарат заведующего отделом. — Что говорить — не знаю.

— Говори, что велено. Болезнь немых рук.

Казарин выдернул вилку баландинского телефона, упал в кресло.

— Как “свежак”?



— Не звонила еще.

— Давай, старик, перенесем. Отложим на другой раз.

— Ты чево? Она уже подругу приготовила. Я Галке “лапши” навешал, сказал: в связи с холерой создаются оперативные группы, меня туда включили. Очень не хотел, но — обстановка...

— Нет, Юр, отложим. Придет человек... Не хочу при ней. Ничего серьезного... Так себе. Просто я ей благодарен. За маму... Много сделала.

Не обращая внимания на растерянное и злое лицо товарища, Андрей вернулся к себе в кабинет. Набрал номер поликлиники, где работала Шурочка.

\* \* \*

Этой женщине Андрей был благодарен за появление в самые трудные месяцы трехлетней давности. Тогда он в отчаянии, бросив все в Смоленске, примчался в родной город.

Перед тем работал в тамошней молодежной газете. Писал про молодых доярок и трактористов, ткачих и токарей. Регулярно бывал на собраниях комсомольского актива. Узнал молодых “подручных партии” от краев до глубин. Едва ли не каждый “актив” кончался всеохватной пьянкой. Пили почти все: секретари, заведующие отделами и секторами, прожженные комсомольские старухи и только пришедшая из школ и техникумов молодая поросль. С середины разгула начинался “уход на беседу” — в дальние и ближние кабинеты. Вернувшиеся оттуда красные, с распухшими губами “комсомольские богини” некоторое время сидели рядом с недавним “беседчиком”, потом он зигзагами шел куда-нибудь к другому концу стола, она — двигалась коленями к другим коленям; готовые к новой “беседе”, уже не слишком скрываясь, жали друг другу бедра, влипали ладонями в спины; глаза парней от нетерпенья вылезали из орбит; созревшие торопливо вставали и уходили искать освободившийся кабинет.

Молодые организмы трезвели быстро. Уже с утра, лихорадочно блестя глазами и припадая то и дело к графинам, активисты вытягивали по телефону сводки об успехах, крепнувшими басками клеймили секретарей слабых “первичек” и даже порывались на журналистов “молодежки”.

Но стоило раздаться партийному звонку, как голоса “подручных” неузнаваемо менялись. Становились бархатно-умильными, заискивающими.

Наблюдая в очередной раз такую метаморфозу, Казарин брякнул: “Интересный вы народ. Вверх — с разинутым ртом, вниз — с разинутой пастью”.

Вожаки оскорбились. Дошло до секретаря обкома. Редактору сказали: “Подбираешь не те кадры”.

К Андрею начали придираться, что в любом творчестве сделать — пара пустяков. Материалы перестали публиковать. Товарищи поддерживали — вокруг него собралась остроумная, циничная и веселая компания. Казарин играл на гитаре, сочинял песни, был организатором пирушек и заводилой на них. Терять такого парня никому не хотелось. Особенно молодым женщинам. И дело, скорее всего, спустили бы “на тормозах” (хотя казаринская оплеуха стала быстро известна в молодежной среде). Компания рассчитывала на Ольгу Недальковскую — жену секретаря обкома комсомола и любовницу казаринского приятеля Антона Орлова.

Но тут вмешалась судьба. Позвонил двоюродный брат Андрея Валерка и сказал, что его мать смертельно больна.

Андрей поспешно собрал вещи — жил он на квартире у стареющей адвокатки, влюбленной в него и совершенно безразличной ему; каждый из компании расписался на тыльной стороне гитары; Казарину помогли загрузить в вагон чемодан с книгами, и он, сильно встревоженный, двинул в низовья Волги.

У матери оказался рак. Андрей никогда не предполагал, что будет так щемяще тяжело увидеть край материнной жизни. Раньше он считал, что мать не понимает его, и от этого отношения их были прохладными.

Теперь был убежден, что это он не понимал матери, не ценил ее забот, проявляющихся пусть не в сопливом облизывании, а в скупой улыбке, но забот изо всех ее возможных сил. Получая студентом денежный перевод, который на фоне переводов для других ребят казался грошовой подачкой, он и не представлял, что это половина ее зарплаты — гардеробщицы в кафе.

Мать переживала из-за его развода с Любой, страдала от скитаний сына по разным городам; временами письма, не найдя адресата, возвращались назад.

Теперь она была довольна. Имела право гордиться: сын — журналист. Ни у кого во всей округе, как говорили ей соседки, не было такой “должностности”. Она смотрела на него, не скрывая радости. Все плохое — осталось позади. И не знала, что позади оставалась вся ее 54-летняя жизнь.

Смириться с этим Андрей не мог. Он проникал в кабинеты разных врачей и медицинских функционеров. Мать взяли на улучшенное обслуживание. Но процесс развивался быстро и неумолимо.

С матерью надо было находиться постоянно. Но Андрей этого делать не мог. В редакцию его приняли неохотно — штат был заполнен под завязку и люди крепко держались за свои места. Поскольку было лето, направили в отдел сельского хозяйства. На ставку стажера в 50 рублей. Меньше просто не существовало. А задания давали одно за другим. Каждое — с командировкой по районам области.

И тут появилась Шурочка. Пришла, как патронажная сестра от поликлиники. Помыла мать, убрала за ней, навела порядок в квартире.

Жила она в общежитии далеко от поликлиники, и ночевать с казаринской матерью, в другой комнате квартиры, ей было удобно: работа оказалась близко.

Ночами, страдая от боли и мужественно скрывая ее, мать рассказывала Шурочке о сыне. Медсестра говорила о себе. Обе что-то недоговаривали, что-то приукрашивали, но через несколько дней, когда Андрей вернулся из командировки, медсестра стала для матери близкой, как дочь. “Вот бы тебе такую жену”, — тихо сказала она, когда сын наклонился, чтобы поцеловать в щеку (раньше он такого за собой не замечал: когда прощались, чмокал куда-то в воздух около лица).

— А почему ты говоришь тихо? Ее же нет.

— Силы тают, Андрюша... Такая заботливая. Замужем не была... Не по годам серьезная...

— Сейчас не об этом надо думать, мама. Мы должны подняться... Потом — про жён.

От отчаяния Андрей не знал, за что схватиться. Будучи человеком честнолюбивым, он хотел во всем быть если не первым, то среди первых. Любил красиво одеться (когда позволяли деньги). Держался подтянутым, уверенным в себе. А навалившиеся заботы и страдания выбивали из сил. Эти бы силы отдать матери! Он готов был голыми руками разобрать дом по кирпичику, если бы это спасло ее. Но надо было и отвоевывать место в газете. Мать должна гордиться сыном — известным журналистом.

Однако в редакции скептически читали первые его репортажи и корреспонденции. В каждом таком коллективе устанавливаются свои стандарты и подходы. Люди вроде пишут по-разному, но, читая внимательно газету, можно увидеть общий стиль. Его определяют вкусы главного редактора, а отсюда — заместителей, ответственного секретаря, заведующих отделами. Зачастую даже очень способный журналист, попадая в устоявшийся бульон стиля, языка, отношений, оценок, вдруг оказывается “не ко двору”.

Первые материалы Казарина заведующий отделом сельского хозяйства Ванчуков даже в руки брал брезгливо-настороженно. Толстенький, с пухлыми розовыми щечками, в небольших очках без оправы, которые едва держались на маленьком, как птичий клюв, носике, он читал казаринские корреспонденции с видом страдальца. Сам писал редко и только казенно-ту-склые передовицы. Вернее, не писал, а лепил с помощью ножниц и клея. Вырезал куски из центральной партийной газеты, из партийных журналов, из речей Брежнева; клеил вырезанное на лист чистой бумаги, затем соеди-

нял чужие слова несколькими своими — бесцветными. В газетную работу он пришел случайно. Кончил сельскохозяйственный техникум. Через некоторое время взяли в райком комсомола — в отдел сельской молодежи. Оттуда — в райком партии. Когда редактор районной газеты скандально разошелся с женой и его потребовалось убрать, обратили внимание на правильно выступающего Ванчукова. Из “районки” по протекции перевели в областную, где спустя несколько лет стал заведующим отделом и секретарем парт-организации.

Самый первый материал, исчерканный и переправленный Ванчуковым, Андрей отдал в машбюро, пылая от стыда. Раньше, бывало, его тоже правили, но чтобы так!..

Затем стал прорываться характер. Андрей начал требовать объяснений: почему это его слово заменяется другим, чем написанное им предложение хуже вписанного завотделом. Маленькие бледно-голубые глазки Ванчукова проваливались в глубь толстого багрового лица. Завотделом отодвигал большой живот от стола и с видом: поглядите, какой наглец! — обводил блеском узеньких очков давних своих подчиненных — молчаливого Виктора Максютова и меланхоличного, огромного Володю Лосева. Глядя на последнего, Казарин думал, что фамилии иногда попадают в точку. Володя и за столом горбился, как присевший на задние ноги лось: большая голова с дыбом трудно причесываемых волос, бугристые плечи и постоянное безразличие на лице и во взгляде.

Сотрудники выдавали какие-то неопределенные звуки, которые Ванчук принимал за согласие с ним, и объяснение на этом заканчивалось.

Работать в сельхозотделе становилось все трудней, мать угасала не по дням, а по часам, и самоотверженная помощь Шурочки, которая теперь оставалась ночевать, даже если дома был Андрей, оказалась спасением для Казарина.

Андрей спал в своей комнате: сон был тревожным, неглубоким, то и дело приходилось вставать на стоны матери. Но пока он подходил, Шурочка уже давала больной женщине анальгин, гладила исхудалую руку, поправляла черные, почти без седины, слипшиеся от пота волосы и что-то ласковое говорила.

Казарин уходил к себе, не сразу засыпал, тер ладонью грудь в области сердца — там почему-то все чаще стало болеть, чего никогда раньше не было.

\* \* \*

Мать умерла на его глазах. Был август. Из дома ее перевезли в больницу. Чтобы меньше страдала, делали наркотические уколы. Андрей сидел в палате, на койке, что стояла напротив материной. За открытым окном жизнерадостно гомонили воробы; когда стихали, было слышно, как шуршит по жестяному отливу подоконника листва клена. Где-то вдали, невидимый, двигался башенный кран, и голоса рабочих доносились невнятно, убаюкивающе. Во всем было умиротворение. Тишина и благодать казались частью неведомой райской жизни. Однако рядом заканчивалась реальная жизнь реального дорогого человека, и Андрей не отводил воспаленного взгляда от материного лица, ее закрытых глаз. Врач сказала: отключились все органы. Работало только сердце. Оно оказалось самым сильным, и каждым ударом словно говорило сыну: я здесь... я с тобой...

На похоронах Андрей говорил какие-то слова: скорее, не слова, а облеченные в звуки страдания. Ему давали нюхать нашатырь.

Потом он поставил памятник. Все, от начала до конца, сделал своими руками. Глубоко забетонировал арматуру, забрал у тетки — материной сестры — мраморную плиту (когда-то, в хулиганские годы ранней молодости, упер столешницу из бесхозного уличного кафе); на ней укрепил переведенную на эмаль фотографию матери — еще молодой, красивой; намертво закрепил плиту медными болтами в бетон. Внизу вырубил всего несколько слов. Они сказали обо всех отношениях двух самых родных людей: “Спасибо. И прости. Сын”.

После похорон Андрей какое-то время не мог прийти в себя. Шурочка готовила ужины, спать ложилась в материнной комнате. Андрей говорил с ней, расспрашивал о прежней жизни, но, углубленный в свои страдания, слушал без интереса. Нескольким раз, вскинув взгляд на уходившую в кухню женщину, машинально отмечал красивые пропорции тела. Роста ниже среднего, все гармонично: узкие плечи, явно видимая талия, округлый, хорошо выделяющийся зад.

Однако ни разу ничто и нигде не шевельнулось. Так обычно глядят на красивую сестру и не видят в ней женщины.

Однажды в редакции устроили, по определению Михайлова, “тихий выпивон”. Громкие застолья были запрещены под страхом увольнения. Мало-ко за один случай выгнал сразу несколько человек. Но “тихие выпивоны” он отследить не мог. Запирались в кабинетах двое-трое, обычно из одного отдела. Стучали друг о друга донными гранями стаканов — получался глухой бульжанный звук (отсюда пошло выражение: “по бульжничку”). Сначала шепотом, потом громче начиналось “мытьё костей”, разумеется, чужих. Наконец, кто-нибудь спохватывался и так же тихо расходились, при этом выпучивая на вахтера глаза, чтоб показать трезвость.

Казарин уже перешел из сельхозотдела в отдел промышленности, строительства и транспорта. Там сразу стал своим, и через некоторое время после похорон матери его пригласили на “тихий выпивон”.

Обычно Андрея невозможно было спойть. Его подругам нравилось: половина компании уже не мычит, не телится, кто-то повалился на диван или кровать, а Казарин сидит за столом, перебирает струны и, чем дальше, тем душевней поет.

На этот раз, видимо, сказались нервные потрясения последнего времени. Он немного выпил и почувствовал: повело. Не дожидаясь неприятностей, протиснулся и пошел домой.

Там была Шурочка. Она недавно пришла из поликлиники, начала готовить ужин. Когда нагнулась, чтобы достать из шкафа посуду, Андрея как будто обожгло дыханием мартеновской печи. Халатик поднялся так высоко, что обнажилось все, обычно недоступное взгляду. Казарин в два шага оказался рядом, она выпрямилась, повернулась лицом к нему, и тугие груди вдавились ему в область солнечного сплетения.

Шурочка стала жить у него. Но реализовать материно желание чем дальше, тем меньше становилось шансов. Казалось бы, что еще нужно истеганному кнутами жизни жеребцу для спокойной стойловой жизни? Внешне Шурочка была привлекательна. Небольшое круглое личико, всегда накрученные короткие волосы рыжеватого цвета, светло-зеленые глаза, прямой носик, стройная фигурка.

Но то одно, то другое в женщине останавливало Андрея. Несколько лет она была вольнонаемной в Группе советских войск в Германии. Тоже — медсестрой. А опытный Казарин, сам не раз выбиравший из нескольких женщин в компании именно медичку — за доступность, ни капли не сомневался в том, что через это тело прошло изрядное количество мужчин.

О тщательно скрываемой опытности говорило и ее поведение в постели. Бешенеющий в движениях Андрей видел, как все сильнее расширялись зеленые Шурочкины глаза, как выступала из них влажная поволока, вслед за чем через доли секунды все должно было полететь в обрыв. Однако тут же что-то неуловимое происходило с телом. Оно словно металлизировалось, застывало, и опускающиеся на глаза веки стирали влагу кипящей страсти. Заканчивалось все бесстрастно и как бы с ее стороны неумело. Что, видимо, должно было показать целомудренность. Но именно эта фальшивинка вызывала у Андрея отторжение.

Командировки, разноразличная пульсация редакционной жизни, компании, которые все чаще стали собираться в Андреевой квартире, постепенно начали оттеснять Шурочку на периферию казаринских интересов. Она хотела быть с Андреем, но бороться за это не решалась, боясь оказаться отторгнутой резко и навсегда. И не знала, что Андрей, скорее всего, не сделал бы так. Он почти никогда не рвал отношения с женщинами грубо и одномоментно.

но. Жадный до всякой новизны, он всего лишь активно плыл в бурном потоке по имени Жизнь. Если женщина не успевала оставаться рядом, винить надо было себя и реку. Она уносила Андрея к другим островам, порогам, заводям.

Постепенно Шурочка привыкла к тому, что Андрей цепляет женщин, как собака репья. Порой терзалась, но уйти не могла. Казарин видел: она любит его. Был уверен: теперь никого другого не подпустит. Однако у него главным чувством оставалась только благодарность. А этого, понимал Казарин, мало, чтобы сделать решающий шаг. “Должна же когда-то случиться большая любовь! — думал он. — Как у других. Без любви нельзя жениться”. Когда доходил в мыслях до этого понимания, ежился от неловкости. Становилось стыдно за свое малодушие. Надо бы, думал, оторвать Шурочку, пусть уйдет искать свое счастье. Но не только оторвать — отпустить ее не мог. Она и мать — были нечто неразрывное. Наткнувшись в уличной толпе, в каком-нибудь учреждении на лицо, взгляд, улыбку, вызывающие в памяти материны черты, тут же вспоминал Шурочку. Теплел настроением, немедленно звонил ей на работу или в общежитие. Она появлялась так скоро, будто ждала у подъезда. Снова проваливались в омуток страсти: Андрей открито, несдержанно, Шурочка, как всегда, “с тормозами”.

Утром расходились, и порой на недели. Она звонила чаще: как живешь? не постирать ли рубашки? могу придти убрать квартиру. Он — редко. В основном с какой-нибудь просьбой. То Шведову втихаря провериться у венеролога. То себе и Глебу Пустовойтову сделать больничные листы перед открытием охоты.

На этот раз он набрал номер, чтобы спросить о холере. Услышав теплый, с улыбкой, голос, смутился. “Забыл, когда звонил. Свинья неблагодарная”.

— Как ты в этой жаре, Шурёнок? Я лично дышу вроде судака на скорородке.

— Значит, собрался на рыбалку?

— Если объяснишь, что происходит. Скажи, в городе действительно холера?

— Да, Андрюша. Нас перевели на особое положение.

— Нас — это кого?

— Медиков. Все очень серьезно. В южных районах уже несколько летальных случаев. Сегодня в Центральном районе пять человек под подозрением.

— Значит, это на самом деле? Болезнь ...прости, чуть не сказал матом... немых рук...

— Я тебе приготовила... Все для профилактики есть.

— Но разве жизнь такого города можно остановить? Поезда приходят, уходят. Самолеты...

— Я думаю, карантин все перекроют. Тебе для ребят таблетки, хлорка нужны?

— Конечно, конечно! — закричал встревоженный Казарин. — Во сколько ты приедешь? Я прямо сейчас двину домой.

\* \* \*

Казарин зря не учил на военных сборах в Москве методы деморализации войск и населения противника. Тогда бы узнал, что самое эффективное средство — паника.

Прошло двое суток с того момента, как Малько объявил о холере, а зловещая, тысячеглавая, многолапая гидра по имени Паника, разрастаясь на глазах, поползла по городу и области...

Не имея каких-либо точных сведений о том, где проявилась холера, как она протекает, что делают врачи, люди открыли уши слухам. А как работает “сарафанное радио”, служба ОБС (Одна Баба Сказала), известно многим. Если в начале магазинной очереди кто-то говорил о ребенке, простудившем горло мороженым, то к середине людской ленты детей становилось трое-чет-

веро, задыхались они от неизвестной болезни (врачи-то какие? сами не знают!), а уже к концу очереди непременно объявляющаяся в каждом таком скоплении людей энергичная всезнающая тетка без колебаний заявляла, что это — холера, что детей заразили, и надо немедленно найти тех, кто был с ними в контакте.

Не подготовленные к такого рода напастям люди верили всему. Истории разносились одна страшней другой. Говорили, что каждого, кто хотя бы коснулся холерного, немедленно забирают санитары. Сами они в противогазах, в прорезиненных костюмах и обязательно с крючьями. “А крючья, — спрашивали, — зачем?” “Дурак, чтобы холерика не касаться”.

Говорили, что на кладбищах холерных хоронить запретили. Втайне от родственников их свозят в специально отрытые рвы, стаскивают туда крючьями, а сверху засыпают хлоркой.

Хлорная известь за какие-то сутки стала самым востребованным товаром. Ручки всех дверей, начиная от обкомовских и кончая квартирными, были обернуты влажными марлями, тряпками, бинтами, смоченными в хлорке. Самые продвинутые, и Казарин в том числе, перед входом поставили корытца, где в хлорке лежал кусок мешковины.

Говорили, что без мытья рук хлоркой нельзя даже здороваться. Кто пренебрегал этим, оказывался в оврагах или во рвах, куда стаскивали холериков. В подтверждение рассказывали самые невероятные истории. Одну из них Казарин услышал в течение часа сразу от трех человек. Во дворе пятиэтажного дома мужики играли в “козла”. Один поднял руку, хотел крикнуть: “Рыба!”, как вмиг побелел и рухнул вместе с костяшкой. Всех, кто играл с ним, а также болельщиков и двух пьяных у дальнего забора, схватили подлетевшие санитары. На вопрос: где они? — рассказчики уверенно отвечали: в овраге. При этом адреса и овраги в каждом из трех случаев назывались разные.

Услышав эту историю в третий раз, Казарин нервно посмеялся, но вечером ручку своей двери обернул более толстым слоем марли. Другие двери открывал пинком.

Панику усиливали и жесткие меры карантина. Из больниц выписали всех, кто мог долечиться дома. В пустующие школы из резервных складов завезли сотни кроватей. Никто не знал, сколько потребуется — действовали по принципу: лучше перебдеть, чем недобдеть. Остановили отъезд поездов и вылет самолетов. Выпускали только архипроверенных и, главным образом, руководителей области.

Еще больше паники вызывала ситуация с прибывающими поездами. В миллионный южный город, к тому же — туристическую Мекку, в разгар летних каникул и отпусков, как всегда, двинулась масса народу. Их ждали родственники, знакомые, туристические организации. И вдруг поезда начали останавливать на дальних степных разъездах. Жара, голая степь, пятюк домиков и запертые в вагонах люди.

Правда, хаос убрали быстро. Власти стремительно наладили порядок. К поездам доставили воду, разнообразную еду, привезли медиков, включая машины “скорой помощи”. Тут же, в степи, срочно построили туалеты, и многие, особенно молодежь, с удовольствием воспользовались возможностью оказаться в самой настоящей степной природе с нежным утренним рассветом, с переливчатыми красками вечеряющего неба.

Но дальше 100 метров от поездов не отпускали.

Оцеплением охватили все крупные города области. Въезд-выезд полностью перекрыли.

В четверг в кабинет к Андрею зашел его нештатный автор — студент пединститута Мишка Швейцер. Казарин в изумлении уставился на него. Всегда франтоватый Мишка был в солдатской полевой форме. На ремне — с одной стороны фляга, с другой — тесак и подсумок с патронами. Пилотку Швейцер грациозно усадил на рыжей курчавой голове, что Андрею понравилась: он не любил расхлябанности.

— С кем воевать собрался?

— С холерой.

— Будешь отстреливать вибрионы? Иль сразу дристунов?

— А их попробуй останови. Я уже сутки отстоял в оцеплении. Ты знаешь, Андрей Петрович, всю область по периметру оцепили. Я на самой границе с Казахстаном. Шоферы там наши. Узнали: холера напала на Родину. В машины — и к домам... Семьи спасать. Мы им машем: нельзя! Стоим друг от друга сто метров. Куда там! Прут напрямик... по степи.

— Настоящие герои. Защитники родных. Родина — это от какого слова? Учю тебя, Мишка, а все не в коня корм.

— Ты постоял бы там. Приказ: не пускать. А как непустишь? Один стал стрелять по колесам. Прострелил их. Но шоферюга умчал на ободах.

— И что, ни туда, ни сюда?

— Железный занавес, Андрей Петрович.

— Ну, это правильно — порядок должен быть, — начал разглагольствовать Казарин. — А то разбредутся, разнесут заразу.

И вдруг вскочил, как подпаленный.

— Ё-моё! У меня ведь ребята на Дону!

В заботах холерных часов, в подготовке срочного материала о состоянии городской водоканализационной сети Казарин совсем забыл про “фарфористов”. Он даже с Глебом Пустовойтовым только раз встретился: выжили по бутылке пива на Глебовой кухне. Говорили о холере, негромко — о женщинах; в соседней комнате ходила Глебова жена Алла. Она была убеждена в дурном воздействии Андрея на ее мужа. Но велух это не высказывала — добродушный, покладистый, позволяющий ей время от времени покомандовать собой Глеб однажды так взорвался после очередной язвительной реплики в адрес Андрея, что больше она не пробовала отвадить мужа от Казарина.

Впрочем, Андрей был не настолько ей неприятен, как она хотела это показать. По сравнению с другими товарищами и знакомыми мужа он был самым интересным. Остроумный, нередко бесшабашный, но когда надо — собранный, Казарин волновал и притягивал. Одно отталкивало: легкость, с которой он менял женщин. Это вызывало брезгливость и одновременно пугало. Муж вроде ни на чем не “прокальвался”, но чутьем умной женщины, а оно у нее было развито сильнее, чем у крота, Алла угадывала идущую от Казарина опасность. Она понимала, что статного, привлекательного Глеба, создай только условия, с удовольствием подхватит какая-нибудь женщина, и Казарин охотно поможет ему. Поэтому лишний раз Андрей не настаивал на жену друга и чаще звонил ему на работу, чем заходил домой.

Вспомнив о подмосковных рыбаках, Казарин тут же набрал Глебов телефон.

— Ты ничего не знаешь?

— Нет, — простодушно ответил Пустовойтов. — Неужели еще какую-нибудь заразу открыл?

Глеба трудно было вывести из равновесия. На большом, мясистом лице с прямым носом и полными добрыми губами в первую очередь замечались ярко-голубые искристые глаза и сразу же — небольшой рваный шрам на левой щеке. Через много лет после войны мальчишки разбирали мину. Двое остались в том возрасте. Глеба осколок пометил на всю жизнь.

Теперь Пустовойтов заволновался.

— Ну, чё ты меня интригуешь? Рассказывай...

— Помнишь, что мы людей засунули на Дон?

— А-а-а, — с облегчением протянул Глеб. — Я думал, страсть какая. Чё им будет? Надо радоваться. Живи, как первобытный человек. Никто не помешает.

— Кроме карантина. Ты знаешь, что изолировали не только город. По всей границе области стоит оцепление. Ни туда, ни сюда. Карантин на три недели.

— Что ты предлагаешь?

— Надо их вытаскивать.

— У тебя есть “окно” на границе?

— Придется злоупотребить положением. Сначала достать билеты на Москву. О-ой, представляю, что меня ждет! А потом как-то вывезти.

Андрей замолчал, мысленно перебирая кабинеты, коридоры, лица.

— Ищи Влахана. Будет упираться, скажи: морду набьем. Выезд — на пятницу.

— Эт уже завтра.

— Как? Не может быть!

Казарин вскинул взгляд на календарь. Пятница, действительно, была уже завтра.

\* \* \*

Всю оставшуюся часть дня он не давал остыть телефону. Вот когда пригодилось умение добиваться нужного не мытьем, так катаньем. Начальник отделения дороги приказал ни с кем, ни под каким предлогом не соединять. Для высшего руководства была “вертушка”. Для остальных — он перестал существовать.

Андрея некоторое время “пофутболили”, пытаясь послать по кругу. Но надо было знать Казарина. Друзья не зря говорили о нем: “Андрей, если захочет, слона за хобот на пятый этаж приведет”. Где лестью, где металлом в голосе он одолел обороняющихся и достиг ушей начальника отделения дороги. Тот его, конечно, знал и приготовился с мучительной опаской отказать, когда Казарин попросит билет.

Но Андрей не стал ничего просить. Наоборот, он предложил. И предложение сделал заманчивое. Встретиться, поговорить, чтобы потом написать о том, как действует руководство дороги в чрезвычайной обстановке.

Начальник все равно не мог куда-то уходить, а поскольку телефоны приказал отключить, то самое время было побеседовать с известным журналистом.

Отделение дороги находилось от редакции через площадь. Минут сорок Андрей и Главный железнодорожник говорили о неожиданно возникшей опасности, об умелых действиях многотысячного коллектива, о том, что это — хорошая проверка готовности железной дороги к любым испытаниям. “В отличие от областного здравоохранения”, — вставил Казарин, вспомнив издательский взгляд Краснова. Жаль только, многие не понимают, вел свою линию Андрей, какой ценой спасает этот, седой уже, в генеральском мундире человек страну от возможной опасной эпидемии. “Хорошо, хоть семья да умные люди оценят”, — на всякий случай польстил Казарин. Начальник нахмурился, но оспаривать не стал.

— После всего этого надо месяц отпуска — и на Дон! — как бы случайно бросил Андрей. В действительности, сказал не просто так. За те минуты, пока стоял возле секретарши, успел выяснить пристрастия начальника.

— О-о, Дон! О чем вы говорите! Я его вижу-то, когда проезжаю по мосту.

Следующие полчаса они не давали толком сказать друг другу. Перебивали один другого, хватали за руки, генерал пересел за стол к Андрею и стал рисовать самую уловистую, но запрещенную (браконьерская!) снасть — “кольцовку”.

Потом Казарин рассказал, что такой же, как они с генералом, страстью болеют и его коллеги — московские журналисты. Отправил их на Дон, а в понедельник двоих вызывают на работу. “Сами понимаете, мы, журналисты — люди подневольные. Куда самое большое начальство (поднял глаза вверх) пошлет, все бросай и мчись”.

Из кабинета начальника отделения дороги он вышел с тремя билетами в купейный вагон.

С начальником областной Госавтоинспекции полковником Цветковым договориться было легче. Андрей несколько раз писал за него статьи, ездил в рейды, подерживал гаишников репортажами. С подачи Цветкова Андрея наградили значком “Отличник милиции”. Он называл его Орден внутренних дел. Даже звонил Казарин Цветкову не всегда через секретаршу — знал прямой телефон.



— Борис Иванович? Ваш летописец Пимен. Да-да, Казарин. Зайти или обесудим по телефону?

Он рассказал о ситуации. Особо выделил, что руководство железной дороги отнеслось с пониманием к трудностям застрявших на Дону журналистов.

Цветков пообещал выписать пропуска на два мотоцикла с пассажирами и отдельно для Казарина спецпропуск с красной полосой. Она означала: данное лицо проверке не подлежит. Сказал также, что будет предупрежден пост на выезде из города.

\* \* \*

Чем ближе подъезжал Казарин с друзьями к посту ГАИ у границы города, тем больше транспорта стояло на обочинах. Возле самого поста вся дорога была забита грузовиками, легковыми машинами, мотоциклами. Люди показывали милиционерам какие-то бумаги, совали удостоверения, кричали, упрасивали. Одуревшие от жары и бра гаишники вытирали пот с красных лиц и уже никому ничего не отвечали. Молча ходили вдоль перегородившего дорогу барьера с автоматами, опущенными дулом книзу.

Через несколько метров дорогу перекрывал такой же барьер, но с другой стороны. Там машин было совсем мало. Видимо, основную часть отрезали еще на дальних подступах.

Между барьерами ходил капитан.

Не доезжая до самого столпотворения, Андрей крикнул Глебу в ухо, чтобы тот остановился. Казарин и Пустовойтов любили ездить вместе. Владька Филонов сразу всгал сзади.

Андрей бросил шлем в коляску, пошел пробиваться к капитану. Но дорогу ему преградил лейтенант с автоматом. “Куда прешь?” В другой раз Казарин выдраил бы этого лейтенанта. “Фамилия! Звание — четко! А вот вам мое удостоверение. В руки не брать! Мне что, звонить полковнику Цветкову?”

На этот раз было не до воспитания.

— От полковника Цветкова к капитану!

Капитан услышал фамилию начальника, подошел. Казарин показал пропуска на мотоциклы, подписанные начальником областной ГАИ, свой — с красной полосой. Подумал и достал редакционное удостоверение, в которое заранее вложил удостоверение “Отличника милиции”. Последнее особенно произвело впечатление на капитана.

— Наш, што ль?

— Ваш, ваш. Спецздание. Вывозим группу московских журналистов.

Капитан с подручными проделали коридор через людскую толпу. Глеб с Филоновым, не обращая внимания на крики раздраженных людей, быстро проехали раздвинутые барьеры. Казарин прыгнул на заднее сиденье пустовойтовского мотоцикла, и “спецподразделение”, как его называл орущей толпе капитан, помчалось по пустынной дороге.

Это была необычная езда. Шоссе, по которому всегда в обе стороны двигалось много транспорта, было абсолютно пустынным. Изредка появлялся какой-нибудь грузовик на перпендикулярной сельской дороге, пересекал шоссе и, пыля, пропал у горизонта. Жизнь шла, но за пределами большой транспортной артерии.

Часам к семи вечера мотоциклы дотарахтели до знакомого мужикам поворотка к Дону. Дальше надо было двигаться по берегу, вдоль реки. Искать стан. Обычно станы попадались часто. Люди приезжали рыбачить на выходные, немало людей проводили на Дону отпуска.

Сейчас проехали по берегу с километр, но ни одного стана не встретили. Остановились.

— М-м-может, они в-в другую сторону у-ушли? А м-мы п-прем не туда.

— Глеб им рисовал идти сюда, — сказал Казарин. — Тихо!

Неподалеку что-то звякнуло, потом — голос:

— Куда, стерва, прыгаешь? Опять в песке...

— Э-эй! — крикнул Пустовойтов.

— А-а-а... — откликнулось метрах в пятидесяти.

Раздвигая кусты, городские быстро пошли на голос. Место для стана “фарфористы” выбрали удачное. Большую поляну почти со всех сторон обступали высокие деревья: клены, тополя, вязы. Кривые стволы простирали “руки” так, что сверху поляна была закрыта ветками от солнца. В разрывы между деревьями к поляне подходили где плотные, где редкие кусты тальника.

Передняя часть поляны свободно открывалась Дону. Вода была недалеко — метрах в десяти. Мелкий, почти белый песок полого уходил к воде сразу от поляны.

Противоположный берег был крутым, обрывистым и, к удивлению впервые попадавших сюда, не бурым, не рыжим, не зеленым, какими бывают каменистые, глинистые или заросшие кустарником берега, а белым. Правда, не сплошь белым, а местами с зеленью, но белый цвет был главным. Здешние жители, а от них — рыбаки называли крутые берега меловыми горами, и кручи оправдывали свое название. Кое-где они были выпуклыми, как животы великанов, потом “животы” уменьшались, “худели”, и над рекой вставала ровная, высотой в десятки метров стена из мела.

А этот берег был настолько пологим, что в двух метрах от уреза воды можно было разглядеть дно. Если глаз не захватывал плывущей вдали ветки или на воду возле берега не падал листок, то сколько бы человек ни вглядывался, он не мог заметить течения. Вода как будто не текла, а стояла. На вид тяжелая, словно расплавленная прозрачная смола, она еле заметной волной ластилась к береговому песку.

На поляне, заняв небольшую приподнятость, рыбаки умело поставили палатку. Там и тут между деревьями были натянуты шнуры с нанизанной на них рыбой. Чтобы спасти добычу от мух, снизки обернули марлей.

— Хорошо устроились! — крикнул Казарин поднимавшемуся от костра мужику. Это был горбоносый — Сергей Михайлович.

Тот радостно заулыбался, забросил тыльной стороной руки черную шевелюру, спадавшую на лоб. В руке у него был нож: Сергей Михайлович готовил уху в большом конусообразном котелке.

— Рыбы тут — мама родная! Привезем на весь завод.

— А ты ничего не знаешь? — показал Андрей на свисающий с дерева радиоприемник. Оттуда урчала музыка.

— Не-а. Цены, што ль, на водку подняли?

— В городе холера.

Горбоносый разявил рот, выронил нож и полным идиотом устоялся на троицу.

— Люди начали умирать, — неохотно проговорил Пустовойтов. — Карантин. Никого не выпускают.

— А-а-а! — заорал горбоносый и бросился к ближайшему колу, за который была привязана растяжка палатки.

— А-а-а! — продолжал орать он, раскачивая кол. Тот вылез, палатка слегка деформировалась. Бросив выдернутый кол, Сергей Михайлович подбежал к другому.

— Холера! Это смерть! Это — черная смерть! — кричал он, расшатывая очередной кол.

— Да ты чё, с ума сошел? — подбежал к нему Пустовойтов. Оттолкнул горбоносого. Тот упал, рукой ударился о топорик, схватил его.

— Холера... Мы все умрем. Надо к врачам. У меня жена — медсестра.

— Остановись ты, полоумный! — строго осадил Пустовойтов. — Куда сейчас бежать? Переночуем... Завтра поедем. А где спать будем, если палатку порушишь? — улыбнулся он, и эта улыбка большого спокойного человека, искрящиеся голубые глаза сразу отрезвили горбоносого.

— Где остальные? — спросил Казарин, тоже сдвинутый со спокойствия буйной реакцией горбоносого.

— На хутор пошли. Хотели встречу сделать. Ухи вон — мама родная. Вина принесут...

— В-вино ник-какая холера н-не возьмет! — довольно осклабился Филонов. — Он стал в последние годы перебирать с выпивкой, и друзьям это не нравилось.

Подогнали мотоциклы. Быстро разобрали снасти. Каждый присмотрел место. Закинули донки. Лучше всего было ловить с резиновых лодок. Опускаешь на дно свинцовое кольцо с привязанной к нему кормушкой, через кольцо пропускается леска с крючками. Течение разносит прикормку, и в этом шлейфе болтаются крючки с наживкой. Ловили огромных лещей, крупных зобанов. Глеб Пустовойтов с лодки блеснил. Судаки, щуки, сомы всегда были общей добычей.

На этот раз лодки даже не планировали брать. Важно было разместить груз “фарфористов”.

Вдруг вдалеке послышались голоса.

— Наши, — уныло сказал горбоносый. Он еще не успокоился и безразлично глядел на уху.

Вначале голоса доносились одним гулом. Потом стала различаться мелодия.

— Карузы — Шаляпины идут, — хмыкнул Андрей.

— Н-настоящие люди у-уже отдыхают, — заволновался Филонов, — а м-мы — ни в одном г-глазу.

\* \* \*

Они знали друг друга с семи лет. До окончания седьмого класса учились вместе. Но росли в разных условиях. Отец Глеба руководил крупным строительным управлением — по тем времена большой начальник. Рослый, громогласный и добродушный, он имел три страсти. Работу. Женщин. Выпивку. Жена его, Тамара, — маленькая, красивая, приятно-пышная женщина была бухгалтером. Мужа любила, бешено ревновала, то и дело старалась встать поперек пьяных застолий. Знала: там, где водка, там будут бабы. Умер дядя Семен молодым: в 46 лет. От инфаркта.

Владька Филонов жил с матерью — высокой, прямой, как ствол, всегда мрачноватой женщиной. С мужем — трубачом эстрадного оркестра, она разошлась. Тот ушел к певице оркестра. Однако Владьку не только не забывал, а, наоборот, постоянно таскал к себе. Заставил учиться в музыкальной школе — там они тоже оказались с Глебом в одном классе: пиликали на скрипках. Покупал хорошую одежду, порой даже какую-то сказочную. Андрей навсегда запомнил Владьку на одном из классных концертов: бархатная курточка, короткие, стянутые под коленями штаны, белый бант под подбородком. И скрипка, на которую склонил голову красивый мальчик.

Владька с детства заикался. Этот недостаток сильно нервировал его, выставлял в глазах товарищей неким уродом. С близкими капризничал, требовал особого отношения, становился лодким в настроениях. Срывов и нервности добавляли конфликты матери с отцом. Отец — дядя Саша — человек мягкий, ласковый, старался оградить Владьку от скрипучих, злых выкриков матери, ее перекошенного ненавистью лица. Чувствовал себя виноватым, забирал мальчишку на рыбалку. Заодно прихватывал Глеба и Андрея Казарина.

Когда Владьке исполнилось двадцать лет, отец купил ему мотоцикл “Урал”.

У Казарина жизнь была совсем другой. Рос без отца, с матерью и бабушкой. В первых классах учился очень хорошо. Мать, задыхаясь от безденежья, покупала по просьбам учителей подарки Андрею к окончанию очередного класса. Учителя потом вручали подарки вроде как от школы — за хорошую учебу.

Но с шестого класса Андрей пошел вразнос. На улице — карты, товарищи за пределами школы — шпана.

Его еле перетаскивали через седьмой класс. И не по успеваемости — тут по-прежнему все было хорошо. По поведению. Он вдруг все чаще стал оказываться организатором различных безобразий. Один раз подложил петарду под стул учителю физики. Взрыв, хохот, пинком из класса.

В другой раз пригляделся: учительница биологии подойдет к углу стола и трётся, трётся об угол черной юбкой.

Он намазал угол стола мелом. Когда учительница отошла, девчонки прыснули, ребята загоготали.

В восьмой класс он не пошел. Подал документы в механический техникум. Но и там долго не задержался. Стал работать. Сначала на металлургическом заводе, затем — слесарем в тресте “Продмонтаж”.

Родители товарищей, особенно Владькина мать, запрещали иметь дело с Андреем. Курит. Ругается. Начал выпивать. Без образования. Работяга грубый, да и только.

Потом была вечерняя школа. Три раза поступал в университет. На третий год родня отказалась понимать его. “В какой-то ниверситет лезет. Вон какие у нас институты! Сельхоз. Педагогический. И самый лучший — Горхоз (институт инженеров городского хозяйства). А ему давай ниверситеты!”.

Когда впервые приехал на каникулы студентом факультета журналистики, многие были изумлены. Уже не запрещали, а советовали знаться с Андреем.

Особенно матери девчат. Да и Владькина мать стала снисходительней. Ее все больше беспокоил сын. Кончил техникум и перестал учиться дальше. Глеб после техникума пошел в вечерний институт. Одновременно работал в крупном проектном институте. Два года был за границей — строил прокатный стан. Вернулся — занял высокую должность в своем проектном институте. А Владька так и застрял в мастерах, все дальше отставая от товарищей.

Андрей всегда считал, что карьеру многим мужчинам помогает делать женщина. У него был даже постоянный тост: “За мудрость женщины!” Он знал немало случаев, когда немудрые, самовлюбленные женщины губили и себя, и мужа.

Владьке не повезло. Правда, везение — это работа обеих душ и умов. Считать, что в твоих жизненных бедах виноват лишь кто-то, а ты здесь ни при чем — признак слабодушия, а то и слабоумия. Жена Владькина — маленькая, ниже его плеча женщина (Филонов, как и Глеб, был рослым мужчиной) — сразу заявила, что муж — ничто, и в семье главная — она. А на бабу взглянуть нельзя было без слез! Маленькие косточки обтянуты тонкой кожей; не то, что бедер и грудей — мышц на теле не было. На маленькой головке реденькие, пегие волосы и огромные, как окуляры водолазного скафандра, очки с толстенными стеклами.

Быть может, Владька бросил бы эту сову, но она успела родить дочь. У Филонова остались две отдушины: рыбалка и вино.

Услышав приближающуюся песню, он засветился, стал помогать горбоносому помешивать уху в котелке, не закончив, отдал поварешку и заспешил мыть стаканы в прозрачной донской воде. Его как током подергивало от предчувствия скорой выпивки.

Песня уже вошла в густой тальниковый кустарник метрах в двадцати от поляны, и два слаженных голоса громко допытывались:

— Зачем вы, девочки, красивых любити-и...

— Одни страдания ат той любви?..

Шагнув на поляну, Валентин Иванович и художник с радостью увидели Казарина и его друзей. За спиной каждый держал по полосатому, из матрасной ткани, мешку. Примерно на треть матрасы были набиты чем-то тяжелым.

— Во! Не успели вам стол накрыть! — крикнул Валентин Иванович. А развеселый художник песенно добавил:

— Дорога дальная — в казенный дом...

— Щас протрезвешь, — снова входя в тряс, объявил горбоносый. — Приехали мы, мама рóдная. У них в городе холера!

Оба певца разом отпустили мешки, и матрасы со звяком упали на песок.

— Э-э, вы чево? — подбежал к мешкам Казарин. — Ну, холера! Подумаешь! Не атомная бомба. От нее спасенье есть. Мы привезли хлорки. Главное, вас вытащить. Все дороги перекрыты. Прибывающие поезда останавливают в степи. Выезд — по особому разрешению.



— Особый случай, — спокойно заметил Пустовойтов.

— Да, особый. Но и в обычные дни не сказать, что много станов по берегу. А пройдет лет двадцать, будет в каждой семье одна-две машины, дорог настроят. Добраться сюда — два пальца опisać. Это сейчас мы на мотоциклах скребемся три часа. Машина доставит за час.

Захаров снова наполнил стаканы. Горбоносый по второму кругу начал разливать уху.

— И вот приедет Валентин Иванович через двадцать лет на Дон. А Дона нет.

Горбоносый замер с половником над чашкой.

— Куда он денется? Выпьют, што ль?

— Нет, река Дон останется. Берегов не будет. Каждый метр займут машины. Лесок вырубят на костры. Сортиры строить у нас не принято, поэтому все вокруг станов будет в говне.

— Н-ну, и нарисовал т-ты ка-а-артину Ш-шишкина “У-утро в с-сосновом лесу”.

— Так что в сегодняшнем плохом есть и хорошее. А в завтрашнем хорошем приличный кусочек дерьма. Такова логика развития цивилизации. Тысяча лучников не убьет столько людей, сколько один человек, сбросивший атомную бомбу.

Вдруг звякнул колокольчик на чьей-то донке.

— Моя! — вскочил художник Игорь. Любопытный Сергей Михайлович тоже встал. Остальные продолжали кто сидеть, кто полулежать возле костра, рядом с которым была расстелена клеенка и лежала еда.

— Крупняк! — крикнул от воды Игорь. — Лещ... Таких не было.

— Какую рыбалку испортила, — с грустью сказал профорг.

Все опять подумали о холере, и что-то жутковатое возникло во всеобщем настроении. Так бывает, когда давящая, подступающая со всех сторон ночь накрывает тебя в незнакомом, от темноты непроходимом лесу, и, понимая, что двигаться дальше невозможно — сломаешь ногу в навороченных невидимых навалах, останавливаешься; еще недавно большой смелый человек, вдруг начинаешь шевелить ушами, как лось, и уши вырастают чуть не в локаторы, чтобы уловить, откуда подползет, а потом прыгнет опасность.

— Может, ее нам заслали? — с недоумением спросил подошедший горбоносый. Он потянулся за стаканом, но Андрей резко остановил его:

— Руки! И ты, Игорь, руки помой!

Они с самого начала налили раствор хлорной извести в бутылку, привязали к дереву и, наклонив, ополаскивали руки.

— А чё! Э-запросто! Вон м-мы со своей ж-живем... я б-бы сказал: кошко-собачась. Уб-била бы, г-говорит. Ам-мериканцам нас отравить — м-милое дело.

— На хрена мы им нужны? — буркнул Пустовойтов. Взял стакан, потянулся за помидором. — Мы сами себе любую холеру сделаем. Наверху не найдем — где-нибудь откопаем.

Казарину не понравилась неожиданная для Глеба брюзгливость. Он в любой компании умел стачивать острые углы, а когда предстояло обаять очередную женщину, проникновенному воркованию Глеба не было предела.

— Вы рыбу всю засолили? — спросил он Захарова.

— Нет, часть закопали в песок. С утра выпотрошим, переложим крапивой.

— Т-там у вас р-рыбалка-то к-как? Н-на жареху п-поймать можно?

— Можно, — ответил еще сильнее захмелевший художник. — Маленьких отпускаем, а больших складываем. В спичечный коробок.

Все засмеялись, представив улов. Большинство ухи уже наелись и стаканы трогали неохотно. Только Владька Филонов и художник Игорь, подвинувшись ближе друг к другу, молча стучали стакан о стакан. Дров для костра “фарфористы” заготовили достаточно и костер поддерживали только против комаров. Брошенные в него две-три сырые ветки начинали дымить, ветерок нагибал дым то в сторону палатки, то на лежащих вокруг клеенки людей, и комарье пока не зверело.

Река, и без того в этих местах петлистая, здесь делала такой крутой поворот, что километров двадцать шла почти параллельно своему прежнему курсу. Из-за этого солнце садилось не со стороны меловых гор, где был запад, а в лесах и лугах пологого берега Дона. Светлость еще сохранялась вблизи палатки, но удаленный кустарник стал сливаться в одну темно-серо-зеленоватую массу.

Зато, начиная с середины Дона и дальше, до противоположных крутых берегов, вода сверкала. Словно полотнище тонкого сусального золота, приготовленное для покрытия огромного купола храма, временно положили на гладкую воду, а оно вдруг возьми да и расплавься.

— Господи, как хорошо все это, — тихо произнес Казарин. Он лежал, подставив левую руку под голову, и боялся шевельнуться, чтобы взглядом не сдвинуть золотого полотнища на середине реки. — Жить бы и жить вечно...

— Хотя бы долго, — также негромко сказал Пустовойтов.

— Долго — это все относительно, Глеб, — задумчиво продолжал Казарин. — Нищим, бедным студентом я купил книжку Мечникова. Чем ее название меня зацепило — “Этюды оптимизма” — сам не знаю. Но я ее начал читать. И два открытыя сделал для себя... На всю оставшуюся жизнь. О пользе молочнокислых бактерий... они продлевают жизнь... С той поры начал пить кефир. Ненавидел его до этого. Кислица... как сейчас вспомню — морду косоротит... На нормальный обед денег нет... Спасибо Хрущеву — сделал тогда в студенческих столовых бесплатный хлеб и, кажется, бесплатную капусту... В другом-то он — ба-альшая пада, а в этом — спасибо ему. Хлеб возьму... капусту... На чай наскребу. И обязательно — стакан кефира. Чтобы не скосоротило, добавлял ложки две сахара...

А второе... Как раз насчет жить долго. Мечников был убежден — нормальная жизнь человека — 120 лет. Потом ему самому надоедает.

— Хороший срок, — согласился Глеб. — Куда больше?

— Не знаю... Мне, наверное, никогда не надоест. Я вообще считаю: люди должны жить вечно. Надоело? Можно на время прерваться.

— Где же их всех разместить, если вечно жить будут? — спросил горбоносый. — У меня девять машин в транспортном цехе, а шоферов пятнадцать. Это которые на заводе. За ворота выйти, там еще сто рыл. А по стране — мама родная!

Наконец-то Казарин вспомнил, где видел этого горбоносого Сергея Михайловича. Начальник транспортного цеха! Два раза возил их с Захаровым по городку. Потом отвез Андрея к электричке с большой картонной коробкой, в которой был упакован купленный под видом некондиции хороший сервис.

— Это, Сергей Михальч, вообще не проблема. Мы сейчас... я имею в виду люди, человечество, живем как в начале освоения земли. Ну, разве это дело: дороги в городах — по земле, заводы — на земле, склады — на земле, дома лепят по сто этажей — тоже на земле. По ней гулять надо... по земле. А ее заводами и свалками увечат.

Я не знаю, сколько времени пройдет... может, сто, а может, меньше, но люди все, что называется инфраструктурой, уберут в землю. Мы уже свободно можем создавать под землей помещения, где благодаря компьютерам, новым осветительным приборам в комнатах будет настоящий дневной свет, здоровый воздух для дыхания, где за искусственными окнами — их не отличишь от сегодняшних на земле, они даже лучше будут, человек увидит, как настоящие, живые пейзажи. Захотел — берег моря... с шумом волн. Захотел — лес. И даже войти можно.

А про всякие склады, заводы, магистрали и говорить нечего. Единственная опасность — тектоническая. Но даже современная наука используется не на всю катушку. Появятся новые, неведомые нам сегодня прочные материалы.

Но земля — это маленькая часть возможностей. Океан — вот где могут процветать жить миллиарды людей. И не надо строить платформы, цепляться за дно. Дома со всеми удобствами, с разнообразными пейзажами за окном, с видом на зеленую лужайку с балкона, можно построить в глубинах

океана. Математические расчеты, опять-таки новые, пока незнакомые материалы, современные гироскопы позволят каждому дому, в каком человек захочет жить, — огромному или маленькому, “висеть” в глубине воды ровно, не подвергаясь никаким штормам.

Сейчас мы застраиваем, забываем, уплотняем землю коробками домов, создаем в одной плоскости магистрали, душимся от этого в пробках, а под землей делаем тоннели в разных направлениях, на разных уровнях.

— С-сказки братьев Г-гримм. Научили т-тебя, А-андрюха, сказки ра-асказывать. Только г-где деньги взять?

— Помолчи, Влахан, — грубо оборвал сбитый со своих видений Казарин. И, немного смутясь от этой резкости, добавил:

— Может, мы еще к старости чего-нибудь застанем.

— Ну, если к старости по Мечникову, — примиряюще заметил Глеб, — то застанем. Сто двадцать лет — хороший срок.

— А я вот не могу себе представить, — снова взволновался Андрей, — что такое сложное существо, как человек, исчезает бесследно. Ну, посмотрите: какие тончайшие и необъяснимые, какие скрытые процессы происходят в недрах костяной коробки, когда человек думает!

— Ты всех-то не обижай таким подозрением, — с улыбкой бросил Пустовойтов. — У нашего Влахана вся скрытая работа ума лежит на поверхности коробки.

Филонов услышал свое имя, повернул голову в сторону Глеба. Но не заметив продолжения, опять подтолкнул стакан художника, наполненный вином.

— Ну, ладно мышцы, кожа, кости — это все материальное, можно потрогать. А мысль? Вот мы думаем с тобой, видим там где-то... в мыслях, разные картинки, лица... Что это такое? Биохимический процесс? Нет, Глеб, пусть я темный, но не могу согласиться, что мысль, — не сам мозг, а мысль... может просто сгнить в земле.

От донской воды качнуло ветерком. Костер вспыхнул, и, как по команде, на всех набросились комары.

— Ё-моё! — вскочил Казарин, отмахиваясь. — Как мы спать-то будем? Палатка на сколько?

— Пятиместная, — ответил Захаров. — Но там десятерых можно уложить.

— Друг на друга, — скабрезно хмыкнул горбоносый. — Из-за отсутствия женских пар будем спать с комарами.

— Э-э-э, давайте их вы-ы-травим!

Заметно охмелевший Влахан не на шутку раскипятился:

— Я н-не могу! У меня кровь с-сладкая.

— У тебя не кровь. У тебя “Агдам”.

— Те-б-бе все шутки, Андрей. П-посмотрим, как тебя б-будут жрать.

— После тебя им никого не захочется. Тем более, кусают только комарихи. Все лучше, чем твоя Нинка.

\* \* \*

Уснули почти сразу все. Городские устали за день, да еще набрались вина. Влахан и художник спали лицом к лицу, время от времени всхрапывая друг на друга. Горбоносый то бормотал, то вскрикивал во сне, толкал лежащего к нему спиной художника. Самым крайним с этой стороны палатки лежал Валентин Иванович. Он недолго повздыхал, повернулся и тоже уснул.

У другой стены палатки — спинами друг к другу — лежали Казарин и Глеб. Андрей попробовал пальцем зарисовать на стене палатки светлое пятно от костра, едва видимое через ткань, но голова кружилась, и вскоре он уже храпел.

Проснулся от того, что кто-то сел ему на живот. Не понимая сквозь сон, кто это так охренел — может, Глеб спяна? — он двинул руки вперед, чтобы столкнуть сидящего. Руки ни во что не уперлись, упали наземь, а сидящий вроде как шевельнулся и сильно надавил на живот. Казарин, смутно



просыпаясь, сел. В животе сперва полегчало, но тут же внутри как будто резанули бритвой.

“Что за чертовщина?” — пробормотал Андрей и, согнувшись, втянув живот, чтоб не повторилась резь, пополз на четвереньках из палатки. Нашупал фонарик, высунул голову наружу. Приподняв ее, исподлобья увидел темное, все в серебристых звездах небо, вдохнул похолодавший влажный воздух от близкой воды и только хотел порадоваться всему этому, как в животе забурчало, где-то в середине его уколело и нечто выпирающее стало давить к заднему проходу.

Схватив фонарик и забыв про кроссовки, согнутый пополам Андрей ринулся как можно дальше в кусты. Едва успел спустить штаны, как из него с треском и рыком понеслось.

“Чё ж это я сожрал? Может, Влахан пожалел чаю на огурцы? Скорей, “Агдам” попался... О-о-о! Несет! Поганый “Агдам”... Дорвались...”

После нескольких приступов стало легчать. Андрей еще посидел на корточках, улыбнулся в темноте (“сизу, как орел на скале”), и в тот же миг сознание обожгла мысль: “Холера!”.

“Нет... нет... какая холера? что-нибудь немьтое попалось... колбаса вроде с душком...”

Он распрямился, в животе оставался неуют, но не такой, как прежде.

“Холера... Она б устроила стул... Придумали, паскуды: стул. Понос!.. Все понятно. Краснов говорил, через пять — десять минут... Часы надо взять... Куда их сунул, дурак?”

Андрей раздвинул кусты, чтоб пойти в сторону палатки. Но тут боль опять пересекла живот.

— У-у-у, — эт что ж такое?

Он снова бросился в кусты. Теперь позывов было меньше, однако каждый раз изнутри как будто что-то выдирало крючьями.

“Обезвоживание... Скоро нечем будет дрить... пошли какие-то капли”.

И тут он понял: это Холера!

Отпал боком в сторону от места присидки, лежа скорчился, зажмурил глаза, ожидая очередного нападения каких-то вибрионов на его внутренности в животе.

“Где ж это зацепил? — с пронзающей тоской подумал Казарин. — На работе? Там все в хлорке. Глеб? Этот сразу стал аккуратен... Алку драит. Влахан? От этого козла всего схватишь... Жрет, даже руки не моет. Капитан! Вот чьи лапы он жал, а сколько на них вибрионов...”

Не то от прохлады земли, на которой, скрючившись, лежал Казарин, не то от свежеего ветра с Дона его начало трясти. “Озноб... Кажется, Краснов говорил про озноб... Это что ж — дело к концу? Как к концу?! — мысленно вскричал Казарин. — Конец — это смерть? Это что ж... конец того Мига?! Маленького отрезка — конец?”

Андрея снова, как много лет назад, сковал Ужас. Он всегда его помнил... С того февральского вечера.

Тогда он плелся по улице — она шла меж частных домиков в гору — с компанией своих товарищей. Кому восемь-девять... Кому — двенадцать. Они тащили в гору санки, чтобы потом за десять минут съехать на большой скорости с километровой крутой улицы-дороги.

Ему было одиннадцать. Любитель лазить по разным книжкам, зачастую не для его возраста, он за день до того прочитал в какой-то книге, что свет от ближайшей к нам звезды созвездия Альфа Центавра... этого Центавра почему-то запомнил особо... свет до нас идет миллион лет.

Он шел в гору, тащил тяжелые санки. Пальтишко, как у всех, утеплено простеганной ватой, шапка — треух с надорванным ухом — или кто хватил, или сам отбивался; правый валенок в носке протерся, и Андрей старался ступать на пятку, чтобы меньше снега попадало в дырку.

От ходьбы шапка спустилась на глаза. Он двинул ее со лба назад, поднял глаза и в просвете между сырыми, несущимися тучами увидел звезду.

В тот же миг неожиданная мысль приковала его к месту. А вдруг это та — из Альфа Центавра? Может, она потухла... Ее уже нет... А свет все идет. И будет идти миллион лет...

Его охватил Ужас... Что ж тогда наша жизнь? Он стоял, как примороженный к земле, и не мог представить себе этого миллиона. Только мысленно перебирал слова: умрет бабушка... состарится и умрет мать... Вырасту большой... состарюсь... и умру я. А свет от этой Центавры все будет идти... идти. И что же наша жизнь? Миг? Меньше мига?

Андрей бросил санки. Прибежал домой, уткнулся бабке куда-то ниже груди и так горько рыдал, как никогда до этого не плакал.

Испуганная бабка гладила его, трясла, целовала в мокрые щеки, все добивалась услышать, что произошло.

А он ничего не мог ей сказать. От Ужаса и Жалости. От Жалости к ней. К матери. К себе. К своим товарищам. Ко всем людям на земле.

С годами тот Ужас — огромный, липкий, черный, шевелящийся, как нечто кальмарно-жабье, стал являться Андрею реже. Скорее потому, что Казарин, чувствуя его приближение, напрягал все силы воображения и плотно забивал мысли чем-нибудь другим.

Но насовсем тот Ужас Мига так и не исчез из Андреевой жизни. Иногда он внезапно, как дьявол, появлялся откуда-то из глубин сознания, леденил душу и словно спрашивал: ну, как живешь? ты не забыл, что жизнь — это миг? А дальше — ничто. Сколько таких было до тебя?.. ты их можешь представить... знаешь, как они жили... Но они никогда не узнают, что стало после них. Они также хотели жить... обнимать женщин... но их нет... от каждого ничего не осталось... даже пылинки... малого атома... Так же будет с тобой... Со всеми, кто рядом сейчас и кто появится позднее... Никто не избежит конца и растворения в небытии...

Бурная юность и переполненная контрастами взрослеющая жизнь с ее радостями, страданиями, здоровьем, распирающей силой быстро заглушали изредка прорывающиеся в сознание мысли о неизбежности исчезновения, но сейчас, увидев явственно конец Мига, Андрей почувствовал, что каменеет от ужаса.

“Рвота... — вспомнил он слова Краснова. — Леденеют конечности...”

Казарин изогнулся, тронул ступни ног. Они были холодные. И пальцы рук — он четко это ощутил — ледяные. “Как зимой... когда без перчаток”...

В этот момент, видимо, от того, что изменилась застывшая поза, в животе что-то сжалось. Андрей вскопчил, попытался задницей в кусты. Организм не выделил больше ничего. Только спазмы прокатывались внутри живота.

“И это все? Дальше судороги? Я теряю сознание? Как теряю? И больше не очнусь? Значит, конец моего Мига? Господи! Сделай что-нибудь! Я еще молодой... тридцать два года... Наверно, много наподдил... Значит, я больше ничего не увижу? Завтра будет течь Дон. И послезавтра. Встанут мужики. А что будет через десять лет? Все забудут, что был такой... Будут новые люди... Города, о которых я говорил... А я ничего не смогу увидеть. Хоть бы лежать где-то... смотреть... радоваться за них... ругать...”

Но меня же не будет! Сгниет кожа на руках и ногах. На голове останутся волосы... Череп останется... А куда денется то, чем я сейчас думаю? Что это — мозг? Душа? Господи! Помоги мне! Мне надо жить!”

Казарин полураспрямылся — живот как будто кто сжимал. “Сейчас заведу мотоцикл... Ключи у Глеба... Трогать его нельзя... Нельзя никого трогать... Влахан говорил: его мотоцикл можно завести спичками... Три спички. Надо тихо откатить. Проснутся... будут трогать... этого нельзя... Наверно, смогу завести... Ездил когда-то... Мне бы до хутора... Только до хутора... До телефона... Убью, если не дадут телефона. Краснова подниму. Буду умолять... никогда больше никакой критики... Только дозвониться... Пусть вертолет поднимает... Быстрее в больницу... Кроссовки надо... Упрощу Краснова... Миленький Юрь Василч... никогда не забуду... Где эти кроссовки — суки? Может, возле костра уронил? Штой-то звенит? В ушах звенит?”

Но звон повторился, и до Андрея дошло, что это тихо звонит колокольчик на донке. Тут же сработал рефлекс: надо подсесть. Он попробовал распрямиться.. Живот резануло. Андрей согнулся, но поспешил в темноте по сырому песку на звук колокольчика. “Последний раз...” — подумал на бегу.

Поддернул леску. В глубине рванулась рыба, потянула снасть. “Последний раз... Пусть последний в жизни”, — бормотал согнутый пополам Казарин, тем не менее ловко вытаскивая леску и рыбу из глубины. Выдернул на песок и не столько на прыгающий звук шлепков, сколько на видимые очертания — оказалось, светлота уже стала размывать ночь, он кинулся ладонями на рыбу, придавил ее. Это был хороший зобан. Андрей глядел на него, еще плохо различимого, но тутого, высекающего, с азартом добытчика-победителя и в то же время с грустью человека, не знающего, зачем ему этот трофей и для чего он лишил жизни живое существо. Куда его? Выпустить? Но я его трогал. Унесет смерть... Бросить в яму в песке, где лежит остальная рыба? Еще хуже. Люди заразятся.

Пока возился с зобаном, сильно зазвенел колокольчик еще на одной донке. Она была самой дальней. Стремясь успеть, Казарин, полусогнутый, бросился по берегу. Азартно подсек, машинально выпрямился, чтобы оттянуть леску дальше назад. В животе что-то слабо кольнуло. Но страсть сразу погасила эту боль от укола: в глубине реки был достойный противник, и Андрей не мог ему уступить. То быстро, то медленно стал выводить леску, не давая рыбе сорваться.

Теперь попался хороший, метра на полтора, сом. Андрей вывозился в соминой слизи — “соплях”, долго доставал палкой из пасти крючок — сом заглотил основательно. Когда освободил леску и поднял сома под жабры, вдруг увидел, что на берегу стало светло.

— Ё-моё! Что это было? — шепотом спросил он себя, прислушиваясь ко всему своему организму сразу. К животу. К мышцам рук, держащих сома. К напряженным икрам ног. Пошевелил во рту языком: сухой, царапает, но облизнул, вроде посырел.

— Э-э, — крикнул негромко.

Краснов говорил, что будет только хрип.

— Э-э-э! — заорал Казарин, с радостью вслушиваясь в свой силоватый рев. “А-а, еще лицо... Нос заостряется... проваливаются щеки... Тогда совсем конец”.

Андрей бросил сома, обхалпал липкими, все в слизи, пальцами нос, брови, щеки. Все вроде было на месте.

— Фу, ё-моё! Мудак... теперь сам, как сом.

Он пошел прямо в штанах в воду, стал плескаться, чтоб смыть слизь.

— Ты чё орешь? — вылез наполовину из палатки Пустовойтов. Андрей из-под руки оглянулся. Лицо Глеба было помято, черные волосы сбились, как стрелы дикобраза, толстые губы отвисли, и даже яркие голубые глаза словно присыпало пеплом костра.

— Жить надо, а вы там... Миг упускаете. Небось, буксы горят?

— Горят, Андрей. Все во рту пересохло. Налей чаю. О-о, да ты сома поймал!

“Что ж это было? — разламывал голову Казарин. Он налил холодного чаю Глебу. Сам ничего трогать не стал. Чувствовалась слабость, но разгорающееся утро, прохладный туманец с реки быстро возвращали силы. Только обычной уверенности в себе не было. Как будто пришел из другого мира и все вокруг не очень знакомое.

— Я думал, тебя больше не увижу. Никого не увижу. Ничего...

— Собрался втихаря рвануть?

— Меня несло полночи. Все признаки холеры. Что Краснов говорил, испытал на себе. Хотел в хутор на твоём мотоцикле, но это тебя трясти... ключи искать.. А дотронулся — ты следующий.

— Дурак, — спокойно сказал Глеб. Отхлебнул чай, поднял синий взгляд на Казарина.

— Я бы тебя на руках унес.

Помолчав, добавил:

— Нельзя жить вечно... Но сколько дано, надо прожить человечно.

На разговор вылезли остальные. Стали быстро собираться. Вчера расхорихорились, о холере говорили с усмешкой, как о знакомой старухе, которая

заслуживает жалости. Сегодня помрачнели, чуть что — к бутылке с хлоркой, вспомнили, что Андрей обещал какие-то таблетки.

А он мысленно повторял один и тот же вопрос: “Что это было?” и сам себе строил разные ответы. Напоминание о скоротечности жизни? Этого Мига, который случайно нам дан стечением обстоятельств или какой-то высшей силой? Сигнал о том, что все может быть оборвано в одно мгновение, и останется только то, что успел сделать, а про всякие мысли, планы, расчеты не узнает никто и никогда?

Значит, надо уплотнять Миг, стремиться сделать больше. А что может сделать больше обыкновенный человек? Такой, как он, как миллиарды бывших до него, существующих сейчас и тех, кто придет позднее? Отмеченные Богом таланты, гении — добрые или злые — эти могут что-то сделать в отпущенный им Миг. Александр Македонский... 33 года. Иисус Христос... То же 33... Пушкин... Немного больше, но уплотнил свой Миг... А другие? Что можно сделать больше каменщику? Сложить больше кирпичей? Плотнику, который рубит дома из деревьев... Больше домов? Леснику, из чьих деревьев дома... Больше посадить деревьев?

Но, наверно, не это главное для нашего короткого Мига. Как там сказал Глеб? Если нет вечного, надо сделать больше человеческого? Вот она, цель нашего Мига. Человечное — это если даже одного согреть... того, кто заглянул в холод Ужаса... заставить его поверить, что и он не уходит бесследно. Мозг — это что? Желеобразная субстанция? А мысль? Страдание? Радость от того, что я снова вижу утро? Это что? Разве может это сгнить?

Человечное — это не когда рыдаешь над упавшим с балкона телом. Человечно — протянуть руку вставшему на перила балкона. Зажечь кусочек своего Мига, чтобы тот, на балконе, почувствовал идущее от тебя тепло и захотел вернуться к жизни.

А я подавал руку? Или толкал? Говорили: подавал. Но сам-то знаю — и толкал. Ну, может, не с разбегу... но не протянуть руку, излучающую тепло — это помочь толкнуть.

Очень хочется жить! Но хотел бы остаться жить ценой жизни других? Не знаю... Влахана тоже не собирался трогать... Вот кому надо руку подавать... А та... крыска в скафандре... чаще гонит к балкону. Чего он кричит? Меня, что ль, зовет?

— А-андрей! Н-не проснешься никак? Г-глеб тебе не д-докричится.

— В чем дело, Глеб?

— Ты, как всегда? Со мной?

Казарин, не выходя из своих мыслей, кивнул. Вещи на мотоциклы были уже упакованы и напоминали брустверы, из-за которых можно было стрелять. Художник сел на заднее сиденье “Урала”, втиснувшись между Владькой Филоновым и бруствером из вещей. Горбоносый королевствовал в коляске, блаженно доустриваясь в уютном гнезде.

Валентин Иванович стоял возле Глебового мотоцикла, ждал, когда займет место Казарин. А тот глядел на заросли кустарника, где корчился ночью от боли, поворачивал взгляд на Дон и словно прощался с какой-то значительной частью своей жизни.

— Садись, — подошел к нему Пустовойтов. Он понял мысли друга. — Ты же сам знаешь: ничего не изменишь. Об этом лучше не думать.

Пока мотоциклы трясло и бросало на ухабах проселочной дороги, Андрей, действительно, ни о чем, кроме как о спасении тела от ушибов и возможных синяков, не думал. Но когда выехали на шоссе, мысли снова вернулись к ночному потрясению. Только теперь они пошли в другом направлении. И толчком стали опять слова Пустовойтова. “Почему ничего не изменишь? — мысленно спросил Казарин. — Люди тысячи лет верят: здесь — часть жизни... а Там — другая. Где Там? Неизвестно... Но не может разум исчезнуть, не перейдя во что-то иное... разумное. Вот для чего дается нам жизнь! Продолжить цепь, начатую бесконечно задолго до тебя... Передать новому звену часть мириада генов, из которых сотворен сам... добавить своих... наполнить их человеческим. Чем больше человеческого отпра-

вишь в будущее, тем лучше будет Там твоему продолжению... и продолжениям других”.

Андрей представил себе людскую пирамиду, вершиной которой был он, а “тело” составляло бесчисленное количество мужчин и женщин. Некоторые были с ясно различимыми лицами, облики других просматривались слабей, третьи виделись смутно, вроде как из сумерек, а вся остальная масса почти полностью растворялась в этих сумерках времени. Но от всех от них к нему тянулись какие-то пульсирующие нити. Самые яркие, канатно-толстые — это мать с отцом. Послабей излучением, тоньше и многочисленней — деды и бабушки. Менее заметные пульсацией, с постепенным переходом в почти полную неразличимость — другие создатели его. “И ведь каждый что-то передал мне, — с благодарностью подумал Казарин. — При этом каждый был вершиной своей пирамиды, нити от которой шли не только вверх, но и в разные стороны, переплетаясь с другими, обогащая их. А многих ли я знаю из них? Что мы за народ такой? Дальше дедов-бабок, в лучшем случае — их родителей, не проникаем вглубь корней своих. Ну, кромсали нас — это действительно так; вытравливали ту часть разума, которая хранила память о предках... Но другие народы тоже прошли “истребительное очищение”, однако не позволяют себе корни свои забывать. А мы даже не пробуем восстановить атрофированное... не глядя назад, в тех, из кого сами состоим. И укорачиваем свою жизнь, делаем ее Мигом... Чем дальше человек проникает узнаванием к истоку своему... к затерянному во времени началу цепи своей, тем дольше оказывается и его жизнь. Помни ближнего своего... Это — человеческое рядом. Но помни дальнего своего, ибо он есть часть жизни твоей... А это уже не Миг. Не страшно уходить, когда знаешь, что останешься в других, как твои предшественники в тебе... что являешься частью Вечного... непрерывного... знаешь, что продолжил тысячи создававших тебя... В чем-то повторил их... продвинул дальше и сам повторись... Пусть несколькими генами... и Там... впереди... в неохватной дали будущего... при каждом новом рождении появится часть тебя — материализованного и духовного”.

И этот поворот мыслей поразил Андрея. В сознании, сквозь вязкую черноту страха и тоски, стало вдруг проискривать что-то светлое. Искорки осветили сначала малое пространство вокруг него; потом темное отодвинулось дальше и вот уже почти всё казаринское сознание залила теплая светлота.

Почти всё, но не всё. Сосущая темь осела в самые отдаленные уголки души и, скатая, как пружина, готова была отбить разрывающуюся светлую теплоту. Однако теперь Андрей понимал, что, кажется, нашел для себя успокоение. Жизнь — этот короткий Миг — имеет главный смысл: передать в будущее... тем, в ком повторись хотя бы частью малой, через свои дела, чувства и мысли как можно больше человеческого...

И успокоенный, а от этого как-то сразу расслабленный, Казарин стал проваливаться в дремоту. Он почти заснул, слегка покачиваемый на слабых неровностях дороги, как вдруг жутковатая мысль пронзила его сознание. “Ё-моё! Кому ж я передам себя? Ни сына, ни дочери... Нет продолжения моего... Самого прямого продолжения... Умер бы ночью на Дону — и цепь оборвалась...”

Та распирающая гордость, которой пыжился всякий раз, когда он говорил о своей свободе, теперь скукожилась, обмякла, словно проткнутый воздушный шарик. “Любовь... А что такое — любовь? Никто не может рассказать. Машут руками. Окают, цокают. Нельзя жениться без любви... Кто доказал правоту этого? Без ума нельзя... Слияние страстей лопается чаще и больней, чем союз умов”.

Андрей вспомнил своего университетского товарища Олега Норкина. Их любви с филологиней Оксаной завидовал весь курс. Сдавая экзамены по древней, средневековой, классической и современной литературе, филологи и журналисты оглядывались на эту пару. Вся литература — от зачатья до сегодняшних романов — это история любовей.

Через три года после университета Казарин заехал к Норкиным в Ярославль. Собирался побывать несколько дней. Знал: в городе много интересно

го. Но уже спустя сутки сиделся в поезд. Провожавший на вокзале Норкин говорил что-то необязательное, пустое; смущался, видя обескураженное лицо Андрея, и только когда Казарин по неосторожности упомянул имя его жены, темнел взглядом, зло матерился и не сразу мог взять себя в руки. Так же, если не сильнее, раздражал Оксану Норкин. Самой нежной в этом котле злости, отчуждения, неприязни была дочка Норкиных — Мариночка. Андрей гладил ее светлые кудряшки и думал о будущем этого плода любви, растущего в парах ненависти, о недопустимом легкомыслии человечества, которое тратит силы и огромные средства на что угодно: обогащение, войны, развлечения, но только не на самое главное — здоровое продолжение самого себя. Непременным условием для заключения брака считают любовь. Но этот дурманящий эфир вскоре испаряется. Тем быстрее, чем менее разумно люди подходят к созданию союза. И через короткое время выясняется, что у двоих нет ничего общего. Все разное, несоместимое.

Потом на собственном опыте Казарин пришел к выводу: любовь — это наркотический дым. Угар проходит — остается резь в глазах.

Сначала Андрею нравилось, что у Любы на все явления жизни есть свое мнение и почти всегда противоположное казаринскому. Он азартно разубеждал ее, приводил неоспоримые факты. Подруга весело отмахивалась. Замечив, что Андрей начинает злиться, соглашалась. Позднее, когда Люба стала женой, до него дошло: соглашалась для вида. Опасалась оттолкнуть его. Через пару лет окончательно понял: если что и любила, то прежде всего саму себя, свои привычки, капризные желания.

“Тогда чем хуже иметь рядом Шуручку?” — подумал Казарин, и от этой ошеломившей его простой мысли даже привскочил в коляске. Мотоцикл качнуло. Глеб искоса глянул сверху на друга. Тот махнул рукой: “Все в порядке”. А сам не мог оторвать мысленного взгляда от лица Шуручки, ее фигуры в обтягивающем халатике, ласковой улыбки. “Чего еще надо? — перебирал в уме. — Главное для нее — ты. Симпатичная... черт, вроде даже красива... Не рвет платье на груди: мое мнение... его вырастить надо — свое мнение... Когда в квартире уберет — уходить не хочется”.

Вдруг казаринские переборы оборвал громкий голос Глеба:

— Ты гля, чё творится! Граница на замке!

Впереди показался пост ГАИ. Уже издалека было видно: обстановка накалилась. Транспорт занял обочины и на въезд в город. “Сейчас приеду — сразу позвоню”, — подумал Андрей, недовольный тем, что приятные размышления как-то сразу оборвала совсем не приятная действительность.

Вчерашнего капитана не было. От наседавших водителей отмахивался худой майор. На пост добавили офицеров и нижних чинов — надо было сдерживать натиск и со стороны области. А на выезд машин и мотоциклов стало еще больше. Суббота, жара — тридцать пять в тени, пересыхают неполитые огороды на дачах. Люди обещали родственникам и друзьям приехать. Но карантин все перекрывал наглухо.

Казаринскую команду долго держали перед барьером. Майор уходил звонить. Вернувшись, снова недоверчиво и хмуро изучал пропуска, пыхал на них дымом сигареты, словно рассчитывал выявить подделку. Андрей начал злиться, учащенно засопел, что было признаком близкой вспышки гнева, но Пустовойтов, зная натуру друга, опустил тяжелую руку на плечо: “Не заводись. Смотри, сколько их стоит”. Показал на транспортное скопище.

Майор неохотно отдал пропуска.

— Разойдись! — заорал толпящимся около барьера людям. Видно было: ему неудобно перед распаренным, злым народом за начальниковых блатных. Зло растер ботинком окурок, гаркнул:

— Больных холерой везут!

Мужики отпрянули. “Молодец! — подумал Казарин. — Лучше всякого оружия”. Но отъезжая, услышал майорское злорадное:

— Может, не довезут. А вы останетесь живы.

Выезжая с Дона, Андрей рассчитывал до поезда завезти “фарфористов” к себе. Показать квартиру, сервис. Конечно, “на дорожку” выпить — после всех переживаний оно было кстати.

Но хмурый майор украл время. Пришлось везти рыбаков сразу на вокзал. В купе вчетвером выпили водки — Андрей немного, наскоро. Глеб и Влахан должны были отогнать мотоциклы и — сразу к нему домой. Не хотел Андрей засиживаться еще и потому, что не терпелось скорей позвонить в поликлинику Шурочке. Его даже подергивало; какая-то дрожь прокатывалась по мышцам — так хотелось быстрее сказать женщине о своем решении.

Не дожидаясь, когда полупустой поезд тронется, быстро пошел домой.

Обычно он звонил в регистратуру. Там было известно, где в этот момент медсестра Раскатова, и давали телефон. Однако сейчас регистратура молчала. “Все ушли на фронт, — ядовито подумал Андрей. — Отбиваться от дристунов”.

Набрал номер старшей медсестры. Она знала его. Первое время переживала за мать. Потом — за Шурочку. Когда встречала Андрея в поликлинике, глядела с укоризной и сожалением. Однажды сказала: “Хорошую пару теряешь, Андрей Петрович”. Казарин смущенно хмыкнул, ничего не ответил. Ему нужен был больничный — приближалось открытие охоты.

Теперь он ей кое-что расскажет и, пожалуй, пригласит на свадьбу — родных у Шурочки почти не было.

Странно, но и телефон старшей медсестры не отвечал. Андрей уже хотел положить трубку, как вдруг услышал усталый голос. Это была старшая. — Валентин Васильна? Здравсьте! Где наша Раскатная?

В разговоре со старшей медсестрой он иногда весело переименовывал фамилию Шурочки.

— А-а, Андрей Петрович? Нет нашей Шурочки. Она во 2-й инфекционной. В десять утра отвезли.

— Как? Почему в инфекционной?

Старшую медсестру, похоже, кто-то позвал. Она крикнула в сторону: “Иду!” и, уже торопясь, ответила Казарину:

— Холера, Андрей Петрович. Достала нас холера.

Казарин растерянно посмотрел на трубку, откуда пошли короткие гудки. Это был даже не удар. Это было обрушение. Здание, которое секунды назад стояло прочно и надежно, в один миг рухнуло, превратившись в груды панелей, бетонных блоков с торчащей арматурой и кусков стен с порванными обоями. “Как отвезли? При чем тут инфекционная больница? Может, медиков спасают отдельно? Ведь осужденных милиционеров не сажают в общий лагерь... для них — своя зона... О чем я? Это же холера! Здесь нет особых! Все равны... Перед чем? Равны перед смертью? Шурочки нет?!”

Андрей вскочил со стула, выпученным глазом посмотрел на телефон. Снова кольнуло под сердцем, как когда-то при умирающей матери. Подумал: звонить нельзя. Никто по телефону ничего не скажет. Ему не нужны слова... Он должен вытащить Шурочку... Если она жива.

Казарин знал, где 2-я инфекционная больница. Там когда-то лежал Шведов. Остановил на улице машину. Предложил денег в два раза больше. “Только лети! — сказал шоферу. — Найти надо”. “Жену?” — почему-то спросил водитель. Андрей кивнул, не удивившись ни вопросу, ни своему согласию.

Ворота больницы были закрыты. На проходной вместе с вахтером стоял милиционер.

Когда Андрей приезжал к Шведову, такого строго карантина не было, но все равно кого понало не пускали — больница-то инфекционная. Тогда вместе с другими посетителями Казарин пользовался дырой в боковом заборе.

Дыру заделали, но, присмотревшись, Андрей увидел, что доски висят кое-как. Раздвинул их, протиснулся, в спешке поцарапал руку.

Приемный покой виднелся вдалеке. Стараясь не попасть раньше времени на глаза, Андрей сначала шел за кустами, потом стал огибать с тыльной

стороны одноэтажное, розового цвета зданье. Обогнул и оказался перед входом в него. Взгляд зацепил вывеску: “Морг”. Рядом со ступеньками был пандус: по нему в этот момент два мужика в грязно-белых халатах везли каталку, накрытую серой накидкой. “Молодая еще, — безразлично проговорил один. — Жить бы да жить...”

Андрей глянул на каталку и понял, что речь о ком-то, кто закрыт серой синтетической тканью. В три шага подскочил к санитарам, протянул руку к покрывалу.

— Куда, черт, лезешь?!

— Молодая! Кто она — молодая?

— Тебе-то какое дело? Студентка. Приехала на каникулы из Саратова...

— А почему здесь?

Молчавший до этого второй санитар скупно обронил:

— Вирус. В три дня сгорела.

“Студентка... Саратов... Три дня... Три дня назад Шурочка была здорова...”

Он радостно отдернул руку, но тут же устыдился своей радости.

“Родителям-то как!.. А другу?..” Тревога вмиг смыла радость. Шурочка где-то здесь... Не на этой каталке, но где? В морге? В палате?

Казарин, уже не причесав, быстро зашагал к приемному покою. Там стоял гомон, ходили туда-сюда люди: кто в белых халатах, кто в синих. Андрей схватил за рукав оказавшуюся рядом женщину: широкую, грудастую, с громким прокурренным голосом.

— Вам чего? — рыкнула она.

— Жена тут моя... Где-то в больнице...

— Как вы сюда попали?

— Жена... Она медсестра... Привезли утром...

— Вы поглядите на него! Это что у нас за охрана?

На зычный голос оглянулась проходившая мимо молодая женщина в белом халате и аккуратной белой шапочке.

— Что здесь происходит?

Остановилась, усталым взглядом посмотрела на Андрея.

— Сказали: тут моя жена... Медсестра она... Раскатова... Шурочка.

— Сегодня несколько человек привезли. Добавили. Наших сил не хватает. Вон та из 12-й поликлиники. Кажется, Сашей зовут. Саша! Как твоя фамилия?

— Раскатова...

Андрей услышал голос и весь обмяк. В области сердца снова кольнуло. Это был голос Шурочки. Повернулся и увидел ее.

— Шурочка! А я думал: все! Валентин Васильна брякнула... Увезли тебя! Холера!

— Их всех привезли на машинах, — улыбнулась молодая женщина. — Люди нам нужны срочно. Готовимся к возможному наплыву холерных...

— Нет, она просто дура. Ляпнуть такое! Хотел ее пригласить на свадьбу. Теперь — пошла к черту. Свадьба будет! Понимаешь?

Обрадованная при виде Андрея Шурочка моментально изменилась в лице. Умом давно понимала: когда-то ей придется услышать о его свадьбе. Но если так, то лучше услышать от других. А тут он сам выплескивал на нее свое счастье.

— По... поздравляю...

— Вы посмотрите на нее: она не понимает!

Казарин не мог устоять на месте. Вертелся, быстро переступал с ноги на ногу. Только сейчас до него дошло, кого он едва не потерял. Подтолкнул под локоток бабу — иерихонскую трубу. Заглянул в глаза молодой врачихи. Кивнул в сторону Шурочки.

— Она ничего не понимает! Вы видите? А я все понял! Свадьба будет! Наша!

Андрей вдруг замолк, подкаменел лицом, будто заглянул в нечто такое, что мог разглядеть он один. И с надеждой в голосе спросил:

— Ты согласна?



ВИКТОР БРЮХОВЕЦКИЙ



НЕ СУЖУ,  
ДА НЕ БУДУ СУДИМЫМ

\* \* \*

...И постучишься в дверь. И не спеша  
Войдешь в мой дом и грустно улыбнешся.  
Рукою бережно волос моих коснешся.  
И нежностью наполнится душа.

И спросишь, словно о своем скорбя:  
“Ну, как ты жил один все эти годы?”  
“А я не жил. Я просто ждал тебя,  
Как вечный пленник ждет глоток свободы”.

\* \* \*

Все будет так и не иначе:  
Автобус рейсовый в пыли,  
Мелькающие стекла дачек,  
И домик — на краю земли.  
И сад, антоновкой пропахший,

---

*БРЮХОВЕЦКИЙ Виктор Васильевич — известный русский поэт, автор нескольких стихотворных книг. Живет в поселке Кузьмолово Ленинградской области.*

И два окошка (на восток),  
И небосклон, звездой упавшей  
Прочерченный наискосок,  
И речка тихая, и мостик,  
Воткнувший ноги в водоём.  
И никого не будет в гости —  
Лишь мы счастливые вдвоем...  
С прекрасной верою в удачу,  
И в то, что счастье — навсегда...  
Все будет так и не иначе.  
Ты только согласись — туда.

\* \* \*

Воротишься — а жизнь уже прошла.  
Хоромы те ж, из рыжего самана.  
Откроет Пенелопа зеркала,  
И Телемак наполнит три стакана.

Спасибо, помнит. И на том — добро.  
Не позабыл, не потерял во мраке.  
И помолчим, и обожжем нутро...  
А что под водку было там, в Итаке,

Уже не вспомнить... Хлебушек да соль —  
Моей России добрая примета.  
О, родина, какая это боль —  
Всё понимать и на найти ответа.

И мучиться, оглядывая, как  
На новый шторм у свежего прибоя  
Настраивает парус Телемак,  
И напевает что-то золотое.

\* \* \*

Однажды вернусь. Я обязан вернуться  
Туда, где деревья под ливнями гнутся,  
Где старая лодка у синего плеса  
Гниет в камышах, где я мазал колеса  
Разбитой телеги пахучим тавотом,  
Где серая птица гордится болотом,  
Где бродят в обнимку поверья и сказки,  
Где ныла спина от ремня и указки,  
Где батя учил меня зло и толково,  
Что нету на свете другого такого  
Весеннего неба, осеннего пала,  
Где тысячу лет проживи — и все мало!

\* \* \*

В мире этом кривом и убогом  
Мне отпущено Господом Богом  
Пять десятков, а может быть, шесть.  
Я живу, причащаюсь словами,  
На еду добываю делами,  
Неподсуден, судим ли — Бог весть.

Я встаю до зари с петухами,  
Закрываю тетрадь со стихами,  
Чтобы вечером снова раскрыть.  
Плащ набросив небрежно, как тогу,  
Я потом выхожу на дорогу,  
Чтоб куда-то спешить и спешить.

Мимо окон и старого сквера,  
Мимо бабушки с именем Вера,  
Мимо деда с кликухой Кашей,  
Мимо урны — от ветра? — упавшей,  
Мимо площади, пивом пропахшей,  
Мимо синих друзей-алкашей.

Не сужу. Да не буду судимым,  
Потому что — не хлебом единым!  
Пиво тоже кому-то еда.  
Я иду и иду по дороге,  
Устают и не слушают ноги,  
И ведут неизвестно куда.

День за днем, год за годом, по кругу.  
Я до мелочи знаю округу,  
Я завод заучил наизусть.  
Жизнь моя, моя боль и отравы!  
Все едино — налево ль, направо:  
Что ни клин, то библейская грусть.

Я вступаю в ненужные споры,  
Я считаю, что выстрел “Авроры”  
Не такая большая беда.  
Ну, подумаешь, парни пальнули.  
Почему б не пальнуть, коль гульнули,  
Жаль, осколки летят сквозь года.

Видно, мне и досталось металла  
От снаряда того, и устало  
Сердце тикает службу свою,  
Потому что подточено ржою.  
С этой примесью горькой, чужою  
Как высокую песнь пропою?

Вот не знаю. Пою и не знаю.  
Каждые вечер тетрадь раскрываю.  
Гляну в зеркало — радость в глазах.  
Почему ж, до зари просыпаясь,  
Оправляя постель, удивляюсь —  
Отчего вся подушка в слезах...

## УМЕРШАЯ ДЕРЕВНЯ

Подворья зверем взрытые,  
Повсюду стекла битые,  
И ни дымка, ни запаха, ни голоса, ни слёз;  
Работы наспех кинуты,  
Ограды набок сдвинуты,  
И что ни ветер — с запада, что ни пурга — всерьез.

Такая вот идиллия.  
Не плача от бессилия,  
Проверю сани — ладны ли, подпругу подтяну.  
Пилой кривою светится  
Ломоть кривого месяца!  
Всю осень сосны падали, разделаю одну.

Скрипи, рыдай, воротина!  
Не погибать же, родина,  
Под вихрями холодными, что ворожит зима!  
Звенит кольцо, печалится,  
В лесах январь кончается,  
Набив снегами плотными России закрома.

Везет лошадка дровенки,  
Блестящие хреновинки  
Из-под полозьев россыпью расцвечивают тьму...  
Лежит сосна, повалена.  
Вот каторга для каина!  
А я не каин, Господи, но каторгу приму.

Пила моя певучая,  
Рука моя могучая,  
Я чурбаны корявые катаю, как хочу.  
Поскрипывают дровешки.  
Гуляют волны кровушки,  
И пар восходит кольцами, и горе по плечу.

БУЛАТ ШАКИМОВ



## ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

РАССКАЗЫ

*Светлой памяти отца  
и матери посвящая*

МАДОННА

В жизни скромной и неприметной уборщицы сельского дома быта тети Салимы произошло очень важное событие — она вышла на пенсию, на заслуженный, как говорят, отдых. Администрация по этому поводу вручила ей за многолетнюю добросовестную работу почетную грамоту от имени районного руководства бытовиков и подарила большую картину в массивной, позолоченной раме — красивую репродукцию работы известнейшего художника.

На картине была изображена сидящая в кресле пышногрудая красивая женщина с маленьким ребенком на руках. Полнотой своих рук и шеи она чем-то отдаленно напоминала тетю Салиму.

Вечером, после завершения рабочего дня, небольшой коллектив работников дома быта собрался к ней в гости, впервые за долгие годы совместной работы.

---

*Шакимов Булат Адиетович родился в 1956 году в селе Актау Каменского, ныне Такалинского района Западно-Казахстанской области. Окончил в Уральске сельскохозяйственный институт и в Алма-Ате институт политологии и управления. Работал рабочим совхоза, преподавателем в ПТУ, помощником первого секретаря обкома партии Западно-Казахстанской области. С 2007 года Аким (глава) Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Публиковался в республиканской и всесоюзной печати. Делегат Всесоюзного совещания молодых писателей (1984), дипломант республиканского (1985) фестиваля творческой молодежи «Жигер». Автор книги рассказов «День из детства», коллективного сборника прозы «Окно, распахнутое в мир».*

Сияющая хозяйка, в нарядном платье, неожиданно для всех ставшая такой необычной и хорошенькой, вышла во двор встречать гостей. Проводив их в дом, она не знала, как угодить всем сразу, терялась, понапрасну бежала за ними и без конца извинялась.

— Извините, если что не так, — тетя Салима, виновато улыбаясь, без толку суетилась. — Вот сюда садитесь, сейчас стульчик подам...

Недавняя уборщица по-своему переживала предстоящий ей экзамен и очень волновалась по этому поводу, больше всего боясь, что долгожданным гостям у нее будет скучно и невесело.

— Ой, вы что? — ужасается она, всплескивая руками. — Не снимайте, пожалуйста, не снимайте обувь, — хозяйка бежит вокруг гостей и просто-душно умоляет: — Проходите так, ничего не снимайте, все равно потом, после вас, полы мыть буду...

Именинница мучается и ломает голову, как лучше рассадить за большим, праздничным столом гостей. Чувствовалось, они давненько не баловали ее своим посещением.

Однако выручают хозяйку сами же гости. Быстренько повесив картину на первый попавшийся на стене гвоздь, “бытовики” дружно рассаживаются вокруг накрытого стола.

— Между прочим, — сразу замечает самый старший из гостей по возрасту и по должности, председатель месткома Алимжан, слегка полноватый мужчина в расцвете сил. — Обратите внимание, наша именинница, очень похожа на женщину из нашей картины, которую мы подарили. И картину эту я сам выбирал.

И он, повернувшись вполоборота к стене, многозначительно смотрит на висящую репродукцию в красивой раме.

Повертев головами, гости ахнули. И в самом деле, схожесть очень была заметной. В это время в комнату вошла слегка растерянная хозяйка и, смущаясь, начала благодарить всех сидящих за столом, что те нашли время зайти к ней на чай.

Сразу же в ход пошли поздравления, коллеги много шутили, с завидным аппетитом ели и обильно пили.

“Какой же у нас прекрасный коллектив! — с нескрываемым восторгом думала тетя Салима. — Как не хочется с ними расставаться, как жаль, что пришло время уходить на пенсию...”

Уже к середине вечера, когда застолье было в самом разгаре, что-то вспомнив еще, председатель месткома Алимжан, заметно покрасневший, снова поднимается из-за стола.

— А знает кто-нибудь, какой симпатичной была Салима в молодости? — спрашивает он, вопрошающе оглядев своим мутнеющим взглядом сидящих за столом коллег.

— Да она и сейчас красива! — искренне и дружно подкакивают словам председателя месткома подпитые мужики, хотя свидетелей ее цветущей молодости оказалось совсем немного.

— Ровно тридцать... нет, тридцать пять лет назад, — ударяется в свои туманные воспоминания Алимжан, — Салима двадцатилетней, хорошенькой девчонкой после профтехучилища приехала в наше село. Я как сегодня помню, как она начала трудиться швеей, затем, через несколько лет, после рождения дочери, попросилась техничкой и с этой же работы вышла на пенсию...

Гости, особенно ее мужская часть, то ли от вышитого, то ли от хорошего настроения, не сводили глаз с хозяйки дома, помолодевшей за один вечер до неузнаваемости. Было заметно, что тетю Салиму без рабочего халата и швабры в руках многие из них и не видели.

Пространная речь председателя месткома начала сбиваться и к концу стала совсем непонятной и бессвязной. Гости больше смотрели на тетю Салиму, чем слушали Алимжана.

— И скажу вам, друзья, — наконец-то, поняв, что гости заскучали, начал он подытоживать свою долгую речь. — Наша Салима еще не старая. Она еще о-го-го!

В завершение своего затянувшегося экспромта разгоряченный председатель месткома, повернувшись, пытался обнять именинницу за ее крутые бедра, но, потеряв равновесие, чуть не опрокинул на пол все содержимое стола.

Тетя Салима, красивая и зардевшаяся, смущаясь, непроизвольно отстраняет от себя своего бывшего начальника и помогает ему сесть на свое место. Чуть полноватое, но румяное лицо женщины светится тихой необычной радостью, а в ее сбитом, хорошо сложенном крепком теле все еще чувствуется былая стать и горячая кровь.

Темные, без единой проседи, все еще выющиеся волосы юной пенсионерки были аккуратно собраны на макушке, от ее вызывающе обнаженной шеи исходил едва уловимый, но знакомый до боли запах “Красной Москвы”. На округлые плечи тети Салимы была небрежно накинута вытщенная из сундука по случаю сегодняшнего торжества почти ненашенная шелковая шаль — давняя память и подарок мужа.

“Вот и стукнуло, незаметно, пятьдесят пять годков, — с грустью думает она о себе. — Неужели все прошло, все кончено?..”

Не хотелось верить, что жизнь прошла. Так неожиданно быстро и так мучительно долго пролетели годы тоски и одиночества, скрашенные редкими днями приезда дочери, безликими праздниками и скучным общением на работе...

Неужели в жизни не было больше радостей? Что хорошего осталось в ее памяти? Вспоминается, как она совсем молоденькой и пухленькой девчонкой приехала работать швеей в незнакомое село, ненароком влюбилась и вышла замуж за местного парня, родила ему дочь...

Радостные возгласы и шум за столом, новые пожелания и настойчивые требования немедленно присоединиться к празднеству без конца отрывают тетю Салиму от ее невеселых дум. В конце концов, она сдается и, под дружные возгласы и уговоры гостей, соглашается выпить пару рюмочек водки. От спиртного ее пунцовое лицо еще больше раздумывается, глаза блестят, и вновь всем становится одинаково весело и хорошо.

Поздравления уже шли по второму или третьему кругу.

— Я тоже хочу поздравить тетю Салиму, — поднимается с места раскрасневшийся от выпитой водки молодой телемастер Борис, лишь совсем недавно закончивший профтехучилище.

Он растроганно, с влажными глазами смотрит на именинницу, было заметно, что молодой парень очень волновался и переживал, что такая скромная, незаметная и такая неожиданно красивая женщина уходит из их дружного коллектива.

— Если можно, я буду тост говорить на русском, — заплетаясь, продолжает Борис. — Всею дорогу, и в школе, и на работе, и везде говорим по-русски. Я по-казахски, сказать честно, не умею кумекать. Ну, что еще сказать? — он долго и напряженно думает. — Ну, короче, давай, давайте, выпьем...

Расплескивая по скатерти водку, он через весь стол тянется к сидящим напротив коллегам.

Гости всюю веселятся сами по себе, будто среди них и вовсе нет именинницы, тети Салимы, которой уже ненароком чудится, что между ней и гостями выросла невидимая стена. Странно, виновница торжества продолжает видеть сидящих коллег, но совсем не слышит их голосов.

Временами тетю Салиму одолевают мрачные мысли о себе, о своем новом будущем. От осознания того, что вся ее активная жизнь, можно сказать, закончилась, хотелось выть волком или смеяться над собой, зло и жестоко. Смеяться, что вся жизнь уже прошла, тихо и спокойно, незаметно, без вреда кому-либо и без пользы для себя.

“Вспомнит ли потом кто-нибудь обо мне, бывшей швее и уборщице? — думает она. — Кому теперь я буду нужна? Для кого и для чего я жила? Неужели вся жизнь прожита ради этой минуты, этих приятных, но ничего не значащих пожеланий гостей, этого шумного застолья на закате жизненного пути?..”

За всю свою жизнь не слышала тетя Салима в свой адрес столько добрых пожеланий, сколько она выслушала только за один сегодняшний вечер.

Исходящая от гостей теплота и кажущаяся искренность слов растрогали ее, всколыхнули забытые давно чувства. Вспомнились картины давних лет...

Когда выходила замуж, тоже поздравляли. Кажется, что все было только вчера, а подумаешь, столько, оказывается, уже прошло лет. А какие слова признания в любви говорил ей в молодости муж!..

Но многое уже позабылось — стирают годы память. Дочь вот свою, красавицу, вырастила. Только непонятно, чему ее научила. Вроде и растила с любовью, даже излишней, воспитывала, как могла, образование дала, чтоб не хуже других, чтоб не говорили, что без отца...

Выросла дочь, вспорхнула птичка и улетела в большой город искать счастья. Только где оно, это счастье-то, как его найти, как ухватиться за него и не отпустить?..

Гости шумно загалдели, поднимаясь из-за стола, молодежь, включив магнитофон, стала танцевать. Покуриив и натанцевавшись, они снова садились за стол пировать и только далеко за полночь, уже заметно подустав, вспомнили и вразнобой заговорили, что пора бы и бежать по домам.

Прощаясь, подпившие мужики бессовестно лезли к тете Салиме обниматься, будто видели ее впервые, и каждый норовил поцеловать именинницу в губы. Вежливо и смущенно отстраняясь от мужчин, она, уставшая, счастливая и немного грустная, покорно ждала, пока разойдутся гости.

Проводив гостей, именинница задумалась. Разные подарки, хоть и редкие, получала, тетя Салима за свою жизнь, но чтобы ей картину подарили — такого еще не было. Вот если бы гости отрез на платье принесли — она знает, как с ним поступить. А вот с картиной-то что делать?

В селе никто никому картин не дарит, не принято как-то. И потому пылятся на прилавках сельских магазинов забытые всеми красочные репродукции великих мастеров — дорогие подарки в позолоченных рамках, в основном, более подходящие для причуд городских жителей. Кто их знает, может быть, и хороши эти картины, и как-то ценны по-своему, но большинству сельских жителей этого никогда не понять.

На другой день, с утра пораньше, узнав о необычном подарке, полученном тетей Салимой, прибежала соседка Улжан.

— Я слышала, тебе картину подарили, дорогую, — прямо с ходу, быстро-быстро зататорила она, едва переступив порог комнаты. — Интересно, чья это работа? А я слышу, картину тебе подарили, но про себя не верю...

Тетя Салима, убиравшаяся в доме после гостей, неторопливо отжав мокрую половую тряпку и отодвинув в сторону полное ведро воды, с интересом смотрит на явившуюся соседку.

Увидев висящую на стене репродукцию в красивой раме, Улжан на цыпочках пробирается к ней, все еще продолжая говорить:

— Неужели, думаю, и у нас в деревне начали понимать искусство. Дай, думаю, схожу к соседке, погляжу...

Почему-то Улжан считала себя знатоком живописи, очень гордилась этим и не упускала возможности лишний раз блеснуть своими познаниями в области изобразительного искусства. Ей ничего не стоило, случайно увидев в доме культуры малюющего что-нибудь сельского художника-оформителя, элементарно и бесцеремонно заткнуть его за пояс, задав ему несколько мудреных и бесполовых вопросов, суть которых не понимала и сама.

— Не чувствую картину, — расхохоталась она, случайно увидев в клубе какую-нибудь зарисовку. — Какой ракурс, где свет, что ты этим хотел выразить? С какого места лучше смотреть на картину?

Бедный мальчишка, если оказывался рядом, только краснел и пыхтел, не зная, что ответить не по возрасту беспардонной и приставучей тетке.

Когда-то давно, в молодые и шаловливые годы, прожитые в городе, в жизни Улжан был некий художник, то ли несостоявшийся жених, то ли еще что-то, который между гульбой и рисованием, в редкие минуты хорошего душевного настроения посвящая иногда свою возлюбленную и боевую подругу в непростые тонкости творчества и художественного ремесла.

Этой короткой академии и яркой городской биографии ей было достаточно, чтобы в своей дальнейшей жизни в вопросах искусства быть на го-



лову выше простого народа, хотя потом нужда и заставила Улжан вновь прибиться к нему. Влекомый жаждой бесконечного творческого поиска и больших денег, однажды художник канул в неизвестность, оставив Улжан в память о себе будущего тракториста, в жизни такого же беспутного, как и сам родитель.

— Картина — хороший подарок, — со знанием дела поясняет доморощенный критик и искусствовед, — но здесь культура тонкая должна быть, чтоб понять ее суть. Да и подписать произведение надо. Для солидности. Так-то и так-то, кто подарил, когда, по какому поводу...

Закончив говорить, Улжан многозначительно помолчала, пребывая в минутной творческой задумчивости.

— Народ у нас насчет картин темноватый, — продолжала выдавать она дальше. — Подумают, повесила баба старая картину вместо ковра. А подпишешь, все ясно, завидовать будут! Дочка, может, приедет, увидит — и сразу поймет, каким ты здесь пользуешься авторитетом и уважением...

Тетя Салима, не раз слышавшая ее рассказы о каком-то почти мифическом художнике, никогда не придавала этому ни малейшего значения. Сейчас же она слушала соседку внимательно, стараясь ничего не упустить важного.

— Как же я ее подпишу? — подумав о чем-то своем, безнадежно сокрушается тетя Салима, и лицо ее становится совсем грустным. Она потерянно глядит на искусствоведа.

Улжан, победно и высокомерно посмотрев на жалкую соседку, оставляет ее вопрос без ответа.

— Тут еще и умение нужно, смотреть-то ее, — важно повторяет Улжан когда-то слышанные слова и, отойдя от стены метра на два или три, долго щурится на картину.

Наслаждаясь произведенным эффектом, соседка, как великий мастер на своего ученика, с удовольствием глядит на поникшую тетю Салиму.

— Мой-то сказывал, — назидательно говорит она, — что издали надо смотреть на картину: тогда она вроде как живая получается.

И Улжан, не обращая никакого внимания на растерявшуюся тетю Салиму, долго и со знанием дела разглядывает картину.

— Можно, я посмотрю? — спрашивает Улжан и, не дожидаясь разрешения, осторожно отодвинув картину от стены, заглядывает за оборотную сторону репродукции.

Тетя Салима в страхе замирает, боясь, что соседка, не удержав, может уронить массивную картину на пол вместе с рамой.

— Рафаэль Санти, — вслух с наслаждением читает Улжан, сама довольная своей осведомленностью в вопросах искусства. — Мадонна в кресле. Дерево, масло.

Тетя Салима становится на то место, где минуту назад стояла соседка, и, стараясь увидеть, как оживет картина, изо всех сил пялит свои глаза на полноватую молодую женщину и ее маленького, сладенького ребеночка. Глаза ее слезятся от долгого и бестолкового напряжения.

— Что-то у меня не получается, — не выдерживает тетя Салима, обращаясь к новоявленному искусствоведу. — Иль зрение у меня не подходящее?..

Короче, надоумила тогда ее соседка Улжан сделать на картине памятную надпись. Еще одна лишняя проблема прибавилась тете Салиме: как это сделать?..

— Уважаемой Салиме, нет, лучше, если будет: Салиме Каримовне, в день выхода на пенсию, — просились желанные слова, но тут же ей почему-то становилось неловко. — Вот если б они сами догадались так написать...”

Так ничего и не смогла придумать тетя Салима. Оказалось, что еще сложнее найти человека, который бы умел красиво написать и правильно оформить задуманное.

Так проходили дни, пролетали месяцы. Постепенно все стало забываться, но однажды заслышала тетя Салима, что к ним в село приехал настоящий художник — подготовить клуб к Первомайским праздникам. И с новой силой пробудилось в ней почти угасшее уже желание оставить для будущих своих потомков заветную надпись на картине.

Посоветовалась с более опытной соседкой Улжан.

— Ты, дорогая, сначала водочкой запасись, — наставляла та, с удовольствием попивая из блюдечка чаек у нее на кухне. — Они любят это дело. Ох, как любят!

Улжан, характерно щелкнув пальцем по горлу, переходит на страстный шепот, ее лукавые глазки хитро щурятся, а затем и вовсе закрываются от наплывающих в памяти былых удовольствий.

— И не только это любят, — говорит соседка, все еще купаясь в своих давних, но приятных воспоминаниях. — Я-то знаю их...

Немного погодя, резко прервав свои сладкие грезы, Улжан открывает глаза.

— Но ты не бойся. Понравишься, — активно успокаивает она соседку, с ног до головы оглядывая ее сбитое тело. — У тебя, дорогая, пока все сидит на своем месте, и сзади, и спереди.

Тете Салиме от ее слов становится не по себе, она краснеет как школьница.

— А как же я его позову? — все же набравшись смелости, нерешительно спрашивает тетя Салима. — Ведь как-то неудобно получается...

— Что ж неудобного? — удивляется Улжан. — Не бесплатно же ты просишь...

— Все равно не смогу, — честно признается тетя Салима.

— Ты только намекни мужику-то — он сам прибежит, как старый кобель! — учит женским хитростям опытная соседка.

— А как я буду намекать? — грустно вздыхает тетя Салима.

— Эх, ты, — опытная Улжан укоризненно качает головой. — Что с тобой? Ты что, не баба? — спрашивает она. — Иль ты их, мужиков, никогда в жизни не видела?..

Скромная в жизни и не совсем общительная тетя Салима не знает, что ответить соседке, обреченно молчит.

— Ну что упрямисься? — начинает злиться Улжан. — Завтра же и позови, а то его и след простынет!

После непростых и мучительных колебаний решила, наконец, тетя Салима, пригласила художника домой. Однако сразу же попросила его, чтобы тот пришел обязательно днем, иначе ей не избежать всяких ненужных пересудов в селе.

После обеда, часикам к пяти, пришел художник. Невысокий мужичок, примерно ее возраста, неухоженный и довольно потрепанный. Он был в давно не стиранной рубашонке и драповом пиджачке далеко не первой свежести.

Зашел художник в дом культурно, негромко прокашлялся в кулак. Поставил чемоданчик с кисточками и красками в угол, повесил на гвоздь свою кепку. Пригладив руками жидкие волосы, оглядел комнату. Покосился на стол, где уже стояла закуска, и от предвкушения хорошего, сытного ужина глаза его произвольно заблестели.

“Сразу видно, не зазнайка, пришел сразу, — подумала в свою очередь тетя Салима. — Скромный мужчина, не заставляет бегать за собой и упрашивать”.

— Так, что у вас? — сразу приступил к делу художник. — Где ваша картина?

— Сейчас, сейчас покажу, — засуетилась тетя Салима, но, помня наказ своей бывалой соседки, что “для начала надо немного налить”, робко, тушуясь, спросила:

— А покушать сначала не желаете?..

— Покушать? Можно, конечно, — страшно обрадовался гость. — На голодный желудок много не наработаешь.

Тетя Салима принесла из чулана бутылку водки и, немного смущаясь и краснея, поставила поллитровку на стол. Горящие глаза художника вспыхнули, он, стараясь скрыть свою радость, через силу закашлял и, поглядывая в окно, сам не зная почему, заметил:

— А погодка-то, ничего! Греет солнышко. Травка уже, я смотрю, вовсю идет. Весна!..

И не удержавшись, улыбнулся широко и счастливо.

“И ты тоже ничего...” — отметила про себя тетя Салима, засмотревшись на его по-детски счастливую улыбку. Сказать честно, она давно не видела такой непосредственной и искренней улыбки.

— Пожадуйста, за стол, — заторопилась она.

— Спасибо, но все-таки, хотя бы одним глазом, я хочу взглянуть на картину, — вежливо сказал гость. — Где она у вас?

Проникаясь к нему еще большим уважением, тетя Салима провела художника в гостиную.

Остановившись в метрах двух от картины, гость немного полюбовался красивой репродукцией.

— О, мадонна! — громко воскликнул он, разглядывая картину, и, медленно переведя взгляд с репродукции на хозяйку, пристально оглядел ее с головы до ног. — Все, теперь можно и за дастархан!

Не заставляя себя долго уговаривать, художник подсел к накрытому столу. Тетя Салима, взяв бутылку в руки, начала неумело открывать крышку, вызывая на лице у гостя болезненную гримасу. Наконец-то пробка поддалась, и хозяйка, присев за стол напротив художника, разлила водку в рюмочки. Чутьочку себе и побольше — гостю.

— Угощайтесь, ешьте! — просит тетя Салима. — Все, что на столе, приготовлено специально для вас.

С нескрываемым радушием, пододвигая тарелки с угощениями поближе к художнику, она все соображала, как бы культурнее предложить гостю выпить, но в то же время чтобы этим и не обидеть незнакомца.

Он же без всякой робости сам взялся за рюмку.

— Ну что, вздрогнули? — по-русски сказал он, чем сильно смутил хозяйку и, не чокаясь, залпом опорожнив содержимое рюмки, облегченно выдохнул: — Ух-ха! Хороша, собака!

Тетя Салима, потрясенная, сидела с рюмкой в руке.

— Ну что, — заедая, промышчал с набитым ртом художник и с укоризной посмотрел на ее нетронутую рюмку. — Давай, не бойся!

— Вздрогнули, — тоже по-русски, боясь показаться отсталой, еле слышно выдавила из себя тетя Салима непривычное слово. Она зажмурила глаза и выжила. Поперхнувшись, сморщилась и закашляла.

Художник, перестав жевать, внимательно посмотрел на нее.

— Что с тобой?

Тетя Салима, смущенно задвигалась и заерзала под его долгим сверлящим взглядом, незаметно проверила все пуговицы на халате.

— Вы закусывайте, закусывайте, — спохватывается она. — Вот вам яичница, куырдачок, баурсаки, сметанка...

— В деревне что хорошо — это закусь отличная, — торопливо прожевав, говорит гость. — Все натуральное, сплошь одни витамины.

Обмакнув ароматные баурсаки в большую чашку со свежей сметаной, он руками аппетитно отправляет их в рот.

Сидя за столом напротив незнакомца, тетя Салима любовалась и одновременно наслаждалась тем, как жадно и естественно, будто с голодухи, ест здоровый мужчина. Торопливо, почти не прожевывая, художник один за другим заталкивал себе в рот заботливо и вкусно приготовленные хозяйкой баурсаки со сметаной.

— Боюсь, что твои витамины мне сегодня спать не дадут, — хитро прищурившись, шутит он, скользя глазами по столу.

Взгляд художника упирается в бутылку. Сразу же догадавшись, тетя Салима, поднимается из-за стола, чтобы снова налить водку.

Гость с нетерпением ждет.

— Сядь ближе, — говорит он тете Салиме, увидев, что она снова собирается сесть на свое место.

Тетя Салима останавливается и замирает в нерешительности.

— Зачем ходить вокруг стола и без толку терять время? — резонно замечает художник и набрасывается на яичницу. — Садись, я не съем, я не волк, а ты — не Красная Шапочка!

Тетя Салима, осторожно садится на краешек стула и, поправив халат, смиренно ждет, что скажет гость.

— Ну, что ж, за знакомство, что ли? — снова по-русски обращается к ней художник. — Меня зовут Марат Газизович. А тебя, пампушка, как звать?

Тетя Салима смущается от странного обращения гостя.

— Салима, — тихо молвит она и, не зная, куда подевать свои пухленькие руки, прячет их под стол. Она хочет назвать еще и свое отчество, как он, но стесняется. Никто ее с самого рождения не называл по имени-отчеству. — Зовите меня просто Салима.

— Правильно, надо быть проще! Одни ведь сидим, — лукаво подмигивает гость, быстро заглотнув содержимое рюмки: — Ух-ха, хорошо пошла...

Лицо художника заметно подобрело, прыщеватый нос слегка заалел, маленькие глазки сузились и загорелись каким-то пугающим, озорным огоньком. Его блуждающий взгляд, откровенно оглядев хозяйку стола и скользнув по ее покатым плечам, задерживается на оголившейся, из-под полы халата пухленькой коленке.

— А ты, я смотрю, ничего, — прокашлявшись, загадочно говорит художник, — прямо сама, как мадонна! — И весело и хитро подмигнув, неожиданно и быстро наклонившись к хозяйке, шепчет ей на ухо: — Для кого, скажи, себя бережешь-то?

Тетю Салиму бросает в жар. “Все!” — со страхом и приятным волнением думает она, сейчас, наверное, начнет приставать, но тут же, поправив полы халата, лихорадочно закрывает не ко времени раскрывшуюся коленку.

“И в этом он, как ни странно, тоже прав, — думает про себя тетя Салима. — Для кого я себя берегла всю жизнь? Для кого? А жизнь, считай, уже прошла...”

— Ну, что у тебя там с картиной? — заметив ее явное смущение, удовлетворенно хрустит соленым огурчиком Марат Газизович.

— Вот, вышла на пенсию, — начинает рассказывать ему тетя Салима. — На работе подарили картину, хотела вот ее подписать на память...

— Ты? Ты вышла на пенсию? — неподдельно удивляется художник и, еще раз внимательно оглядев ее, многозначительно добавляет: — А по тебе не скажешь...

Непроизвольно подняв руку, он внезапно обнимает тетю Салиму и, шутя, притягивает к себе, нежно похлопывая ее чуть ниже спины.

— Ты еще в соку...

Тетя Салиму снова бросает в жар, сердце екнуло, как в далекой молодости, перед первой близостью с будущим мужем, но все же, преодолевая свой стыд и стеснение, она продолжает свой разговор:

— Вот, хотела на память оставить...

— Правильно, — подбадривает ее Марат Газизович, уже сам разливая водку по рюмкам. — Соображаешь...

— Да? — искренне радуется хозяйка. — Подписанная — она, сразу видно, что дареная, а без нее как-то неудобно. Да и народ у нас в селе темноватый насчет картин, — вспомнила она слова соседки.

— Правильно ты заметила, — говорит художник, прямо смотря ей в карие глаза, и совсем не по-дружески кладет свою влажную ладонь на ее коленку. — В деревнях точно, насчет искусства туговато. Вот ты, я смотрю, понимаешь в искусстве. С тобой даже и поговорить интересно...

Тетя Салима, как девчонка, смущенно алеет и, потупив глаза, отводит с колен его руку. Она заметно покраснелась, от выпитой водки у нее немного кружится голова. Тетя Салима не любила и не употребляла спиртного, но гость оказался таким настырным, что умудрился заставить ее выпить целых три рюмочки.

Более того, Марат Газизович своими пространными намеками и непростыми касаниями рук непроизвольно так изводил тетю Салиму, без конца приводя ее в состояние давно забытого и оставшегося в далеком девичестве трепетного ожидания чего-то волнующего, запретного, но оттого еще более желанного, что мысленно она уже была готова к любому повороту событий.

Сказать больше, тете Салиме были приятны касания художника. “Ну что ж

он так мучает меня, окаянный, — сетовала она, уже готовая потерять контроль над собой. — Пусть уж, чему бывать, того не миновать... Жизнь вся прошла, а вспомнить-то, оказывается, и нечего...”

Но художник к тому моменту, похоже, уже успокоился или отказался от своих смутных намерений.

— Если правильно посудить, — говорил гость, — художник — человек очень тонкий...

Марат Газизович, многозначительно подняв указательный палец вверх, загадочно посмотрел на тетю Салиму:

— Соответственно, и подход к нему требуется тонкий...

Он замолчал, расстроенный, и, задумавшись о чем-то своем, затем продолжал:

— Да! Тонкий и деликатный. Поэтому его и не понимают. Вот моя жена, например...

Художник снова замолк.

— Можно, я закурю? — спросил он.

— Курите, курите на здоровье, — простодушно разрешила ему тетя Салима.

Сбежав в чулан, она принесла вместо пепельницы консервную крышку и, усевшись поудобнее, приготовилась его слушать. Ее округлое лицо по-детски выражало настороженность и удивление, она никак не могла понять, куда клонит художник. Уж больно непонятно говорил он.

Марат Газизович закурил. Бросив догорающую спичку на консервную крышку, он небрежно разогнал рукой облако белого дыма и, устремив взгляд в пепельницу, о чем-то задумался.

— Да вы ешьте, ешьте, — попробовала нарушить молчание тетя Салима.

Но художник ее уже не слушал.

— Значит, сформулируем так, — он все глядел в пепельницу, где, извиваясь, догорала спичка. — Уважаемой мадонне, в честь выхода на пенсию — от коллектива...

— Смеетесь надо мной? — обиделась тетя Салима. — Какая же я вам мадонна? Я же, — краснея, запинаясь она, — я ведь уборщицей в доме быта работала...

— Ну и что? — удивляется Марат Газизович. — Глупая ты, сама не знаешь, кто ты есть на самом деле. Уж поверь мне, моему возрасту и опыту, ты — и есть настоящая мадонна!

— Боже мой, что с вами? Вы же мне лишнего наговорили, Марат Газизович, — уже пугаясь, тетя Салима косится на опустевшую бутылку.

Художник понимает это по-своему и, налив себе полную рюмку, остатки сливает ей.

Выпив, он закусывает уже остывшим куырдаком.

— Наконец-то захожу в себя, — делится он с ней своими профессиональными секретами. — Такие дела, как твои, например, для меня — пара пустяков. А это, — он указал на пустую бутылку, — для вдохновения. Вдохновение — это что-то! Вам этого никогда не понять...

Марат Газизович безнадежно махнул рукой.

Уф, наконец-то, вроде встает, зашевелилась тетя Салима, но радость ее оказалась преждевременной. Гость и не подумал подниматься из-за стола.

— Моя жена вот тоже не понимала меня, — продолжал он говорить. — А ведь любила, собака. И я ее любил. А у нее глаза — словно небо синее. Я ж в Ленинграде учился. Детишек она мне двоих родила...

Художник замолчал, затем с досадой хлопнул себе по коленке:

— Эх, сам виноват! А как жил, как я жил!..

— А жена-то где сейчас? — осторожно, чтобы не обидеть гостя, поинтересовалась тетя Салима.

— Ай, не спрашивай, — махнул рукой Марат Газизович и с выражением посмотрел на пустую бутылку. — Как вспомню про нее, так вить хочется...

Тетя Салима нервно заерзала на стуле, с тревогой поглядывая то пустую бутылку, то на висящие на стене часы с кукушкой.

Закончив рассказывать, художник сидел не двигаясь, жалкий и какой-то подавленный. От важности, с которой он вошел в дом, уже не осталось и следа.

Тете Салиме сильно захотелось утешить Марата Газизовича, приласкать, как мать, своего непутового ребенка. Наверное, в ней заговорил материнский инстинкт, но тете Салиме, действительно, было по-женски жаль художника.

Инстинктивно ей захотелось обнять Марата Газизовича и ласково прижать к своей пышной груди его горемычную головушку, но она вовремя спохватывается и останавливает себя. Художники, они и вправду народ чувствительный, обнимешь и не заметишь, как обидишь.

— Вы, Марат Газизович, чайку хоть попейте, свеженького, — предлагает тетя Салима. — Цейлонский. Специально для вас заново заварила. И молочко вот, тоже свежее.

— Чай не водка — много не выпьешь! — не глядя на нее, мрачно отрезает художник.

— Я же не к тому, — теряется тетя Салима. — Я сейчас принесу. Я к тому говорю, что вам еще работать надо...

— Да ты не волнуйся, — он недовольно и как бы брезгливо смотрит на нее. — Я эту писульку в любом состоянии смогу оформить.

Поспешно выбежав в сени, тетя Салима ставит на стол вторую бутылку. “Не дай Бог опьянеть ему, — молится она за него, — потом, глядишь, позора не оберешься”.

— Ну, что у тебя с картиной? — спустя какое-то время снова спрашивает художник.

Тете Салиме уже не хотелось отвечать на его бестолковые вопросы о картине. Она сидела и грустно смотрела на него.

Марат Газизович все пил, повествовал о своей жизни и дальше жаловался на свою судьбу.

“Правду, оказывается, говорила соседка Улжан, — думала тетя Салима. — Уж она-то знает их, как облупленных”.

Ей снова стало жалко художника. Она незаметно пододвигала к нему заново подогретое горячее, баурсаки.

Вечернее солнышко, садясь и заметно слабее, со стороны степи заглядывало в окно. В небольшом уютном палисаднике вдоль невысокого крашеного забора запоздало зацвели вишенки, нежно пробивала цвет черемуха. Подготовленные к ранней посадке грядки и рассада в ящичках с нетерпением ждали задержавшуюся хозяйку.

Было слышно, как далеко в поле, на посевной, у подножья невысоких, пологих возвышенностей натужно тарахтят трактора. В манящей своей красой весенней степи пестрыми островками дружно зацвели разноцветные тюльпаны — предвестники теплых, погожих дней, а по влажным ложбинкам, изгибаясь на тонких, длинных стебельках, бесшумно тренькали нежно-лиловые колокольчики...

Тетя Салима, совсем грустная, сидела за столом и, безрадостно уперев в подбородок свои пухлые ручки, тихо, по-женски жалела своего уже почти родного и такого беззащитного художника.

“Бедняжка мой маленький, он же совсем одинок, — с тоской думала она. — Кому теперь он нужен? Ладно я, мне сроду не везло, но он-то учился в институте, в Ленинграде. Что же его, способного и образованного, выгнало из дома и понесло по свету от жены и детишек?”

Почему-то тете Салиме расхотелось подписывать картину.

“Кто ее у меня и смотреть-то будет? — с какой-то безысходной тоской думает она. — Кому я нужна, если такой способный и талантливый человек, как Марат Газизович, стал никому не нужен?..”

В какой-то момент тете Салиме показалось, что между ней и художником есть что-то общее, их связывающее и объединяющее.

“Никому мы с ним не нужны!” — вдруг осенило ее сознание и кольнуло в сердце, словно ножом. Всю жизнь боялась тетя Салима, запрещала себе думать об этом, но неожиданное открытие застигло ее врасплох и сразу повалило на лопатки.

“Да, мы с ним одинаковы, как две пары сапог, но только одиноки по-разному! — горестно выдыхает она. — О, Боже, спаси, сохрани нас и помилуй...”

Тетя Салима испуганно отмахивается от грустных мыслей, встает из-за стола, включает свет.

Немного постояв, она не выдерживает, выключает свет и в потемках снова садится на свое место. “Может быть, мне взять и приютить его, бедолагу?” — серьезно думает она.

А рядом, цепко ухватившись рукой за недопитую рюмку водки, положив голову на стол, с раскрытым ртом спал художник. Его растрепавшиеся, жидкие волосы, обнажая образовавшуюся на макушке лысину, залезли в тарелку с салатом, а изо рта, стущаясь и превращаясь в тягучую ниточку, стекала на свежую скатерть слюна.

Время от времени гость, словно пытаясь о чем-то спросить, поднимал голову, что-то бубнил сквозь сон, но тут же бессильно ронял голову обратно...

## АКРОП

Через крошечную дырочку в суконном одеяле, которым было изнутри завешено небольшое окно саманного дома, в прохладную комнату пробивается солнечный луч. В крошечной темноте, развалившись на корпешке, постеленном на кошме, и стараясь удерживать журнал в пучке света, Орынбай читал “Крокодил”, свое любимое издание. Сон одолевает его, и журнал то и дело, чуть не выпадая из рук, то зависает над кошмой, то падает на подушку.

Орынбай испуганно вздрагивает, трет кулаками слипающиеся глаза и из последних сил снова принимается за чтение.

Неприятно скрипнув, тихо отворяется дверь комнаты.

“Пришли! — сжимается сердце Орынбая. — Покоя не дают, только и ждут, караулят, когда уйдешь!”

Закрыв склад, он пораньше ушел домой. Все равно начальство за ним особо не следит — доверяет, да и время уже, буквально через какой-то час-полтора будет обед, а на улице — жара за тридцать, да и не хочется сидеть одному в полупустом, пусть и прохладном складе.

“Наверное, снова строители приехали с объектов, получать стройматериалы, — подумал он, но не пошевелинулся, продолжая гадать, лежа и неподвижно. — Или жена пришла с работы, сейчас начнет готовить обед”.

Орынбай уже несколько лет заведовал складом в совхозном строительном участке. Был в меру приветлив, в меру увертлив, в меру хитер, как и все завсклады. Словом, был не дурак и на своем месте. В общении с простыми людьми был немного высокомерен, заносчив, видимо, сказывались “издержки производства”, и в свои сорок лет должность завскладом считал для себя великим достижением.

Прислушавшись, Орынбай лениво перевернулся и, отложив в сторону журнал, посмотрел на дверь.

Робко переступая, в комнату тихо вошла бабка Дарига и в нерешительности остановилась. Попав с улицы в темноту, она ничего не разбирала и не могла разглядеть.

Орынбай с облегчением вздохнул и, не двигаясь, продолжал лежать. Также и бабка не подавала никаких признаков своего присутствия, но и уходить не собиралась. Подозрительно неприятная и продолжительная тишина насторожила Орынбая.

“Пришла что-то просить”, — сразу догадался он и, бесшумно отвернувшись к стене, сделал вид, что не слышит.

Однако и бабка Дарига по простоте своей не думала сдаваться. Немного привыкнув к темноте, она робко прокашлялась.

— Есть кто в доме?

Когда надо было просить что-то, бабка всегда заходила так тихо, крадучись, как кошка, словно хотела что-то выследить или кого-то подкараулить. Этого Орынбай боялся и за данную причуду на дух не переносил соседку. Если же она приходила просто так, без какого либо дела — с ходу кричала с порога, по-простецки шумела на весь дом.

Иногда Орынбаю казалось, что бабка Дарига видит его нутро насквозь, и из-за этого еще сильнее недолюбливал свою соседку.

— Есть, — сонно и недовольно, будто только проснулся, пробурчал Орынбай, все так же не двигаясь. — Кто это?

Он понял, что дальше притворяться спящим бесполезно, бабка все равно его достанет.

— Здравствуй, Орынбай-жан, — обрадовалась бабка. — Случайно не помешала?

— Случайно нет. — Орынбай начал злиться, что она попала в точку, но, подумав, решил разрядить обстановку, поздороваться: — А, это вы? Извините...

Потянувшись, он сел на корпешку.

— Зашел вот, прилечь на минутку, — устало сказал Орынбай с видом человека, свернувшего горы. — Так намучаешься, устанешь за день, как черт...

— Не говори, и так понятно, — сочувственно соглашается бабка Дарига и вздыхает: — Я-то знаю, ответственность-то какая лежит на тебе. Не каждый справится...

Орынбаю становится немного приятно от лестных слов соседки, но все равно он не может расслабиться и в напряжении выжидает, о чем и что попросит бабка Дарига.

— Замучилась совсем, — жалуется соседка. — Не знаю, где его и найти. Как его? Фу ты! Забыла, старая...

Орынбай чувствует, что бабка хитрит. Тут, как говорится, чья возьмет. Он лихорадочно начинает соображать, что же она у него хочет выпросить...

— А-а! Вспомнила, — обрадовалась она.

Орынбай перестает дышать.

— Сорняк такой, акроп называется, — вспомнила она. — Трава такая, растет как веник, для соления нужна...

“Уф-ф, — отлегло на сердце у Орынбая. — Укроп еще ничего. Хорошо, что не краска или стройматериалы”.

— Посмотрим, — повеселел он и, отбросив в сторону журнал, тяжело поднялся с места. — Пойдем, бабушка, сейчас поищем.

Орынбай нехотя выходит в огород. Ни на шаг не отставая от него, семенит следом бабка Дарига в калошах.

Сильно слепило августовское полуденное солнце. На заросших и неухоженных грядках, уже сморщившись, перезревали помидоры, желтея, лопались пузатые огурцы. Орынбай заметил, что уже начала зарастать бурьяном дорожка, делящая огород на две половинки и выходящая на зады, к сараям.

— Запустила! — тихо, незлобно ругнулся Орынбай, пробираясь через высокую, пыльную траву. — Мне с моей нелегкой работой, пропади она пропадом, некогда смотреть за двором, а она — палец о палец не хочет ударить. Сколько добра зазря пропадает!..

Бабка Дарига понимающе молчит и, стараясь не рассердить его, послушно следует за ним. Она прекрасно знает возможности своей соседки, которая разрывается между детьми, фермой с двухразовой дойкой и домашним хозяйством.

Орынбай, невольно перепачкав в пыли свои брюки, подводит ее к небольшой кучке выгоревшего и осыпавшегося укропа. Подумав, он делает широкий жест:

— Вот. Наберите сколько надо.

— Ба-а! — восклицает бабка Дарига. — Так он же весь выгорел! Неужели у вас больше нигде его нет?

— Нет, — хмуро отвечает Орынбай. — Вроде бы кончился... Жена, кажись, тоже собиралась солить.



— И весь уже вышел? — хитро удивляется соседка.

— Да, вышел, — по привычке срывается у него с языка.

И тут же он спохватывается, пожалев, что поторопился с ответом. Орынбай знал, что на другом конце его огромного огорода остались целые заросли укропа, половина из которых все равно осыплется и пропадет. Вначале ему было лень идти туда по жаре, а потом просто расхотелось показывать весь огород соседке, так как частенько ей изменяло чувство меры.

“Ладно, перебьется бабка, — успокоил он себя. — Все равно уже сказал, что нет укропа. Надоела. Просит и просит. То краску ей давай, то замазку, то укроп...”

Бабка Дарига с изумлением смотрит на Орынбая и совсем не торопится уходить.

— Ты, наверное, забыл, Орынбай-жан, — будто прочитав его нехорошие мысли, говорит соседка. — Ты занятой человек, можешь и не знать, что у тебя растет во дворе...

Он раздраженно ждет, когда закончит говорить бабка. Соседка, нервнуря Орынбая, хитро заглядывает ему в лицо.

— Ведь прежде, чем зайти к тебе в дом, — вкрадчиво рассказывает она, — я обошла весь твой огород. И вон там, на краю, — бабка Дарига показывает рукой, — полно растет этой заразы-то, — и чисто по-русски выговаривает, — укропа-то. Разве я стала бы тебя беспокоить, если бы его не было?

Соседка, довольная, что проучила прижимистого Орынбая, притворно заискивающе смеется.

Орынбай растерянно глядит на бабку Даригу.

— Да ладно уж, берите, что хотите, — конфузится он, уразумев, что бабка ловко провела его. — Смотрите сами. Я не знаю, где, что? Этим жена занимается. Мне работать надо!

Пристыженный бабкой, он какое-то время обескураженно стоит во дворе, затем тихо направляется в дом.

— Ничего, ничего, спасибо. Я много не возьму, — щебечет бабка Дарига, довольная собой, и, собирая в охапку укроп, громко удивляясь, продолжает: — Ба, ты погляди, тут у вас и хрен растет, и перец, и чесночок...

— Да вы берите, сколько вам надо. Все равно пропадет, — остановившись, уже на крыльце, кричит ей Орынбай. — Соберите и перца, и чеснока. Если жена не соберет, все равно все пропадет...

Бабка Дарига уже не слушает его.

— Ты только погляди, — тараторит она и, не разгибаясь, ловко забрасывает к себе в подол всё то, что подалось ей под руки. — И укропчик, и перец, и чесночок. Все у тебя есть для добрых людей. Спасибо, милый: что в пользу людям, то не пропадет...

Зайдя в дом, Орынбай начинает нервно ждать жену. “Где она ходит?” — злится он и смотрит на настенные часы. До обеда оставалось еще полчаса. Орынбай садится за стол и начинает разглядывать рисунки на скатерти, затем берет в руки районную газету.

“Вот тебе, бабушка, и “акроп”! — удивляется про себя он. Ни читать, ни спать ему уже не хотелось. Он снова представляет себе бабку Даригу, бойко рыскающую по огороду и все подряд закидывающую в свой подол. — Придумала же, как меня провести...”

Орынбай качает головой, поражаясь старушечьей хитрости. Он долго думает о чем-то и, кисло усмехнувшись, говорит себе вслух:

— Если “акроп” задом наперед прочитать, получается “порка”! Тебе, бабушка, “акроп”, а мне, выходит, — порка!

Орынбай сокрушенно думает о нелепости своего положения, в которое попал только благодаря своей часто излишней и неуместной скупости. На деле получилось так, что бойкая и смышленная бабка будто специально выдумала для него что-то вроде моральной порки!

Он потрясен метким значением случайного слова, полученного от обратного чтения слова “акроп”. И ему уже кажется, что хитрющая бабка неспроста употребила это слово.

“Вот задала мне бабка порку! И поделом! Чтoб не зазнавался больше, паразит, и не хитрил, и не жадничал по мелочам...”

## БАБУШКА АЙСЛУ

За околицей слабо алел закат. Стыла земля, медленно расслабляясь и испуская накопленный за день жар. Просыпались, встряхивались от дремы деревья и птицы, почувствовав свежее дуновение ветерка, дружно раскрывались одуванчики на зеленой лужайке за домом.

Привычно и хрипло кричал пастух, мычали коровы, норовя снова убежать в степь, на вольные, сочные травы — подходило к селу стадо. Мягкая пыль, поднимаемая скотиной, долго еще висела над землей и, медленно оседая, ручьями растекалась по дороге, приятно сквозила меж пальцев босых ног.

Юркая ребятня на велосипедах, выехав навстречу и мешая пастуху, разгоняла стадо. Женщины ругаясь, кричали на мальчишек, громко кликали, разбирая свою скотину, жаловались пастуху: опять пропала или не пришла корова.

Полузабытое миром село, на многие километры отдаленное от больших магистральных дорог, жило своей обычной, неторопливой и размеренной жизнью. На пригорке, поодаль от новых силикатных домов, что построились в последние годы, возвышался небольшой домик с красивым покосившимся палисадником, некогда белоснежный, строенный прочно и основательно.

Огромные многолетние тополя, окружавшие со всех сторон саманную мазанку с шатровой крышей, издали делали ее совсем махонькой и неприглядной.

Подойдя поближе, можно было разглядеть, как на завалинке около дома, накинув на себя просторный, вылинявший и потерявший свой первоначальный лоск зеленый плюшевый бешмет, неподвижно сидит старушка. Нарядный, белоснежный платок красиво оттенял изрытое глубокими морщинами старческое лицо, придавая ему некое выражение торжественности и покорного ожидания чего-то важного, долгожданного и, похоже, несбыточного, но в то же время так нужного и необходимого, словно излечение от давней, непреходящей боли.

В глубь устремленных куда-то вдаль и выцветших от слез старушечьих глаз настоялась глубокая, давняя печаль. Ее большие, натруженные, почти ссохшиеся руки, обтянутые тонкой, гладкой кожей с темнеющими кровоподтеками — медленно заживают ушибы на старческом теле — устало покоились на коленях.

Старушку звали бабушкой Айслу. Когда-то, в совсем далекой молодости, она была живым олицетворением своего яркого имени — красавица, подобная луне. Так переводится с казахского ее имя — Айслу. Женщины, проходившие мимо, еще издали здоровались с ней.

— Как здоровье, бабушка Айслу?

— Не нужна ли какая помощь?

— Не приехали ли сын, внуки?

Сразу преображалась старушка от простого и нехитрого человеческого участия. Сходила с лица печаль, теплели глаза, с охотой отвечала им бабушка Айслу.

— Нет времени у сына приехать. Он больше по заграницам сейчас ездит. Письмо вот написал...

Бабушка Айслу не прочь поговорить, но женщины проходят, не останавливаясь. Они знают, что сын ничего не написал, да и письма ей частенько читают сами соседи — латинской, ненужной нынче грамоте обучалась в молодости бабушка Айслу у заезжего в их село ликбезиста, а переучиваться — не было времени.

— Наверное, и вправду нет времени. Занятой он у вас. Ученый!

— Конечно, — обрадованно соглашается со всеми бабушка Айслу. — Некогда ему...

Хорошие люди живут в селе. Добрые и, главное, отзывчивые. Всегда придут на помощь, никогда ни в чем не откажут, не бросят в беде.

— Заходите, бабушка Айслу, чай пить! — зовут ее.

— Спасибо. Обязательно зайду как-нибудь, — отвечает она, довольная вниманием односельчан.

Торопятся женщины, не могут долго задерживаться. Нужно спешить — дом, семья, хозяйство. Их ждут некормленные дети и муж, голодные телята, недоенная корова.

И снова одиноко сидит бабушка Айслу, слушая в наступающих сумерках тихое перешептывание листвы в многолетних кронах огромных тополей — памяти, оставшейся о муже.

Три маленьких деревца посадил муж перед самой войной в честь своих сыновей — Еркина, Ербола и Ерсайна — и сам ухаживал за ними, поливал, пока саженцы не набрались сил, не окрепли.

Бросили деревья семя. Выпростались из земли, выросли на глазах, и, разрастаясь, уже догоняет в росте своих родителей поросль первых тополей, еще раз подтверждающая истину, что всегда оставляют свой след на земле добрые дела. И куда будут расти эти деревья, продолжать свой род, будет жить в людях и память о муже бабушки Айслу — колхозном кузнеце и умельце, весельчаке Адильбеке.

И может быть, когда-нибудь тополя эти, бережно возвращенные кузнецом, разрастутся еще больше вширь, образуют рощу или сельский парк, и малые дети между играми задумаются на секунду и спросят своих родителей: а кто посадил эти “балшше дельвья”?..

Видится бабушке Айслу ее муж Адильбек. Молодой, сильный, красивый. А как он виртуозно и ловко орудовал топором, когда сбивал стропила на крыше!

Вспомнилось, как строили дом, в котором она сейчас живет. Сколько надежд они связывали с ним! Всей семьей строили. Сами били саман, возводили фундамент, стены. Большой вышел дом, просторный. Живите на здоровье, растите детей. Радуйтесь счастьем!

Но не суждено было им испытать счастья в новом доме. Только закончили последние работы, как началась война. Сколько слез, несчастий принесла она, проклятая, людям... Сколько жизней молодых на корню загубила, сколько вдов и сирот расплодила по горькой земле...

До сих пор кровью обливается сердце, когда слышишь это жуткое слово — война. И нет-нет, да резанет старческий слух услышанное по радио: война, агрессия...

Одним из первых ушел на фронт ее муж, оставив кухню на старшего сына Еркина. Наказывал жене, чтобы берегла себя и детей, и не знал, что прощается еще с одним сыном, которого он так и не увидит.

Она назвала его Бейбитшилик, что значит мир. Через три года, один за другим, почти сбежали из дома, добровольцами ушли на войну вслед за отцом совсем еще юные Еркин и Ербол. Не смогла уберечь, усмотреть и за третьим сыном Ерсайном — попал под сенокосилку...

И остался у нее на руках один маленький Бейбит, ее опора, и утешение, и оправдание перед мужем. Но ни перед кем не пришлось ей оправдываться.

“Ваш муж, Адильбек Жаксенов, в боях за Советскую Родину, проявив мужество и героизм, пал смертью храбрых”, — извещалось в похоронке, но не поверила она тогда “черной бумаге” и до сих пор не верит, хотя с тех пор годков прошло уже пять десятков. Разве мало случаев? А вдруг?..

Живым — жить! Скольких трудов ей стоило, чтобы снова ожить, встать на ноги, не для себя — ради крохи, сына Бейбита, чтоб вырос он достойным имени отца, продолжил его дело.

И вырастила, назло судьбе, воспитала, дала образование. И внуков вынянчила. Двоих.

В столице теперь живет сын. Стал ученым, известным на всю республику. Зовет жить к себе. Отказывает ему бабушка Айслу. Не хочет и не может бросить она село, в котором родилась, где прошли ее молодые и самые счастливые годы. Сын, бессильный переубедить мать, кажется, оставил старушку в покое.

Каждое лето он привозит детей к матери. Сам побудет день-два и уезжает. Сильно занята, институтом каким-то руководит, научным. Невестка, та и вовсе не показывается, тоже, видно, занята. За все время бабушка Айслу ее всего-то несколько раз и видела. Раньше, бывало, она иногда черкала в письме пару строк: спасибо за мясо, масло. Приезжайте, мол, погостите...

Стара сейчас стала бабушка Айслу. Не может смотреть за скотом. Всю живность во дворе, кроме кур, распродала. Часть вырученных денег оставила себе, на черный день, а оставшуюся — пустила внукам на подарки.

Теперь ей самой соседи молоко для чая приносят. Пенсии на одну себя хватает, хотя получает она, по милости одного районного бюрократа, почти вдвое меньше положенного. Сгорела ее трудовая книжка во время пожара в колхозной конторе, а при восстановлении сделали ошибочную запись.

Ездил бабушка Айслу и в район, но не получилось.

— Не могу я нарушить инструкцию! — заупрямился тогда молодой чиновник с неприятными водяными глазами и каменным лицом. — Не желаю я рисковать своим положением из-за кого-то!..

Не стала перечить ему бабушка Айслу. Махнула рукой, хватит ей одной и половины того, что заслужила своим трудом.

Легкий ветерок пробежал по верхушкам тополей, отдало прохладой с реки, где громче заквакали, переливами запели лягушки. Засинели, сгущаясь, сумерки. На высоком небе уже появились первые звезды, и теплый летний вечер начал ласково окутывать небольшое бурлящее своей жизнью село.

Недалеке, опираясь на палку, кто-то проковылял вслед за своей короной. Он издал, здороваясь, кивнул головой бабушке Айслу и заспешил дальше. Приглядевшись, она с трудом узнала в нем старика Малшибая. Тише воды, ниже травы стал он сейчас. А когда-то был грозой всего аула и женщин...

Посевная, сенокос, уборка, уход за скотом — все лежало на хрупких плечах женщин и детей. Руки в мозолях и волдырях, ныло и болело все тело. Рано утром, запив черствую лепешку кружкой айрана или обрата (молоко сдавали на масло — все шло для фронта), бабий отряд выходил на работу. Возвращались затемно. Шатались от усталости и пели песни — уже был близок конец войны.

Мужчин в ауле осталось всего двое: председатель колхоза, однорукий старик Исатай, и завхоз Малшибай, невысокий, неприятный мужичок, непонятно каким образом избежавший поголовной мобилизации. В ту пору ему едва стукнуло за сорок.

Поговаривали про Малшибая разное. В его руках находилось все довольствие колхоза. Ненасытный и падкий до женщин, с неровными отростками редкой бороды на красном, лоснящемся от жира лице, он ловко использовал свое положение. Редкая женщина в ауле ухитрялась избежать его хитро сплетенных сетей, осмеливалась дать ему отпор: недолго сможешь кормить младенца словами о гордости и чести. Да кому они и нужны, кто их в то время станет слушать? Малыш есть просит, и причем каждый день.

Чем ближе был конец войны, тем все больше расходился Малшибай, словно почувствовав, что несдобровать ему. Избив до полусмерти, с позором выгнал из дома в зимнюю стужу свою жену Даригу, застудив единственного ребенка, и, на свою беду, женился на первой красавице аула — вдове фронтовика Курмантая.

Она-то и определила его дальнейшую судьбу. Однажды, в горячую пору сенокоса, случайно приехав в село, женщина застала дома новоиспеченного мужа со своей взрослой дочерью от Курмантая. Сразу же уразумев, для чего Малшибай женился на ней, она в приступе ярости подвернувшимся под руку ножом лишила Малшибая мужского достоинства и себя этим же ножом порешила, не в силах вынести такого позора.

Другой участи Малшибай и не заслуживал. С облегчением вздохнул аул. Некоторые женщины, словно отыгрываясь за полученные раньше обиды, открыто плевали ему в лицо.

Был в клубе суд. Да что с покойницы возьмешь?..

И с тех пор утих, неплодим стал, замкнулся в себе Малшибай. Так и закончил бы он свои дни в одиночестве, да нет, сжалилось женское сердце, снова приютила его Дарига, простила. “Сам Бог наказал, а я прощу”, — решила она. И по сей день живут они вдвоем. Одни, без детей и детского смеха в доме доживают свой век.

Весна в тот год, помнится, была ранней. Не успел сойти снег, как показалась сочная, ярко-зеленая молодая травка. Сразу выгнали в степь весь

колхозный скот, который, шатаясь от легкого дуновения ветерка, кое-как держался на ногах...

Все с нетерпением ждали Победы, отзвуки которой доходили и до их далекого от фронта небольшого села. Вот стали приезжать первые фронтовики, с орденами и медалями на груди, раненые и контуженные, но живые и счастливые, некоторые без ног или без рук.

Айслу, тогда еще молодая и полная сил, каждый день вечером, после работы, сидя на завалинке, до самой темени ждала с фронта Адильбека, своих детей, Еркина и Ербола. Ей казалось, что вот-вот и они приедут. И так изо дня в день, из года в год...

Почернело, скривилось от боли давних, но все еще острых воспоминаний лицо бабушки Айслу, и вся она будто превратилась в маленький комочек нервов и переживаний. Уже таяли и расплывались в вечерних сумерках очертания домов и деревьев. Кое-где робко заморгали и засветились чудом уцелевшие от уличных хулиганов электрические фонари, бросили тускло расплывающиеся квадраты света на дорогу окна домов.

Бабушке Айслу не хочется заходить в полупустой дом. Все чаще и чаще сживает она на завалинке до поздней ночи, перелистывая в памяти страницы своей незаметно пролетевшей в ожиданиях мужа и сыновей жизни. Каждый раз, погружаясь невольно в глубины воспоминаний, она торопила застывшее время.

Пора и мне, все чаще и чаще в последнее время думает старушка, пора к мужу. Заждался, должно быть. Отбыла я свое на этом свете, вернула долг сыну. Он на меня не держит обиды. Только вот внуки...

Вот они-то и не отпускают бабушку. С нетерпением ждет она внучков. Совсем скоро приедут они на каникулы, и тогда дни ее заполнятся снова, обретут какой-то смысл, завертятся в хлопотах: накормить вкусно, присмотреть, поругать и приласкать, и обновки им не забыть купить к школе. Забот будет — полный рот!

Может быть, только ради этого и стоит жить, мучительно долго и терпеливо выдержать еще год до следующих каникул?..

Иногда призадумывалась бабушка Айслу. А не уехать ли к сыну, в столицу? Небось не притесню? Детей малых смогу нянчить, если еще появяться, буду с невесткой чай пить, беседы с ней о жизни вести. Только вот одна беда, что разговоры у нее с невесткой ровно на полдня и хватает, а потом — год от этого бываешь сыта...

Ну ладно, и не это главное, забудется, отойдет от сердца боль...

А что будет потом?..

Внуки повывают, станут готовиться в студенты. Что остается делать в столице? К городской суете и жизни не обучена, да и кем я буду в городе? Беспомощной бабкой, безвестно доживающей свои дни? Или неприятной мольбой на глазах у единственной невестки?..

Даже и не это, другое удерживает бабушку Айслу. Давно мучает старушку и больно гложет одно, не дающее покоя сомнение: не от души, чувствует она, зовет ее сын жить к себе...

Она бы все равно не поехала к нему. Ладно уж, хватит, старая, отмахиваясь от тяжелых дум, успокаивает она себя. И чего только в голову не придет! Даст Бог, и здесь не помрем, а ежели приспичит — и в городской квартире не спрячется.

Уже гаснет на улицах свет, отходит ко сну село. Давно уже пора в дом, но бабушка Айслу все тянет, съезживаясь от ночной свежести, не шелохнется. Одна-одинешенька остается она в огромной темной ночи.

Сгорбившись под тяжестью дум, старушка застыла надолго, превратившись в маленькое неподвижное изваяние на завалинке. И лишь глаза, два тусклых огонька, светящихся на ее сморщенном, изрытом морщинами лице, говорят о теплящейся еще в ней жизни.

Снова и снова, до боли и рези в глазах всматривается бабушка Айслу куда-то вдаль, где за высокими горами, за далекой и глубокой рекой, за звездами, рассыпанными по черному небу, проходит железная дорога в большой миллионный город к ее любимому сыну, невестке, внукам...

АЛЕКСАНДР ФУФЛЫГИН



## ЮЛЕЧКА УЕХАЛА

РАССКАЗ

Неприязнь к разного рода художникам была у Сережи в крови — эдакой, если так можно выразиться, обстоятельной пылкой любви к Юлечке. Он старательно контролировал Юлечкины связи и отношения, не подпуская к ней сомнительных лиц, не позволял им к ней прикасаться и пальцем и делать ей томных, как ему мнилось, предложений позировать. Он всегда был готов к тому, что нет-нет да и выметнется какой-нибудь очередной растрепан из галдежа очередной вечеринки, чтобы предложить ей уединиться в художественной мастерской с исключительно творческими целями. Напор был силен: искусники всех мастей поджидали Юлечку и в толкотне ту-совок, и в примерочных обувных бутиков, и в складского вида залах гипермаркетов.

К Юлечке вообще липло слишком много всякого люда, и стоило оставить ее одну, как с ней уже рядом тащилось какое-нибудь мурло, метящее в носильщики: и манерно перло пакет с чипсами или с пачкою чая, и старалось аристократично нести голову, и выпячивало грудь. Художниками они называли себя сами, когда вдруг, откуда ни возьмись, вырастали из земли или выскакивали из-за углов, облаченные в какую-то неестественно торжественную любезность, готовые принять под локоток, готовые поддержать разговор, лебезить и объяснить, что все они художники, художники, художники, черт их подери!

---

*ФУФЛЫГИН Александр Валерьевич родился в 1971 году в Перми. После окончания средней школы работал киномехаником, служил в армии. Окончил Западноуральский институт экономики и права. Печатался в журналах "Русская провинция", "Урал", "Октябрь", "Наш современник" и других. Член Союза писателей России. Живет в Перми.*

Сереее же наоеела все их трепотня про Юелечкину точеную ножку, хотя ее ножка, действительно, была точенной, и он, в принципе, сам считал, что девушка вообще для него начинается с точенной ножки, — а своего положения невидимки он выносить просто не мог. Сереее же был тонок и хрупок, узколиц и узкоплеч, и ему еще только предстояло обучаться науке ухаживания. Лица же, суетящиеся вокруг его Юелечки, чуя его эту неискушенность в светских приемах, несмотря на его непосредственное присутствие, все же тащились рядом, и отлипали нехотя, лишь спустя некоторое время, вымотав весь запас его нервов. Хотя, мытьем и катаньем, он все же прилагал свою руку к тому, чтобы от них всех избавиться, пусть и выглядело со стороны все это скверно. Юелечку он встречал отовсюду. С Юелечкой он был повсеместно и ежедневно. Юелечку он звонил вечерами на домашний, в принципе допуская предательскую ложь мобильного, прикрывающего ее истинное местонахождение. В их полнощных беседах Сереее же успокаивался, хотя, в сущности, это была бесконечная, ничего не стоящая болтовня о пустом.

Как вдруг к нему подоспевали прозрения, что к ней никак нельзя было не лишнуть: так воздушен и многокрасочен был ее облик и отзывающийся цветами воздух, отталкиваемый ею, но не перестающий кудрявиться вокруг нее, и ее робость, сквозь голубизну которой, как сквозь волнение, проступали отчаянные, захватывающие дух глубины. Его отпусало, ему ненадолго легчало; он отправлял Юелечку одну туда и сюда; и пробовал порхать в необычных и легких волнах беспечности, прислушиваясь к себе и дивясь своей внутренней тишине; и даже самолично водил Юелечку в фотосалон. Фотограф в пиджаке с засаленным боком и с плечами, убежденными перхотью, тяжело вился над ней, как перегруженный нектаром мотылек, и трогал ее лапками, вымазанными в пыльце, и щедро лил меду в свои бессмысленные речи. Расстаравшись, он умудрялся быть одновременно с того и с другого ее боку, отчего чрезмерно потел. Сереее же убивал его стулом, метя в самое тонкое место под крыльями. Фотограф умирал медленно, странно шевеля пушистым брюшком, из которого выходили его внутренности, похожие на гель, и цепляясь лапками за воздух. Фотографии были готовы на следующий день (Сереее же получал их сам!). Фотограф был сдержан и молчалив. Сереее же корректен и мрачен.

Сереее же помнил белый день своего знакомства с Юелечкой: именно белый, хоть и летний: но почему белый, он не мог себе объяснить, не мог приделать к сочно-зеленую колышущемуся ярлыку белую нашенку. Разинутая пастью арка, знаменующая вход в городской парк. Очередной художник, или, скорее, фотограф, целящийся в Юелечку третьим своим, оптическим глазом. Головокружительный плен каруселей. Грохочущий, многоголосый визг “американских горок”. Случайное касание локтей, вызывавшее кипение сердец. Завиток на золотом пушке щеки, решивший все. Ночь, искалеченная райской бессонницей. Сереее же, я не сплю, звоню тебе, чтобы. Мальчик мой, Сереее жеенька, поговори со мной, потому что я без тебя. Потому что пододеяльник жесток, как фольга. Потому что темноты я боюсь: в ней нет тебя.

Тогда же он начал писать стихи — краснел, если его заставляли врасплох, — повсюду, на неиспользованных салфетках, на исподних сторонах рецептов, на каких-то случайных газетных полях оставлял строфы, как чересчур разросшиеся автографы. Поначалу он относился к своей новой страсти достаточно легко, иногда читая стихи Юелечке: с нарочитой патетикой, стоя, по-пушкински держа рукой рукописный листок на отлете, отставив ногу. Юелечка же как-то сразу же прониклась к его стихам любовью, дурачество его не принимала, требуя от него серьезности и глубины, и обязательно серьезно, и погружалась по плечи в свои мысли, так, что ему приходилось ее оттуда выуживать. В конце концов Сереее же посерьезнел сам. Ему вдруг показались чрезвычайно увлекательными головоломный процесс сложения строф и эта жадная ловитва слов в многостраничные словари. Он чувствовал себя укротителем поэзии, ее распорядителем, полководцем. Его взгляд стал блуждать или стекленеть временами, и часто казалось со стороны, будто взор его проникает сквозь предметы.

— Так-так, — однажды было ему сказано кем-то совершенно незначительным, чепуховым настолько, что лицо его совершенно не удержалось в материале памяти, а осталось лишь это “так-так” и еще несколько фраз.

— Так-так, — однажды было отмечено, — а ведь вам, Сергей, пора отдать ваши стихи в журналы и в газеты.

В новую струю Сережа нырнул легко, с уверенностью, что будет принят немедленно и радушно: им владел розовый юношеский максимализм, согласно указаниям которого он и мотался по редакциям. Жизнь его стала поделенной на продолжительные коридоры, полные безликих дверей, в которых, как привидения, бродили канцелярские запахи. Мешок, старательно набитый было надеждами, минуемо тощал, и вся эта коридорная возня потихоньку утихомирилась сама собой. Сережа для себя отметил эту странность: бушующее, порывистое пламя, поддерживающее жар души, теперь стало ровным, спокойным, но чрезвычайно стойким.

Всю тишь и благодать взбаламутил Саженин: ворвался, сцапал первую попавшуюся под руку рукопись, вчитался в нее без разрешения, словно вгрызся, смял, скомкал, думая, видимо, что складывает четверо, прикарманил и приказным тоном попросил дать ему время. Стихи немедленно появились в поэтическом альманахе, мало кому известном, но ярком, пестром и неожиданно тучном. Сережа, получив экземпляр, устал листать его, ища своих творений. Неожиданно нашел там свою фотографию, невесть откуда взявшуюся (опять услуга Саженина), и остался очень доволен шрифтом, расположением строф и неожиданным объемом напечатанного. Из вступительного слова главного редактора альманаха (глянцевая лысына, толстый нос, стариковское выражение щек) он с удивлением выудил информацию о том, как он сам, преодолев нещадную атаку конкуренции, оказался одним из победителей объявленного поэтического марафона. Этапов марафона было три, писалось в альманахе, и участники, со всей серьезностью взявшие старт, прошли их все с достоинством, и победа присуждена двум самым что ни на есть подающим надежды. После допроса с пристрастием (впрочем, он выдал бы все и за так) Саженин выболтал тайну: это была его работа, и сейчас их, двух победителей марафона, ждет профессиональная вылазка на сходку молодых поэтов с толстым названием “съезд”. Это слово Саженин произносил обязательно низким тоном, словно смакуя. Будучи соблазнен красочными росказнями, Сережа ехать согласился, на что Саженин сообщил, что и согласия, в сущности, никакого не требовалось, потому что он, опять теми же стараниями, давно уже внесен в список участников. Все происходило так головокружительно быстро, что Сережа пожалел вдруг, что согласился, да так пожалел, как разве жалеют только отнятую конечность.

Он за какие-то несколько дней измаялся так, что спал с лица. Когда же Юлечка сообщила ему о том, что сама уезжает на две недели, и когда черновик их расставания был вычерчен в его сознании, он сначала испугался так, что даже, если так можно выразиться, испугался этого своего испуга. Это была всего лишь невинная двухнедельная семейная поездка, но он вдруг заметался, меряя шагами и махами комнаты и даже, кажется, разговаривая сам с собой. Его испугало странное совпадение, которое он готов был принять за настоящий знак. Затем он дал себе передышку, сев на диван и подумав, что все не так и плохо, и вообще, плохого ничего нет в том, что расставанием они с Юлечкой проверяют свои чувства. Он ощутил всю отвратительную избытость, всю исключительную глянцевость этой мыслишки. Впрочем, если она завелась в его голове, то вывести ее оттуда у него уж не было никакой возможности.

Он позвонил Юлечке по телефону, и пока с ней объяснялся, трубка вспотела и нагрелась от его щеки. Юлечка, кажется, признавала всю эту его поездку захватывающим дух мероприятием, и заверяла, что он будет полнейшим из дураков, если откажется. Позвони мне вечером. В самом деле, подумалось ему, когда он отбросил мокрую, с трудом переводящую дыхание трубку на диван, — что случится такого? Что в самом-то деле он теряет? Ну, проведет несколько ночек без ее телефонных шепотов. Несколько дней без ее поцелуев, лепестковая нежность которых такова, что он никогда



не мог точно определить, если закрывал глаза, куда она его целует. Отдастся работе съезда, не зря же, в самом деле, съехались. Напнется водки с Сажениным, хотя с водкой и с Сажениным дружба ему была противопоказана. Проспит упорядоченную скукотищу докладов. Взорвет черные устои ночи первой буквой алфавита, выдохнутой вместе с диким криком. Затем он вернется, сняв самого себя с подножки вагона и поставив на перрон. Кольцо Юлечкиных рук — вокруг его шеи. Запах ее волос — щекочущий верхнюю губу.

Однако волнению его не было предела: он метался, меряя шагами и махами пространство, и даже, кажется, зачем-то угрожал расправою безвинному тополи, растущему за окном. Отовсюду из углов и пространств выдвинулись незнакомые надоедливые личности, претендующие на многое: он с жаром объяснял им то и это. Он опять звонил по всем ее телефонам, но трубка, еще не отошедшая от прежних жарких мук, была пуста, и он холодел нутром. Кто-то тщедушный в нем объяснял кому-то массивному, занявшему все остальное пространство, что Юлечка остается под надзором родителей, а, в случае с ней — это самый страшный на свете надзор, крепость, обнесенная островерхим частоколом. Но успокоения ему мысль эта не принесла. Сквозь неплотные связанные кольца частокола немедленно просовывалась розовая морда и уже совала туда же свое острое плечо. С тылу крепости подкрадывалась персона, вынужденно водящая приятельство с азкезой и мордобитием, оттого имеющая лицо шельмоватое. Кто-то, построив губы в сальную улыбку, мокро целовал Юлечкину руку, протянутую лишь для рукопожатия, глазом уже всюю примериваясь к шейке.

Он провел после расставания с ней два отвратительнейших дня, полных скуки и ходьбы: кажется, будто он поставил себе целью ходьбу без цели как средство для препровождения времени, отшагивал целые кварталы, погруженный в себя. Он набирал номер ее мобильного, и разговаривал с ней по телефону, обсуждая свои страхи, а она обязательно просила его не изводить себя, пойти, например, погулять. Голосу ее расстояние, разделяющее их, придавало странноватый, непривычный оттенок. Она наспех выболтала ему все новости, встретившие ее на новом месте: двоюродный брат вырос, став неприятным мужланом; котенок, которого она в позапрошлом году отпаивала из пипетки молоком, совершенно одичал; бомбошка на бабушкиной прическе стала толще и болтается при ходьбе еще уморительней; папа ночью упал с кровати, забыв, что спит с краю. Сережа пробовал смеяться, но смеха не выходило. Заканчивали разговоры они всегда долго: он тянул резину, пытаясь затянуть Юлечку в бесконечный разговор, но она жарко перебивала его, говорила, что завалена делами, что ее зовет мама, что сердится папа, что она вообще не может долго разговаривать по телефону, не видя его лица, прощалась, быстро и часто целовала трубку и отключалась.

Он чувствовал, что над ним довлечет какая-то странная сила, какая-то нелепость, от которой не отвязаться без посторонней помощи. Так, подумалось ему, наверное, и сходят с ума: бродя из угла в угол, добредают, в конце концов, до помутнения в голове. Он поднялся вдруг над своей жизнью без Юлечки, чтобы сверху взглянуть на все это и без того кажущееся опустевшим: и жизнь его показалась ему нищей и бесхозной. В нее, как в кладовку, оказалось накидано много всякой всячины, давно запыленной и присвоенной пауком, — и сквозь всю эту бесхозяйственность ему надлежало проложить тропку или даже очистить от нее середину своей жизни.

Как умудрилась Юлечка враси в него так, чтобы все, лишненное ее касания и не пригодное быть полезным ей, так скоро заплесневело? Сережа стал быстро перебирать в памяти моменты, бродя по комнате и словно расставляя метки. На пыльном экране телевизора Юлечкиным пальцем выведен крест. Кресло останется в живых: Юлечка любила сидеть в нем комочком, прыгнув в него, как в уютную норку выпрыгивает уютная ласка. Столовым приборам повезло больше всех: некоторых из них касались ее губы, — и они оставлены все из-за невозможности идентификации счастливиц. Так можно сойти с ума, решил он, сбрендить, разглядывая мебель и вилки.

Мысль его, освобожденная и острая, немедленно ринулась наружу. Нужно позвонить Саженину. Тот был большой скотиной, но хорошим поэтом, как журналист сотрудничал с кучей всяких газет, готовя сумасшедшие репортажи о разных разностях, о мамашах, душащих новорожденных, о пенсионерах, общающихся — от безысходности — с пауками и тараканами. Несмотря на то, что Саженин тоже должен был ехать на съезд, позвонить ему было необходимо еще и потому, что он обладал способностями сводить все проблемы на пфук, разговоры на баб, но зато пустяки раздуть, как воздушные шары, и впоследствии хлопнуть ими, чтобы было много треску и шуму. Он вообще любил много шуму и треску, воспоминания о нем скакали в Сережиной голове разномастными, хвостатыми жеребцами. Саженина нельзя было подпускать слишком близко: он имел дурную привычку пускать корни, оставлять одежду в самых что ни на есть укромных местах хозяйских шифоньеров, чтобы потом часто возвращаться за ними. Он был невыносим своей привычкой из раза в раз, копируя свои же интонации и выраженья лица, как шарманка, повествовать эпизод из первого класса средней школы. В истории этой его с диким жаром целовали одноклассницы (точнее, второклассницы!), целовали в обе его щеки и, доведя поцелуями себя до такой степени страстности, в эти самые щеки его искусывали, искусывали его в школьную форму, и в учебники, и в тетради, — а зачем, не смогли потом сами объяснить ни жертве, ни родителям, ни завучу школы. Он всегда был в пути: с гитарой, всегда с ней, всегда с чужой, и всегда с разными, а когда останавливался или — не дай Бог! — присаживался на ваш диван или на вашей лестнице, бросался брэнчать какие-то самодельные композиции. Немедленно тут же возле него обязательно оказывался кто-то, одобрительно кивающий в такт и, оказывается, хорошо знавший эту песню, — и так же неожиданно растворялся в воздухе. Какая-нибудь человекообразная сомнамбула вдруг входила в вашу комнату, принимала скорбную позу на вашей кровати, пила невесть откуда оказавшееся в ее руках ваше пиво, все аккуратно допивала, дослушивала и таинственно растворялась в воздухе, предварительно испортив его дешевым сигаретным дымом. Из подъезда, возле которого вы с Сажениным оказались совершенно случайно, выходила рыжая образина, мужеподобная и в мужских одеждах, но с великолепно стоящей грудью, вооруженная пузырьком с коньяком, просила сыграть ее любимую, выпивала коньяк сама, хрипло звала вас Серым, а Саженина Сажей, под конец клянясь, будто ближе Сажи и Серого у нее нет никого на свете.

С Сажениным было легко: хватало одного телефонного звонка, чтобы он вырастал перед вами сивкой-буркой. В такие минуты непритязательная его физиономия, в которой, казалось, вовсе не было всего того, что есть в лице живом, могла показаться чем-то особенно дорогим и нужным, а его поза вразвалку посереде любимого Юлечкиного кресла — органично вписывающейся в угрюмую обстановку комнаты. Вам вдруг даже начинало казаться, что вы зря ему звонили: он и так к тому времени стоял возле вашей двери, готовый в нее войти без приглашения.

— Что это с тобой? — спросил Саженин, барабанил пальцами по коленке. — Заперся тут один и глядишь волком. Собирай-ка чемодан: ночь на дворе!

Он потянулся за гитарой, кажется, пытавшейся устало отпрянуть от его пятерни, и, кряхтя, продолжил:

— Столько вокруг дел, столько еще не вышитого, просто черт знает что. Подтолкни-ка ко мне эту упрямую дуру.

— Не нужно здесь никакого брэнчания, — попросил Сережа, рассеянно глядя вокруг себя в поисках нужных вещей.

— Сюда-а, — протянул Саженин повелительно, продолжая кряхтеть и тянуться рукой. Гитара, потеряв равновесие, свалилась, желая отпрыгнуть от него подалеже, и из нутра ее пошел долгий, болезненный гул.

Сережа вдруг обреченно прочувствовал всю остроту и неожиданность своего положения, всю безвыходность обстановки и звенящую скорбь паузы. Паузу подхватили стены, нахмурился и стал ниже потолок так, что, кажется, уже и сама люстра была где-то чуть ли не возле уха.

— Бренчание, — влез в паузу Саженин, — это, брат, такая штука, состоящая из аккордов. Это ловкие крабы рук и беготня их по поверхности грифа. Не помню, кто сказал, может быть, и я.

Он был беззаботен, нес околесицу лениво, словно отработывал долг. Сережа на минуту пожалел, что вызвал его: кажется, все текло само по себе, все ленилось и сокрушаться и существовать, все приняло ту же удобную позу, в какой находился Саженин.

Крякнув, тот комически полез из кресла, рискуя выпасть из него, как из гнезда, достал-таки гитару, ногами оставаясь в кресле, снова уселся, пристроил инструмент на коленях, взял сложный аккорд и вдруг с бряканьем, даже проводя взглядом движение инструмента, отложил гитару в сторону: зазвонил его телефон. Он принялся прохаживаться по комнате, перешагивая через наличествующие лишь в его сознании загвоздки и при этом высоко поднимая колени. Со стороны казалось, будто он разговаривает с самим телефоном, так оживленна была его мимика: он даже, кажется, пару раз отнимал трубку от уха, подносил к лицу и с укоризной глядел на нее.

Наболтавшись, он вновь влез в кресло; вид при этом у него был заговорщический, и на лбу прибавилось морщин.

— Я переночую у тебя, — сказал он. В вопросе его уже содержалось утверждение, поэтому Сережа промолчал. — Я и сумку с собой взял, а?

На столе появилась бутылка водки и четверть буханки белого хлеба. Бутылка была новенькая и радостно блестела, точно радовалась хорошей компании. Хлеб был в целлофановом пакете, и этот плен был для него пыткой: стенки изнутри покрылись испариной.

— Я водку пить не буду, — торжественно сказал Сережа.

Саженин открыл пробку.

— Дай сардельку, — попросил он.

— Сарделька на завтрак. Есть паштет, но подсохший.

— Дай паштету, — копируя свой прежний тон, попросил Саженин, ломая хлеб.

— Нож же есть, — с укоризной произнес Сережа.

— С ножом не вкусно, — ответил Саженин, — дай рюмку.

Сережа дал ему паштет и рюмку. Саженин клал паштет кусками на хлебные куски, размазывал его по хлебу языком, затем засовывая в рот кусок целиком. Выражение лица его становилось в этот момент страшно комическим, точно он комик и, будучи комиком, готовится демонстрировать публике, как он будет сейчас заглатывать арбуз. Водка лилась в рюмку весело и со звуком, который можно было принять за куриное клохтанье. Водка лилась в горло Саженина беззвучно. Вид у Саженина был в этот момент такой, будто водку он категорически не переносит; кажется, Сережа еще не видел настолько перекошенных лиц.

Сереже тут представилось: ночь, чернота, ужасающий храп Саженина, подступающее к горлу утро.

— Ладно, — сказал он быстро и махнул рукой, — давай и мне.

— Это дело, — засуетился Саженин, грубо беря бутылку за горло.

Когда водка кончилась, легли спать. Саженин лег на диван, как был, не раздеваясь, не сняв носков и джемпера, лишь скинув одни штаны, и заснул мгновенно, едва коснувшись ухом подушки. Он давал такого храпака, отчего чуть заметно колыхались шторы на окнах. Храп его все время будто поднимался в гору, рвя жилы от напряжения, и в нем слышались то обвалы, то грохоты обрушивающихся вод. Сережа что есть мочи хлопал в ладоши: резкий звук и содрогание воздуха делали чудо, и Саженин глотал захваченный ртом воздух, стихал на время, но в следующую минуту его, как разбуженный вулкан, прорывало, и клопочущая лава его храпа выплескивалась наружу.

Все Сережины страхи осуществились. Одеядо отяжелело, ночь всей своей грузностью навалилась поверх него. Сережа лежал на спине, спиной чувствуя комья матраса, неизвестно откуда там взявшиеся, со страхом понимая, как неумолимо бледнеет потолок. Ему даже стало казаться, что ночь эта была насильно укорочена, что он лежал с закрытыми глазами, но сквозь закрытые глаза все равно видел комнату. Когда же в комнату вполз вихрь и захо-

дил под потолком по какому-то своему, неотчетливому, но все же геометрически выверенному плану, заверещал будильник.

Саженин спал поперек устроенного им на диване бардака. Под ним, на нем — какие-то груды вещей, одеяло, жестоко скрученное и передавленное пополам, и ужасно измятые штаны, а из всего этого вороха торчала нога в протертом на подошве носке. Пальцы на ноге порывисто шевелились.

— Подъем, — сказал Сережа, вызволяя штаны из грузного плена.

Саженин немного постонал, почмокал немного губами, открыл один глаз и захрапел вновь, кажется, не успев даже его толком прикрыть.

— Автобус через полчаса, — напомнил ему Сережа громко, стараясь, чтобы в голосе было больше насады: немедленно лицо Саженина обрело осмысленность, в нем разыгралась жизнь, дремавшая досель. Одеяло, тяжелящее и сковывающее, было отброшено на пол, мослы, наверное, все имеющиеся в организме Саженина, хрустнули.

— Ну-с, — закричал Саженин, вскакивая и потирая руки, — поперли отсюда!

— Надень штаны, — попросил Сережа, бросая ему их.

Сережа пил чай, глядя, как Саженин ест холодную сардельку на ходу, натягивая брюки. Он держал ее, как сигару, зубами в углу рта и вывозил жиром все свои щеки. Он, кажется, и не собирался терзать организм бессмысленным умываньем и иным моционом, а был готов к походу уже через какие-нибудь пять минут, накинув куртку.

— Чай я не буду, — сказал Саженин. — И так во рту дерибас.

— Тогда пошли, — сказал Сережа, уже покончив с завтраком, и они вышли из квартиры. Сережа тащил обе сумки, Саженин — гитару.

Вызвали лифт. В лифте Саженин был вызывающе энергичен, даже бунен, и давал медленно ползущей вниз кабине такого жару, что она опасно грохотала и раскачивалась.

— Вот я тоже, — говорил Саженин нарочито приглушенным и таинственным тоном, постоянно третируя кулаком Сережин бок, — как только выпадаю из-под контроля, становлюсь охоч до кошечек. Очень хорошо, когда девка крупная. Не толстомысая, конечно, но наваристая девка такая, плечистая даже, задастая обязательно. Колени обязательно должны быть. Есть в этом какая-то дурь, таких не страшно шархнуть ладонью по брандмауеру, чтобы с отяжкой и со шлепком на всю вселенную. Они тогда очень чувственно взвизгивают.

Лифт громыхал и гудел, и, кажется, не было конца его долгому вертикальному, кропотливому падению, как и не было конца туповатой болтовне Саженина.

— Я люблю так, — продолжал Саженин. — Чтобы она могла чувствительно двинуть плечом. Ее берешь, а она выворачивает тебе руку и оставляет синяки.

— Это отвратительно, — заметил Сережа.

— Ты ни фигя не понимаешь, — ответил Саженин, — зато, когда бастион взят, он ноет под тобой и бушует так, что только береги конечности.

— Так легко почувствовать себя пауком, — выдал Сережа, поживившись: возле подъездной двери бесчинствовал сквозняк.

Вышли из подъезда.

— Допустим, мои пристрастия ясны как белый день, — продолжал Саженин, — но вот ты в любви бездарь. Здесь направо нам. Твоя тяга к отошальным малолеткам когда-то должна пройти. Ты задержался на школьной скамье и все еще мечтаешь заглянуть под юбку какой-нибудь отличнице. Пора любить женщин, готовых сами для тебя юбку задрать. Где-то здесь арка. А, вон она. Нам в нее, и на трамвайную остановку. Поедем со стукотком. Откуда это воняет?

В трамвае:

— Тут, главное, что?

Сережа пожал плечами.

— Тут, главное, ощутить момент. Моменты бывают, я скажу тебе, охонюшки. — Билетеру: — Два билета: за меня и вон за того парня. — Се-

реже: — Хочется порвать к чертям, чтобы пуговицы врозь. Грудь — это немаловажно, скажу я тебе. А какая у твоей десятиклассницы может быть грудь? Никакой не может быть. — Помолчали. — Как все-таки застраивается город. Это просто черт-те что творится. Этой башни еще на той неделе не было, а сегодня, смотри, торчит. Хотя, скажу тебе так, бывают у десятиклассниц такие груди, что просто...

— Еще в прошлом году здесь торчала эта башня, — заметил Сережа.

— В прошлом году ее точно не было.

На улице:

— Вот и наш автобус. Смотри в оба. Поэтессы обычно задерганы, и здесь нам не светит ничего особенного. Хотя и поэтессы бывают: охо-хо!

Саженин был всегда и везде своим: немедленно яростно бросался пожимать руки, обнимать талии, словно нарочно приготовленные для объятий, и пожимал и обнимал их со знанием дела.

Народец толкся возле автобуса разный, и в салоне сидели многие, скромно застолбившие себе выгодные местечки возле окон. Кто-то внутри автобусного салона спал в кошмарно неудобной утренней позе, розовым виском давя в мутноватое окно, сильно откинув голову, отчего у него остро торчал кадык. Сережа влез в автобус, заняв место Саженину: знакомиться с кем-то ему не хотелось. Он понял, что тогда придется вести со всей этой безымянной людской массой вынужденно-непринужденные беседы, испускать будто бы в пространство реплики и шутки. Немедленно он позавидовал спящему, всей той легкости, с какой тот, пристроив висок к дымчатой от близкого его дыхания поверхности окна, забылся ненарушимым, полноценным сном. Курильщики снаружи курили солидно и даже величаво, одинаково глубокомысленно щурясь от дыма и часто кивая, словно в чем-то беспрестанно соглашаясь друг с другом. Сережа пробовал закрыть глаза, устроиться поудобнее: но вдруг заупрямилось кресло, недовольно давя ему в бока. Кто-то коварно, пользуясь его полудремотным состоянием, пробрался за спину, уселся там, в соседних креслах, и стал шебаршиться, размещая свои кажущиеся гигантскими телеса. Когда же Сережина дрема загустела настолько, что он в ней стал погрязать, вся уличная гурьба, дымная и шумная, валом повалила в салон, коленями и животами проталкивая вперед себя толстые сумки. Протиснулся Саженин, с блаженным лицом сел рядом и сразу же принялся общаться, кажется, со всей сторонами света сразу, жутко вертясь. Все дружно поучаствовали в переключке. Как-то уж очень сердито шипя, закрывшись двери, и автобус тронулся.

Словно провоцируемые струящейся под колесами дорогой, в Сережиной голове потоком потекли мысли о Юлечке. Сережа словно вознесся над автобусным салоном, над всем этим, беспечным и бубнящим. Он улыбался, вдавившись своим виском в холодный висок своего улыбающегося двойника по ту сторону окна, — и улыбался мыслям о бессмысленности и безысходности всего существующего вне этого автобуса. Пусть стройный образ его чувства никак не складывался в его голове, и лица Юлечки было не выловить в этом кипучем потоке, но ему было достаточно эйфории, в которой он теперь купался. Деревья и деревушки, бесконечной и бестолковой чередой плывущие мимо, ровного течения мыслей его никак не расстроили. Он был беспокоен, но волнение его было приятным, словно он ехал на встречу, которую предвкушал. Он огляделся вокруг, чуть привстав в кресле: и автобус стал вдруг для него прозрачен. Сквозь все вдруг обнажившиеся окна, обрамленные живой бахромой пошлых обывательских кисточек, Сережа увидел распахнутые охваты целого мира. Сам он, как стосковавшееся по родительскому теплу чадо, несся теперь весьма быстроногим, чтобы ворваться, чтобы упасть в распахнутые перед ним объятия со всей возможной детской страстностью. Мир громоздился перед Сережей громадиной, такими необъятными широтами, когда не видишь им краев, и в них, как в чаше, плескался немислимый простор. Сереже пришло в голову, что он совершенно не представляет, что ему теперь делать со всем этим движущимся на него раздольем, с зеленоющими охватами листовых зарослей, с кавалькадой телеграфных столбов, почему-то напоминающих пустые виселицы. Ехали долго, и

Сережа, вдруг потеряв увертливый хвост мысли, стал смотреть по сторонам, стараясь внимательней вглядываться в лица. Это занятие его вдруг чрезвычайно увлекло, и он совершенно не заметил, как автобус нырнул в старые крашенные, военного типа, ворота.

Съезд разместили в пансионате. Немедленно по головам разнеслась мысль, что поэтические мероприятия, кажется, обречены на такие пансионаты: наверное, громко отметил кто-то, всем кажется, что нас надо, собрав, немедленно полечить. Общее веселье сплотило ряды. Саженин, издав себя, хитро обрушился на женские баулы и попер их целых три, сопровождаемый хихикающими и розовыми от удовольствия девушками. Регистрация прошла весело: все беспрестанно шутили; кто-то требовал заселять девушек к юношам; девушки краснели от удовольствия и отвечали неопределенно, шутки все же не подхватывая.

Поэтов встречали шведским столом, накрытым на российский манер: порции были уже выложены на отдельные тарелочки, вольности в обращении с едой не позволялось. Полдник был скуден, и в то же время кто-то предложил побережь силы и места в желудках для банкета, который, как оказалось, был не за горами, но его никто не послушал. Со столов немедленно было сметено все съедобное. Серьезность, какая-то сосредоточенная напряженность тенью легли на лица поэтов, собравшихся могучими кучками: так действовало на литераторов полуголодное их состояние. Прием пищи плавно перетек в общее собрание.

Все было, как показалось Сереже, каким-то странным образом перепутано, какая-то бестолковая рука вразброс внесла в общий распорядок съезда записи, совершенно не задумываясь об их порядке. Бывают такие ощущения, когда, в сущности, на первый твой взгляд все стандартно: горизонт обручем, блюдо небес, подиум под открытым небом, исполненный из дерева, микрофон, как нельзя кстати прилаженный к обстоятельствам, человек в стареньком, но отлично сидящем костюме, говорящий умно о значении съезда и восхищающийся притоком молодых сил в современную поэзию, — но все словно вверх ногами. В каждом слове ведущего чувствовалась ненужная спешка, а в президиуме среди поэтов вертелось слово “банкет”, всякий раз исполняемое свистящим, будто стесняющимся шепотом. Кое-кто уже был на веселе и пускал в пространство реплики, не способствующие порядку; в заднем ряду давно заговорщически закусывали два пожилых поэта; казалось даже, будто вся эта торжественно-обязательная часть вовсе не торжественна и совершенно не обязательна. В конце концов, выступающий, скомкав доклад о современной поэзии, освободил место на трибуне. Ведущий съезда прочел жуткие стихи собственного сочинения, посвященные открытию мероприятия: ему устроили помпезную овацию. Сереже в какой-то момент показалось, будто обуявшая было всех жажда банкета пропала, но вскоре он понял, что все, в конце концов, к этому самому banquetу по-прежнему движется неумолимо. Кто-то из зала отмочил съедобную шутку. Кто-то припомнил чеховский рассказ об официанте, ненавидящем ресторанный же публику, прожигающую жизнь в жратве. Банкетное настроение обуяло поэтов — голод делал свое черное дело. Открытие съезда состоялось. Поэты разобрали чемоданы и сумки и отправились в гостиничные номера устраиваться.

Сережу поселили вместе с Сажениным. Комната в номере была узкой и длинной, возле стен ее стояли две армейского вида кровати и две битых жизнью тумбочки. Шифоньер, держащийся особняком, был обляпан жирными пальцами постояльцев. Саженин ворвался в него, исследуя его середку, тут же вытащил на свет из своей сумки черный щегольской костюм и повесил его в шифоньер, за шею выволок из сумки пеструю змею галстука, пристроил ее, свернувшуюся, на полочке.

— Слышал? — спросил он. — Вечером банкет. Тыр-тыр-тыр, все вокруг об этом банкете, тыр-тыр-тыр, прямо надоело. Хотя жрать, действительно, хочца. Жратва здесь, на банкете, скажу я тебе, богатая. В прошлом году давали стейки размером с тарелку, так мой сосед спрашивал меня, с какого краю это нужно есть. Первый раз, дурень, видел жареный свиной стейк.

Сереза лежал поверх одеяла и слушал протяжные жалобы своего желудка. Два Серезины джемпера, джинсы и другое заурядное барахло ожидали своей очереди, надеясь получить в аренду хотя бы одну полочку. У вещей, удобно устроенных в шифоньере Сажениным, был хозяйский вид, и сам Саженин, ответственно воркуя над ними, выглядел собственником, не желающим уступать отвоеванных приоритетов. Так что Серезе стало немного грустно от потрепанного обличья и печального выражения своих пожитков, от своей вынужденной отрешенности, от невзыскательного вида комнаты, от зябкого ландшафта за окном, от раздражающего нытья крана за стеной, чужого, но чрезвычайно знакомого тембра. Какие-то люди беспрестанно заглядывали в комнату, спрашивая то того, то этого: Серезе показалось, что у них одно выражение лица на всех, хотя Саженин на это яростно возражал.

От скуки принялись рыться в углах и нишах комнаты; нашли старый поэтический сборник, читали лежа, хохоча над фотомордами поэтов, которые почему-то все были черно-белыми и почему-то все подряд уродливые. Наотмечали вволю глагольных рифм. Надивились наличию неизменных березок за чьими-то запечатанными на зиму окнами. Громоподобно и многоного прошлись по коридорам пансионата, отмечая напряженное затишье, лишь изредка разрываемое отчаянным скрипом петель где-то и кем-то открываемого шкафа. Вдруг, как лавина, по лестнице скатывалась неизвестная компания, невесть откуда взявшаяся, и расшибалась о далекую дверь вниз. Подражая ей, ее раскатистому гомону, Сереза с Сажениным весьма лавинообразно сбежали вниз и вырвались наконец на волю. Немедленно вся загородная, сбереженная от смога и смрада красота открылась перед ними, осанистая и пышная. Они шли аккуратными, проложенными среди порослей глазастых петуний дорожками, там и тут изрисованными мелом: тут были и всяческие бесформенные бяки, и неизменные человечки с кочергами вместо ног, и супрематические нагромождения для девчачьих поскакушек. Как это, думалось Серезе, он до сих пор не заметил всей этой шири, всей этой поэтики смешанных лесов, окруживших пансионат, от которых идет такой дух, что хоть глотай его весь.

Банкет был шумным: воздух в столовой гроыхал, когда поэты, усаживаясь, воевали со стульями, еще не изучив их провинциальных, неуклюжих повадок. Рассаживались как попало, будучи еще незнакомыми друг с другом. Вели себя сдержанно, старательно придерживаясь этикета: девушки топырили мизинцы, держа остальными пальцами рюмки; мужчины дрессировали ножи и вилки. Мэтры, крепко выпив и немного закусив, рвались к микрофону отпускать спички. Колонки чудовищно усиливали звук, но вредили ясности. Из всех отпущенных спичей молодежь не разобрала ни одного, хотя хлопала усердно, жуя.

Потом снова жили под грохотание никому пока не нужной музыки. Впрочем, некая, кажется, для чего-то специально приглашенная дама, широкая спиной и с вычурным начесом на голове, пробовала выдать гопака, но не выдала; пробовала выдать вальс, но не выдала вследствие неадекватного поведения партнера; пробовала выдать “барыню” и выдала, торжествуя, в одиночку, под совершенно неподходящую музыку.

Веселье пошло слоями. Наевшись, поэты отлипали от столов лениво, с каким-то беспросветным сожаленьем глядя на оставшуюся еду, и шли на улицу курить; а там уже в тяжелом дыму плели искусные витийствования и на сытые желудки решали судьбы искусства. Тут же брэнчали на гитаре: исполнялись песни исключительно собственных сочинений, в чем немедленно преуспел Саженин. Его было не остановить; он словно поставил себе целью перепеть все песни, сочиненные им. Когда от его рифмованных воплей уставали и шли в банкетный зал, где уже переминались под медленные композиции только что составленные парочки, — он пел для себя.

Потом друзья сидели рядом, обняв друг друга за плечи, чувствуя, как какая-то невыносимо дружеская нежность ореолом витает над ними, и признавались друг другу в чистой братской любви. Саженин вдруг стал возбужденным и начал соревноваться громогласностью с музыкой, орущей во всю силу динамиков, убеждая Серезу идти искать себе женщин. Сереза возражал, го-

воря, что бабы обыкновенно любят всяких там позеров и художников, а он вовсе не какой-то там художник, а поэт.

— Ты очень хороший поэт, — вдруг закричал Саженин, и закричал с какой-то неожиданной угрозой, напрягшись всем телом, отчего мышцы взбурились под его рубахой, и лицо его сделалось страшным. — Очень хороший! Ха-ро-ший!

— Художников любят, поэтов читают. Меня читают как поэта, мою поэзию, я имею в виду все, написанное когда-либо и не написанное мной тоже, читают, читают, без остановки, — путано объяснил Сережа, не сдрейфив от его криков, и даже немного возгордился этой своей внезапной неустрашимостью.

— Тебя очень многие читают, — опять закричал Саженин и затряс головой так, словно желал сбросить ее с плеч, — очень и очень многие. Я же видел это своими собственными глазами, уж ты можешь мне верить, потому что я твой друг, и все вижу собственными глазами. Тебе как поэту просто необходимо найти какую-нибудь бабу, лучше старше тебя, чтобы она дала тебе себя отчебучить, а то на тебе скоро плесень заведется.

Придя к согласию, они встали и неустойчиво, хотя и четвероного, пошли к выходу.

— Между прочим, — ответил Сережа туманно, — я никого себя читать не заставляю. Поэзия вообще дело добровольное.

— Это верно, — согласился Саженин.

— Они сами читают меня, что бы я ни говорил им, как бы ни отбрыкивался, — продолжал Сережа, — читают и читают без удержу, и что же с ними я могу поделать?

— Ничего ты с ними не сможешь сделать, — ответил Саженин, — они сами по себе, а мы с тобой сами по себе.

Пошли на воздух, но где-то в двусторчатой болтанке дверного проема Саженин потерялся. На мраморном крыльце — с десяток изможденных танцами, мокролобых курильщиков мужского пола, держащихся стайкой, белобрысая девушка, служащая осью мужской, выющейся вокруг нее компании, и вокруг всех них кучевое облако на правах назойливого соглядата, которое все старались отогнать взмахами ладоней. Поэты производили впечатление на даму: поминутно кто-нибудь, чрезвычайно довольный, распустил пышный хвост и растопырив перья, выдавал очередной анекдотец, и все дико ржали. А за ним уже следующий, выскакивая на середину с особой прытью, будто боясь быть опереженным, кудахтал и бил копытом, и делал уморительные рожи: все, чтобы вызвать колокольчатый женский хохоток. Сереже немедленно стало тоскливо: вида чужого, легко обходящегося без него веселья он не переносил. Некоторое время он с безучастным и даже равнодушным видом стоял возле, в уме старательно доказывая самому себе, что все это липовое, натужное веселье ему лично ни к чему.

Сережа прогулочным шагом прохаживался возле ярко озаренного крыльца, и какая-то дурацкая хандра заворошилась в его горле. Сразу же вспомнилось детство: периметр пионерского лагеря, пикульки из акациевых цветов, тоска по дому и подкатывающие к глазам слезы, которых не удержать, но которые удерживать надо. Он повзрослел, но взрослость его, как шрамами, помечена сильными детскими переживаниями, которые дают о себе знать время от времени. Он вовсе уж свыкся со своей отстраненностью от того бахающего, полнящегося криками пухлого зала, отрезанного дверями и светом уличного фонаря. Он даже решил дать крутоля вокруг всего пансионата, как вдруг на крыльцо вышла девушка, та самая, белобрысая хохотунья, — но уже без бурной своей многоголовой свиты. Она была нетрезва, пробовала перешагивать через свои же колени, отчего-то оказавшиеся у нее на пути. Она прыскала от смеха так, что ноги ее, и без того существующие своей особенной, отдельной жизнью, сильно подкашивались.

Сережа вдруг расхрабрился, и, сделав вид, что возвращается с философской, натруженной тяжелыми мыслями прогулки, пошел к крыльцу; и пошел как-то широко, нахрапом. Только что он бродил по краю темноты, а ночь стояла за его спиной, растянутая во всю ширь, как полог,



а сейчас он выступил из нее, как выступают из-за угла. Девушка, занятая расшатавшимся крыльцом, тут же заметила его и ойкнула неожиданным баском. Ее колени, оставшись без внимания, немедленно неловко подломились, и она просто рухнула на крыльцо, и теперь, сидя на голых ступенях, выглядела совершенно беспомощно.

— Я думала, — оправдывалась она, смеясь истерично-клоунским смехом, точно он застал ее за кустиком сидящей в характерной позе вприсядку, в которой делаются интимные, журчащие женские дела, — я здесь одна совсем. Ты меня напугал, просто не знаю как, просто ухохотаться. Сейчас икать начну, не знаю, от страха или от смеха.

— Прогулялся немного, — попробовал оправдываться Сережа.

— Видишь, — сказала она, — я совсем, совсем, совсем пьяная.

Сережа стоял, не зная, куда девать руки, и ответил ей, что сегодня здесь все пьяные, и указал пальцем на дверь, из-за которой неслось грохотанье и вопли расстанцевавшей всюю поэтической компашки.

— Как тебя зовут? — спросила она, а когда он ответил, попросила: — Подайте даме руку, Сергей батькович.

Он увидел, когда она поднялась, что она чуть ниже его, худощава и высоколоба, светлые волосы ее были тонкими и выющимися и казались неприбранными. В другое время он сказал бы, что в ней не было ничего такого, что бы его могло так легко привлечь. Все ее поведение было немного примитивным, и всякая умильность движений казалась нарочно наигранной, например, когда она легкими, какими-то даже неумелыми щипками поправляла на ляжках отчаянно трещащую, наэлектризованную юбку, приставицу к ногам. Пальцы ее были длинные, но немного грубовато сложены и некрасиво красны.

— Мне просто противопоказан коньяк, — сказала она, ежась как от холода, отчего заострились ее локти и плечи, — а мне всегда его наливают всякие засранцы, пользуясь моей невнимательностью и доверчивостью. Вот только стоит отвернуться.

— Коньяк я тоже не люблю, — поддержал Сережа.

— Ладно, — сказала она неожиданно серьезно, — пошла я спать, а то свалюсь еще за столом, кто меня потащит тогда?

— Я могу дотащить, — серьезно заметил он.

— Будешь ждать, пока я надерусь окончательно? — усмехнулась она. — Нет уж, там и без тебя тогда найдутся провожающие. Лучше уж я пойду сейчас и своим ходом.

— Там темень кругом, — загадочно пригрозил Сережа, — я могу проводить вас до корпуса. Одна можете не дойти.

— Вот как, — игриво усмехнулась она, — а я не боюсь темноты.

— Там, в кустах, кругом оторванные ноги валяются, — пошутил он, — я еще днем заметил.

— А у меня крепкие ноги, — так же шутя, ответила она, — не так-то просто их будет оторвать.

— Да мне все равно по пути, — обреченно сказал он, уже не надеясь на поблажку.

— Ладно, ладно, — сказала она, — пошли. Только не смей больше, а то меня тошнить начинает.

Она взяла его под руку, обняв ее двумя руками, притиснувшись грудью к плечу его так, как разве прижимаются любовницы и любящие жены, и они пошли по направлению к спальному корпусу, пока невидимому, но предполагаемому. Шли на ощупь, ориентируясь на местности исключительно подошвами. Вокруг них владычествовала звездноглазая чернота, изредка подсовывая им всевозможные препятствия: то вспучивала на их пути круглую скалу акации, которую Сережа легко определял по запаху; то маскировала поворот асфальтовой дорожки еле заметной мутью газона, которую предавал предательский хруст гравия.

— Ты обязательно должен мне прочесть свои стихи, — тут же попросила она. Он ответил, что вовсе не умеет выучивать никакие, а уж, тем более, собственные стихи, и читать их ему вовсе пытка, но, если поднатужиться, как следует, мелькнет такое... Вот, кажется, совсем неловкий сюжет: он,

она, тяжелая, зависшая над головами атмосфера расставанья, не жалей, поверь в меня, мне хочется быть сильным очень, хочу хоть раз спасти тебя, и что-то в этом самом духе, что-то — парам-парам, от какой-то там, кажется — черной — ночи.

— Дальше, — попросила она.

Дальше, ответил он, все изгладится, лишь только на плечи упадет усталость, как апельсиновую дольку ее проглотить, эту малость, а сколько их еще осталось? Он понял, что все скомкал, что прочел прескверно, без нады, а поэтика заданного вопроса отзвучала с какой-то уже заведомо чухлой мыслью. Не нужно было этого, нужно было вот как: душу мне раскрой на одном листке, и в конверт, и адрес напиши, вот совсем чуть-чуть и в моей руке то, что одному не разрешить... Это чувственной и не так туманно.

— Никакого тумана я вообще не вижу, — ответила она, и Сережа сообразил, что, предательски вырвавшись, мысль его отзвучала вслух. Спальный корпус пансионата громадился перед ними, и от него шел слабый свет: окна были полны электрической желтизны, но странным образом были не ярки и не озаряли даже газона под ними.

— Но то, что ты настоящий художник, признаю прямо и утверждаю это, — сказала она. Признание было приторным: Сережа кивнул, но, поняв, что кивок его был виден лишь темноте, поспешно заговорил, боясь, что обидит ее. Он, конечно же, художник; художник в нем обретається, сколько он помнит себя, с его помощью он с самого детства рифмует каждый шаг своего существования, и, обходя моря и земли, глаголом жжет сердца людей, он пишет песню грустных дум, он ловит сердцем тень былого, и этот шум, душевный шум... снесет он завтра за целковый...

— Какой ты миленький и свеженький, Сережа, — вдруг сказала она задорно и вздохнула ладонью его челку, — просто с ума можно сойти, какой молоденький. У тебя, наверное, и девушки-то еще нет, а?

— Была девушка, — как можно солидно ответил Сережа, не зная, куда деваться от возбуждения, прихлынувшего к его сердцу, спохватился и немедленно отрекся: — Но мы расстались на время.

Вдруг короткий промельк — Юлечка как дразнящее трепыхание пульса, короткое, одиночное. Убрать же с него пальцы: теперь он бьется где-то сам по себе, и его набухающая упругость больше не ощутима. Теперь это заросшая коростой парашина в памяти, даже не чешется, и скоро даже не вспомнить ее местоположение.

— Что же такое случилось? — улыбаясь, немного нарочито играя в озабоченность, спросила она.

— Чувства решили проверить, — ответил он, и она рассмеялась задорно, не обидно, но так, что ему захотелось подхватить ее смех.

— Ты просто чудо, — повторила она, вдруг развернувшись, словно боясь оставаться с ним дольше, и, не попрощавшись, вошла в здание. Она словно ожидала, что он пойдет за ней, но Сережа все бестолково стоял, чувствуя кожей ритмические колыхания ночи, и даже принялся их рифмовать, ища нужных слов, но ему показалось сначала, будто что-то его сбивает, какой-то шум, выныривающий из темноты, как вдруг он вспомнил, что просто пьян.

Он возвратился к себе походкой разболтанной, мягкой, даже — ватной, поначалу каким-то лунным, странным шагом пробредя по неизвестным коридорам, потом заворотил черт-те куда, в какую-то кладовую. Там он погротал чем-то немного, посмеялся над своей неловкостью и над шваброй, не успевшей вовремя смыться, и вдруг внезапно обнаружил перед носом дверь своей комнаты, с удивлением отыскал в кармане ключ, выпыл в пустоту и лег сразу. Он тут же приснился сам себе купающимся в озере; отфыркивающим лезущую в рот воду. Позже явился Саженин: сидел рядом, пробовал петь, обиделся на невнимание и пропал из комнаты, но лишь голос его, забытый здесь хозяином и оттого еще более обозленный, взволнованно бурчал и бубнил из угла. Несколько раз Сережа грубо шикал на него, давья какой-то бесчеловечной громкости своего шипенья. Голос плачуще оправдывался, толково все объяснял и умолкал, но вскоре начинал заново свою волюнку. Так прошла ночь.

На следующее утро, за завтраком Сережа подумал вот что. Так бывает в классической литературе: он ждет ее, но ее все нет. Он бессмысленно и без аппетита завтракает, потом бродит среди людей, ее разыскивая, обязательно катается, например, в лодке, гребет сам, не замечая брызг, выпавших на долю белоснежного полотна его костюма; высаживается на берег, ногой отталкивая лапу злому, привыкшему, что ему все дозволено, мопсу, не замечая катастрофических размеров мопсовых воплей, — но ее все нет. Здесь обязательна душная, щемящая атмосфера курорта, костный хруст озерной гальки под подошвой и академические, статуйные позы на вершине рыжего крутояра.

Вот только все было вразрез классике: она была здесь, его ночная блондинка, здесь, в столовой, он увидел ее сразу же, лишь только вошел. Теперь Сережа не знал, что ему делать: он ожидал, что она улыбнется, даст ему знак, но она кушала тихо, вся задумчивая и мирная, глаз не поднимая, не отрывая взгляда от лакированной, зеркальной глади обеденного стола, в глубинах которой в акробатическом висянии вниз головой принимал пищу ее матовый двойник. Пытаясь отвлечься, Сережа принялся рассматривать стены, изобилующие вертоградом, выполненным трепетной рукой оформителя. Виноградники были как сосны рафаэлевых мадонн, академически свежи и розовы, но площевые поползновения лозы были ремесленно декоративны. В голову все же лезла мысль, что скорее всего вся эта масляная мазня удивительно полезна желудку. Впрочем, столовая была полупуста, поэты отсыпались; многим было худо; некоторые же завтракали за двоих, словно издалека готовясь к будущему жертвенному — ради тонкого искусства стихосложения — посту.

Девушка все так же сидела, безропотная, опустошенная, мелко и часто жуя; но вот кто-то, решительно отстранив творог и кофе, подошел к ней. И вот вам поведеньице, развязные движения гарцующих ног! А она распустилась, подняв к нему лицо, уже просветленное счастьем. Со стороны они выглядели чуть ли не любовниками: он все принимал и принимал позы, попугашиному демонстрируя весь спектр своего оперенья; она изахалась, изохалась, словно он рассказывал ей нечто сногшибательное, полувоенное какое-нибудь, на грани исторической драмы, а не о том, как он громко, на весь банкет, тосковал вчера после ее ухода. Ей было подано острое его локтя, выглядящее как какое-то неизвестное науке оружие. Какою-то из своих рук она сунула ему под мышку, и они пошли на выход. Сережа с тоской смотрел на выражения их удаляющихся спин: его — торжествующее, ее — сладострастное.

Когда после завтрака началась работа съезда, Сережа понял, в чем именно заключалась вся путаница: банкет был преждевременен, и теперь никто уже не думал о поэзии. Как назло, поэтические мастер-классы были размещены в первом этаже, в гостиничного вида, но с претензией на домашность, фойе и в площевых коридорах, настолько сонных, что даже читаемые вслух лучшие строфы в этом воздухе казались ужасно вялыми. Поэты старались расположиться поудобней — на диванах и креслах, которых, слава богу, было вдоволь напихано. Кое-кому, в частности, пренебрегшим вчерашним банкетом, отлично выспавшимся поэтессам, достались стулья. Съезд представлял собой теперь театр статики, скопище беспечных, уютных поз, демонстрацию многообразных зевков, обнаруживающих анатомию гортаней. Все же кто-то пробовал работать, декламируя свои стихи, надеясь взъярить ими умы и взбунтовать сердца. Кто-то сумасшедший умудрялся конспектировать реальность, заноса ее каракулями в ученическую, удивительно голубую тетрадь в линейку, даже, кажется, подписанную по всем правилам средней школы (такая-то, участница мастер-класса такого-то). Но вид Саженина, продрогшего, хмурого, с силой изображающего беззаботность, нетвердо прогуливающегося за окнами, сбивал чтеца со строки и ритма, а писца с толку. Кажется, решили все, кто к тому времени проснулся, он ищет вход в столовую.

На обед двинулись шумной толпой: там и тут, стороною и друг за другом, шли сколотившиеся компашки. Сережа высматривал Саженина, успев даже по нему соскучиться, но Саженина нигде не было. Шли меж клумб, до-

рожками и не разбирая дорожек. Было шумно, и среди всего движущей силой, вращающимся ротором, облепленным, как заряженными частицами, мужской частью съезда, шла она. Даже ветер гулял исключительно вокруг нее, льющую пузыря ей юбку, на радость надутых, обездоленных поэтесс. Сережа подумал пристроиться к ее компании, но все было бесполезно: внимание девушки было слишком размножено. Тогда Сережу одолела идиотическая, душераздирающая гордыня, потребовавшая у него клятвы, что больше он никогда и ни за что, и вообще, у него есть Юлечка, и ему вовсе ни к чему терзать свою душу, ища внимания малознакомой женщины. Дальнейшее его поведение было достойно всяческих похвал: он был тверд, он был горд, он просто обедал и вовсе не замечал ее, доступную всем ее окружившим, оцепленную экстазами и волнениями. К тому же в столовую явился Саженин, сел напротив Сережи и стал наворачивать за обе щеки так, что на него стали оборачиваться с соседних столиков, советуя взяться за ум и вести себя по-человечески. Впрочем, он очень быстро насытился, затем долго сидел мокролобий, с жирными, сосисочными губами, сохраняя заговорщический вид, глядя, как Сережа пытается вилкой розовую, похожую на палец сосиску.

— Что-то ты вчера пропал куда-то, — сказал он, и тон его был вопрошительным. Выражение лица Саженина было сосредоточенным, язык его делал во рту свое дело, разыскивая остатки пищи.

— Спать пошел, — ответил Сережа, напряженно глядя мимо него. А ей, отказавшейся от мутного компота с ядрами урюка и пушистыми посторонними ошметками на дне стакана, какой-то пронырливый удачник пер чай, лицом счастливый, хотя от кипятка и плавилась его пальцы.

Саженин проследил его взгляд и сощурился.

— Я тут приглядел себе одну, — сказал он, — из местной обслуги. Я покажу тебе, вон она, в кухне.

Он пальцем показал Сереже: в кухне, меж цинковых поверхностей кастрюль и плит, со знанием дела бродило нечто тучное.

— Нет, — сказал Саженин, — не та, не смотри на самую жирную. Вон та, без халата.

Возле входа в столовую — оживление: сытая, болтливая гурьба двигалась к выходу, густо суетясь и соревнуясь в красноречии. Вышли вон, на улице раскурили неизменное свое курево, немедленно посерьезнев, словно что-то такое добавляют в сигареты, и среди них обьявилась опять она: вся обьята светловолосым дымком, ментоловую сигарету крутит в пальцах, другой рукой бережно держит свой живот, как это делают беременные.

— Как там мастер-класс? — трещал надоедливый Саженин, которому все было невдомек.

— Все в порядке, — не сразу ответил Сережа. — Почему тебя не было?

— А, — отмахнулся тот, — думаю, никому бы не понравилось, если бы я наблюдал там под чьими-нибудь раскидистыми, любовно выращенными виршами. Особенно автору.

Они вышли на улицу, и Сережа вздохнул облегченно. Все было на месте: она, уже измаянная кавалерийским нахрапом своих кавалеров, норовила отвязаться от привязчивых и горластых, таскающихся за ней хвостами. Стоял хороший денек, без облаков и без дождя, хотя и с лужей, невесть откуда взявшейся и жестоко растоптанной (от нее осталось мокрое место) многими ногами. К столовой подкатили три автобуса, с самым мирным видом подвалили к тусовке, видя, что на них не обращают никакого внимания, один из них призывно крикнул, приглашая. Тогда в автобусы полезли все, отшвыривая незатушенные окурки. Зады поэтесс, забирающихся в салон, топырились перед лицами влетающих вслед за ними в автобус поэтов. Сережа пробовал быть равнодушным: влез в автобус наобум, не разглядывая лиц, уселся на первое же свободное место возле прохода, принялся нарочито болтать с Сажениным, устраивающимся в соседнем кресле у окна, о всякой дряни, не относящейся, в принципе, ни к чему.

Потом автобусы кавалькадой дружно покатали знакомым леском, затем, из леска вынырнув, мощно пошли по шоссе, показывая чудеса скорости. Пассажиры, переваривая пищу, дружно онемели; кто-то уже всю дрыхнул,

и кадык его знакомо остро вытарчивал из-за воротника; кто-то, ответственно листая рукописи, наносил на поля карандашные каракули, становящиеся еще каракулистами из-за постоянной тряски, — и мысль, заключенная в них, была чудно кудрявой.

— Я все наблюдаю, что творится за окнами: просто великолепие какое-то. Какая-то безумная монотонная, но чрезвычайно прекрасная поэтика.

Она говорит, видимо, ожидая, что Сережа подхватит на лету.

Он, не упуская момента:

— Красота — это орудие труда для поэта, самое что ни на есть грубое. Это орудие без шестерен, но требующее такой ласки и смазки, каких не требовал еще ни один механизм.

— Орудие — грубое слово.

Только бы не останавливался этот бег, эти раскаты двигателя, раскаты особого тембра, с изюминкой, с душераздирающей баритоникой, чтобы можно было вот так, с легкой, немного неудобной болью в ребре, болтать черт-те о чем.

— Как там твоя компания?

— Надоели. Болтовню, которая ни к чему не приводит, ни к чему не обязывает, считают за правило. Опустели всего за сутки так, будто слова, которыми говорят со мной, нарочно за месяц вызубрили, и теперь слова кончились, а новые зубрить некогда. Пока все спят, я сбежала к тебе.

— Только я вот чего не понимаю: ведь кресло было занято.

— Сколько же нам еще ехать? Кажется, нас решили уморить дорогой.

— Я бы ехал и ехал еще, дорога иногда умиротворяет настолько, что с ней свыкаешься напрочь, врастаешь в кресло.

— Я тоже люблю дорогу, но не в автобусе. Автобус тянет, карабкается, рычит, и мне всегда в нем противно, от него меня тошнит, точно он пропелтый, небритый работяга, вызывающий уважение лишь на расстоянии, когда не чувствуешь его носом. Я вообще не переношу всяческих моторов, я словно чувствую скрежет всех их колесиков, валов, поршней, всю эту механику, все трение, все у меня на коже, в голове. Особенно плохо, когда они останавливаются. Когда работают, тут срабатывает эффект скорости, полета, я наблюдаю движение, а когда все утихает, меня начинает мутить и сгибать пополам.

— Совсем недавно я открыл для себя, что даже в рвотных спазмах можно искать вдохновения, ловишь себя на мысли, что вдруг, выплыв из себя все накопленное и лишнее, вот только останется от этого твоего дурацкого состояния одна горечь во рту, как тут же начинаешь предаваться размышлениям. Конечно, соглашусь, что мыслишки сплошь черные, но ведь я говорю о принципе.

— Что-то мы с тобой размуштровались. Это со мной часто бывает: вместо простой, человеческой болтовни одна лишь заумь, даже иногда самой становится противно. Думаешь — как меня вообще терпит этот человек?

— Ничего, человек терпит тебя вполне даже. Если это вообще можно считать за терпение. Нет, это другое, что-то, уж точно не похожее на терпение, а скорее на выживание человека из дурацкого сна. Знаешь, бывает такое, задремал на чуток, а потом целый день ходишь, как вареный, и целый день вспоминаешь, что тебе приснилось, как ты спешаешь куда-то, и тебя даже подгоняли чуть ли не плеткой, а идти ты не мог быстрее, чем бегают улитка, и что-то там у тебя при ходьбе чешется, и чешешь, и чешешь, и место никак не найдешь, а чесать надо, и идти надо, и просто черт знает, что за сон.

— Мне кажется, когда я пришла, ты еще спал. Ты смотрел как-то так, словно сквозь меня. Наверное, думал, что я тебе снюсь.

— Такое со мной бывает все время. Сплю, начинаю разговаривать с кем-нибудь, постепенно прихожу в себя и чувствую, как плавно разговор, начавшийся еще во сне, из сна составляется и уже ведется наяву и уже о действительности. Но в нем чувствуется какой-то шутовской привкус, с которым ничего не можешь поделать, сам не понимаешь, в чем его комизм, но поспешно начинаешь исправлять его, там посмеешься, там обратишь все в шутку.

Вот тут возникла пауза: наверное, от того, что сменились ритмы, раскашлялся двигатель, умерив пыл; автобус дал крен, свернув с эстакады. Почему так происходит, подумалось; ведь почему-то прошлое, кажущееся еще вчера бетонной глыбой, теперь едва теплится, едва выглядывает скромно из-за угла, тощенькое, тщедушенькое; в нем, в этом прошлом, наличествуют грозы и молнии, какие-то пустопорожние беспокойства, но беспокойства — молчком. Как-то все приходилось мельтешить перед глазами, своими и чужими, куда-то обязательно вбегать, надеясь застать врасплох, чтобы разразиться угрожающим ором, вместо того, чтобы грамотно вторгнуться по-хозяйски, может быть, в лохматой, мокрой от снега шубище, или в каком-нибудь умирительно-трогательном джемпере. Где-то на дальних, еще как следует не исследованных грядах памяти проклюнулась мысль — у кого-то подслушанная, кем-то нарочно туда высаженная — о том, что именно безусой юности присуща способность с легкостью ставить крест на прошлом, неудавшемся, несбывшемся, но которого, в сущности-то, и не было вовсе. Ему, перечеркнутому, окрестованному, с ровной, знакомой автостреды нырнувшему в перелесок, теперь осталась только альбомная, фотографическая статика. Перелесок, казавшийся от невидимого присутствия ветра всклокоченным и развеселым, грудью встречал автобус. Жидкие его березки, конфузливые осинки торжественным строем стояли теперь, замерев на тонких, подламывающихся ножках. Автобус из тени, показавшейся в какой-то момент тотальной, выпер на свет: к бесконечным, словно обкуренным, в сигаретной дымке просторам, к далекой, смешной мозаике домишек, которых, кажется, несли, несли и рассыпали вдоль реки. Все в автобусе, проснувшиеся окончательно, внимательно и хмуро смотрели в окна.

— Интересно, — вопросительно сказал Сережа, — столько было у нас разговоров, а я до сих пор не знаю, как тебя зовут.

Она повернула к нему лицо, оторвав взгляд от дальних, чертовски притягательных пейзажей, и ответила, что ее зовут Юля, но все и всегда зовут ее Юлечка, и ему лучше звать ее Юлечка, потому что ей больше так нравится, чем детское, игрушечное Юля и юляще-якающее — Юлия. Вот так, наверное, втянув когти, дьяволицы признаются в любви священнику, и их бесстыдный тон, и неожиданность их сладострастно пунцовеющих признаний подкашивает ноги. В ее невинном сообщении не было ничего, в сущности, дьявольского, однако Сереже стало не по себе. Такие совпадения суть знак свыше, знак тотальной, божеской слезки, вон, например, из-за ближайшего облака, видимого сквозь автобусные стекла. Это предостережение, подумал он, словно мне предложена и передо мной развернута калька греха, хорошо видимого сверху, еще мною не совершенного, но уже поданного в развернутом виде, отлично просчитанного и даже с угла засаленного. Кажется, уж давно одолено беллетристкой: и обстоятельная формула соблазна, проштудированная до дыр, и взгляд, традиционно брошенный, но сразу же отнятый, и струйка бисера, кудряво протекающая через пульсирующей Юлечкин висок. Но как же противостоять этому профилю, просящемуся в какой-нибудь Гомеров певучий гекзаметр, и всей этой беспечной милой прелести, какой-то без притязаний, без этих маленьких ужимок, без раздражительных затей, и этим мурашкам, покрывшим обнаженное, кажущееся бесконечно беззащитным плечо?

Первым на мушку экскурсии попался какой-то местный музей, и без того выглядящий взволнованно. Фасад его был потрепан, тут и там виднелись цементные нашлапки, старательно растертые, но еще влажные. Колонны, эта обязательная часть обмундирования всякого уважающего себя музея, местами также были подлатаны и даже оштукатурены и побелены, однако швы между прошлым и настоящим были отлично видны.

Музей содержал столько великолепной чепухи и был так торжественен и чопорен, что поэты совершенно онемели, бродя по залам. Смотрели минералы, бесконечно колочие и невозможно драгоценные. Смотрели рельеу, скрученную узлом. Смотрели стол из чистой меди. Возле выхода стоял пулемет, грозный, но, скорее всего, беззубый, и, задрав нос, нес революционную свою вахту. Сережа бродил вслед за Юлечкой, стараясь быть незаметным, но

в удачной невидимости его был изъян. Бродя вокруг нее да около, он обязательно то касался ее бедра костяшками пальцев, то склонялся вместе с ней, виском к виску, к очередной фотографии, составленной из кусочков, испуганно спрятавшейся от безжалостного людского мира за толстым стеклом витрины, чтобы взять граммулечку ее тепла, чтобы испытать деликатным виском прикосновение ее локона.

Из музея прогулочным шагом пошли по великолепному парку, по его аллее, заставленной по обеим сторонам резными деревянными буратинами (правда, с толстыми отечественными носами) и косматыми медведями. Вооруженные весельем, прошли парк насквозь. На выходе предстала перед экскурсантами избушка, без курьих, впрочем, ножек, размалеванная по последнему слову фольклорной моды. Возле резного крыльца, приплясывая под жалобные переливы гармони, стояли две ведьмы, то ли пьяные, то ли беззубые, и шепеляво голосили во все горло. Гармонист был точно отвратительно нетрезв так, что ему не доставало и шести ног, отпущенных ему на время игры, из которых, впрочем, только две были его собственные, а остальные четыре — табурета. Но играл он лихо, подбрасывая гармонь на колене, как будто, нянча, хотел ее расшевелить, а после принимался рвать ее надвое, причем в этот момент вид у него был особенно зверский.

В избе пахло всем тем, чем обыкновенно пахнет в избах. Ведьмы, отголосив свои “ай, люли-люли”, продемонстрировали поделки, сварганенные местной фольклорной братвой из шишек, из костей животных (видимо, съеденных этими самыми ведьмами: это, во всяком случае, читалось по хитрым их глазам), из змееподобных корней и бумаги.

Потом экскурсантов угощали ужином на открытом воздухе. Все швыркало похлебку, расположившись, кто как умудрился, на крыльце, на пне, на медвежьем колене, возле буратин, а то и вовсе на траве. Дули чай из электрических самоваров, над макушками которых зачем-то орудовал сафьяновым сапожком ничего не смыслящий в розжиге самоваров гармонист. В нем все смутно подозревали Ивана-царевича, находящегося на пенсионном обеспечении у государства. Лопали кисель из плесени, но со сладким клюквенным вкусом. После ужина все вычурно прощались с ведьмами и с кустом, под которым дремал Иван-царевич.

Потом экскурсия подкатила к обрывищу, на самой вершине которого, как рог единорога, росло уродливое, неизвестного сорта дерево, почти без листвы, почти без ветвей, толстоствольное и мощное. Автобусы, вздохнув воздуха полной грудью, открыли двери, в которые немедленно вывалились пассажиры.

Как уже говорилось выше, за обрывом открывались просторы, с дымком и с загогулиной речки, в стеклянных водах которой лениво купался близнец солнца. Обрыв был страшен, кажется, совершенно бездонен, и на его краю, взбешенный посторонним присутствием, рвал на поэтах и поэтессах одежды шквальный ветрище, полня воздухом длинные юбки и рубахи. Кто-то из поэтов полез в самый обрыв, цепляясь пальцами за траву, потом вскарабкался на дерево и расселся там среди коренастых ветвей, ничуть не страшась оказаться сброшенным в самую пучину, к горбатящейся, ссутулившейся ленте реки. Сережа помрачнел, когда Юлечка прокричала храбрецу что-то ободряющее (добрую половину слов разметал над пропастью шквальный завистник). Вот с этого самого момента Сереже уже не было покоя, и все существование его со стороны, наверное, оценивалось как волоченье за Юлечкой, как нарочно ставшей задумчивой и прохладной, тогда как ему требовалась ее ответная пылкость, даже — пусть! — липучая страстность, не очень, если хорошенько поразмыслить, уместная и прилаживаемая к такому моменту. Ее, замершую на краю обрыва, он рассматривал теперь с жадностью, самого себя уверяя, что пыл его хорошенько прибран за пазуху и вряд ли приметен окружающим. Он вдруг задумался, что вот ведь оно, вот набухание, вот завязь, то, что следует запомнить, потому что, как бы оно и ни было существовавшим, однако никогда не запоминается, как никогда не запоминается первый младенческий вдох. Если же, случаем, оно и уцепится каким-нибудь случайным коготком, то все равно высохнет, высушенное временем, рассыплется, как забытый гербарий, потому что прикосновения к прошлым чувст-

вам, уже давно истлевшим, уже давно замененным новыми, усовершенствованными, всегда неосторожны. Когда же оно рассыплется, еще и раздавленное какой-нибудь случайной, неосторожной подошвой, перехода — из одного состояния в другое — уже не вспомнишь.

Снова подошел Саженин, вооруженный какой-то новой, просительно-виноватой миной, переполненный желанием занять брошенного на произвол судьбы скучающего друга, и заговорил, и заговорил.

— Смотри, — сказал он (но это было зря, потому что Сережа и так не отрывал от Юлечки взгляда), — какая-то она, если смотреть отсюда, кривая и тощая.

— Сам ты кривой, — ответил Сережа зло, — сам ты просто слепошарый.

— Тощая-тощая, — не замечая Сережиного волнения, продолжил Саженин, — вся заросшая черт-те чем и, наверное, грязная и заразная.

Сереже захотелось насвистать ему по мордасам, по уже совсем не дружественным, за всю его бесшабашность, за дурацкие намеки и за бесхребетность, как вдруг он понял, что Саженин говорит о речке, которая, действительно, была тоща и крива. Но Сереже уже не хотелось выпускать воздух из своей раздувшейся обиды, хотя она и была надута до отказа, до тревожного звука, который она издала бы, если ее можно было бы задеть.

Тем временем автобусы зычно прокричали что-то о времени, которого, по всей видимости, осталось мало до чего-то; в их голосах чувствовалась усталость и голод; их голоса пробудили нервическую суету и толкотню. Сережа лихорадочно стал искать взглядом Юлечку. Она какой-то дьявольской силой была отнесена далеко от всех, к живому, шевелящемуся леску, и гуляла там в своем, таком же живом и шевелящемся платье, послушная стихии, полная невероятной, неожиданной кручины. Он побежал к ней, радуясь, что всю его поспешность можно списать на суету возле автобусов. Как же, как же: пойдём скорее, все ждут тебя; конечно же, без тебя не уедут, но все же; понимаю, мне тоже трудно расставаться с воздухом, с травой, с простором, но все там скоро начнут психовать из-за задержки. Однако она уже шла навстречу, а он думал о том, что ни за какие коврижки теперь не упустит своего, что ему уже пора отбросить покрывало своего мальчишества, теперь ставшего катастрофически неудобным, воинственно ворваться в автобус впереди нее, шпагой расчистить ей путь, вышвырнуть того, проткнуть этого, чтобы занять два места, ей и себе, и весь обратный путь чувствовать ее плечо, локоть, запах.

Она подошла, коротко взглянув на него, и они молча пошли к автобусам.

— Мне кажется, — зачем-то спросил он, — ты от меня бегаешь.

Конечно, вопрос вышел таким уродом, что Юлечка удивилась и пожала плечами, не найдя, что ответить всерьез, но все-таки спросила, с чего это он взял.

— Мне так показалось, — сказал он, и в голосе его проявилась препротивнейшая дрожь: детство, слабость, малодушие. Вот так всегда этим противоречием, паразитирующим на тебе, все портишь. Это когда вместо того, чтобы спуститься на неслышных крыльях, оттопырив их в стороны и вверх, как это делают птицы, и накинуться сзади, влившись поцелуем в шейку, в бесконечно родной, пушистый, вкусный, золотистый позвонок, пахнущий всеми фруктовыми запахами сразу, начинаешь странную игру, по правилам которой пытаешься казаться больше и громче, как будто перед тобой медведь, а не девушка, вскакиваешь на первый же попавшийся пенёк и с криком вразмашку работаешь руками и чувствами. Уже многое ясно в своем неудовлетворительном поведении, но расправу над собой откладываешь, ходатайствуя об отложении рассмотрения обвинительного приговора, и, не смотря на превентивные меры, творишь бесчинства дальше.

— Просто так, — сказала Юлечка, — просто я подумала, что уже прошло целых два дня, вспомнила, как хорошо сейчас дома, на даче, цветы и клубника, и все как-то стало горько, я заскучала, и у меня, как говорят старики, тут же сердечко расшалилось. Мне даже запахи домашними кажутся, так и стоят в носу, как вкопанные. Нюхаешь их, нюхаешь, и слезы на глаза наворачиваются.



— Зачем же скучать, — заторопился Сережа, — у тебя же есть я, такая погода вокруг, вот ветер, вот речка.

— Это ясно, — ответила она, и он понял, что ничуть не сломил обороны ее хандры, и так и шел остаток пути до автобусов какой-то особенно бережной поступью, словно из ведра щедро окаченный нежностью. Они влезли в автобус, минуя укоризненные взгляды, минуя общее душевное внимание, минуя подчеркнуто не осуществленного в этом мире Саженина, и сели в два свободных кресла. Все сбывалось — прохладное касание локтей, ее цветочный запах, бесконечная, ровная теплота ее близости. Автобус рывком тронулся; Юлечка все время нервно дергала оконную шторку, Бог знает чего от нее требуя. Она была заметно расстроена, а подобные беспричинные расстройства дают право предъявлять гневные претензии бестолковым вещам и предметам, обязанным, но не соизволившим угадать человеческий каприз. В конце концов, шторка была распялена во всю свою ширину, чтобы ограждать интимную атмосферу до конца поездки.

Автобусы шли гуськом, мордами суясь напрямик в сгущающиеся сумерки. Жуткие, воспаленные глаза встречных автомобилей пронеслись мимо с рокотом, усиливающимся и убывающим по синусоиде, но, кажется, никогда не пропадаящим. Юлечка дремала на Серезином плече, и он замер, ощущая приятную тяжесть ее головы, чувствуя, как напряжен, когда, амортизируя плечом, пытался как-нибудь облегчить ей тряску и болтанку. Он сам будто закаменел внутренне, даже закаменел, и лишь податливое плечо его теперь было пухло и подходяще мягко. Что-то такое случилось внутри Серези, какая-то катавасия чувств, даже переполох, когда сам, вроде бы в целости и сохранности, со всем тебе положенным набором мослов и шерсти, остаешься на месте, но дух твой, твоя сущность разрастается до вселенских величин; так что уже вовсе и не ты сидишь в автобусе, а машина раскатывает внутри тебя, громадного, невозможно громадного.

Автобус подпрыгнул на какой-то неожиданной кочке, и его потрянуло так, что все дремлющие в нем проснулись. Юлечка так резко кинула носом, точно желала лбом расколошматить собственное колено, проснулась где-то на финише кивка и выпрямилась, как-то уж очень осторожно оглядываясь вокруг, будто постигая утраченную во сне действительность.

— Приехали уже? — осведомилась она густой хрипотцой и безупречно по-детски, кулаками, протерла глаза. Вот оно, подумал Сережа, мое заспанное, чуть припухшее и румяное диво, немного неприбранное, с тонким, угловатым розовым следом поперек щеки и через висок. Его распирало упоение, черт знает откуда взявшееся. Юлечка вновь прикорнула на Серезином плече, глазами, еще не поверившими в наличие окружающего мира, поглядывая вокруг, все время немного прищуриваясь, как от избытка света. Господи, ну вот почему больше всего хочется писать, когда занята голова и руки: женщинами и бухгалтерией? Вот так и выдал бы какой-нибудь хорей, хорейк, хорейшечко какое-нибудь: та-та та-ти, та-та та-та. Ведь сколько потом и чего из вышперечисленного ни кончай, сколько ни беги потом — голый и мокрый между лопатками — к листу, муза, словно не прощая опоздания, не дастся. Покажет язык, бок, но не дастся, пришлет вместо себя какую-нибудь второсортную, видимо, по вызову, но, как и всякая проститутка, та будет нестарательной, бесстрастной и обязательно фригидной. Ведь столько вхолостую прожито сук, которые, как раковины, так и остались пустотелыми, но не зарифмованными, и сколько рифм и ритмов было заверчено вхолостую, оставлено в закоулках памяти, — и не выцарапать их теперь уже, хотя все они будут еще сниться и выглядывать из-за угла, дразнясь.

Все кончилось: автобусы, пискнув, встали нос к носу, как это делают собаки, когда принохиваются друг к другу, и затихли, и тут же тускло, как-то даже уютно зажглось их нутро. Устало разминая ноги и шеи, под руки и вразной экскурсии побрели к корпусу профилактория, казавшемуся лежащим среди мрака на боку. Сережа шел возле Юлечки, думая о том, как бы взять Юлечку под руку; кажется, она сама дала великое множество поводов ее коснуться, принять под локоток, дрожала, съезживалась, переплетая руки на груди, словно саму себя обнимая. Ее плечи поднимались, стано-

вась еще более угловатыми, и в зябких жестах ее было столько холодной стремительности, колочей, как будто связанной из шерсти, столько поспешности, от которой веяло сквозняком, что Сережа и не заметил, как они вошли в здание. Прошли холл молча и хмуро, сторонясь потолочного света, поднялись на второй этаж, уже сонный, уже в неторопливых, осторожных тонах, и где-то возле Юлечкиной двери застопорились.

— Постой, постой, — попросил Сережа, взяв ее за локоть, но локоть ее оказался холоден и тверд, и неприступно неподвижен. Юлечка, порывисто высвободившись, достала ключ с прицепленной к нему голосистой биркой и с хрустом отперла дверь.

— Сережа, послушай, — устало произнесла она, но фразы не докончила, осторожно, мелкими шажками, вступила в черноту комнаты, но на полу пути приостановилась, прислонилась виском и медленно обернулась, головы от косяка не отнимая, словно ею вкруговую по косяку прокатываясь.

— Юлечка, — попробовал было Сережа, но она прервала его, покачав головой.

— Сережа, милый, — сказала она, — иди к себе, уже очень поздно.

— Нет уж, — ответил Сережа с какой-то показной бойкостью, вуалирующей собственное утомление, — еще не поздно, выходи ко мне, прогуляемся, потренируемся о поэзии, о жизни вообще.

— Я совсем без сил, — ответила она кисло, ногтем колукая косяк, — почти не спала предыдущую ночь, вообще еле держусь на ногах, а завтра рано вставать. Иди, я совсем раскисла в этом автобусе. Иди, погуляй с кем-нибудь, найди себе какую-нибудь девушку, поболтай с ней...

О, черт возьми, какой это ловкий тактический ход: все это ее отступление! Продуманный в мелочах шаг назад, на цыпочках, на мысках, цепляные за дверь, как за спасительный заслон, и обязательное давление этой самой дверью, натиск, оттесняющий Сережу, и так завоевавшего совсем немного. Так в какой-нибудь давнишней фильме черно-белый лик героини тонет в черноте за дверью. Медленно, без рывков и без всякого сопротивления; чернота, как трясина, затягивает героиню, и вот уже только бледный промельк едва виднеется, но вскоре и он исчезает. Дверь захлопывается. Круги на поверхности утихомириваются. Бульк, последний выдох. Герой, озадаченный и удрученный, остается один.

Сережа вернулся в свою комнату и сразу лег. Как же это удивительно, решил он, лежать поверх холмов одеяла, в простонародной — руки за голову, ногу на ногу — позе, как пастух посреди какого-нибудь поля, болтая ногой и насвистывая мотивчик. Сколько времени пройдет, прежде чем беспросветная чернота будто бы окаймится горизонтом и зависнет над тобой, до странности четырехугольная, как потолок. На фронте ее примешься искать романтические крапины звезд, и звездные гурты, и завихрения туманностей. Затем просветлеет, в голове и в воздухе, и засмеешься над шуткой, сном не доделанной, хотя и заявленной. Начнешь повелевать временем, скукожившимся в дымное колечко, ради забавы пустишь его трубочкой губ. Ловушкой сердца поймашь раскатистый, четкий взрыв строк, неожиданно собравшихся из первых же попавшихся слов, которые на излете ночи остынут, потемнеют и вовсе исчезнут без следа.

Проснулся он поздно. За окнами кто-то сыто ржал, пародийно декламируя чьи-то несчастные строки. Комната, наверное, всю ночь проведенная без одеяла, совершенно продрогла и выглядела теперь сердитой и нахохлившейся. Наспех умывшись, обдумывая местоположение Саженина, не явившегося ночью в комнату, Сережа прошел вдоль всего коридора, присматриваясь к обликам дверей, в которых он подозревал принадлежность к Юлечкиной комнате, наконец, нашел нужную и постучал. Возня, скрип пружин, шаги, потом все стихло. Мысль о Юлечке, материализовавшаяся, сонная, уютная, завернутая в одеяло, подкралась к двери с той стороны, лбом прижалась к косяку, забыв произнести обязательное в таких случаях “кто там?”.

— Юлечка, — позвал Сережа и вновь постучал, но теперь ему не открывали с хорошо слышимым облегчением, и пока он проверял крепость дверного замка, сообщили как-то уж слишком радостно, что Юлечка уехала.

— Как уехала? — крикнул Сережа и немного поколотил хлипкую дверь, немедленно его испугавшуюся и начавшую поддаваться, — как уехала, когда?

— Утром уехала, — ответили где-то там, наверное, сонно улыбаясь.

Сережа вернулся в комнату. Он некоторое время сидел на своей кровати в дурацкой, неудобной позе, вызвавшей атаку мурашек, которые немедленно овладели его ногой, и шарил по карманам, чем-то там впустую позвякивая. Он вдруг поймал себя на мысли, что вот так же и душа его в этот момент сидит с опущенными плечами, роясь в карманах, ищет мелочь на дальнейшее свое прожитье; находит, быть может, несколько монет и, подбросив на ладони, проверяет тяжесть имеющейся в наличии жизни. Вот она, стандартная любовная развязка, с подлинной страстью пестуемая классической литературой: белый костюм одиночества, обрыв, мирно катящиеся воды реки и неподдельное горе брошенного на произвол судьбы любовника, каменного лица, колом битый час торчащего на крутояре. Горе наше демонстративно, а позы скопированы с античных. Мы вобрали в свое горе всю мировую практику несчастья. Мы с педантичным хладнокровием подумываем о том и об этом, и черт знает о чем, и о мироздании, и о наложении на себя рук. Но, впрочем, ах, оставим все это в сторону: нам нужно, прежде всего, отыскать разобидевшегося вдрызг Саженина, чтобы он подсказал сейчас, как нам вернуться в жизнь.

ЕВГЕНИЙ ЭРАСТОВ



## ПОСТОЮ НАД ОТКРЫТОЮ БЕЗДНОЙ

\* \* \*

Не жалко, что красное лето прошло,  
Что сиплая осень нависла,  
Что много чудовищных туч нанесло,  
И нет уже главного смысла.

Куда ни помотришь — раскосая мгла  
Да хамский оскал криминала.  
Уже не спасут ни упорство вола,  
Ни давняя крепость штурвала.

В убогой стране ничего не спасет —  
Ни песня твоя под сурдинку,  
Что скажет ответное слово народ  
На происки хамского рынка,

Ни вальсы Шопена, ни пушкинский том.  
Лишь там, где закат пламенеет,  
Краснеет рябина на склоне крутом —  
За родину нашу краснеет.

---

*ЭРАСТОВ Евгений Ростиславович родился в 1963 году. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах "Волга", "Москва", "Дружба народов", "Звезда", "Наш современник", "Новый мир", "Сибирские огни". Автор четырех поэтических и трех прозаических книг. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.*

## ОБЕЛИСК ПОБЕДЫ

Стоит со снятой каской,  
Уставив в землю взгляд,  
Зеленой грязной краской  
Покрашенный солдат.

А рядом неубитый  
На лавочке сидит  
Забитый и небритый  
Последний инвалид.

И горько, и уныло,  
С оскоминой во рту,  
“Зачем все это было?” —  
Твердит он в пустоту.

И вновь над облаками,  
Над стайкою стрекоз  
И волжскими песками  
Летит его вопрос.

Он все вздыхает тяжко  
В раздумье над судьбой.  
Молчат в ответ ромашка,  
Полынь и зверобой.

И жгучая крапива,  
Ребячьей стаи враг,  
И яблоня, и слива,  
И зубчатый овраг.

Молчат поля и кручи,  
Родимая река,  
И траурные тучи,  
И с ними облака.

Молчит и ангел горний.  
Спасение от бед,  
Сам Спас Нерукотворный —  
И тот молчит в ответ.

“За что нам эта чаша?  
Знать, нет на нас креста.  
Деревня вроде наша,  
Да родина не та”.

А солнце ярче блещет  
И греет сухостой,  
И на ветру трепещет  
Рукав его пустой.

\* \* \*

Уже трава готовит пышный пир  
За зиму истомившейся сетчатке,  
И одиозный сталинский амбир  
Средь парка прорастает в беспорядке.

И вспоминаешь разговор дождя  
С рябой листвой, и сбор макулатуры,  
И кепочку картавого вождя  
С кусками проржавевшей арматуры.

Тревожный вой взволнованных трибун,  
Весомый слог великого грузина.  
И затрапезный пролетарский гунн  
Со стеклотарой ждет у магазина.

О, как я не любил ходить в строю!  
Но, кутаясь в цветное одеяло,  
Я знать не знал, что жил тогда в раю,  
И газировка в горле застревала.

Как горько мне, что ты пошла на слом,  
Эпоха коллективного психоза,  
Где гипсовая девушка с веслом  
Роняет заштампованные слёзы.

Верни, верни мне свой палеолит,  
Страна обмана, ядерный могильник!  
Опять клещи несут энцефалит,  
И в церкви озабоченно звенит  
Бандитской "Муркой" краденый мобильник.

\* \* \*

Царство физической боли,  
Снова в твоём я плену.  
Я ли судьбой не доволен?  
Я никого не кляню.

Возле ворот преисподней  
Цербер на ржавой цепи.  
Это потом, не сегодня...  
Ты потерпи, потерпи.

Лучше уж грязный и пыльный  
Мир торгашей и деляг,  
Чем пучеглазый, могильный,  
Не сокрушаемый мрак.

Боже, спасибо, что были  
Прожиты дни не в беде.  
Рыбам спасибо, что плыли  
В волжской зеленой воде.

Птицам — за то, что летали.  
Змеям — за то, что ползли.  
Травам — за то, что шептали,  
Розам — за то, что цвели.

Звездам спасибо лучистым.  
Снегу, что в поле белел.  
В мире зубастом, когтистом  
Ты ли меня не жалел?

Это не я средь пустыни  
Брел по афганской жаре.  
Я не взрывался на mine.  
Я не горел на костре.

Суп не варил из опилок.  
Ночью не полз по горам.  
Мне не вкатили в затылок  
Девять положенных грамм.

Все свои годы итожа,  
Светлое вижу в судьбе.  
За испытания, Боже,  
Тоже спасибо Тебе.

\* \* \*

После смерти я выйду к реке.  
Постою в тишине у обрыва.  
Посмотрю, как блестят сиротливо  
Огоньки вдалеке.

Вспоминая, что жил среди вас  
И глотал этот воздух железный.  
В этот тихий, предутренный час  
Постою над открытою бездной.

Над любимой рекой постою.  
Неужели я здесь лицемерил?  
Для того ль в этом темном краю  
Я надеялся, чувствовал, верил,

Чтоб какой-то кудрявый урод  
Под коммерческий свист уркагана  
Загонял полупьянный народ  
В виртуальный мирок чистогана?

Все, что было, ушло в Никуда.  
Стали прахом багряные флаги.  
Сторожит ледяная вода  
Затрапезную песню коряги.

Как вы гадки, гроши в кошельке!  
Как унылы родные мотивы!  
...После смерти я выйду к реке.  
Постою в тишине у обрыва.

\* \* \*

На небе дорогом зеленая листва  
Колеблется, шумит в неистовой отваге.  
Под этот милый шум кружится голова,  
Рождаются слова и просятся к бумаге.

Вот так и жизнь пройдет, колеблясь и шурша  
Причудливой листвой под тресканье синицы.  
Как пламя на ветру, колеблется душа.  
Меж ней и той листвой стираются границы.

Хотелось бы прожить не кенарем в пыли,  
Не мокрым воробьем, не петушком в навозе...  
Как сладко ощущать дыхание земли,  
Где гусеничный шелк, где крылышки стрекозьи!

Я слышу — старый дуб шумит над головой  
Всей кроной кружевной, во тьме расправив плечи,  
Врастая с каждым днем системой корневой  
В упругие пласты славянской древней речи.

И кроны тополей упрямый ветер гнет,  
И каждый тонкий лист, под дождь подставив спину,  
Колеблется, шумит, трепещет, и поет,  
И падает в овраг, на вымокшую глину.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНОВА



## ЗА СТЕНОЙ

РАССКАЗ

Маргарита Федоровна поднималась с трудом по лестнице, сжимая тяжелые сумки. Между третьим и четвертым этажом встретила эта... Почти наскоком — “здрасти”, не разжимая губ, звонкие каблучки легких туфель, белая кофта навыпуск да взвившаяся от плеч прядь темных, покрытых лаком, волос.

От неожиданности Маргарита Федоровна остановилась. Качнула головой.

“Вот, проскакала... — подумала с каким-то тревожным удивлением. — И еще разоделась. Ничего и не скажешь. Разоделась — и только”.

Хлопнула внизу дверь, стихли шаги.

Как звали эту новую соседку, Маргарита Федоровна не знала. Весной, когда таял снег, и черные стволы деревьев разрезали мокрую, в оплывших сугробах даль, а птицы, сбившись в темные комки, кричали громко над крышами, возле подъезда остановилась грузовая машина, из которой вышла молодая женщина с двумя детьми.

Игорь, муж Маргариты Федоровны, как раз окно раскрывал, снимая слой пожелтевшей, липкой бумаги: дом был старый, из окон дуло, и приходилось на зиму их утеплять, прокладывая между рамами вату, обклеивать. С влажной тряпкой, на табуретке — он видел, как носили из машины вещи, чемоданы и узлы, разобранную мебель. А женщина стояла чуть поодаль, наблюдая. На руках она держала девочку. Старший мальчик, лет семи, в красных сапожках и легкой курточке, бежал рядом.

— Марго! — позвал Игорь. — А к нам приехали. Разгружаются!

---

*ЧЕРНОВА Анастасия Евгеньевна родилась в 1987 году в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор рассказов, публиковавшихся в столичных изданиях. В 2009 году стала лауреатом Литературной премии им. Леонида Леонова, присуждаемой журналом “Наши современники” молодым авторам. Живёт в Москве.*



— Так это в ту квартиру приехали? Ну-ну... — Маргарита подошла, встала рядом. — В ту самую.

Воробы кричали на проводах, качались дрожащими пятнами в прозрачном небе, чуть-чуть тронутым синевой облаков. Над крышами, над черными, в язвах сходящего снега дворами, косыми от ветра тополями — они кричали, кричали... Что-то яростное, отважное, но и горькое при этом, бездомное, крылось в их заливном весеннем плаче.

— Значит, приехали. Будут жить, — ответил Игорь.

Его глаза были круглы и равнодушны. Он смотрел в окно. Он смотрел, как радостно бегает мальчик, а водитель что-то говорит, высунувшись из кабины, и шапка его чуть сдвинута набок.

Хотя с тех пор прошло уже несколько месяцев — Маргарита Федоровна так и не узнала, чем занимается новая соседка, где она работает, откуда приехала. Раньше в этой квартире жил строитель, он прокладывал трубы в новые дома, что-то где-то красил... Ночами же он играл на баяне, и это было ужасно. Он еще пел при этом: “о-еее”, старательно, с каким-то болезненным упорством, с мрачной наглостью ограниченного человека. “О-еее” — неслось по этажам, разрывая ночную тишину, и только лампа в оранжевом абажуре горела одиноко на подоконнике.

Сначала строитель продал лампу. Потом — баян. Потом — квартиру. Он исчез, будто растворился между домами, на шумных улицах среди пивных ларьков, ночного неба, топота чужих сапог. Никто и не помнил его — только слепое окно последнего этажа, задернутая шторка, дверь на замке.

— С соседями нам не везет, — любила говорить Маргарита Федоровна. — Понимаете, все они какие-то странные.

Вот и сейчас, разбирая на кухне сумку, она произнесла, уверенно и жестко:

— Не повезло, Агнессе! Знаю их! Гуляют. Направо-налево. А потом: “Ой, я беременна”. И рожают. И дальше гуляют. Туда-сюда. То в бар, то на танцы.

Словно бы в подтверждение за стенкой, у соседей, заплакал ребенок.

— Вот! — победно закончила Маргарита Федоровна. — Видели их!

Из сумки она достала коробку чернослива, куриные котлеты, мороженую рыбу, оливковое масло.

— Торт и конфеты — в другой сумке, Агнессе.

А на плите уже шипела сковородка, пахло сладким теплом пыльных комнат, книгами, чем-то сухим и жарким, быть может, — летом.

Агнесса, подруга далекого детства, сидела на стуле, вытянув длинные ноги.

— Когда-то мы дожидаться не могли каникул, — сказала она, зевая. — Помнишь?

— Помню, — с удовольствием подтвердила Маргарита Федоровна.

Длинные коридоры школы, портреты на стене и тропинка, вечно убегающая вдаль, желтая, под синим небом. Новые туфельки, запах сирени, учебники на полу. Они бесцельно гуляют по знойным дворам, из одного, будто во сне, переplывают в другой. Агнесса, наклоняясь, срывает цветок. Заглядывая в лицо, смеется.

Смеется. Сорок семь лет уже. Смеется.

— Агнесса!

Город постарел. Искривлены улыбкой пыльные улицы, за дома сворачивая, за магазины.

— Мы тогда все окраины исходили...

— Помню. А еще в детстве собирали рябину. Нанизывали ягодки на нить... Украшения вроде как плели, а перед этим сушили в специальных коробочках, на батарее.

Маргарите Федоровне почему-то представился высокий подоконник и девочка, на нее не похожая, маленькая, с двумя хвостиками, смешными, держит в ладони горсть рябины. Склонив голову, смотрит задумчиво. Холодная, яркая, огненная! Через несколько дней рябина тускнела, становилась жалкой и сморщенной, будто отпечаток на песке, размытый ветром. Будто...

“Рита, ты опять босиком? — кричит бабушка с кухни. — Одень тапочки!”

— “Бабушка, идем гулять”, — отвечает Рита.

Яркие ленты стягивают волосы, юбка взлетает от колен, когда она забирается на подоконник и, встав на колени, пытается раскрыть окно.

“Что ты делаешь!” — кричит бабушка.

Она уже в комнате, в руках — мокрая тарелка.

— Возле нашего дома росла рябина, — вспоминает Агнесса. — Осень... лужи, небо серое, мы бегаем, а карманы тяжелые... А дома так тепло, когда придешь с улицы... Темнело-то рано. Мы приходили домой, играли дома. Дождь в окно стучал.

Агнесса зевает.

“Не трогай раму, не открывай!” — слышится бабушкин голос.

Маргарита Федоровна включила радио и села рядом, за стол. С Агнессой их объединяла дружба и воспоминания. Дружба выражалась тем, что раз в два месяца они встречались, чтобы вспоминать.

“Любовь моя... — запело радио. — Тогда в солнечный день я встретил тебя, ты оглянулась, но меня не любила. Раненный в сердце, я закричал: О-о! Любовь! О-о! Любовь! О-о”.

Многое изменилось с тех пор. Маргарита Федоровна критически, будто оценивая, посмотрела на подругу. Вот Агнесса, все такая же красивая... высокая, стройная, только черты лица чуть обострились, удлиннились разрезы глаз, а волосы собраны на затылке и заколоты, оттеняя тонкий профиль, потемневшие, полураскрытые губы.

— Жарко, — говорит Агнесса. Она сидит вполоборота, нога на ногу, локоть на столе. — Нет ли у тебя сока?

Свои волосы Маргарита Федоровна тщательно завивает. Ей кажется, что так эффектнее.

— Не купила, нет. Тут зеленый чай, с лепестками липы, он холодный.

Еще Маргарита Федоровна любит белые кофты, рукава которых отвисают ажурными складками, крохотные сумочки на золотистых цепочках, сапоги на высоких каблуках, бусы и лаковые брошки внизу воротника.

Агнесса одевается проще. Поверх пиджака она повязывает сложенный треугольником платок, темный, в синюю полоску.

— Помнишь, — говорит Агнесса, — как в школе мы списывали алгебру? Мы сели в разные углы, учебники на коленях. Пока один наклоняется к парте — другой отвлекает учителя. Отрывает тетрадный лист, что-то шепчет, подпрыгивает. Максимовна поворачивает в его сторону голову...

— Максимовна? Ее так звали? Я уже не помню имени.

— Альберта Максимовна. Да, ее так звали, очень смешно. Мы еще смеялись... Ты не помнишь?!

За стеной плакал, протяжно всхлипывая, ребенок.

Торт был хороший, с клубничной начинкой, в шоколадной глазури.

— Держи, — протянула Маргарита Федоровна блюдце. — Сколько всего забылось... имена, люди... Я почему-то помню запахи... А еще, будто все — другое было. Не такое, как сейчас.

— Мне так много не надо, — испугалась Агнесса. — Я худею.

— Худеешь? — она горько усмехнулась. — Зачем?

— Ну, как... форму держать. Надо быть в форме.

“С годами теряется форма, — вспомнилась Маргарите Федоровне вычурная фраза из статьи. — Видимость уходит, стираясь временем. Быть может, смерть — есть та же жизнь, только упрощенная, первородная, без всякой формы. Где-то там, где цвета, и звуки, и ощущения слиты безраздельно”.

— Что-что? — спросила Агнесса. — Ты что-то сказала, нет?

— Пойдем в комнату, там прохладнее.

Вечером, когда Агнесса уехала, Маргарита Федоровна вышла на маленький балкон полить цветы. Розовую лейку она опускала под листья. Под сухие, пожелтевшие на солнце, дряблые цветы. Пахло железными крышами, раскаленными за день, и влажным бельем с нижних этажей.

На прощание Агнесса сказала:

— Звони. Обязательно звони.

Несмотря на жару, она пришла в сапогах и теперь, склонившись, застывала молнию.

— Не жарко? — кивнула Маргарита Федоровна.

— Стильно! — ответила Агнесса.

А радио вдруг запело: “Твои глаза, о твои глаза, как же я тебя люблю за эти глаза, только будь рядом со мной — всегда, только не бросай меня — никогда!”

— Любимая песня Женечки, — неожиданно сказала Агнесса.

— Женечка... А как у него дела? — спросила Маргарита.

— Да... — одной ногой Агнесса уже стояла в подъезде. — Да как? Учтись. Два года назад собирался жениться. Привел какую-то Машу. А я ему говорю: “Сын. Ты уже взрослый, ты все решаешь сам, все будет так — как хочешь”. Знаешь — он же обо всем мне всегда рассказывает, а я всегда говорю, что все он делает правильно. Он и рад. И тут я говорю: “Сын, поступай, как хочешь. Только подумай... Думать не вредно. Сколько зарабатываешь ты — и сколько она. Тебе еще институт кончать. Не помешает?” — А он мне: “Не помешает!” — “Тогда — вперед!”.

Но тут мой Женечка и почувствовал что-то неладное, спрашивает: “Ма, а ты — против?” — “Нет, — говорю. — Не против...” И что ты думаешь? Не женился он. Ходил, думал, думал. “А ведь и дети могут быть, — подсказала я. — Но это не главное. Ребенок — это даже хорошо. Просто не повторяй моих ошибок, так хочется, чтоб ты был счастлив”. Через месяц он уже забыл про Машу. Гулял с Лялочкой. И то же самое. Тот же разговор. А теперь вот Наташа, ее родители сувенирный отдел в магазине имеют, дача у них — кирпичная.

— Каков расчет! — не удержалась от благородного гнева Маргарита Федоровна.

Нет, кроме воспоминаний, ничего, ничего не связывает ее с этой Агнессой. Где та худенькая, робкая девочка, которая училась с ней в одном классе, с белыми бантами в густых косах, прилежно выписывающая буквы в прописях, которая, танцуя, дольше всех кружится, только гольфы мелькают да руки, широко раскинутые.

Кружишься и падаешь. Лежишь. А все кругом так и вертится, мелькает, приседая, в безумном диком плясе: макушки деревьев, трава, рваные облака, земля... Боже мой! — Так и кружится все. До сих пор. Всю жизнь. Меняя очертания, быстрее, быстрее. “Когда достигнет предела скорость, вот тогда, — подумала Маргарита, — быть может, и наступит смерть”.

— Ты что! — вскипела Агнесса. — Ну, какой тут расчет? Та Лялочка водку по выходным на лавке пьет! В парке!

Среди каруселей, низких стриженных кустов, праздничных людей. В парке! Дети кричат и машут разноцветными флажками. Маленькие собачки на поводках, поджимая лапки, облаивают с визгом встречные сумки. Все идет, единой, яркой толпой, в чаду сигарет, среди ветра теплого, среди волос, рассыпанных по открытым плечам. Идут. И музыка гремит. И шары дрожат на тонкой ниточке...

— А Маша, так та — вообще ребенка имела. Да не одного — двух! И будто младший, ты только подумай, — от Женечки! Да быть такого не могло! Он ведь у меня — вежливый. Нет, что ни говори, но осторожность нужна. Не более.

Агнесса ушла. Вниз по лестнице, бойко выстукивая каблуками, будто оттачивая неизвестную технику виртуозной игры на ступенях.

“Сосед играл на баяне, — подумала Маргарита Федоровна. — Каждый человек — на чем-то играет. Хотя бы на ступенях. Отбивая сапогами ритмический рисунок”.

Когда она вышла на балкон — сумерки мягко, пуховым платком, окутывали город. Где-то за домом сигналили машины.

— Осторожнее, осторожнее! — кричал женский голос.

Потом все стихло.

“Каждый играет... — продолжали расслабленно виться мысли. — Быть может, Агнесса и права, зачем, к чему...”

К чему переходить улицу селиться в домах а где-то под тучами звезды горят машины сигналият гудки отрываясь ухают в пустоту... в черную.

Ночью Маргарита Федоровна спала беспокойно, ей чудились шаги, ровный шепот; какие-то голоса звали на помощь и, как только она открывала глаза, — тут же замирали в земистой, вязкой темноте комнаты.

Откуда-то из угла появилась бабушка.

“Ты босиком? — спросила она. — Надень тапочки”. Громко тикали часы, проданные пять лет назад. “Нет”, — ответила Маргарита Федоровна, и тогда бабушка заплакала неожиданно тонким детским голоском, заплакала, осев на пол и опустив лицо в подол широкой юбки.

Маргарита Федоровна проснулась.

Никого. Только неясные, размытые темнотой очертания предметов: книжный шкаф, круглый стол. Никого!

Плакал за стеной ребенок.

Черные тучи бесшумно плыли за окном.

“Ну, это же невозможно! — возмущенно подумала Маргарита Федоровна. — Сколько можно?! Целый день! Всю ночь!”

Она встала. Нажала кнопку выключателя. Остро брызнувший с потолка свет остановился на круглом столе... Блюдца, чашки...

С кресла, где сидела Агнесса, чуть сползла накидка. И тут Маргариту Федоровну словно прорвало. Мысли оцетинились, взрывающиеся логикой и негодованием.

Как так?! Как так ребенок без перерыва плачет несколько часов? Если он болен, нужен врач, нужно вызвать врача. О чем думает мамаша, веселую жизнь устроила она, а ведь утром бежала, расфуфырилась, прыг-скок, соседи вообще-то спать хотят, а не концерты выслушивать... Вот рожают, а потом — ой, мне некогда, надо в магазин, надо на танцы, надо отдохнуть, погулять, выпить водки, сходить в гости, в театр, в бар, а я-то говорила, я-то сразу поняла, что это за штучка объявилась! Гуляла направо-налево, потом родила, что делать с ребенком — не знает, а делать что-то нужно... ну капризничает он, успокаивать, ну заболел — врача вызвать, да куда ей, дуре, догадаться обо всем об этом.

К утру Маргарита Федоровна была убеждена: соседки не было дома всю ночь. Бросив детей, ушла развлекаться. Сидит в каком-нибудь ресторане, пьет... А то и танцует, обняв партнера и прижимаясь к нему всем телом... А может быть, даже... ведь так никто и не знает, чем занимается эта соседка... “Если бы Игорь был дома, — подумала Маргарита Федоровна. — Я бы спросила его: что делать будем?” Но Игоря не было. Он уехал по работе на целых три дня.

Детей, однако, было жалко. Чуть помедлив, Маргарита Федоровна вышла в подъезд и позвонила к соседям. Никто не открыл. Маргарита Федоровна позвонила еще раз, вдавливая и не отпуская кнопку до тех пор, пока не услышала тонкий голосок.

— Кто там? — тихонько спросили за дверью. Кажется, старший мальчик.

— Соседка. Открой, не бойся. Вы что — одни дома?

Помолчав, мальчик ответил:

— Мама не разрешает открывать. Никому.

— Твоя сестренка плачет. Может, я помогу?

— А вы кто, тетенька?

— Соседка... — Маргарита Федоровна старалась говорить с ласковой осторожностью, словно бы крадучись.

— Не тетенька. Соседка, — казалось, он что-то сосредоточенно обдумывает.

Потом все же дверь приоткрылась.

И Маргарита Федоровна шагнула в темное, душное пространство чужой квартиры. Утренний серый свет падал от невидимого окна...

— О-о-о, — не удержалась от реплики Маргарита Федоровна, так в комнате было грязно, не прибрано.

“Чего и следовало ожидать...”

Одежда, детские колготки, рубашки разбросаны повсюду: на диване, и в кресле, свисают из полураскрытого шкафа. Какие-то коробки на полу, игрушки под ногами, велосипед трехколесный перевернут на бок. Вместо штор — окна закрыты газетой, желтой, пыльной. Будто не живут в этой квартире, или жили когда-то давно, а теперь уехали, бросили всё, как есть, прервав торопливые сборы.

Забравшись в кресло, мальчик рассказывает:

— Таня прыгала из кухни в комнату, а из комнаты в кухню, а потом взяла велосипед и поехала, а мама говорила, чтоб без нее не катались, вот и я говорю Тане: “Ты не катайся”, я ей так и сказал, что нельзя, а она — все равно поехала. Из комнаты в кухню, а из кухни в комнату, и еще вокруг стола, я говорю, что нельзя, что мама сказала, а она говорит: “би-би”, и больше ничего не говорит, я хотел вырвать у нее велосипед, а она поехала на кухню.

Девочка лет трех, красная от слез, сжавшись, лежит на детской кровати, в углу комнаты, прикрытая каким-то халатом так, что ее почти и не видно, только слышно шумное дыхание, словно в любой момент она готова расплакаться снова.

— Потом поехала в комнату. А я говорю — хватит, я маме расскажу, вот обо всем расскажу. И тут она упала. Наехала на что-то.

— А где ваша мама? — прервав, спрашивает Маргарита Федоровна.

— Она? На работе.

Сложив руки, мальчик сидит неподвижно в кресле, колени его штанов протерты, а рубашка застегнута только на одну пуговицу.

— А я на кухне был, еще не успел вернуться. Только слышу — грохот.

— Как? Ваша мама так рано на работу уходит?!

— Да нет, она еще вчера ушла. Говорит, посидите одни, а я скоро вернусь. А мне говорит: “Следи за Таней, чтоб она не бегала и на велосипеде не каталась”. Пусть, говорит, в кубики играет. И мне сказала не бегать. А я и не бегал.

“Ушла вчера! Дети — весь день и всю ночь были одни!” — это так поразило Маргариту Федоровну, что все остальное она слушала невнимательно, словно через какую-то непроницаемую пленку. Далеким, временно несуществующим становился для нее и мальчик, и его рассказ, и эта комната, серый свет туманного утра; однако, перед тем как полностью погрузиться в чувства, она успела задать еще один вопрос:

— Где же работает ваша мама?

— Она? На работе работает.

Когда-то в этой квартире жил строитель. Никто не мог сказать, зачем и куда он уехал, быть может, он даже умер, но точно этого никто не знал. И теперь Маргарита Федоровна вдруг ясно почувствовала его присутствие. Слово невидимо он стоял где-то рядом и смотрел.

Потом она поняла: нет его тут. Конечно, нет.

Где-то далеко, вне мира, расчерченного квадратами квартир, судеб, детских разбросанных кубиков, вне этого бесконечного, черно-белого хаоса, сидит усталый строитель, чуть склонившись, с последним квадратом на коленях.

А ребенок все рассказывает, в болезненной оживленности блестят его глаза. Кажется, он совсем не удивлен, что пришла какая-то незнакомая тетенька с озабоченным лицом и вздыбленными, будто в пляске, изогнутыми волосами. Пришла, и села на край дивана, и слушает. Будто он ждал, догадываясь: так оно и будет, случится. Хотя бы во сне. И мама придет. Дрогнет в двери ключ. Хотя бы во сне. Но Таня плакала, он не спал. Он говорил: “Тише, дура! Да засни же!”. Обняв руками подушку, слушал малейшие звуки, шорохи в подъезде. Вот кто-то идет. Мимо. Шаги нарастают. “Цок-цок-цок”. Стихли.

А на улице кричит кошка. Кошку жалко. Она совсем одна.

“Тише, Таня. Бай, бай, — говорит он. — Хватит. Ведь скоро придет мама”.

Хотя бы во сне.

“Она придет и принесет конфет. Знаешь, шоколадных”.

Но мама не вернулась. Нагрязнула тетенька — то ли в самом деле, то ли во сне, которая говорит, что она не тетенька вовсе, хотя и похожа. Вот она встала, на кухню пошла.

— Что же вы ели? — спрашивает. — В холодильнике-то пусто!

— А? Да вон, хлеб. Таня не захотела, — торопливо рассказывает мальчик.

Торопливо, будто вот-вот все исчезнет, как недолгий сон, как машина, что проехала за окном. Машина едет. По улицам, мутным, фары горят. Остро.

— Даже колбасы нет. Ни сыра, ни сметаны. Ничего.

Через некоторое время Маргарита Федоровна вернулась к себе, домой.

Хорошо дома! И цветы на подоконниках, и кресла мягкие, скатерть со стола — пола касается. Она прошла к плите, поставила кастрюлю. Надо было детей накормить, и Маргарита Федоровна решила сварить им кашу с молоком, такую, какую в детстве ей варила бабушка. Пока она отнесла им бутерброды и мармелад, большую чашку горячего какао; помогла переодеться.

— Каков беспредел! — думалось все время. — Работает или гуляет — сутками, а дети одни, брошены.

— Мама говорила, что придет скоро. Вот мы и ждем.

Таня сидела рядом с братом, прислонившись к нему, и смотрела на чашку. Но та не остывала. В это время в квартире Маргариты Федоровны зазвонил телефон, и она побежала, на ходу вытирая о фартук руки.

— Да! Алё! Агнесса, ты?

— Доброе утро... — зевнула Агнесса. — Слушай, ну как дела? А мне тут приснилось... кое-что. Вчера неплохо посидели, да. Кстати, я вспомнила, как фамилия географа, того самого, что с указкой по коридору вечно ходил, и мы его звали “Буратино”. Он еще...

— Агнесс! Тут такие дела! — не выдержала Маргарита Федоровна, пребывая на самом интересном месте.

— Да? Что? — встрепенулась Агнесса. — Что-нибудь случилось?

— Случилось, — для значимости Маргарита немного помолчала. Потом заговорила, быстро, с возмущением:

— Ну, семейка. Эта, молодая, развлекается — сутками. Дети одни, одеты не знай во что, дома беспорядок, есть нечего. А сама она, вы посмотрите, вырядилась, поскакала! Видела ее вчера — в белой кофте, расфуфыренная... Да лучше бы она еды купила!..

— Ну, ну, ну! — с азартом повторяла Агнесса. — Да ты что!

Потом Агнесса сказала:

— Вот-вот. Они сейчас все такие. Я Женечке и говорю: “Сын. Будь осторожен. Не повторяй моих ошибок”.

“Ошибкой” Агнесса считался муж, с которым она уже давно развелась и который жил с тех пор в гордом одиночестве, проклиная всех женщин. Вечерами он смотрел программу “Несчастные случаи”; был сух, строг и очень въедлив.

“Сам виноват, — говорила ему Агнесса. — Нечего было командовать. Я не супчик нанималась тебе варить!”

Время от времени он звонил. Узнать, как дела у сына, и заодно высказать претензии, обросшие густой фантазией и пропитанные обидой.

“Я не был с тобой счастлив”, — повторял он, не стесняясь.

“Милый мой! — не выдерживала Агнесса. — Оттого мы и развелись”.

“Вот вспоминаю. Ты мне ни разу не сварила супчик”.

Непростительная ошибка: “С любым, нормальным, разойдешься — и концы в воду. А этот надоедает. Звонит и звонит”.

— Особенно сегодня, с утра. Приспичило. Женечку зовет, а Женечки нет дома, он в парк с Наташей пошел. И что надо ему — не поймешь. Вечно насмотрится по телевизору всяких ужасов, а потом психует. Супчик, мол, ему, не сварили. Десять лет назад.

Солнце уже нагревало крыши домов, разливаясь ярко по мостовой, по кроне ровных, стриженных кустов; все жарче становилось кругом и печальнее.

Мерцала в подъезде лампа. Мчались за домом машины. Желтый свет — падал от окна. Дети ели кашу, а Маргарита Федоровна мысленно рассуждала сама с собой. Ей казалось, она разговаривает с невидимым, сочувствующим собеседником, который внимательно слушает ее речь, наполненную праведным гневом, точно костер — сухими ветками.

— Что-то случилось? — спрашивал собеседник. — Расскажите подробнее. Эту женщину надо посадить в тюрьму.

И Маргарита Федоровна с готовностью рассказывала: “Эту гулящую, — говорила она, — вот именно, ждет тюрьма, за такое судить пора... Скоро полдень, а ее нет. Ее не было всю ночь...”

В прихожей что-то скрипнуло.

— Мама! — закричали одновременно дети. Бросились к двери. — Мама пришла!

“А, — договаривала Маргарита Федоровна, вставая из-за стола. — Вот она и явилась. Полюбуйтесь”.

“За такое, — отвечал угодливый собеседник, — и тюрьмы мало”.

Но в прихожей — стояла не мама, а посторонняя женщина. Прижимая к себе сумку, в сером костюме, чуть о дверь опираясь, с улыбкой. Не мама.

— Так. Здесь проживает гражданка Мария Андреевна? — и посмотрела недоверчиво. — А вы кто? Соседка, что ль? Мило.

— А вы?

— Я медсестра из девятой городской больницы, — сказала женщина и прошла в комнату. — Так... Мило! Дети не одни были. Так и думала. А главный все равно сказал, чтоб поехала. Столько дел — и сюда еще.

Время от времени медсестра повышала голос и произносила: “мило!” — с острой звонкостью, от которой холодно становилось и тоскливо.

— Они ж не одни были — вы пришли. А она волновалась. Как очнулась, так сразу в истерику. Я говорю: “Мир не без соседей”. А она — мило! — не слушает, свое твердит. Ну, тут и главный... А случилось это вчера, — продолжала медсестра, — вчера к нам доставили женщину — ее сбил нетрезвый водитель. Она по тротуару шла, на работу. А он вдруг выехал, резко развернулся... Да вы, наверное, слышали, в “Несчастных случаях” рассказывали.

Где-то, этажом выше, яростно и монотонно засверлили.

— Ну и соседи, — возмутилась Маргарита Федоровна.

Она подошла к батарее и постучала детским ботинком по трубе.

Все стихло.

— Несколько пострадавших, — словно зачитывая отчет, чеканила медсестра. — Особенно сильные травмы были вот у их мамы. В сознание только сегодня пришла. Так сразу о детях... Такой шум подняла! Дети, мол, у нее дома одни. Мило! Маленькие дети — и одни. Тут бабушке позвонили, ее матери, чтоб приехала. Она и едет. Но живет далеко... За городом.

Когда она ушла, Маргарита Федоровна прибралась на кухне. Помыла посуду и подмела пол. Дети, забравшись в кресло, смотрели мультики, и веселые крики ловких бандитов так и рвались из телевизора. Таня смеялась и хлопала в ладоши. А вскоре приехала бабушка, Елена Владимировна. Сдержанно поздоровалась и, не снимая туфель, прошла в комнату.

“Какая, — подумала Маргарита Федоровна. — Не иначе как актриса”.

Бабушка была невысокого роста, но очень изящная, с крупными перстнями на худых пальцах. Ее голос, низкий, мягкий, доносился из комнаты, прерываемый всплеском детских, тонких голосочков.

— Наверное, пора идти, — заметила Маргарита Федоровна.

Она заглянула в комнату, и бабушка встала навстречу.

— Извините, — сказала она медленно, в задумчивости. — Мы вас задерживаем. — И на прощание: — Спасибо.

Спасибо. Спасибо, но — не более! И губы ее при этом были строго стянуты, будто в узелок собраны, а глаза, чуть прищуренные, смотрели холодно и высокомерно.

“Ну и дела, что ни говори, а с соседями нам не везет, — уже дома размышляла Маргарита Федоровна. — Тоже мне. Приехала”.

С улицы, сквозь штору, проникал красноватый свет, разбавлял тонкие тени яркими брызгами светящихся капель, и все кругом было какое-то пятнистое, взъерошенное, будто пролили что-то лишнее. От этого беспорядочного свечения квартиры казалась не такой уже прибранной, это раздражало и одновременно успокаивало так, что хотелось спать. Странное сонное беспокойство. Как будто идешь быстро, почти бежишь — и вдруг понимаешь: шаги ровно падают на то же самое место. И все кругом — то же самое, до боли знакомое и страшное в этой своей неизменности. Все уходит, будто в дымке исчезает — а город, а этот дом, а лестница, а половики под дверями застыли, как и прежде, неподвижно!

Когда-то в квартире напротив жил строитель. Та самая дверь, те самые стены. Что за ними — никто не знал...

И вот Маргарита Федоровна уже идет по знакомым улицам. Шуршат под ногами осенние листья, и Агнесса, невысокая, в белом берете, смотрит весело по сторонам. Многоточиями света сверкает рябина, а где-то в подвале пищат котята, утопленные много лет назад.

Жмется под лавку замерзшая кошка. Кошку жалко. Она совсем одна.

Склонив ветку, они срывают рябину, горькую, красивую. Но странно, тут же, от одного только прикосновения — ягодки меняются. Свертываясь, серыми становятся и сухими, будто песчаная пыль.

Они сыплются вниз с ровным, приглушенным свистом, словно робкие шаги на лестнице. А котята пищат. А кто-то будто играет на инструментах, бойко выщелкивая точный ритм, упорно совершенствуя неизвестную технику виртуозной игры. А котята пищат...

То лестница поет...

Она веками пела.

Как страшно! Маргарита Федоровна слышит: само по себе — все кругом наполнено звуками, она пытается различить свой звук, который и до нее мерцал и после — останется только звук, один звук из аккорда, но сосед — мешает, он где-то ходит, под светом осенним тусклых фонарей, и его шаги, гулкие, откликаются напряженно в пустых улицах. Все громче.

Маргарита Федоровна поняла: она заснула, и что давно уже звонят в дверь. Она поспешно встала и спросила:

— Кто? — скорее для формы, поскольку в глазке увидела Елену Владимировну, холодновато-вежливую бабушку соседских детей.

— Простите, а как вас зовут? — теперь бабушка была в фартуке и держала корзиночку с печеньем. — Вот, возьмите, пожалуйста.

— Нет, нет, — замахала руками Маргарита Федоровна. Она принципиально принимала подарки только в двух случаях: в свой день рождения и на Новый год. Получать подарки в другое время ей казалось неприличным.

— Нет, — с твердостью повторила Маргарита Федоровна. — Спасибо. Но я не возьму.

— Да? — Елена Владимировна будто расстроилась. — Ведь это развесное. Я из дома везла. Оно самое лучшее, особенно если с вареньем.

Теперь она стала какая-то домашняя, в тапочках, в темной юбке, да еще с печеньем. Руки казались мягкими, а лицо округлым.

— Как дети? — спросила Маргарита Федоровна, может быть, из любопытства и сочувствия.

— Спят... Ваня-то не сразу мог заснуть. Да они устали. К Маше днем поедем, навещать. Мы вас, кстати, знаем. У вас цветы на балконе красивые. Маша рассказывала: когда дети домой возвращаются — на балкон соседки все любят. Ваня тоже так хотел. Горшочки купили. Да не успели посадить, не успели. Тут с работой...

— Она работу не могла найти?

— Когда переехала, вернее, когда с тем разошлась, я говорила, предупреждала, что он... Она не верила, и вот теперь... — принялась было рассказывать Елена Владимировна и вдруг — остановилась.

— Простите, — говорит, — но это долго. Вы вот печенье возьмите.

Маргарита Федоровна оскорбилась:

— У вас внуки одни всю ночь были, а вы мне про печенье.



И тут же подумала: “Так вот в чем тут дело. Этот, от которого дети — тип еще тот. Таких, как он, поискать еще надо. Негодяй! Как же я раньше не догадалась?”

Зазвонил телефон, пронзительно, словно его разрывали.

— Да! — сорвала трубку Маргарита Федоровна, и частые гудки обрушились, монотонно пульсируя.

Тогда, чтобы сохранить настроение, она набрала номер Агнессы. Хотелось рассказать обо всем, обо всем. О том, как раскрылась, наконец, правда. А также пригласить ее вечером в гости. Посидеть, отдохнуть...

— Алё, алё! — голос Агнессы был какой-то взвинченный, Маргарита Федоровна даже испугалась немного.

— А, это ты... Рита? Слушай! Это ты?..

— Да! Как дела? А тут оказалось не то, что мы думали...

— Про что? — спросила Агнесса, будто уже забыла вчерашний день.

— Да вот, соседи-то...

— А... Потом поговорим! — такой сердитой Агнесса давно не была. — Что происходит, не пойму. Муж-то мой до Женечки дозвонился. А Женечка, как поговорила — так сразу собираться стал. “Что? Куда?” — спрашиваю, он не отвечает. Потом в окно смотрю — такси взял и уехал. Уехал!

— О... — с сожалением протянула Маргарита Федоровна. — А я думала — чай поьем сегодня.

— Наташа тоже не знает. Никто не знает. Муж молчит.

— Ага, молчит. Так он... молчит! А ты знаешь, соседка оказалась... порядочной. А вот отец детей...

— Все они такие, не говори! — оживилась Агнесса. — От чего я Женечку берегу? Говорю ему: “Сын, будь осторожен!”. А что тот отец?

— Бросил. А сам — жизнью наслаждается.

— Ничего другого и быть не может! Таких мужчин в конуру бы на цепь сажать. Вот их место!

“Что в мире творится — не передать!” — думала Маргарита Федоровна после разговора с Агнессой, когда готовила ужин и мыла посуду. А потом вышла на балкон полить цветы и, вздрогнув, замерла с поднятой лейкой.

Ей показалось, что вдоль дороги, к подъезду, быстрым шагом идет Женечка, сын Агнессы. И было кругом так тихо, только дома многоэтажные словно выбегали из тумана своими светлыми окнами.

Вот он прошел под балконом... В подъезде хлопнула дверь... Шаги. Громче... Радостные крики в соседней квартире, там, за стеной!..

Маргарита Федоровна медленно зашла в комнату. Закрыла балкон и обреченно опустилась в кресло. Штора упала куда-то вниз, к батарее, — и обнажилось окно.

Ясный холодный день. Осень — хотя деревья все еще стояли в листьях, и небо было солнечное.

Почему осень? Маргарита Федоровна хотела встать, но не смогла приподняться. Почему-то вспомнилось детство. Они с Агнессой идут по длинной, бесконечной улице.

— Давай соберем бусы, — говорит Агнесса. — У каждой бусинки — свое место. Хорошо ведь так? И правильно!

— Давай, — отвечает Маргарита и уже держит готовые бусы в руках. Хочет рассмотреть ближе, поднести к глазам — и в это время, от одного только движения — нитка разрывается.

И ничего...

Только красные, будто капли крови, рассыпанные ягоды. Ничего больше...

АНДРЕЙ АНТИПИН



## ТЕПЛОХОД “БЛАГОВЕЩЕНСК”

РАССКАЗ

1

Жара...

В голубой полуденной одыме видится: сжатые упругими, ветром и дождем до костной белизны вымытыми пряслами, уронили зеленые языки перестоялых трав давленники-луга. Земля выжжена и обезвожена так, что, мнится, кузнечик, прыгнув с травинки на поле, способен поднять облако пыли. Лена усохла, укатилась, стала болезненно мелкой, выставив к небу ожоги опечков и ребра брустверов. На дворе первая неделя августа, а лиственница в лесу уже наливается осенним воском, вянут листья на березе и осине, ртутными столбиками горят ветки краснотала в скособоченных поймах высохших ключей и задыхающихся родников. В огородах поникла осыпавшимися розами цвета картофельная ботва, пожухла капуста, закручинились морковь и свекла в бетонной корке земли, которую то и дело протыкают острой лучинкой деревенские бабы, чтоб овощ вконец не загинул.

Все жаждет дождя! Давно все грабли обращены зубьями к синему небу, а вилы опущены в воду: так, по примете, в старину ворожили несчастье. Но из района летят и летят безрадостные сводки. Повсюду пылают лесные пожары, и деревню затягивают удручливо-сладкие запахи дыма, кипящей смольем хвои и пыхающего в огненной полыми березового листа. Раза по три на дно пролетает низко над землей оранжевый вертолет, осыпая Подымахи-

---

*АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикации с 2004 г. в районной печати и в журнале “Сибирь” (с 2006 г.). Живет в поселке Казарки Усть-Кутского района.*

но белыми бумажными агитками “Берегите лес!”. Листовки тут же уходят по назначению: ребятяня делает из них самолетики, старухи собирают для всякой хозяйственной нужды, а черные подымахинские старики, рассевшись по тенетам, мастрячат из них злые самокрутки. Когда же земному терпению приходит конец и усталый, с сведенными в скобку на подбородке черными усами директор, пыля на своем “бобике”, объявляет об очередных неутешительных сводках из района, старухи, словно по тайному сговору, выволакиваются из своих изб. Торжественно, точно это сверху ниспослана им особая миссия, семянят к реке, отирая на ходу запылившиеся по амбарам иконки Николая Чудотворца и Марии, матери Божьей.

— Я как полы в избе помою, у меня иной раз порожек отсыревает, — для проформы беседуют о пустяках старухи, возбужденные предстоящим таинством. — Вода закатится под порог, и другой раз высохнет, а когда стоит болотом. Я на доску-то ступлю, и если брызнет с-под порога — быть дождю! Вот сколько раз так было, — божится рассказчица. — А нынче уж два раза брызгала и ничего.

— А у меня если коска заболит на руке, вот в етим месте, — старуха показывает на изгиб кисти, — то дождь пойдет. — И кивает, убеждая, седой головой.

Скинув под угором яркие, узлом завязанные на лбу тонкие платки, старенькие платья в зеленых пятнах от свежескошенной травы, легкие, уже почти исчезнувшие из употребления чирки, старухи лезут с иконами в воду.

— Баба сеяла горох и сказала деду: “Ох!” — пробормотав детскую считалочку, старухи разом уходят по горло в воду.

Они смеются, охают, кричат, толкают друг дружку на глубину. Тут как тут и ребяты: стоят поодаль, удивленно свистят в мокрые ноздри, никак не решатся подойти поближе к старым бабам, которые еще полчаса назад гоняли их крапивою от малинника, а сейчас барахтаются в реке, бесстыдно выставив на обозрение всему свету желтые животы и квелые, словно брусника в ноябре, старушечьи груди. С угора глядят на старух любопытные старики — они, ребятишки да еще старухи остались в августе в деревне, — срамят для потехи, отвлекают от священнодействия.

— Загребай ловчей, Анна, шер-руди лопшойкой, шер-руди! — подначивает старик Иванов, далеко раньше времени записавшийся в ряды подымахинских старожилов. — Во! Отгребись от берега подальше и заводись. Да шпонку не сорви... эх! Куда тебя кренит-то?!

— А ты пошто оробел нынче? — в тон ему отвечает белозубая бабка Аня, подымахинская ворожея, инициатор купания с иконами. — Пошел бы да поддержал!

Картинно всплеснув руками, Анне хрипло возражает высокая бабка Настасья, отчаянная матершинница и единственная среди старух курильщица, черная, как баргузин:

— Ты за чего печалишься, девка?! — Бабка Настасья на время застывает недвижно в воде, долго, тая лукавую улыбку, смотрит то на Иванова, то на Анну. — Он имана своего в руках не удержит, не только што...

— Шмеля тебе под подол, старая, за твой говенный язык! — обиженно откликается Иванов и лезет в карман за куревом, откусываясь от насмешек стариков.

— Нырай, Настасья, топориком, да Миколу не потони: Бог враз пензии лишит! — чадит самокруткой старик Шишкин, хорошо пьяненький по случаю субботы.

— Сам не потони!

На то старик Шишкин степенно отвечает:

— Тебе-то што? Легла на грудя — и пльви хоть в Якутска...

Откупавшись, оmyв иконы да сотворив с перебивами подзабытую молитву, собранную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи тащатся домой, устало хлопная мокрыми ногами в кожаной обуви. Старики провожают их сочувственными взглядами и, что-то доказывая друг другу, тычут в небо жилистыми кулаками с зажатыми между жестких пальцев сигарками.

А дождя все нет. Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня...

Спину и плечи жжет так, что слезы выступают на глазах от боли. Я то надеваю рубашку, то снимаю ее. В рубахе жарко, а без нее туго: оводы-плевки осаждают открытое тело, красными волдырями вспучиваются укушенные места, в чуть кровоточащие ранки попадают пыль и пот, волдыри огнем горят и предательски чешутся. А тут еще мошка не дает жизни. У меня все глаза красные — мошка то и дело забивается под воспаленные веки, и я тру глаза кончиком рубахи или наслонявленным пальцем. Да только это все бесполезно. Едва вытащишь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже сидят все три. До чего ж много мошки на Лене! Чуть поднимешь граблями сохнувшее сено, как тут же кипучей тучею взвивается в воздух гнус, и глазам делается темно. Тогда хочется упасть лицом в мураву, зарыться с головой в рубаху и лежать, не шевелиться. Но лежать нельзя: после обеда будем метать сено. Его много навалили за последние два дня в три литовки дед, отец и мой старший брат. Сейчас косы лежат в кустах, их работа покамест окончена. С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши владения, добили оставшиеся полянки, полные густой, высокой травы, спутавшейся и завалившейся набок. Теперь осталось только высушить да спуннить скошенное и, в общем, с косьбой на Дресвяновом лугу покончено. Но уже завтра-послезавтра мы уйдем ниже по реке, на Перевес. Там пабереги не меньше, а в култуке ждут не дождутся осока и длинные будыльья белого осота, который мы косим скоту на подстил. Это, пожалуй, самая трудная работа. От нее тупеют косы, точно они сделаны из жести, а руки, ворочающие тяжелую, всегда как будто мокрую осоку, вспухают жилами и “вытягиваются”. От одной этой мысли у меня темнеет в голове. Хоть бы дождь пошел! Но на чистом, безветренном небе нет ни единой тучки. Небо прозрачно-голубое, и только полосками золотой фольги блестят в нем солнечные лучи. Вот высоко над лесом возникает ясный, точно вычерченный на ватмане, силуэт ястреба; птица некоторое время скользит по небосклону, но попадает в солнечную клетку и, ослепленная, застывает в воздухе...

Прошлым летом в разгар сенокоса рухнули ливневые дожди, вспучили Лену, по-весеннему захлестнувшую паберегу и поля. Разбушевавшимся потоком подмыло и унесло копны и зароды, что стояли под угором у реки. Несомое сено застревало на затопленных брустверах, цеплялось за бакены, разматывалось по прибрежному ольховнику, упругие ветки которого стальной щеткой торчали над глинистым срезом воды. Плевались в рваные тучи старики, когда, словно черные трупы неведомых огромных животных, пронесило мимо Подымахино добротные копны сена, а угрюмое воронье, рассеявшееся по выковырянным рекой остроинам, замогильным карком тревожило синюю даль берегов. Нежданная мокреть, как наказание небесное, многие семьи заставило взяться за нож и порезать оставшуюся без прокорма скотину. Многие дворы и по сей день не очухались от прошлогодней беды, тут и там стоят нынче некошенными зеленые дуга. Наше сено стояло ближе к лесу, языки воды едва-едва приблизились к зародам, когда небо разъяснело и пенистая бурлина послушно утекла обратно в русло. Однако дождями, лившими почти две недели, прохлестало все ж таки наши копны, как бы ладно они ни были завершены. Мы отложили косьбу и принялись разбирать и сушить порченное сено, а потом заматывать его вновь. Всех чертей обругали, когда с тяжелыми навильниками на плечах, оступаясь на вырубленных в глине ступенях, перетаскивали копны на угор в опаске повторного наводнения. Много сена погнило, да и то, что удалось спасти, не имело былой свежести и завлекательности. У меня до сих пор на памяти запах гнили и прелости, но я ничего не могу с собой поделаться: гляжу и гляжу на небо и жду хоть какой-нибудь весточки о предстоящей непогоде.

Рядом орудет граблями мой дед. Ему уже под семьдесят. Колючая, с отчетливыми проблемками седины щетина покрыла черные от солнца и старости щеки. Голова не то чтобы лысая, а жидковолосая: как овцу, остригла его тетка офомными железными ножницами, какие в старину ковали в кузницах на долгие века. “Тут иман, там иман!” — встретила стариковскую

стрижку бабка. Вот дед останавливается, кладет грабли на землю и достает из кармана кусок наволочки. По-старушечьи обмотав им голову, продолжает работу. Гребет не спеша, степенно и с величайшим знанием дела: с горки в низинку, не к кустам, а от кустов, где нет тени и солнце жарче, и все строго в линию, вдоль Лены. Такие валки удобно потом собирать: зайдешь с одного конца, уткнешь вилы в сухую, лопающуюся от легкого нажима траву, и толкаешь в кучу, пока, как говорит дед, “из заду не подается”. Временами старик с отчаяньем трет глаза и почему-то материт правительство. Мне это забавно, хотя и непонятно. И вот уже рот мой открыт в смехе, но тут же, как ленок, ловлю пригоршню неробеющей мошки, кашляю, плююсь и замолкаю. Я-таки поглядываю на старика в надежде, что мошка заест его до полусмерти, и он объявит привал (командует на сенокосе дед), но старик, как железный, шерудит и шерудит граблями, чуть слышно бормочет что-то, и мои упования умирают.

— Дед, а дед?

— Ну-у?!

— А почему луг называется “Дресвяный”?

— Потому что деревня тут стояла раньше, — после продолжительного молчания негромко отвечает дед, запямятовав, что и вчера и позавчера я уже спрашивал его об этом. — Деревня-то и называлась Дресвяная... — Дальше этого понимания мысли старика не распространяются, и он замолкает.

— А деревня — почему называлась Дресвяной? Может, как раз наоборот: деревню так называли, потому что луг — Дресвяный?

— Ладом валы переворачивай, — диктаторски говорит старик.

— А почему яма называется “Сенькина”?

— Потому что Сенька возле этой ямы сено всю жизнь косил, — не переставая работать, говорит старик, и сказанное им также мне хорошо известно. Только для меня уже не важно, что какой-то Сенька косил там зеленые хлопья пырея. Сенькина яма для меня — это яма возле бревна, достопамятного только потому, что два года назад я убил на нем спящую гадюку. Но именно поэтому и через двадцать, и через тридцать и даже спустя сорок и больше лет я буду помнить и всеми позабытого трудягу-косаря, и полусказочную деревню, и своего дедушку, который поведал мне о ней наперед всего и всех. История окружающего мира начинается для меня с гадюки.

Подальше, у кустов, гребет отец. Он раздет до пояса; спина, мокрая от пота, блестит на солнце, точно натертая свиным салом, ремешок, подпоясав штаны, засох и скоробился от пота, брюки в белых пятнах — то сохнет на солнце человеческая соль. Вчера я насчитал на спине у отца семь плевков. И хотя до него далеко, я не вижу, но думаю, что и сейчас не меньше. Только он, кажется, и не замечает их, гребет и гребет, лишь по временам прекращая свою работу, чтобы протереть залитые влагой очки. У отца получаются самые большие валки. Он ценит все прочное и державное. Он видит в этом залог счастья и благополучия. Дед же видит в этом халтуру и, брызжа слюной, объясняет нерадивому, что толстые валки не просохнут. На мгновение закипает перепалка, но тут же заканчивается: жарко. У отца в руках грабли — только медведю работать с такими. Эти грабли с тайной усмешкой изготовил для него дед. Другие, сотворенные под высохшую стариковскую руку, отец через день-другой попросту крушил.

— Сдурю знашь че можно сломать? — вручая граблищи, спросил дед глобокомысленно.

Хрясь! Сухой треск! Отец зацепил грабли за ветку смородинника и сломал деревянный зуб. Дед громко матерится:

— Ми-и-ша-а! Наладь этой чуме грабли, у меня уж сил нет глядеть на все это!

Вот и появилась минутка для отдыха. Можно посидеть, посмотреть, как брат Мишка выстругивает ножом из сухой щепки зуб и забивает его на место сломанного.

— Потянет! — Мишка подает отцу “вылеченные” грабли. — Ты это, паня... это ж тебе не борона!

Мишка старше меня на десять лет. Он только минувшей зимой вернулся из армии. Два лета Мишка не косил сено, наскучал этим нехитрым крестьянским занятием и теперь работает в охотку.

Мишка самостоятельный человек, что хочет, то и делает, и даже дед ему не преграда. Захотел высморкаться — пожалуйста, бросил грабли и трещит попеременно из каждой ноздри.

— После картошек пойдем с тобой на Талую...

Забыв и о жаре, и о гнусе, с жадностью ловлю каждое братово слово. Какое лето мы собираемся пойти рыбачить в верховье речки Королихи, которая не замерзает даже зимой и зовется стариками “Талая”, да только дело всякий раз заканчивается разговором. Одно время я был слишком мал, чтобы осилить с лишком тридцать километров таежного бурелома, но вот я подрос (глядите, как я подрос!), а Мишку как раз и забрали в армию на полтора года. В последнее время нам мешает не одно, так другое. Иногда я вижу во сне: черный ломовой хариус сыграл на самолично мною вязанную из оранжевой шерстяной нитки крохотную, с черными усами из ондатрового волоса мушку, которую у нас рыбаки называют “морковкой”.

— Хариус с ленком в конце сентября скатывается в Лену, — говорит дивное Мишка и берется за грабли. — Покараулим на ямах с удочками...

— А из ружья дашь стрельнуть?

Я замираю от собственной наглости, затаив дыхание до того, что, кажется, даже мошка отступает от меня в удивлении. Осторожно, страшась своего ожидания, выманиваю взглядом у брата, чтобы поперед слов он ответил мне глазами. Облегченно выдыхаю сперший грудь волнительный ком, когда Мишка утвердительно кивает головой. Даст стрельнуть из настоящего ружья! Я стискиваю челюсти, чтобы не зареветь на весь луг в первобытном восторге и, не дай Бог, не попасть под гребенку деда.

### 3

От ручья идет-прихрамывает по дороге дядька Николай — средний дедов сын. Он приплыл с нами, чтобы набрать по холодку кислицы, а после обеда помочь сметать сено. Поравнявшись, дядя Коля ставит ведро на землю, а сам садится в тенок под кусты. Замираем с граблями в руках. Молчим. Ведро у дяди Коли крепко-накрепко обмотано куском старой простыни, который он всякий раз берет с собой по ягоды. Однажды, возвращаясь домой с дальнего черничника, дядя Коля поленился привязать тесемочкой крышку горбовика, а на спуске с хребта оступился, полетел вниз по тропе и рассыпал в заламах почти всю четырехведерную торбу. Теперь дядька осторожничает, и даже когда идет по грибы, прихватывает тряпицу, чтоб обвязать ею ведерко. Ягоды не видно, но по тому, как вздулась кверху простынка, можно догадаться, что ведро полное. Выдержав торжественную паузу, дядя Коля, наконец, снимает с ведра тряпку, словно занавес открывает. Полным-полно ведро красной крупной смородины, а ведь и двух часов, наверное, не ходил! Дядя Коля умеет брать ягоду. Даже удивительно, как с такими огромными, как у него, руками можно так быстро работать. Сколько я ни пробовал, не мог обогнать: у дядьки уже почти полведра, а у меня едва закрывает донце.

— Па-а-рит се-го-дня, — размеренно протягивает дядя Коля, вытирая кепкой пот со лба.

— Сорок два в тени, — заявляет осведомленный отец. — Что ты хочешь? Сводка пришла — сорок пять ожидается.

— Сколь? — переспрашивает дед.

— Сорок пять!

Дядя Коля сокрушенно качает головой.

— Чокнешься!

Я упал под куст черемухи и оттуда равнодушно слежу за разговором.

— Да не в том дело, что чокнешься, — сердито поучает дед. — Картохе наливать надо, а земля — пыхун. Что мы исти зимой будем? Вот кака потеха!..

— Так вот в чем и дело, — вздыхает дядя Коля. — Хлеб на корню осыпается — Сергей Петрович говорил... — Внезапно он оживляется: — Городские накатили! Мужик с бабой и ребяташки ишо. Мужик-то с пацаном рядом с машиной стали брать, а она потащилась с девчонкой к дальнему кусту... Помнишь, Миш, мы там брали ягоду с тобой, года три, однако, назад? Где Юрьев-то косит, вверх по ручью? А там уж я сижу! — Дядя Коля загода смеется. — Смотрю: идут. А на кусте я-а-га-ды-ы! Красно! У меня уж почти полведра было. Ну, я давай ветками шуметь. Девчонка услышала, тянет мать за рукав: ну, мол, пойдем назад... — Дядя Коля высморкался. — А эта нет, прет! Я пуще трещу ветками и носом — швырк! — швыркаю громко. Они: медведь, медведь! Па-ле-те-е-ла она, чуть в штаны не наклала, девчонка позади нее! А я ведро добрал и по ручью спустился к Лене. Тут только на дорогу вышел...

Дядя Коля довольно смеется, скалит белозубый рот.

— Уехали? — спрашивает дед.

— Кто?

— Городские-то. Про кого говорим?

— Уехали.

— А машинешка какая у них?

— “Нива”. Красная...

Дед иронично сплевывает себе под ноги.

— И машина у людей есть, по какой, спрашивается, им эта ягода? — Дед никак не может этого понять. У него не укладывается в голове. — Или брали бы тогда где-нибудь поближе, неужто нельзя? А то за сорок километров едут. А бензин сколь стоит?! Где, интересуюсь, люди деньги берут?

— Так вот в чем и дело, — соглашается неохотно дядя Николай и громко зеваает. Дед с недоверием смотрит на него.

— А как оне на этой стороне реки оказались-то?

— На вертолете перелетели! — подначивает любопытного старика Мишка. — Привязали машину стропою...

— Да брось ты, Миша! — обижается дед. — Я же ладом спрашиваю...

— Ну, по мосту переехали! “Как?” — главное... — сердится дядя Коля. — В Усть-Куте мост есть через реку!

#### 4

...Грабли то и дело валяются из рук: занемевшие и ставшие как будто мертвыми пальцы уже с трудом держат отполированное до золотистого мерцания древко.

“В сущности, в чем дело? Кто я такой тут есть? Взять и уйти...”. Сначала меня брали на сенокос убирать из травы нанесенное половодьем хламье, потом — чтобы стерек лодку, когда уходили косить далеко от реки, в тот же Култук или к ручью, затем вручили вилы — “Раскидывай валки, чтобы просохли!”; прошлым летом я дослужился до граблей... Нынче весной я воровски заглянул под высокую крышу амбара и обомлел: косовища заставленных за перекладину литовок свисают с поветей, как деревянные сосульки. Мою ершовую душонку настолько поразили несметные богатства старика, что я стал искать пути для его раскулачивания. И вот на вечер перед сенокосом непреклонный дед, подточенный моим нытьем и неустанными просьбами бабки, извлек из амбара маленькую литовку и под пристальным вниманием двух замороженных глаз насадил ее на косовище.

— Где у тебя пуп?

— Там же, где и у тебя! — со смехом ответил я глупому старику.

Дед посмотрел на меня так, как если бы жаль ему стало для меня косы.

— Я ладом спрашиваю! — сурово сказал старик, отводя в сторону глухаринные брови. — Так же и отвечай мне... А ну-ка!

Давясь от смеха, я задрал рубаху. Прижав пятку косы к земле, аккуратный старик подогнал березовую рукоятку точно с моим пупком вровень и застопорил бечевой.

— Учись, Андрюха, пока дедушка жив. Отец-то у тебя... только с порфельчиком по деревне и бегать... — Дед незлобно выругался.

— А не надо писать? — насупившись на необразованного старика, я решительно вступился за отца. Вечерами, когда мать процедит молоко, отец, постелив на стол газету, сидит на кухне, опустив кудрявую, первым снегом припорошенную голову, и что-то царапает на листке бумаги, наутро через знакомого шофера передавая написанное в городскую редакцию.

— Не знаю... Поможет это деревне, што ли? Когда — всё... — Старик взглянул на меня, как на взрослого, и я волей-неволей съезжился под этим тяжелым проливным взглядом, гулко заколотилось в ребра испуганное сердце. Не дождавшись ответа, дед неуверенно замолк и опустил на корточках отбивать литовку...

— Ну, косарь, косарь, ети вашу мать! — смеялась бабка, когда на другой день со сверкающими, точно камешки слюды, глазами я пошел на покос, по примеру старших небрежно закинув литовку на плечо. Затворяя за нами ворота, в пришепоток наставляла напоследок старуха, зная, что на лугу никто словом не поможет, скорее подзатыльников наваляют: — С плеча, парень, не бей, а так эт заводи от себя — и пошел, пошел! Главное, не торопись. Литохка — она сама косить научит...

Я был поручен Мишке, поскольку своего бруска мне не доверили (“Лапы обрежешь!”), и лопатить мою литовку должен был брат. Для начала мне выделили несложные загончики: обкосить у кустов, потом вдоль дороги, — и я исправно сшибал мураву, серным сполохом на спичке черенка мелькало кривое лезвие косы. Только недолго длилось мое счастье. Пару раз засадил косу в землю, а дед уж на попятную:

— Добрую литовку угробишь! Никого в дедушку нет... — И отобрал косу.

А виноват я был, что не выжгли паберегу по весне, как добрые люди делают, и оттого лезвие вязала прошлогодняя поздняя трава, затаившаяся в новой как груды свалывшейся проволоки. Отец вон сколько кос переломал, пока косить выучился... Как бы там ни было, но вот я снова приставлен к надоевшим граблям, время от времени получая разрешение сделать прокос-другой. Но только, конечно, это совсем не то, что иметь собственную косу.

“Возьму и сломаю черенок! Интересно, что будет тогда? Дед, наверное, так заорет, что в деревне повесятся собаки...”

## 5

В обед старик прислоняет грабли к березе: все, шабаш. Швырком бросаю своих деревянных мучителей на землю и лечу к реке, на ходу скидывая с себя одежду и проклятые сапоги.

Легкой, долгожданной прохладой объемлет вода мое тело, когда, как в голубой сугроб, ныряю с разбега в прохладную Лену. Ухожу в воду с головой, чтобы сразу сбить с себя течением пыль и пот. До чего ж хорошо! Чтобы понять мои чувства, нужно полдня простоять на лугу под раскаленным солнцем, обгореть до малиновой красноты, пропотеть, забить глаза, нос и уши сенной пылью, до крови расцарапать все тело, которое жалят пауты, — иначе не поймешь.

— Кто без штанов бежал в кусты? — кричу восторженным горлом соседнему берегу, и берег отвечает длинным “Ты-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!”. Я хочу крикнуть: “Кому не спится в ночь глухую?”, но к реке так некстати приходит отец.

Первым делом отец полощет рубаху и носки, потом только лезет в воду. Стоя по пояс в реке, тщательно моет лицо, шею и живот, на котором в густой поросли волос застряла сенная труха. Смыв первую грязь, отец тяжело оседает и плывет, размеренно, как лось.

За отцом ковьялет к реке дед. Старик становится на корточки, черпает ладошкой воду и, как котенок лапой, моет голову и лицо.

— Хорошо, бляха! — блаженно кряхтит и для полноты ощущений сплевывает в реку. — Ты, Андрюшка, далеко не заплывай! Ишо захлебнешься...

— Ну, закаркала ворона! — раздраженно отзывается отец, поворачивая к берегу.



— Я не каркаю, я знаю, што говорю! — осекает старик. — Воронка или мало ли че? Мне девять лет было — засосала, родимая! Спасибо, ребята постарше на берегу были — вытащили. С тех пор...

Заплываю так далеко, что не слышу голоса старика. Только по отчаянной жестикуляции с берега догадываюсь, о чем кричат. Отвернувшись, плыву дальше, обмирая от страха и восторга перед голубой манящей пропастью под ногами. Выхожу из воды только тогда, когда отец надевает высохшие на камнях, точно на углях, рубаху и носки, а дед нетерпеливо маячит у костра.

После купания особо ощутимым становится голод. Кажется, что стрескаешь целого поросенка — и не заметишь.

На угоре, под раскидистым кустом ольхи, сколочены из досок стол и лавка к нему. Второй лавкой служит здоровенный листовничный болван, несколько лет назад приплывший с большой водой, да так и оставшийся тут, завязший навеки в упругих кустах корявой вершиной. Этот болван во всякое половодье защищает наш стан от других проплывающих топляков, заодно славливая всякое другое хламье, которое мы потом употребляем на дрова. С одного конца в бревно вбита стальная бабка, на которой отбиваются косы, а другой весь в расщепе — здесь рубятся на растопку словленные доски. После сытного обеда на лавке можно даже полежать — уж так он могуч и широк.

Прихожу к костру, когда все уже в сборе. Тучные дед, отец и дядька сидят на бревне, мы же с Мишкой устраиваемся на лавочке. На столе лежат свежие огурцы, перистый лук, хлеб, сало, отваренные яйца; стоят баночка с творогом, кастрюля с тушеной картошкой — все, что дают нам двор и огород. На сенокосе мы себе не готовим, чтобы не терять времени, все это приготовлено и собрано добрыми руками моей бабушки. По старой привычке, может быть, известной человеку с момента его появления на свете, сперва разглядываем яства, словно прицеливаясь, и лишь потом, не сговариваясь, начинаем есть. Старшие едят быстро, особенно дядя Коля. Только и брызжет с уголков его рта зеленый сок сочного ботуна. Но уж в чем, в чем, а в этом я преуспеваю не хуже дядьки и быстро, едва прожевав, орудуя ложкой и руками — иначе ничего не достанется. Дед меня всячески поддерживает:

— Ешь, Андрюха, а то пырка не вырастет!

Когда животы набиваются донельзя, на столе, как чумазый хан Батый, появляется закопченное ведро чая. Мы разливаем черный напиток по кружкам, от кружек ударяет душистым запахом смородины: дядя Коля постарался, набросал листьев. Вслед хлебу-салу приходят пряники и конфеты. Отец довольно потирает вспухший сытостью живот:

— Как раз осталось немного места для сладостей! “Орехо-со-е-вы-е...”

После обеда с полчаса — отдых. Можно бы, конечно, поспать, но вот удивительная вещь: еще час назад я и думать об этом не смел, а сейчас сон и силком не заманишь. Дядя Коля сидит за столом, отец с босыми ногами — на земле, дед, треща ветками, исчезает по нужде в кустах. Все молчат, думая о чем-то своем, каждый, наверное, радуясь короткой передышке в этой жизни. Только Мишке не сидится, и он принимается загодя отбивать литовку: тюк! тюк! тюк! Тюканье молотка кажется чем-то неземным в эти минуты тишины и покоя.

Тюк! Тюк! Тюк!

Отбив литовку, Мишка ловко правит ее брусом. Дядька, равнодушно наблюдавший за ним, словно просыпается.

— Это (забыл, в каком году? в семьдесят восьмом, кажись?) приехала из города бригада студентов помочь колхозу сено косить. По пабереги тоже; ну, кусты, вымоины — тракторами-то не скосишь... Я на “сто тридцатом” работал тогда, ага. Привез одну партию — несколько парней — сюды вот, на Дресвяный. Тут тогда дьяшка Никанор был за главного у них, ага. Ну, отбил он им литовки, спрашивает: лопатить-то, мол, умеете? Все покачали головой, а один дурачок выскочил: че там, мол, не уметь?!

Дядя Коля сплонул в сторону.

— Но, дашка Никанор дал ему брусок: на, дескать, лопать. Тот взял. Косу правильно, косовищем в землю, воткнул, да надо было аккуратно, а он — р-р-ра-аз! со всего маха! — и два пальца на руке срезал до самых костяшек! Заорал, правильно, кровица полилась... Ну, чума чумой!

Возбужденный воспоминанием, дядька еще раз сплевывает и с осуждением качает головой. У меня же от его рассказа что-то как будто отрывается внутри, я в страхе смотрю на Мишкину литовку и тут же прячу руки в карманы брюк.

— Ягода-то еще есть по ручью? — приковылял из кустов дед. — Не всю еще вырвали?

— У, есть! Полно! Хоть каждый день бери.

— “Каждый день”! — вспыхивает дед. — И брали бы, дак сахар-то сколь рублей стоит? Варенье жрать не захочешь, не только што... И почему это за ценами никто не следит? — тоном прокурора вопрошает старик и строго смотрит на нас. Я трушу его грозного взгляда. — Это куда дело годится? Каждый вертит, как хочет, а об стариках никакой думы нет...

— Кто на седнишний день смотреть за этим будет? — вступает в разговор отец. — Частное предпринимательство! Рынок! — заканчивает раздраженно, ударив ребром руки по железной кружке.

— Это раньше другое дело было — все государственное! — зевая, подерживает дядя Коля. — А щас!

Деда эти доводы не устраивают. Он наливает из ведра чаю, но оставляет кружку в сторону.

— А вы по какой тогда нужны? Зачем мы вас с баушкой кормили-ростили?! За-а-чем? — срывается на дряблый крик. — Скажите мне?!

— Ну, политикан, ну, завелся! — нервничает отец. — Не хочешь жить — ложись и помирай! Так на седнишний день.

— Во-во! — машет дед костлявым кулаком. — Такие вот дуролобы и загонят Россию в гроб!

— Кто загонит?!

— Да хватит вам! — осаждает спорщиков Мишка. — Заорали! На той стороне слышать...

— Ты, Миша, только послушай, что она говорит?! — Дед, чтоб уязвить сына, сознательно отзывается о нем в женском роде. — Ложись, говорит, дедушка, и подыхай! А что я жизнь в поле проработал, в холоде, в пыли, катаракту нажил, геморрой заработал? Это им наплевать!

Отец, не найдя что ответить, хмыкает, а дядя Коля тихо дремлет, по-сусличьи пузыря полные щеки. Деда это молчание только раззадоривает.

— Вы посмотрите, сколь мука стоять стала! Как раз половина моей пенсии куль! Да кажный торгаш по-своему цену гнет, все выгоду ищет. Стариков обманывать, у нищих из котомки воровать! Это куда дело годится? А я этот хлеб своими руками ростил! Неужто мне теперь и слова сказать не можно в свою же защиту?!

— Ты лучше спроси, как мы сено нынче вывозить с этой стороны будем. Машину найми, бензином заправь, в совхоз за путевку на паром уплати, да капитану литру поставь, плюс на стол собери... — Отец еще и еще загибает пальцы. И объявляет: — Золотое молоко получается!

— Скоро ничего не будет! — зло восклицает старик. — Большемудрый доведет страну до окончательного развала! Горбач начал, а этот прикончит. Помянете потом меня: скажете, правильно нам говрел дедушка, только мы, полоротые, не слушали его...

— Ну, завел панихиду!

— Я знаю, что говорю. Троха пол-эсэсэра прошел, Троху шиш обведешь!

Сраженный стариковыми доводами, отец опускает голову, глядит под ноги:

— Да... Конец деревень приходит! Поставили крестьян на вымирание.

Щас еще введут земельный налог — и все...

— Взрывать! Швырнуть бомбу в эту Думу, чтоб не изгалялись над народом!

— Какой смысл? Большевики уничтожили царизм — и что? На смену одним дармоедам пришли другие. Так же и здесь... Еще одну революцию устроить хочешь? Мы от первой еще не оклемались...

— Я никакую революцию городить не буду! Просто швырну бомбу — и все....

— И что ты этим скажешь? Тебя же, учти, к ответу призовут.

— Пускай призовут, пускай! — старик поспешно поднимается на ноги, как будто готовясь прямо сейчас держать ответ. — Спросят меня: ты зачем, дедушка Виталий, таку комедию устроил? А я им отвечу!.. Ты бы, Саня, об этом мог написать, знаешь ведь...

— А что толку писать? Что толку взрывать? Придут другие и вовсе потом всех задавят. Только терпеть — а как больше? Нужно переждать, пока само собой не рассосется. А орать и взрывать ничего не даст. Кто тебя слушает?

— Ну, сидите-сидите! — иронично поддакивает дед. — Я посмотрю, што вы завтра жрать станете. Камни собирать пойдете! До каких пор эта потеха продолжаться будет, что всякий у тебя последний кусок вырвать норовит?

— Долго еще будет! Пока каждый депутат себе особняков не понастроит да в зарубежные банки денег не напярчет, из нас кишки тянуть будут.

— Во-во, правильно ты говришь, Саня! — радостно соглашается старик. — И я говорю: скинуть бомбу с самолета — и все, всех-то делов!

Не встречая сопротивления, дед вскорости и сам замолкает и только по обыкновению, в такт своим тайным размышлениям, качает головой.

## 6

...Босым ногам горячо стоять на раскаленных камнях, я забредаю в воду. Вокруг меня скапливается стайка всевозможных мальков: бледнобокие ельчики, прынрливые голяшки, пеструшки-скромницы, задиристый окушок... Запускаю блесну в самую гущу — и рыбки в панике рассеиваются кто куда...

Спиннинг у меня особый — выстраданный. Через мои горячие слезы мать купила его в городе у толстого армянина, который значительно убавил цену и даже подарил моток лески и набор блесен. Удилище у моего спиннинга из желтого пластика, а ручка деревянная, резная, зеленого цвета. Спиннинг в три раза длиннее меня! Я уже владею им почти в совершенстве. Нет у меня вещи дороже! Вот только не везет мне пока с рыбалкой. Одну-единственную щуку поймал за всю жизнь. И случилось это нынешним летом, здесь, на Дресвяном лугу. Старшие косили у ручья, а я без усталости сек и сек реку прозрачной жилкой, но в лучшем случае ловил пучки зеленых водорослей. Когда же от поминутной неудачи я совсем перестал думать о рыбе, на леске повисло что-то тяжелое. “Опять трава! — уныло подумал я. — Вытащу и пойду к костру”. Каково же было мое изумление, когда, обратив взгляд на реку, туда, где леска ходила ходуном, я увидел огромную светло-золотистую щуку. Хищница всплыла на поверхность воды и покорно следовала за металлической обманкой, золотистым языком торчавшей из клякстаго изумрудно-блестящего рта. Ближе к берегу рыба заволновалась и стала выкидывать “свечки”. Обезумев от радости, я на буксир вытащил ее из реки и, опасаясь, что драгоценный трофей уйдет, пристукнул рыбину камнем по голове, как это делал дядя Коля. Забыв о брошенном спиннинге, прижав мертвый улов к груди, я бегом кинулся к табору, с восторгом думая о том, как в обед сразу всех своей рыбацкой удачей...

Сегодня мне не везет. Жалкая травянка кинулась из-за камня за блесной, но, проследовав за ней почти до самого берега, в последний момент вильнула хвостом и уплыла.

...Еще не дойдя до костра, слышу, как взрывает мотор, и лодка с Мишкой и дедом бегло скользит к противоположному берегу, за остроинами. Остроина — это длинная жердь, которую вкапывают в землю. Вокруг этой жерди кладется-наматывается сено, как пряжа наматывается на веретено. Каждое лето мы ставим новые остроины, потому что каждую весну ленивые рыбацки рубят и жгут прежние. А плавать за жердями нужно на соседний берег реки, где лес. На этом тоже лес, но идти к нему через широкое, не меньше километра, совхозное поле, засеянное овсом. А тут через пару минут

после того, как лодка ткнулась в левый берег, доносится стук топора, и вот уже “Казанка” жужжит обратно. Словно стволы пулеметов, нацелены в нашу сторону верхинки сосновых жердей. Помогаем вытащить из лодки пять длинных тяжелых жердей, уносим с берега на угор, где лежит давно высохшее сено — море светло-желтой умершей травы.

Страх берет от мысли, что все это нужно собрать. Но глаза боятся, а руки делают. И вот отец вешает на куст рубаху — белым бакеном будет она для нас, когда, измученные, поплетемся вечером от ручья к костру. Дядя Коля, подмигнув, подтягивает на штанах ремень, убирая крупный живот, а Мишка с дедом идут ставить остроины. Первую, как всегда, ставят неподалеку от ольхового куста, в низинке. От нее, как по ниточке, потянутся вдоль дороги к самому ручью наши копны.

— Забывай, Миша, покрепче колья, а то как бы не скovyрнулась остроина... — говорит по установившемуся порядку старик, боязливо поглядывая на проткнувшую небо жердь, другим концом уткнутую в лунку в земле.

— А я говорил: легче нужно было вырубать, тоньше. И куда торопимся?

— Тоньше, так она трюхи жидковата будет, Миша. Поведет копну, завалится.

— А эта шибанет по башке: ума нет, считай — калека!

— Так ты осторожней! — старик налегает на березовый кол, по-жабы надувая щеки и с одышкой отпыхиваясь, в намеченном месте чуть-чуть заогняет отточенное жало в землю. — Сдуру можно не только што... Забывай!

Вот и остроины поставлены. Сейчас начнется ломовая работа. Отец вынимает из кустов вилы с толстеньким черенком, за ним берется за вилы Мишка. Мы с дядей Колей должны сгребать маленькие валочки в один большой вал, который станут таскать в копну Мишка с отцом. А у остроины поставлен дед. Он руководит меткой конен. Грузный старик топчет сено долго, основательно, копна расплзается в лепешку, как тесто, и трудно поверить, что из нее что-нибудь выйдет. Но рассудительней всех дядя Коля. Он прихватил с собой стропу — длинную, метров двадцать, капроновую ленту. Он сворачивает ее вдвое и кладет на землю. Сверху набрасываем кишицу сена, стягиваем стропой и, взявшись за концы, волочем, словно ломовые. Сзади, упершись вилами в наш с дядей Колей воз, помогают Мишка с отцом. За один раз сена притаранено столько, что минут пять, пока метается эта ноша, можно отдохнуть. Но как же коротки эти пять минут!

Копна медленно, но уверенно растет. Вот уже и вилами трудно доставать до верхушки, неудобно подавать сено. Дед трусит оставаться наверху. Он ложится на сено, закрывает глаза и с обреченным выражением лица начинает сползать вниз по копне.

— Держите! — кричит надрывно.

Мишка с дядей Колей подхватывают старика и со смехом опускают на землю. Дед, жалуясь, медленно поднимается на ноги.

— И куда тебя, дедушка, гонит? — говорит сам себе, не ища ничего сострадания. — Попивал бы сейчас чай с мармеладом или прогуливался по угору в ботиночках, как студентик...

Я стараюсь поймать глазами взгляд отца: можно?

— Ну, давай, — отец втыкает в середину копны вилы. Я цепляюсь за черенок, под зад меня толкает Мишка, и вот уже я, как белка, вскарабкиваюсь на самую верхотуру. Встаю, и у меня начинает кружиться голова: высоко! Снизу подают вилы с коротким черенком. Плюю на ладошки.

— Середку больше набивай, — советует снизу отец. — Да за остроину держись, а то упадешь...

Больше ничего не вижу и не слышу: отец засыпает меня с головой. Я смеюсь; в рот и в нос попадает пыль; чихаю и поначалу не очень споро выполняю свою работу. Снизу, как раньше деда, торопят. В тон старику ору с копны благим матом:

— А не утопчешь ладом, прольет копенку дождями — опять переметывать?! — И уже категорично заявляю: — У меня времени не-ет!

Наконец дело совсем подвигается к завершению. Остаться на копне дальше — только верхушку ломать. Сбрасываю вилы на землю и с криком

“Разойдись!” скатываюсь следом. С видом победителя взираю на наше творение. Но что за уродство? Вместо прямой стройной копны, какой она казалась сверху, передо мной словно чучело Зимы, созданное ребятей на Масленицу. Незамедлительно делюсь переживаниями с дедом.

— Сейчас, — успокаивает старик. — Не все сразу — оскребем.

И дед граблями начинает аккуратно оскребать копну с середины донизу. Выграбленное сено Мишка забрасывает наверх вилами на длинном черенке. Копна на глазах превращается из неопрятного уродца в стройный церковный купол. Даже солнцу приятно передохнуть на таком — огненным петухом примостилось оно на самом кончике остроины.

— Ну вот, одна есть! — оглашает Мишка завершение работы. — Можно и перекурить.

Садимся на пригорке, у кустов. Только дед еще возится: чтоб крепче копна стояла и не завалилась, подправляет с боков граблями, черенком забивает под копну оставшиеся клочки сена.

— Все-то он оглаживает, все-то он прихлопывает! — залиvisto смеется дядя Коля.

Дед сердито, с матерком, сплевывает, но тоже не может удержаться: хихикает.

— Потеха!

Отец недоволен. Покусывая соломинку, скептически рассматривает сотворенное.

— Ты с Перевеса готов все сено стаскать в одну копну! — без обиды, скорее с тайным восхищением, замечает Мишка.

— Я бы вообще зародами метал!

— Раньше так и делали, — с хрустом в износившихся суставах опускается на землю дед, подгибает под себя правую ногу, чтоб удобнее было сидеть. — Заметывали сено на деревянные сани, потом зимой — по снегу — вывозили. Сани с лета на чурки ставили...

— Зачем?

— А чтобы полозья к земле не примерзли. Не сдернешь, если пристынут. Несколько тонн-то! Попробуй-ка. — Громко, с подвывом, зевает, обнажая ряд серых, но еще крепких зубов. — Или на волокушах вывозили. Свалят две-три березы вершинами вместе, в комлях циндровкой просверлят, трос стальной проденут... — Это дед уже для меня, чтобы знал, как да чего было. — Наматают зарод, потом вывозят — по снегу ли, по земле ли. Все больше зимой, конечно, занимались. По черной земле тартать — до самого-самого изотрется. Хотя ее, волокушу, все равно на дрова потом пилили. Второй раз не поедешь с ей...

— Почему?

— В лес кто дерево повезет? — снисходительно, как несмышленому, разъясняет и Мишка. — Думать надо!

— Вымирает народ, — непонятно для чего сказал отец. — Все уходит в прошлое. Написать бы об этом книгу — сколько у меня материала собрано! — да грамотешки не хватает...

Отец по старинке наивно верит, что “грамотешка” дается в городе, в университетах, что тамошние ученые мужи о происходящем в деревне знают не хуже его и тягаться с ними деревенскому пеньку нечего, так, черкнуть когда статью в газету...

## 7

Близится вечер. На западе по окаемку горизонта проползает медная змея заката. И уже шуршит слева от нас, на скошенной поляне.

— Змея!

Одним махом Мишка оказывается рядом, прижимает гадоку к земле кирзовым сапогом.

— Найди бутылку!

Момент — и я на берегу, а уже через минуту лечу назад с пластиковой тарой.

— Крышку открой!

— Наденьте ей горлышко на голову — она дальше сама заползет...

Змея упирается, грозит вырваться из плена, но как только голова оказывается в бутылочной горловине, сама покорно залезает в тару. Мишка заворачивает крышку и бросает мне бутылку.

— Растопим на солнце, а зимой капканы на соболей ставить будем.

Свернувшись клубком, змея дерзко смотрит на своих врагов, бросается и пыгается укусить четырехзубой пастью стенку бутылки, когда я стучу в нее пальцем.

— Тоже жить хочет, — между прочим говорит дед.

— Ну дак, — хмыкает дядя Коля. — Тебя бы так!

— А што, мне лучше?..

Ставлю бутылку на солнце.

— Это ты же рассказывал, дядя Коля, как змея тебя в болотник укусила?

— Ну, укусила, — подтверждает дядька. — Тоже по ягоду ходил. А змей было в том году! Високосный год был, как щас помню. Всюду змеи кишмя кишели — пропасть! Я болотники расправил и хожу вдоль валов, смородину собираю. Как она меня не заметила? Я ей на хвост наступил, а она меня в болотник — раз! — куды там, не прокусила! Только белые капельки остались...

— Че это? — интересуется дед.

— А яд.

Некоторое время молчим. Тишину нарушает старик:

— А вот у меня случай был со змеей (я еще мальчишкой был). Нас много, ребятишек, косило здесь вот, на Дресвяном. Дед с нами был за главного, лет девяносто было ему, а он все косил. Вот взялся он вечером литовки отбивать, а я пособлял ему, косовища держал, — другие-то ребятишки спали уж... — Дед чешет переносицу, потом большую, заросшую волосом, черную родинку на крупном носу. — А тут змея! Как из-под земли, честно слово. Я-то ее вижу, а дед — забыл, как зовут? — не видит. И словно онемел я, слова сказать не могу, предостеречь, значит, старика. А она залезла деду в ичиг — тогда круглый год в ичихах ходили — и укусила. Нога к утру распухла, ичиг разрезали...

Дед замолкает и, достав платок, начинает громоподобно сморкаться.

— А со стариком что стало?

— Умер, што стало. На лодке мы его сплавливали в деревню... — Дед тяжело, бочком, упираясь локтем в землю и кряхтя, поднимается на ноги. — Пойдем, однако, времени у нас мало, а работы непочатый край...

## 8

К закату ставим три больших копны.

Когда завершаем последнюю копешку, валось под кусты смородинника. “Будем сегодня метать еще или уж завтра? Хорошо бы, если завтра, а сейчас — домой! Сегодня суббота, банный день. Приятно после бани поваляться на диванчике, посмотреть, как в телевизоре копошатся доны, доньи и ихние доньчата, занятые каким-то смешным трудом. Дома прохладно, квас в холодильнике, окрошку, наверное, приготовила мама к бане...”. Но все мои надежды рушатся, когда раздается голос деда:

— Время есть, сметаем еще одну вон у той березы...

Каночу:

— Ну дед!

— Что дед? — гнет подковы-брови старик.

— За-автра!

— Тихо! — говорит Мишка, настораживаясь. Объявляет: — Восемь часов — “Благовещенск” идет.

Да, это он! Каждый день он проходит мимо Дресвяного луга, маня и волнующая мое детское воображение. Его еще не видно, но уже отчетливо слышно, как он идет-гудит за поворотом реки, летит-доносится его веселая музыка. И тем волнительней она здесь, где только и слышно, что шуршание сена да тя-

желое, учащенное дыхание работающих на износ людей. Вот он медленно, величаво является нашим взорам, большой и ослепительно белый. Уже можно прочесть его гордое имя, написанное на боку большими черными буквами: БЛАГОВЕЩЕНСК. Он вещает благую весть. В чем заключена его благая весть? Я не знаю, в чем, но всякий раз, как его вижу, у меня спирает грудь, сжимает сердце. О, как бы я желал плыть на этом теплоходе! Я с завистью гляжу на него, на счастливых, непонятных мне в своей беспечности людей, вышагивающих по палубе, а в голове толчками взволнованной крови стучится мысль о какой-то иной, неизвестной мне жизни. Что видел я в свои двенадцать лет? Каким одиноком я чувствую себя в этот момент на душевной и затравленной, поставленной — как говорит отец — на вымирание крестьянской земле. Как мелки и незначительны, как бессмысленны дни моей серой деревенской жизни, когда плывет нарядный теплоход и люди на нем пьют из сверкающей посуды дорогие напитки. А “Благовещенск”, словно нарочно красуясь передо мной, так и скользит по голубой ленте реки. Шлепают о воду “лапги”, является, как птенец из гнезда, красный свисток над тонкой трубой, и реку и луга оглашает громкое приветственное “Гу-гу-у-у”...

— Бла-го-ве-щенск! — как заклинание, повторяю запекшимися от волнения и жажды губами.

Возле Дресвяного луга река Лена, стянутая корсетом брустверов, тончает в талии. Теплоход помалу загребает в сторону нашего берега, где глубже, и через некоторое время становится настолько близким, что кажется: еще немного — и черканет железным брюхом о каменную кромку. Вот уже и люди на палубе видны так ясно, что малым усилием глаз можно угадать их черты. Я бессмысленно скольжу взглядом по незнакомым лицам: вот большие, смешно опущенные к подбородку усы, вот туго обтянутая платьем грудь дородного вида женщины, а там, в отстранении от остальных, в светлых одеждах пожилая пара рука об руку, совсем не похожая на моих бабушку с дедом... Тут жадный взор мой натывается на мальчишку в желтой панамке на голове, с мороженым в руках, которое, конечно же, закупили еще в городе, потому что у нас в деревне мороженого нет. Его, наверное, хранили для него в какой-нибудь специальной морозильной камере, установленной на теплоходе, а иначе, конечно, оно бы растаяло... Нет, вот он не так ест, как надо бы, лизнет раз-другой и пялит на нас три часа. Я бы, конечно, не стал размузывать! Я не вижу, но догадываюсь, что мороженое, подточенное солнцем, капает на корму. От этого мне становится не по себе, как будто самое сердце мое иссякает по капле. На ногах у мальчишки пижонские сандалики — и я с вызовом ложного превосходства и обиды смотрю на него, сквозь зубы сжеживая на раскаленную резину сапог тягучую пишу. слюну. Мне хочется крикнуть желтой панамке что-нибудь обидное, но я не знаю, чем можно обидеть городского мальчишку.

Завороженные, мы смотрим на теплоход, как на загадочный призрак, судно с другой планеты. Отец козырьком приложил ладонь ко лбу, защищая очки от солнечного света. Временами он впечатленно хмыкает и с досадой рассекает рукой воздух. Дед оперся о черенок воткнутых в землю вил и подслеповато щурится на “Благовещенск”.

— Интересно, сколь билет стоит на эту хреновину? — требовательно оглядывается на нас, устремивших любопытные взоры на теплоход, но ответа не дожидается. — Тыщи две-три — не меньше, — говорит убежденно и снисходительно смеется. — Как раз наши с баушкой две пенсии!

Мы не обращаем внимания на старика, потому что женщина в старомодном голубом платье, каких давно нет даже у наших деревенских дев (наверное, мать этого глупого мальчишки), помахала нам с палубы. Дядя Коля снял с головы засаленную кепку и со смехом машет ею в ответ.

— Приезжай к нам! — кричит, сверкая белками озорных глаз. — На рыбалку пойдем с ночевой!

Женщина тоже что-то кричит и весело смеется. Речной ветерок до колена обнажил белую ногу, вынутую из туфли и поставленную на металлическую решетку бортов. Как занавес, расходятся голубые полы и властно приковывают к себе мой смущенный взор. Мне кажется, будто я отчетливо

вижу нежные лодыжки, там, где остался розовый след от ремешка туфли, едва-едва тронутые загаром. А в голове моей возникают литые, оплывающие густым соленым потом, словно бы обуглившиеся плечи отца...

— Лаптежник! — презрительно говорит Мишка. — И смотри, дядя Коля, бегаешь еще!

— Ну дак! Тебе скипидару налить в одно место — тоже побежишь!

— Такие уже не делают теперь... — роняет отец.

Дед поправляет на голове платок из куса наволочки, не без гордости вспоминает, должно быть, самое яркое событие своей жизни:

— Я тоже плавал! Молодым ишо. Поплыли с Михаилом Шишкиным в Якутск — учиться на сапожников. Председатель, Мишкин отец, выписал нам справки... В Осетровском порту грузились баржи, мы воровски пробрались на пароход “Полина Осипенко”, — денег-то на билет не было, откуда они — деньги? — спрятались за ящиками и поплыли! — Дед тоненько, с матерком, смеется и покачивает головой, порицая себя за молодецкую непутевость. — Нашли нас, хотели ссадить на берег. Ну, упростили мы капитана, дозволил нам плыть. А пароходы-то на дровах ходили, вот мы с Шишкиным целыми днями-ночами и пихали лесины в топку... Двадцать два дня плыли! А через полгода возвращались в рубашке да в кальсонах. Доскреблись до Киренска — снег пошел. Мать-перемать, думаю, понесет шугу, и станем посреди реки! Но, доплыли кое-как. Я в Казарках вылез, а Шишкин до Осетровой проплыл — стыдно ему было в деревне в таком виде появиться, а в городе у него тетка жила. Пришел я огородами к дому родителей... Худой, обовшивевший, в руках фанерный чемоданчик... — Иронично сплюнув, громким, весело-нравоучительным голосом старик заканчивает: — И сапожниками не стали, но свет повидали-али!

Я не слышу старика. Я жадно смотрю на теплоход, который уже далеко от нас. Вскоре он пропадает за поворотом реки, но еще долго доносится до Дресвяного дуга его крылатая музыка. Туда, где растаял “Благовещенск”, забредает по самые бока уставшее солнце, роняет в воду желтые капли пота... Мы молчим. Молчит дуг. Только в траве строчит свою песню-стежку саранча, да в реке, гоняясь за мальком, бухает хвостом о воду жирующая щука. И вдруг до нас долетает “Гу-гу-у-у...”, но уже грустное, прощальное. Я срываюсь с места, бегу, падаю, запнувшись за толстые стебли свиного борща, расцарапываю голое тело о ветки шиповника.

— Ну, и куда этот пошеленец побежал? В Пушкино?

— Я его завтра дома оставлю! — заверяет отец, но я знаю, что не оставит, потому что уже не раз обещался — и не оставлял.

— Да успокойтесь вы! Привыкли, чуть чего — орать! — вступается Мишка. — Пойду, схожу за ним...

— Ты сам-то не кричи только там! — советует отец, когда Мишка спускается под угор. — Действительно: хватит, батя, доорались уже...

Мишка находит меня на бруствере, пристраивается рядом на камень и — молчит. Пуская блинчики по воде, заинтересованно считает касания. Долго смотрит на течение...

— Светлеет вода... К сентябрю вообще прозрачной будет, как родник. Белая блесна уже не пойдет — красную надо. Или желтую, из латуни. У тебя есть латуневая?

— Нету, — хмуро буркаю в ответ.

— Подгоню тебе. Я до армии занимался — делал такие. Есть там одна уловистая — сколько щук перетаскал на нее! Мне-то она...

Пристыженный наивной слабостью, возвращаюсь с берега на угор. Следом Мишка стучит сапогами по камням, задумчиво щурится. “Подожгу все их сено!” — рождается во мне злая мысль, но уже через миг я стыжусь ее. Молча встречают меня дедушка, отец и дядя Коля. Стараюсь не глядеть им в глаза, а они, словно обо всем ведая наперед, ни о чем не спрашивают. Так же, безмолвствуя, идем к ручью, где предстоит сегодня сметать еще одну копну. Остановившись у последней остроины, иголкой воткнутой в зеленое сердце земли, дед вполголоса бормочет:

— Живут же люди...

И снова — молчание. Каждый думает о своем, сокровенном...



Этот мир устроен неправильно — уж во всяком случае он создан не для меня, и все больше я в этом убеждаюсь. Только ближе к ночи проклятая мошкара, изготовившись спать, начинает нерешительно оседать на стеблях травы. Когда в ушах наконец смолкает надоевшее за день гудение и становится возможным смотреть вокруг без прищуря, мы отчаливаем домой. Лодка бежит-скользит по вечерней реке, встречным ветерком ласкает пыльные, испепеленные солнцем лица. Вот она, долгожданная прохлада! Солнце скрылось; в горниле распадков дотаивают последние алые головешки. И вот уже легкие синие сумерки марают стволы деревьев и кромки остающихся позади берегов. Взлетают потревоженные моторкой красноголовые крохали, но тут же пропадают в тиши и блеклой неясности подкрадывающейся ночи. Высвечивает на далеком небосклоне одинокая звезда... Дед лег на дно лодки, укрылся телогрейкой и тихо дремлет. Не замечаю, как и сам начинаю клевать носом...

*И снится мне белый теплоход. Он плывет по утренней реке, полный дерзких помыслов и надежд. По палубе теплохода чинно гуляет нарядное общество людей, избранных, отмеченных честью плыть на этом судне. Они смеются, пьют из хрустальных бокалов и наслаждаются музыкой, неторопливо льющейся из репродуктора. На носу теплохода стоит обворожительная женщина в голубом платье. Прохладный речной ветерок пенит ее легкие вьющиеся волосы. Хрупкий, смущенный мальчик прижался к ней и боязливо смотрит за корму. Весело играет вода за бортом, проносятся мимо редкие осенние листья. Со всех сторон высятся горы и желто-красные леса; изредка мелькнет и исчезнет за поворотом одинокая деревушка... Вот начинают попадаться луга и серые от прошедших дождей копыны, легкий парок взвивается над ними. Один из этих лугов мальчику до боли знаком. Несколько человек стоят на скошенной поляне и машут мальчику руками, но так машут, словно навек прощаются с ним. До рези в глазах вглядываясь в лица этих людей, — он вдруг узнает их! Сам не замечает, как поднимает руку и тоже машет им на прощание. Играет музыка, теплоход шлепает "лаптями" по воде, но сквозь шум долетают с берега слова: "Будь счастлив, милый, в той далекой стране!"*

Тут я просыпаюсь и тихо плачу. Мне очень жаль этого мальчика. Дед расценивает мои слезы по-своему:

— Замерз? — приподнимает край телогрейки. — Лезь под стяженку...

Забираюсь к старику, успокаиваюсь и снова засыпаю.

В темноте лодка упирается в берег, где еще днем купали в реке иконы отчаявшиеся старухи, а сейчас только синяя темь воды. Дед корячится, кричит, не может спросонья вылезти из лодки, то одну, то другую ногу неуверенно перекинет за борт, но тут же боязливо одергивает назад.

— Ты так скоро на старуху ногу закинуть не сможешь! — крупно содрогается животом дядя Коля.

На лавочке, как обычно, сидит в одиночестве бабушка: ждет. С нашим появлением встает — вспухшие веретями жил руки скрещены на животе, связка ключей оттягивает карман выцветшего платышка. Подсобляет — берет у старика грабли.

— Че, баушка... как картоха? — уморено переставляя кирзовые сапоги, спрашивает с тяжелой одышкой дед. Старуха вздыхает:

— Несколько кустов подкопала — две-три балаболки...

— Худо. Картоха — продукт!

Я иду позади всех. У ворот останавливаюсь и смотрю туда, куда скрылось солнце. Темно. В небе лежат крупные звезды. За рекой, на опушке леса, загорается длинноногая створа. Красный огонек призывно мигает уставшему миру...

И тут я с неизъяснимой ясностью понимаю, что вместе с теплоходом, ушедшим вверх по течению, закатилась за горы часть моей жизни и что такого дня, как сегодня, больше никогда не будет.

БОРИС ОРЛОВ



## “НАД ПЕРИСКОПОМ БЕЛЫЙ АНГЕЛ ВЬЁТСЯ”...

\* \* \*

*Погибшим в океане*

Акустик различает голоса  
Архангелов, а не семей китовых.  
Из глубины всплываем в Небеса, —  
Апостол Пётр готов принять швартовы.

Достоинство и Веру берегли,  
А к Господу вели морские мили.  
У нас горизонтальные рули  
Похожи на распластанные крылья.

Качаемся, как будто на весах,  
На облаках. В цене весомость слова.  
Наш экипаж зачислят в Небесах  
В эскадру адмирала Ушакова.

Нет, кроме нас, в отсеках ни души.  
Над перископом белый ангел вьётся.  
В Раю мы будем Родине служить  
Под вымпелом святого флотоводца!

---

*ОРЛОВ Борис Александрович родился в 1955 году в Ярославской области. Член Союза писателей России. Капитан первого ранга, автор нескольких стихотворных сборников, живёт в С.-Петербурге.*

## АВАРИЯ

Выпью спирт, разбавив дистиллятом,  
И войду в реакторный отсек.  
Я покрою матом мирный атом,  
Что нам укорачивает век.

Эту жизнь, дневную и ночную,  
Я люблю — и знаю в жизни толк.  
А реактор заглушу вручную...  
Мирный атом — как домашний волк.

\* \* \*

Конец походу — рюмки всклень полны.  
В квартирах наших — жёны, а не вдовы.  
Вернулись все — ни мёртвых, ни больных!  
И флаг трепещет, и скрипят швартовы.

Зачёркивали дни в календаре —  
И жизнь быстрее летела, чем в романе.  
Нас берегла любовь — на корабле  
Кружились тени из воспоминаний.

Святое дело — выпить “двести грамм”,  
Приправив парой боцманских историй.  
Мы пили за любовь, за милых дам.  
И только после тост: “За тех, кто в море!”

\* \* \*

Сен Женевьев-де-Буа.  
Рощи осенний покров.  
Крест. Золотятся слова  
В камне: “Полковник Орлов...”

Жертва гражданской войне —  
Смерть на чужбине. Беда.  
Кем же приходится мне  
Он? Не узнать никогда.

И офицер, и солдат.  
От малярии и ран...  
Сколько Орловых лежат  
В землях неведомых стран?!

Церковка. Купола медь.  
Тлеет свеча в полумгле.  
Господи! Дай помереть  
Русским на русской земле.

\* \* \*

Люблю дороги и леса, как братьев и сестёр.  
Я искру посажу в ночи — и вырастет костёр.

Поля, дороги приползут погреться у огня  
И поведут свой хоровод леса вокруг меня.

Ночные птицы прилетят. И прибежит зверьё.  
Набьются комары в шалаш — отшельничье жильё.

Заговорит и запоёт разбуженный простор.  
О, как огромен этот мир, когда горит костёр!



ВИКТОРИЯ ЧИКАРНЕЕВА



## УЛЫБАЙСЯ!

РАССКАЗ

— Привет, я — клоун! Я сделаю твою жизнь счастливой! Улыбайся! Улыбайся! Или... — Он достает из кармана огромную битую бутылку! И замахивается.

Как битая бутылка оказалась в его кармане? На то он и клоун! В общем, я испуганно оглядываюсь. Вокруг — никого. К счастью, это плод моего большого воображения.

— У-у-у-ф! — выдыхаю.

Мне 20. С деньгами туго до безумия. Я оформила себе социальную стипендию. Решила идти на постоянную работу. Несмотря на то, что я уже четверокурсница, работать устроиться сложно. Сказывается отсутствие знакомств и опыта работы. Решилась идти в “Макдональдс”. Яркая реклама и счастливые лица членов бригады ресторана на листовках сделали свое дело.

Я стала одной из тех, кто продает чизбургеры и биг-маки, кто жарит картофель фри и моет туалеты. Теперь ценю свое время и получаю зарплату. У меня ужасно болят ноги, а на коже — ожоги от кипящего жира. Над моей рукой случайно встряхнули корзину с картошкой. Я каждый рабочий день съедаю биг-мак, детскую картошку фри и выпиваю пол-литра кока-колы. Или другого напитка, на выбор. Можно даже выбрать зеленый или черный чай, только молочный коктейль или апельсиновый сок нельзя, они стоят дороже. А еще к картошке мне положено одно нажатие кетчупа. Это значит, что ты берешь огромную штуку, в виде шприца, с пятью отверстиями, дела-

---

*ЧИКАРНЕЕВА Виктория Александровна родилась в 1987 году в слободе Родионово-Несветайское Ростовской области. Окончила факультет социологии и политологии Ростовского госуниверситета. В настоящее время учится в Москве, на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького (семинар прозы А. Воронцова). В журнале “Наш современник” печатается впервые.*

есть одно фиксированное нажатие на салфетку или на крышку от стакана и можно обмазывать кетчупом картошку.

Обжираться этой едой из Макдональдса.

Меню менеджеров отличается от меню обычного работника. Они могут заказывать себе биг-тейсти и картофель по-деревенски, апельсиновый сок и мороженое с карамелью. На обед отводится фиксированных полчаса, ни минутой больше.

Мы сидим в комнате отдыха и едим обед. Потому что “Макдональдс” любит своих сотрудников. У меня растёт живот и появляется второй подбородок, хотя на работе я бегаяю как угорелая. У меня расширяется и без того отсутствующая талия и появляется целлюлит на бедрах и ягодицах. Но я ем обеды от “Макдональдс” по четыре раза в неделю. Не отказываться же от дешевых обедов. Еда почти на халяву.

В комнате отдыха стоит телевизор и огромный аквариум. Рыбки тоже едят продукты из “Макдональдс”. Замороженные огурцы и помидоры, зеленые листья салата и даже котлеты от гамбургеров. Рыбки вымахали до размеров порядочной щуки. И мне кажется, что через пару месяцев они вдруг превратятся в маленьких пираний или акул, а из их пастей будет торчать котлета из гамбургера.

На перерыве можно посмотреть свое расписание. Оно выкладывается в журналы и расписания. Находишь свой порядковый номер и смотришь, что тебе предстоит делать на следующей неделе. Это или уборка, или картошка, или касса. Всё зависит от того, на сколько позиций тебя обучали и на каких позициях ты лучше всего себя показываешь. У меня дни работы ставили всегда отменно отвратительные. Обычно выпадали выходные дни, вечер. За все мое время работы я отдыхала всего два воскресенья. Выписываешь себе расписание на салфетку, засовываешь салфетку в карман, понимая, что еще один субботний вечер ты проведешь за шваброй или на кассе.

Мой рабочий день начинается в четыре часа дня. Сглатывая тошнотворный комок в горле, я вхожу в заведение. Как же мне было приятно его посещать вне рабочего времени. Ввожу код, чтобы попасть в служебное помещение. Долго выглаживаю форму. Утюг так и норовит пропалить что-нибудь.

Мне выделили форму — две пары черных джинсов, две рубашки в клеточку, один козырек, пояс и бейдж. У меня бейдж еще желтого цвета. Это значит, что я на испытательном сроке. Среди своих нас называют цыплятами. Сегодня меня поставили в зале. Единственной серьезной проблемой является страх, что меня увидит кто-нибудь из знакомых. А я ужасно не хочу, чтобы видели, как я драю полы в “Макдональдсе”. Но я должна улыбаться, даже когда я драю полы и выкидываю мусор с подносов. Повсюду ходят менеджеры, они постоянно делают замечания, работа у них такая. Причем если один говорит одно замечание и дает одну команду, то второй все переинтерпретирует. Как правило, говорят:

— Какого хера ты не улыбаешься? — это слова Игоря, сотого менеджера.

— Ты становишься на тряпочки, — говорит запыхавшаяся Олеся.

Все просто — берешь две тряпочки и убираешь подносы, вытираешь со стола. Основное условие — никто не должен стоять. Все должны быть в движении. Если ты стоишь — значит, лентяйничает, а компания платит деньги только работающему персоналу. Потом “становишься на полы”, то есть непрерывно моешь пол, подметаешь или драишь улицу с туалетом. Для уборки в туалете надо обязательно надевать перчатки, с белыми кистями рук я становлюсь похожа на заправского хирурга, который своим красным мапом протолкнет в ваше горло любой чизбургер и чикен-мифик! Я залью в ваше горло кока-колу или спрайт со льдом! Протолкну даже куриные крылышки и щедро притрушу их соусами! Я делаю людей счастливыми! Заставлю вас улыбаться, даже если вы этого не хотите! Потому что в “Макдональдсе” все просто обязаны быть счастливыми!

Убираю в зале. Позиции меняются. С тряпочек переводят в туалеты, потом на гарбидж — выносить мешки с мусором.

— Нам не хватает людей на картошке! — подбегает Олеся. У нее из рта воняет дармовым биг-маком. — Иди на позицию и надень фартук!

“Делать нечего. Я на работе и выбирать не приходится. Вот суки!” — думаю про себя и плетусь к жаровням.

— Я сегодня буду тебя оценивать, — говорит мне очередной менеджер, на бейджике имя — Наталья. Номер у Натальи сто девятнадцатый.

— О’кей, оценивай, — бурчу ей, — да, это ничего приятного уже не предвещает.

— В журнале росписей ты не отметила, что вымыла руки тридцать минут назад. Я списываю с тебя три процента из ста.

— Наташа! Я мыла руки! — в возмущении.

Дело в том, что оценка проходит по стобальной шкале. Если у тебя отличные оценки, по сто баллов, то тебе начисляется премия, и большой процент вероятности, что тебя повысят до инструктора. А инструкторы не убирают в туалете.

— Не спорь со мной. Смотри, у тебя подгоревшая картошка попала в порцию для продажи. Тебе бы было приятно есть подгоревший продукт? Еще минус три балла.

— Наташа! — еще большее возмущение.

Она пробует мою картошку. Кривится.

— Она недосолена, не хрустит. И вообще, у тебя грязное рабочее место! Видишь капли жира кругом? Распишись, я ставлю тебе 84%.

— Спасибо, Наташа! Я очень тебе благодарна.

— Пожалуйста! И не паясничай. На брейке найди меня, будем разбирать твои ошибки. Надо улучшать показатели.

— Восемьдесят четыре процента! С такими показателями премия мне не светит! — рассуждаю я про себя.

За высокие оценки менеджеров ругают заместители директора. Поэтому они придираются даже к тому, как у тебя заколоты волосы.

На перерыве сижу за столом и ем свою картошку с биг-маком. Выкинув остатки обеда, иду искать менеджера Наташу. Улыбаюсь, потому что я — счастливый работник. Моя компания заботится о своих сотрудниках, и я буду каждый рабочий день есть дармовой сэндвич и пить кока-колу. Мы накормим всех несчастных и обездоленных, сырых и голодных гамбургерами и чизбургерами, напоим всех кока-колой или фантой. Мы улыбаемся. Мы должны улыбаться. Улыбка — наш друг и спутник во всех начинаниях.

— Морковные палочки желаете заказать?

Я улыбаюсь.

— К чаю хотите вишневый пирожок?

Я улыбаюсь. У меня болят ноги. Менеджер сто девятнадцатый, у меня под боком, оценивает меня.

— Возьмете браслет, в помощь детям?

Я улыбаюсь. Я счастлива. Я — счастливый работник сферы обслуживания.

— Вам кока-колу со льдом?

Уроды посетители! Задолбали, но я все равно улыбаюсь. Мы все тут улыбаемся.

— Ваш заказ: один биг-тейсти, один чикен-мифик, наггетсы шестерка, два сырных соуса, две больших картошки фри, две взрослых фанты со льдом и два вафельных рожка.

— Вы будете в зале кушать или возьмете с собой?

Я улыбаюсь. Сама думаю: чтоб ты, скотина, подавился. Опять улыбаюсь.

— Приятного аппетита. Ждем вас снова. Свободная касса!

Улыбаюсь и машу флажком.

Мы накормим гамами и чизами всю планету. Зальем все унитазы кока-колой. Сделаем людей счастливыми! Поднесем к виску любого дуло пистолета, если он не захочет быть счастливым. Потому что “Макдональдс” рулит! “Макдональдс” навсегда! Мы откроем бесплатные туалеты по всем городам и селам! Никто не сможет устоять перед нашим ароматом. Ароматом “Макдональдс”. Нажарим горы фри и будем раздавать ее всем детям на улице.

Картошка испортится через пять минут, потому что она годна для продажи и хрустит только первые пять минут после жарки, а потом списывается и выкидывается. Разработаем новое меню и будем кормить депутатов и космонавтов. Мы накормим биг-маками инопланетян, они будут кайфовать от сто-процентной говядины и свеженьких помидорчиков, от вафельного рожка ванильного мороженого и душистой мягкой булочки с кунжутом.

Мое лицо становится угреватым и покрывается прыщами. Я поправляюсь. Задыхаюсь, когда поднимаюсь на пятый этаж. Но все-таки — счастлива (этакий лох), потому что работаю в дружной команде, успеваю делать всё, у меня есть зарплата и социальный пакет.

Мне ставят низкие оценки. Мой рейтинг-лист составляет, в среднем, девяносто процентов. Но я уже научилась мыть полы, как принято в “Макдональдсе”, знаю, какой мак (швабра с тряпкой) для чего принадлежит. Красный наконечник — для туалетов, синий — для зала, зеленый — для внутреннего помещения, а желтый — для улицы. Я отлично мою туалеты и не менее отлично подметаю внутренний дворик на улице. Получаю свои гроши и счастлива от этого. Плюс с меня списывают кучу налогов и прочей фигни.

Ночами мне снится картофель фри. Он вырастает до размеров огромного крокодила, становится на задние лапы и гонится за мной. Поймав меня, насильно кормит картошкой, которую я сама пожарила. Заставляет обмазывать каждую картофелину кетчупом и сырным соусом, горчицей и майонезом. Меня тошнит, но мне приходится его есть, а за спиной уже стоят исполинских размеров синтетические гамбургеры и биг-маки.

Я жарю фри, всюду кипящий жир и длинные, как глисты, палочки картофеля. Корзина опускается в ванночку с кипящим жиром и жарится ровно три минуты. Через тридцать секунд пищит будильник, это значит, что нужно встряхнуть корзину. На одну корзину приходится два поворота солонки, никак не больше. Все идет по стандарту. Картошка здесь должна быть такой же хрустящей и поджаренной, как и картошка на Северном или Западном “Макдональдсе”.

В ужасе просыпаюсь. Нельзя так отдаваться работе. Даже во сне мой мозг думает о “Макдональдсе”.

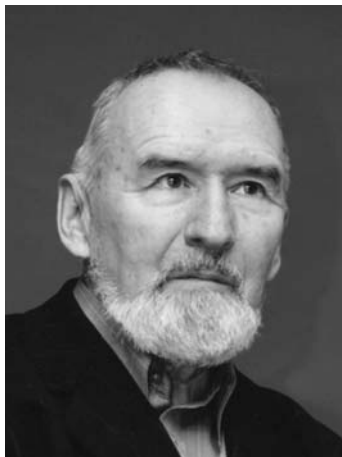
Я бегаю по залу и убираю грязные подносы. Выношу мусор. Знаю, как надо работать, и знаю, за что получаю свои “кровные миллионы”. Туалет моется каждые пятнадцать минут. Выдраиваю кабинки и мою зеркала. Я ненавижу свою работу. Но все равно улыбаюсь. За свою улыбку и варикоз на ногах я получаю сущие копейки. Чаевые нам брать запрещено, потому что это считается воровством у компании, ведь компания любит своих сотрудников, она считает, что на достаточном уровне обеспечивает своих сотрудников.

Всякий раз, входя в служебное помещение, я смотрю на часы, надеясь, что время будет идти побыстрее. Только на работе оно почему-то тянется, как слизняк. Когда мне предлагают уйти домой пораньше, я непременно соглашаюсь уйти.

Вход на работу осуществляется исключительно по карточной системе, отсчет отработанных часов тоже по карточке. То бишь при входе на работу я провожу карточкой по специальной штучке, пробиваясь на перерыв, тоже отмечаюсь через компьютер. При шести часах работы мне положен час перерыва. Тридцать минут оплачивается, а тридцать минут оплачиваю я. Собираться домой я могу только после того, как выбьюсь из системы. Потом прохожу в переодевалку — длинную узкую комнату, где вечно воняет обувью и грязными опрелыми носками. Быстро собираюсь и выбегаю из “Макдональдса”. Теперь я действительно счастливый человек, потому что могу ехать к себе в общагу, попить чаю, поболтать с подругой и лечь спать. А завтра спокойно идти в универ, у меня будет выходной.



ЮРИЙ ЛЕОНОВ



## НА КРАЮ МЕЩЁРЫ

ЗАРИСОВКИ

### СВОЙ, РУБЛЕННЫЙ, У РЕКИ...

Помнится, мы вовсе не собирались покупать этот дом. Всю долгую зиму договаривались, какую снимем дачу, снимем непременно, потому что в двухкомнатной квартире на бывшей Третьей Мещанской нас жило шестеро, и хоть дубовые подпорки надежно страховали потолок кухни от нового падения, все же неуютно было ходить мимо этих колонн. Дом давно обещали капитально отремонтировать, да все оказывалось недосуг...

Впрочем, вполне возможно, что разговоры о даче стали навязчивыми оттого, что новорожденный сын слишком громко заявил о своих правах на чистый воздух и парное молоко. Так или иначе, намерение снять дачу было единодушным, разнились только пожелания. Хорошо, конечно, если бы повезло снять хотя бы поддома, недалеко от Москвы, вблизи от водоема, за умеренную плату, и чтобы еще... Обычно такие разговоры наводили тоску своей несбыточностью, и тогда немногословная теща со вздохом говорила о земле своего детства:

— А у нас в Костино как все зацветет вокруг — глаз не отвести.

И басовитый тесть за чаркой охотно поддакивал, что таких привольных мест — поискать да поискать.

---

*ЛЕОНОВ Юрий Николаевич родился в Свердловске в 1932 году. Окончил Уральский государственный университет и Высшие сценарные курсы. С 1974 года по 1981 год работал в журнале "Наш современник". Автор 10 книг прозы, в том числе "Люди как люди", "Жёлуди для красной конницы". Член Союза писателей России. Лауреат премии им. Андрея Платонова. Живёт в Москве и в Рязанской области.*

И вечная хлопотунья Паня, воспитавшая без родителей не только сестру, то есть мою тещу, но и четверых ее детей, тоже с дрожью в голосе говорила:

— Да, у нас в Костино и вода-то — со здешней разве сравнишь.

Все они уехали сюда с Рязанщины еще в многообещающие годы нэпа, и прошлое маячило позади в закатной розовой дымке.

— Так, может, в Костино и снимем дачу? — встревал я в эти вздохи.

— Далекое, — сокрушенно подытоживал тесть. — Под самой Рязанью.

И прения стихали до новых разговоров на ту же тему. Но однажды этот четко отлаженный механизм сбоил. Мы собрались с тещей, Ольгой Максимовной, спозаранку, и перед полуднем сошли с автобуса в Костине.

Март уже согнал снег с окрестных полей, но пропитанная вешними водами земля еще дышала прохладой. Мы тащились по грязной, расхлябанной колесами улице к избе, в которой когда-то жила теща, и, глядя на серые крыши за серым частоколом изгородей, на голые ветки деревьев, вздетых к серому, набухшему влагой небу, я думал:

“Ну вот, еще одной легендой стало меньше на свете. Все мы подобны моей жене, которая лускала в детстве такие вкусные, маслянистые, в меру прожаренные семечки, а ныне, сколько ни пробует — все не те...”

У родственницы нашей Марии Захаровой погостевали мы за столом в той самой избе отца Ольги Максимовны. Старожилы до сих пор вспоминают о нем как об искуснейшем садоводе. После долгих женских пересудов: кто жив, а кто далече, совсем было настроились мы возвращаться. Да вспомнила хозяйка:

— Разве что тетка Параня... Муж-то у нее, богомаз, недавно помер. Так она в доме почти и не бывает. Все у Нины, у дочки. Может, с ней и договоритесь — тоже родня. Дом ее у реки...

— Хорошо бы, — боясь сглазить удачу, только и сказала Ольга Максимовна.

Все той же улицей, но уже более чистой, с уцелевшим покровом гусиной травки, мы не прошагали и ста метров, как вдруг попятнулись избы и я словно бы вознесся над грешной землей. Такая неоглядная, опоясанная рекою, окантованная сиреневатой бахромой мещерских лесов ширь распростерлась из края в край. Душа тихо ахнула и замерла. Когда-то Николай Михайлович Карамзин сказал по этому поводу: “Если бы меня спросили: “Чем никогда нельзя насытиться?” Я отвечал бы: “Хорошими видами”.

Как узнал я позднее, в древности такие высокие берега над Окой, откуда распахнуто открываются дали, называли “прѣсти”. От слова “простья”, обозначающее прощение, освобождение от болезни, исцеление.

— Вот как у нас! — заметив мое состояние, с гордостью сказала Ольга Максимовна.

Я согласен был снимать здесь дачу, как бы плоха она ни оказалась. Но все вышло удачней, чем ожидалось. И старый деревянный дом над рекой оказался еще справным, и живописна усадьба при нем с раскидистыми кронами яблонь, и покладаиста хозяйка, предложившая без всяких околичностей:

— А чего вам снимать — покупайте дом да и живите, дорого не возьму...

Пока не сделали мы этой покупки, пожалуй, не задумывался я, что значит для человека свой дом. Воспитанный в традициях коммуналок — удела большинства моих сверстников, с детства считал я дом всего лишь необходимым, судьбой ниспосланным пристанищем. Быть может, тому способствовали частые переезды, связанные с работой отца, а потом и моей работой. На новом месте находилась новая квартира. Хорошо, если она была теплой и не слишком тесной. Если холодной и неудобной — тоже дело привычное: что есть, то есть.

Сам дом олицетворял некую общность живущих в нем. Он сплачивал нас в трудные годы, когда нужда и лишения равняли всех. Он отдалял друг от друга, когда недостаток стал вносить разнь. Кочевая жизнь приучила меня быстро сживаться с новой обителью, быстро знакомиться с соседями. И когда покидал это место, жалел, что расстаюсь со всем привычным, отлаженным, как будто оставлял там частицу самого себя.

И все же то был очередной наш дом, о котором заботилась некая коммунальная контора — уделом ее было прокручивать через себя все новые по-

коления постояльцев. Сам я был отчужден не только от забот о здоровье и долгодетии нашего дома, но и от традиционных мужских хлопот о топливе, воде и бане. Так вроде и было задумано: облегчить быт горожанина. Облегчили. И это благо бесспорно. Правда, никакой радиатор не заменит пляшущее пламя в печи, гулкое потрескивание поленьев, запах стелящегося от очага дыма, точно так же, как никакая водопроводная... Но не о том речь...

Только пожив годы в деревенском доме, стал ощущать его как живое существо со своим укладом и своим искони присущим ему духом, с обретенными хворями и лишь ему памятным прошлым, от которого остался в красном углу иконостас, вскорее сворованный, в матице — кольцо для люльки, на чердаке — старая деревянная утварь.

Свой дом — своя обитель, которую можешь ладить и прихорашивать на свой манер, по своему вкусу и разумению. Во все времена это было одним из самых наглядных способов самовыражения человека. А в условиях засилья ширпотреба и унификации всего, что окружает наш быт, — особенно.

Свой дом — свои заботы и в огороде, и в саду. За коллективную землю отвечают все штаты специалистов от колхозно-совхозных до министерских. За свою — один ты в ответе, переложить эти обязанности не на кого. Не оттого ли личный приусадебный участок используется в несколько раз эффективней, чем земля в общем хозяйстве? К этой истине возвращаемся трудно, признаем ее постепенно, со скрипом, но в конечном счете вынуждены будем пойти на самые радикальные перемены — брюхо прикажет, выражаясь языком наших предков.

Свой дом — свое особое место на земле, которое все крепче привязывает тебя к округе: к соседям, к лугам и перелескам, к самой непролазной заре, как еще недавно звали в срединной России чертоломные заросли оврагов, к робко гулькающему роднику, от которого берет исток не только ручей или речка, но и святое слово Родина. Когда мы произносим его, то все же вспоминаем при этом не городскую безликую многоэтажку и светофор на загазованном асфальтовом перекрестке, а то, что истари питало в человеке чувство прекрасного на земле — первозданность природы.

Только с годами, благодаря старому дому на окраине рязанского села, пришло ко мне понимание того, что самые удивительные открытия лежат не за семью морями, а совсем рядом — стоит лишь приглядеться внимательней.

## БАННЫЙ ДЕНЬ

Все лето ремонтировали баню. И вдруг прошелестел слухок: к этой пятнице веники готовить. По пятницам здесь мужской день. По субботам, как везде в деревнях заведено, — женский. Даже в городе, при ванне, тело тоскует без жгучего, до костей пробирающего духа парной. Ну, а на селе без бани — и вовсе маета несусветная.

Банщик Виктор в нарядной рубахе, одетой по случаю премьеры, так и лучится улыбкой. Новые лавки сияют свежеструганной желтизной. Аккуратной горкой сложены шайки. А над всем этим — стойкий древесный дух, побратавшийся с запахом березовых листьев. Лепота!

Днем в бане, главным образом, стар да млад. Но живучи и в эту пору традиции мужского схода. Нет такой долетевшей до села новости, которую не обсудили бы, рассевшись по лавкам. Выступают без протокола, а потому стесняться в выражениях не привыкли.

Говорят про проклятую “дыру в небе” над Антарктидой и про Ивана Коровина, который замучился таскать в брюхе ножницы, оставленные там хирургом по рассеянности год назад, про шансы претендентов на пост президента США и про то, что получилось, когда лесник Андреев пошел на пасеку, позабыв застегнуть ширинку...

Кто помалкивать предпочитает. А кого — и из предбанника слышно. Громкий, резкий голос трибуна у пасечника Николая Ивановича. Он сидит через скамью от меня, за округлой спиной Василия Васильевича. Девяносто

седьмой годок пошел моему соседу, но еще держится молодцом: в лютый пар забирается на верхнюю полку.

С Николаем Ивановичем мы только что сошлись у крана. Он сказал, что, наконец, дали ему персональную пенсию и теперь-то в самый раз можно написать о нем. Не получив никаких заверений на этот счет, он сел на лавку и повел наступление с другого фланга:

— Вот взять Василия Васильевича. Все прошел! А что о нем знают? Да ничего!.. В гражданскую взяли их басмачи, весь отряд — двести человек. Всех расстреляли, он один остался в живых. Так то один случай. А он с басмачами пятнадцать лет воевал!

— Пятнадцать лет?.. Это какие же годы? — вырвалось у меня.

— Те самые! — отрезал Николай Иванович, почувствовав оскорбительное для себя недоверие. — Раньше-то как служили!.. Я вот три года отбухал, на год оставили еще. А там — война, с первого дня в самое пекло на границе. Да и после не сразу демобилизовали. А вы говорите!..

Разговор этот струится мимо туговатого на ухо Василия Васильевича, не задевая его. Наклонившись к соседу, спрашиваю погромче, когда же с басмачами он воевал.

— В двадцать первом — двадцать втором. Потом комиссовали.

Николай Иванович намывает мочалку, делая вид, что не слышит этих слов. Вот весь он тут. Сдается человеку, что о героическом надо говорить только так: масштабно, звонко, чтоб люди рты разевали, внимая. А иначе — преснятина...

Позднее узнал я у Василия Васильевича, как на самом деле попал он под расстрел.

— В девятнадцатом году это было, на Кубани, возле Тоннельной, — удивительная память у человека, столько поколесил в молодости по белу свету, и почти каждое местечко помнит, где был. — Надо было идти на Новороссийск горами. А кто-то и предложил: можно тоннелем проскочить, покорооче. В том тоннеле и взяли нас белые, весь отряд. Загнали в ригу, часовых приставили.

Вечером пришел офицер, трезвый, глаза острые, кричит: “Выходи по одному!” Построил нас первую партию в одну шеренгу, и давай считать каждого пятого. Отсчитает — и тут же из маузера, на месте. Человек, может, восемь положил, точно не скажу. Дошел черед до Лурика. Дюжий был матрос. Ждать своей пули не стал. Как хрястнул кулаком по голове, так и опал офицерик. Лурик маузер хватить и гаркнул: “Полундра!” Ну мы и разбежались кто куда с караульными вместе.

От той поры, от генерала Краснова до сих пор — рябая отметина на шее Василия Васильевича. Зацепило осколком. Глянул я по лавкам. Неподалеку пристроился со своей культей цыгановатый лесник Николай Михайлович, оставивший ногу под Краковым в сорок пятом. Чуть дальше сидит Николай Николаевич, бывший наш банщик, с белеющим на теле шрамом на память о боях под Хасаном. С ним рядом — осторожно трет мочалкой раненую голень погрузневший Михаил Михайлович Кошуро. И в финскую кампанию, и в Отечественную войну крутил он баранку на фронте... Вся история века расписана на жилистых, каленых терпением мужицких телах.

Выхожу в предбанник, а Николай Иванович уже там, рассказывает, помогая себе энергичными жестами жилистых рук:

— ...Юзек был у меня, телохранитель, надежный мужик. Но и он растерялся однажды. Вошли в село вдвоем. А он самогона где-то достал. Я говорю — брось! — немцы! Делай, как я! Ни звука без команды! Ты влево смотришь — я вправо. Руку со спускового крючка не снимать! Так и пошли вдвоем через все село с автоматами наизготовку. Немцы едят нас глазами. А мы прем прямо посреди улицы. И ни один фриц по нам не стреляет. Известно, впереди разведка идет, боевое охранение. А у них приказ — стрелять только по главным силам. Прошли село, дали ходу. И — ищи нас свищи. Ну, говорит Юзек, штаны у меня... Вот так вот! А ты говоришь — война...

Где еще услышишь такие воспоминания?.. Только в бане.

## ПОЛМЕШКА РЖАНЫХ СУХАРЕЙ

Зашел к соседям, а у них гостья, Майя, подруга Зинаиды Григорьевны. Вернее сказать, не гостья приехала из Рязани, а помощница, из тех, кто сложа руки сидеть не любит. На веранде, куда ни глянь — банки с перцем и помидорами. Пряно пахнет укропом и чесноком, смородиновыми листьями. И разговор, закружив вокруг всяческих солений да мочений, до которых здешние хозяйки большие мастерицы, вдруг повернул в те годы, когда и кусок пресной лепешки был в радость.

Черты лица у Майи мягкие, добрые, а в голосе волнение, словно изо дня в день не перестает она удивляться превратностям жизни. Как запомнил ее рассказ о бабушке Наташе, так и передаю.

В войну эвакуировалась их семья из Брянска, с заводом, где работал отец. Жарко было в городе, и Майя никак не могла понять, зачем всех их, братишку и трех сестреноч, старшие одели в шубы и для чего каждому прилепили на запястье по блеклой, совсем некрасивой полоске из клеенки, где были написаны имя и фамилия.

Ехали в теплушке, вместе с другими заводскими, в тесноте, да не в обиде. Вскоре раздали сухой паек — сухарями. На семерых получилось полмешка ржаных сухарей, которым особенно обрадовалась бабушка Наташа. Она готовила пищу, а продукты были уже на исходе.

Эшелон двигался медленно, часто замирая в ожидании встречных. На одном из полустанков, воспользовавшись остановкой, соседка по теплушке примус разожгла и картошку варить поставила, а очистки решила выбросить. И двух шагов от вагона не сделала, как из встречного, только что остановившегося эшелона протянулись через решетку нетерпеливые руки. Мосластые, костлявые, в синяках да ссадинах: “Дай!!!”

Женщина испуганно отпрянула. А когда поняла, что тем, за решеткой, ничего от нее не надо, кроме очисток, горько спросила, куда ж их таких везут, неужто на фронт?

— Штрафбат, — выдавил кто-то.

— Штрафбат... штрафбат... — прошелестело по теплушке. Никому из взрослых не надо было объяснять, откуда едут эти люди и что их ждет впереди, пред легионами сытых, вооруженных в лучших арсеналах Европы. Молчали женщины и старики, молчали мастеровые и дети, вглядываясь в перекрещенный решетками полумрак, где делили тонкие до прозрачности картофельные очистки.

— Пустите! — шумнула бабушка Наташа и спрыгнула с подножки, прижимая к животу полмешка ржаных сухарей.

Она пошла вдоль состава, не минуя ни одной из страждущих, протянутых рук. Вослед покатило все глуше: “Спасибо, мамаша... Дай тебе Бог здоровья...” Утирая слезы, женщины опасно глядели в ту сторону, откуда уже бежали конвоиры. Расправа была короткой. Конвойные били прикладами по рукам сначала с лентой, потом — зверея от проклятий. А бабушку Наташу бить не посмели. Лишь оттолкнули так, что на ногах устояла едва.

Но мешок был уже пуст. Она подняла холстину над головой, и одобрителный рев заглушил свисток паровоза.

Едва бабушке Наташе помогли забраться в теплушку, как холщовый мешок пошел по рукам. Каждый совал в него по доброй жмене сухарей, пока их не стало столько, сколько было.

— Спасибо вам, люди добрые, — низким поклоном ответила бабушка Наташа.

Ехали долго, а всего-то до Саратовской области. Отца Майи вскоре взяли на фронт. Остались на память от него лишь большие кирзовые сапоги, стоящие у порога избы. Их надевали зимой по очереди, кому требовалось выйти на холод.

А мама устроилась работать в сельсовет: грамотная была, гимназию окончила. Давали ей в месяц по пять килограммов муки, из которой бабушка Наташа пекла пышки. Небольшие, с пряник величиной, но вкусные необыкновенно. Из муки да отрубей, со жмыхом растертых, из сушеной лебеды

да “калачиков”, тех самых, что вдоль дороги растут и сходят у ребят за конфеты.

Каждый раз бабушка пекла пышек на всю семью да три штуки впридачу.

— А это кому? — допытывалась Майя.

— На чужую долю, внученька.

— А кто это, Чужая доля?

— Ой, много нынче таких: сирот да беспризорных, куском хлеба обделенных. Все есть хотят, всех жалко.

Сметливая была Майя — бегом к подружке и на ушко: чтоб успела постучаться в окошко. А потом и братец наловчился друзей извещать, так что никогда не залеживались под рушником похрустывающие на зубах пышки.

В том селе начала Майя учиться считать, чтоб быть такой же грамотной, как мама, и получать за это в месяц по пять килограммов муки. Здесь и в чтении поднаторела. Но до сих пор свято верит, что нет на свете науки нужней и человечней, чем впитанные с запахом пышек бабушкины заветы доброты.

## ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

У Клани, что живет за три дома от нас, совсем разболелись ноги. Даже за чернушками нынче не пошла, хоть большая мастерица солить их. Не столько для себя старается, сколько для брата Алексея. Очень он любит чернушки с детства. А в Донбассе, на шахте, известно, какие грузди...

Пришел из леса и занес Клане грибов. Посверкала она темными, не утратившими живости глазами и угостила меня лучшим, что было в доме — бесхитростной бывальщиной.

Себе в уладу, с горечью пополам, гостю в интерес. Как жалеешь в такие минуты, что рядом нет магнитофона.

— В семье нас пятеро было, я старшая. Восемь исполнилось — пошла подпаском из Аграфениной Пустыни в Спас-Клепики. Подрядилась с соседским мужиком вдвоем пасти стадо: восемь пудов ржаного хлеба да центнер картошки за сезон.

Места там мочажистые, низинные. Ходили в лаптях. Мешковину под них намотаешь, и ладно. К июлю кожа слезала клочьями. Председатель колхоза добрый был дядька. Пожалеет, даст дегтю ноги помазать, да надолго ли хватало его?

Два года была в подпасах, до тридцать пятого. Потом мужик проштрафился — быка проворонил, залез тот в бучило и сдох. На следующую весну мужика не наняли. И я не при деле оказалась. Худо ли, бедно ли — семью кормила, а тут...

Лешка, брат, на три года моложе меня, а головастый. Давай, говорит, наймемся вдвоем. Поглядела я на него, поглядела — совсем еще шкет. А что делать?.. Написала письмо председателю. А он сразу согласился и ответил. Наниматься поехали все же с опаской — ну как не глянется братец. Обошлось. С той весны и пасли вдвоем пять лет кряду.

Леса кругом, без дудки пасти невозможно. Наловчилась я играть. Самой нравилось, и бабы говорили: “Ой, Клав, как заиграешь ты на рожочке — вся душа переворачивается”.

В два ночи выгоняем коров. В десять пригоняем — пауты жучат, не дают покоя. В три снова гоним, и до десяти вечера. Председатель нами доволен, говорит: “Вот бы кто лошадей ночью попас. Ну вовсе некому”. А я и вверни: “Ночь-то наша. Давайте мы будем. Только оплата соответственная”. Быстро договорились. Спросила только, как же ночью лошадей-то пасти, не видно ни зги. “А ты ботала привяжи. Через загон какая махнет — услышишь”.

Какой уж тут сон, когда того и гляди — волки. Лежим в шалаше, у Лешки — бич, у меня палка на всякий случай. Лешка мне: “Ой, Клань,

спать хочется”. Ну, спи. Сама подремлю да вздрогну, голову приподниму — страшно. Где какая мышка пробежит, филин в лесу гукнет — все слышу. Днем чуток отоспелось.

Зато по осени нагрузили нам целую полуторку: картошки пять кулей, муки ржаной и пшеничной, да грибов-ягод, что насобирали... Сверх — три тыщи рублей деньгами. В голодный-то год. Мать как увидела такое — в слезы от радости. Соседки завидовали: “Ну и девка у тебя работающая”. А и вправду, ту зиму мы самые сытые были, такое счастье...

Потом уж в торфшечки пошла, зарабатывать мануфактуру. Маркизет, мадаполам, ситчик — все по талонам давали, сколько заработаешь. Ну, и старались, конечно, шурфы били — метр на метр. Тоже все ноги в сырости — торфяник. Потом окопы, потом лесоповал. Такая вот жизнь была наша. Двадцать пять исполнилось, перед свадьбой пошла в первый раз обувь покупать. Спрашивают, какой размер носишь, а я и не знаю...

## ПОДРУЖКИ

— Душа моя, гармошка, — вздыхает Клания и уходит взглядом далеко от стола, за которым сидим в избе. Две операции принагнули хозяйку к земле, но карие глаза сверкают живо, так что нетрудно представить, какой азартной плясуньей была она в молодости.

— Помню, уж замуж вышла. Мой-то уснул. А я все не ложусь, каждая жилочка во мне играет. На бугре Лешка Панкратов с гармошкой — море разливанное. И девки голосистые, так и сыпят частушками, одна другой не уступает. Пошла и я на бугор. Мой-то проснулся — пусто в избе. Ах ты ж, гулёна, опять на вечерку убегла!..

А то еще раньше, в торфшечках. За день-то натопаешься, наломаешь спину — вроде ничто уже не мило, когда возвращаешься в час ночи. Но стоит одной отчебучить частушку — и до самого барака наперебой, чуть не вприсядку...

— Спой что-нибудь, — прошу я.

Клания отнекивается для приличия, начинает с прохладцей, как бы поневоле:

*Вот окончится война,  
Пойдут ребята ротами,  
Я залетку своего  
Встречу за воротами...  
Вот окончилась война,  
Я осталась одна,  
Я и лошадь, я и бык,  
Я и баба, и мужик...*

Нельзя сказать, что частушки на селе вовсе вышли из моды. На том бугре, где отплясывала когда-то Клания, и нынче нет-нет да и заиграет гармонь. Чаще всего валит за нею вся свадьба. И голоса бойко, оттопывают лихо, да без стеснения заворачивают такое, что круче вроде бы и некуда. Своего рода шик. Конечно, и прежде не обходились частушки без соли. Но все же, помнится, меньше было ее, вот так вот, всему селу напоказ.

Я слушал Кланию и думал: неужто с такими любительницами, как она, уйдут в небытие озорные, не пошлые девичьи частушки, в которых жила, а ныне лишь теплится часть светлой, гораздой на выдумку души народа? Неужто некому перехватить давно найденные слова, саму нехитрую манеру рязанских попевочек и страданий?

*Полюбила лейтенанта,  
А потом политрука.  
А потом все выше, выше,  
И дошла до пастуха.*

Мы с Кланей сидим не одни. У окна прикипела к лавке, посверкивая темными глазами, босоногая, в коротеньком платьице Оля. К этой избе она привыкла, пожалуй, больше, чем к своей, что через дорогу. Почти с рождения Кланя ей вроде няньки. Родители — на работу, а дочку — сюда. Сейчас Оля учится не то в третьем, не то в четвертом классе, а все забегает сюда, как к себе домой.

— Трудно без гармошки-то вспоминать, — жалуется Кланя. — Там ведь слово за слово цепляется. Пока товарка поет, у тебя уж новая наготове, ей в пик. — Она замолчала, пытаясь выволить из прошлого еще куплет, как вдруг от окошка отлетела робкая припевочка:

*Я косила у пруда,  
Не дает косить вода.  
Косилочку — под елочку,  
Сама пойду к миленочку.*

Клава строго глянула в ту сторону, показалось: цыкнет сейчас. Но, отмякнув лицом и приосанясь, ответила, как и положено, с зазывной подпевочкой:

*Оля, милочка моя,  
Как бы нам не прозевать.  
По девятому талону  
Будут мальчиков давать.*

И до чего же звонко, нетерпеливо аукнулось:

*Подружка моя,  
Пойдем сходим на бугор.  
Там одна девчонка плачет,  
Ее бросил ухажер.*

Кланя пожаловалась, что не может пойти на бугор, ибо сама “на этой точке”. И завились веревочкой перепевочки, вылетая одна в другую легко и складно, как по-писаному...

Гляжу, уж притоптывает Кланя ногой, обутой в стоптанный тапочек. Еще чуть-чуть — и сорвется с табуретки, пойдет сыпать “дробь”. Уже нештучные угрозы припомнились:

*Я свою соперницу  
Отвезу на мельницу,  
Перемелю ее в муку,  
Залётке пышек напеку.*

#### “ТРАВА РАСТЕТ?..”

— Трава растет? — дипломатично спрашивает меня худенькая, сгорбленная баба Настя, взглядываясь через забор в целинные лоскуты сада-огорода.

— Растет.

— Ну и слава Богу. И хорошо, что растет. Трава свое дело знает. Сорвать ее не пара?

— Константиныч скосит.

— Аль уже договорились с ним?.. Ну, тогда ладно, ладно...

Баба Настя отходит от забора маленькими шажками и начинает рвать траву в другом месте, ухватывая стебли цепкими жилистыми пальцами.

В прошлом году баба Настя привычно расхаживала по нашей усадьбе, как по своей (прежде эта деляна была пустошью), и вывистывала из земли все лишнее. Но не сошлись мы с бабой Настей во мнении: что лишнее



здесь растет, а что нет. Да и туго набитый травой мешок, который она волочила за собой, оказался не подарком для хрупких саженцев. Так что пришлось отказать соседке в таких визитах. Только память у бабы Насти коротковата. Не проходит и часа, как снова возникает над забором обтянутая пестрым платком голова и раздается вкрадчивое:

— Трава растет?..

Анастасии Девменовне восемьдесят два года, большинство из которых прожила в деревеньке Ефремове на Смоленщине, откуда ушли на войну сорок два мужика, а вернулось только двое. Вырастила без мужа двух сыновей и дочь, да одного из сыновей не уберегла. Как наворожили товарки, предупредая ее:

— Этот у тебя не жилец, сильно умный да обходительный.

В техникум приняли Сашу как отличника без экзаменов. И там успевал лучше других. Из близкого города то и дело навещался с приятелем в деревню. Поездом до полустанка, а там — пёхом. Но однажды нарвался на проводницу-ведьму. Узрев висящего на подножке безбилетника, она на ходу открыла дверь тамбура и каблуком по пальцам, побелевшим от холода, каблуком, пока не сорвался парнишка под колеса...

Боль от потери притупилась с годами. Но нет-нет да вспыхнут тлеющие искры ее, и начинает рассказывать баба Настя случайному встречному, каким башковитым парнем был ее первенец.

Сколько всякой работы переделали натруженные руки бабы Насти, трудно даже представить. По всем понятиям, пора человеку и отдохнуть. И дочь, Екатерина Александровна, и зять Алексей Константинович уговаривают оставить все дела. Но не сидится на месте бабе Насте. Только что подметала двор — глядь, уже поднимается с ведром в гору. Да ходко так, без одышки. Хочется бабе Насте, чтобы с ней считались как прежде, когда была в полной силе, а к уважению она знает лишь одну дорожку — трудовую.

Искать подходящую для себя работу бабе Насте становится все трудней. Пошла прополоть огород, да зрение подвело: вместе с сорняками повытаскала и морковь. Хотела борщ посолить — оказался он сладким. Задумала козу угостить капустными листьями, да переусердствовала — одни недозревшие кочаны остались на грядке...

— Ну, мама!.. Уймешься ты наконец или нет?! — срывается на крик Екатерина Александровна. А мне, обернувшись, говорит совсем другим тоном: — Вот так за ней целыми днями и слежу. Только окрик и понимает. Как привыкла в совхозе слушаться бригадира-горлопана, так и сейчас, до сих пор живет в Ефремове, честное слово.

Все бабой Настей руководят: и дочь, и зять, и даже внук Миша. А ей кем руководить?.. Только курами да козой Машкой!

— Ты куда пошла? — подозрительно спрашивает баба Настя у направившейся к крапиве козы и тянет ее назад за веревку. Машка упирается изо всех силенок — мила ей крапива, и лишь завидев над собой прут, сдает позицию. Стоит в задумчивости... И чего стоит? Делом заниматься надо!

— Ты ешь, ешь! — приговаривает баба Настя, шпыняя козу. — Вон какая вкусная травка... Чего не ешь? Ести надо.

— Оставь ты козу в покое, — басит Константиныч.

Опять неладно выходит. Баба Настя замирает, оглядывается: чем бы еще заняться, и начинает щипать ту самую понравившуюся ей гусиную травку. Посушит ее — сенцо будет. На всю зиму, про запас.

Я гляжу, как проворно снуют ее хваткие, потемневшие не столько от загара, сколько от времени пальцы и думаю: сколь нелепа с точки зрения тех, кто бодро шагает мимо бабы Насти на пляж или на рыбалку, ее непосредственность, неукротимое стремление принести семье хоть малую пользу. Что за дремучая привычка: работать не покладая рук. Для того ли живем, чтобы только трудиться?

Признаться, и меня порой берет оторопь от этой неистребимой потребности что-то делать в такие годы, когда многие долгожители едва переставляют ноги. Пора, пора тормозить, расслабиться бабе Насте. Однако не вечный ли двигатель, сызмалу заложенный в ней, и помогает быть "в форме"?

Нет, это не привычка, а кровная, родовая потребность умножать нажитое, та самая многократно охаянная “кулацкая” закваска, которая и делала зажиточной самую трудолюбивую, вырубленную под корень часть российского крестьянства.

Умели некогда на Руси и повеселиться, и по праздновать всем миром, с песнями и играми: гулять так гулять! Но — работать так работать! Не так, как ныне в нашем селе, когда в девятом часу утра по улице только тянутся на разнарядку работнички, а в половине двенадцатого уже спешат домой на обед.

“Труд — есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!” — был такой лозунг сродни энтузиазму тридцатых годов, когда жила вера не только в лозунги. Но было в нашей истории и другое: жесткий “потолок” зарплаты, хроническое снижение расценок, а рядом — привилегии тем, кто привык лишь кудряво говорить, откровенные демагоги и захребетники: “Дурака работа любит”. И это “другое” с годами развратило людей. Праздность как жизненная установка — тот же разврат.

Вспоминаю откровение сынишки своих знакомых, которые совсем было собрались уехать на Запад, вдогонку за сладкой жизнью, да вдруг охолонули к этой затее. Почему?

— А там, говорят, работать надо.

Память подсказывает и другое. Одна из японских фирм вынуждена была снова принять на работу незаконно уволенного сотрудника. Принять-то приняли, но занятие ему придумали весьма своеобразное: выделили место в проходной предприятия и поручили... сидеть от звонка до звонка, на виду у всех, ничего не делая. И получать за это зарплату. От такой “привольной” жизни бедолага сгорел, не протянув и месяца.

Вот так же, наверное, и с бабой Настей. Останови ее “вечный двигатель”, заставь ничего не делать, и... Не выдержит она такой жизни.

## ДОМ

Лишь сейчас, через пять лет после того, как начал я строить дом, с особой остротой всплыл в памяти мимолетно оброненный совет Юрия Казакова:

— Не заводи свой дом.

Прочел я его в воспоминаниях Юрия Пахомова как нечто экзотическое и вроде б забыл. Мало ли причуд у известных писателей. Вот и этот оригинальничал, опровергая известную истину о том, сколь хорошо иметь свой дом, свой угол на этой грешной земле. Может, сказанул так под настроение, замаявшись колоть сучковатые поленья и растапливать дымящую печь или устав латать обветшавшую городьбу вокруг усадьбы...

Чтобы созреть до таких откровений, понадобились годы и годы... И дело даже не в том, что дом, как живой человек, требует к себе постоянного внимания и ухода, а новый дом выкачивает бессчетное количество сил и средств — валится все это как в прорву.

Дом привязывает к себе, так что на дальние поездки и путешествия следует поставить крест. Нетрудно себе представить, что значил такой отказ для Юрия Казакова, вкусившего сладость дальних странствий, без которых не было бы ни “Северного дневника”, ни многих его колдовских рассказов.

Вот и я с той поры, как заложил фундамент дома, вопреки давней привычке не отлучался почти никуда далее московской да рязанской земель. Правда, не благоприятствуют дальним поездкам и нынешние условия жизни. Что-бы слетать, как прежде, на благословенный Дальний Восток, едва ли хватит моей пенсии за год. Да, впрочем, и тяга к перемене мест слабее, чем прежде. То ли сказывается возраст, то ли хватает мне и здесь простора да разнообразия: лес да река рядом, и тропы никуда не заказаны, за Окою — Мещера.

Как не вспомнить при этом наказ древнего китайского мудреца Конфуция: “Если у тебя есть телега — сожги ее, есть лодка — проруби в ней дыру... Ты должен сидеть на месте, слушать пение своих петухов, лай своих собак и растить свое поле...”

Своего поля нет — есть огород да новый сад, где топорищатся хвостики саженцев. Однако радостей от всего этого пока что маловато. Чем дольше строил я дом, тем чаще наступала меня занозистая мыслишка. Клал ли кирпичи под знобким октябрьским северко, таскал ли ведрами глину со дна будущего погреба, ходил ли по усадьбе с участковым после того, как ночью исчезло ползабора из рабицы, одна и та же мыслишка назойливо напоминала о бренности моих стараний: “На кой ляд связался ты с этой “стройкой века”?.. Сидел бы в своей теплой городской квартире да пописывал рассказы и повести — куда более приятное занятие, чем ковыряться в глине и цементе. Правда, спрос на художественную литературу в издательствах близится к нулю, да ведь и с этим долгостремом никакой выгоды не предвидится. Одни хлопоты и заботы. Доведется ли пожить в новом доме? И станет ли наезжать сюда с семейством наш сын?.. Дай-то Бог!”

Нет еще в доме ни пола, ни окон, ни дверей — одни проемы. И кто скажет, сколько еще лет придется ограничивать семью в самом необходимом, прежде чем запалим с женой русскую печь и в ожидании гостей присядем перед топкой, завороченно глядя, как приплясывает над поленьями бойкое пламя?..

Тяжек крест, но нести его надо. Свой дом — своя опора на земле. А без опоры кто мы?.. Голь перекатная!

### С МАССАЧУСЕТСОМ УХО В УХО

В нашей старой избе под Рязанью сегодня — “праздник топора”. Приехали плотники из Москвы — ближе не удалось сговорить мастеров, — и появилась надежда, что наконец-то над кирпичными стенами нашего дома вырастет крыша.

На шабашку выехала сплоченная давним знакомством бригада. Самый старший и опытный Геннадий Борисович, помеченный залысинами и прокуреным басом, в этот раз отказался от привычной роли бригадира, передав бразды правления более молодому напарнику Владимиру Андреевичу, гвардейцу под метр восемьдесят. “Пусть узнает, почем фунт лиха, — прокомментировал этот жест Борисыч, — а то критиковать меня все горазды”. “Все” — это и Александр Федорович, чья шапка седых волос и очки придают ему вполне профессорскую внешность, и Николай Павлович, на вид и по манерам душа-парень, хоть давненько уже ходит в дедах.

Сидим за столом, как водится по случаю почина, и пропускаем по маленькой, а разговор скачет то по опорным балкам будущей крыши, то по дремучим дебрям политики. Но чаще всего четверо возвращаются к тому делу, от которого только что отошли. И, как выясняется, делу настолько серьезному, что до недавнего времени само название их научно-исследовательского института было секретом для посторонних. Институт и институт без какой-либо таблички у входа, мало ли таких по Москве.

Вот только зарплату в НИИ перестали платить, задолжав за лето, и поехали заведующие секторами и отделами (все четверо) в отпуск без содержания зарабатывать “копейку” на стороне. Благо, плотницкие навыки приобрели еще во времена студенческих стройотрядов, да и в обычные отпуска приходилось подрабатывать.

— В прошлом году поехали на шабашку, — вспоминает Александр Федорович, — хозяйка ключи дала от избы, сказала, что приедет через два дня. Ну, взяли мы денег на еду и на то, чтоб горло не пересохло. Но пока ехали в поезде, все деньги угрохали на книги, и хозяйку потом ждали, как мать родную...

Из Москвы до нашего села четверо доехали без билетов, по документам, свидетельствующим, что податели сего не получают зарплату и потому просьба отнестись к ним с пониманием.

— Контролеры на нас зверьями смотрят, но штрафов не берут. И нам неловко бумажки эти совать. А куда деться?..

Мой шурин, сагитировавший меня нанять команду его сослуживцев, отзывался о них как об опытных плотниках. Но слушая споры о тонкостях компьютерной инженерии и кадровых перестановках в оборонке, я все более терзался сомнениями: “Ну, хорошо, в альпинизме и дельтапланеризме, как выяснилось из разговоров, они мастаки. Но плотницкое ремесло, как и любое другое, требует постоянного тренажа, чтобы не растерять навыков. А какой там плотницкий тренаж у кульманов да лазерных принтеров?”

Тут еще Геннадий Борисович вроде бы между прочим оговорился, что в той программе, которую он ведет уже двадцать лет, они с Массачусетским технологическим институтом идут по результатам уху в уху. Правда, скоро он преподнесет заокеанским коллегам такой сюрприз, что Америка только ахнет. Вот закончит он крыть крышу, вернется в Москву, и... — совсем немного доработать осталось.

Утро на стройке началось с затяжной дискуссии на тему, под каким углом целесообразнее пустить скат. Над увядшей картофельной ботвой витали синусы и косинусы, а позднее до меня долетел напористый голос бригадира:

- По максимуму отпиливаем.
- Лучше по минимуму.
- Монсеньор, уверяю вас — лишняя работа.
- Да что ты, трам-тарарам! Зато с гарантией!

Странновато звучали для слуха эти перепады от изысканных пассажей до забористых матюгов. Но понять ситуацию было нетрудно: расслабилась интеллигенция, входит в иную роль. И вряд ли такие дебаты мешают делу.

Через неделю, когда под “раз-два, взяли!” бригада подняла наверх тяжеленные бревна и стропила обозначили четкий контур мансарды, на нашу окраину стали наведываться знатоки. Просто так, посмотреть, как плотничают эти москвичи, а заодно, может быть, и приглядеть что-то небесполезное для себя. Они побряхывали, сплевывали горечь дешевых сигарет и приходили к согласию в одном:

- На совесть работают мужики.

Не знаю, как там в Массачусетском институте насчет новейших достижений в электронике и инерциальной навигации, но уверен, что по навыкам борьбы за выживаемость заокеанской профессуре напрасно тягаться с нашими спецами. Ну кто из них, скажите на милость, способен доводить идею до конца на полупустой желудок, без гарантии, что за эту работу заплатят?.. Я уж не говорю о том, что едва ли найдется среди закордонных конкурентов оборонки умелец, способный с трех ударов вогнать в стропила гвоздь-сто-пятидесятку по самую шляпку. Так что пока еще держим форму. Надолго ли хватит пороху?

## НАПОСЛЕДОК

Родился я на Урале, в краю дымчатых сосен и чистых в ту пору озер. Там учился ходить с мамой замшелыми тропами по грибы, там родился с горами да студеными реками в туристских студенческих походах. Там, на земле Павла Бажова, собирал среди старожиллов древние сказания о рудознатцах. И казалось, что лучшего, более дорогого сердцу края не найти на земле.

И когда выпускником университета приехал на Сахалин, долго не мог оставить привязанности к отчему краю. Даже в землячестве уральском собирались регулярно и вместо гимна пели “Уральскую рябинушку”. Все казалось, что нет здесь, на острове, ни вековых, подпирающих небо сосен, ни сверкающих драгоценными камнями “занорышей”, ни богатой преданиями старины, ни характерных говоров... И первое время думалось: вот поработаю здесь еще годик-другой и вернусь в родные места, на Урал.

Так длилось до той поры, пока не пустился бродяжить по Курилам, от Кунашира до Камчатки. Не знаю, чем околдовала меня эта земля. Но уж точно не вулканами и не бездорожьем, хоть и в том, и в другом была своя привлекательность. Могучее дыхание океана и буйство субтропиков на южных островах, суровая красота северных скалистых бухт с их каменными,

указующими в небо перстами — кекурами, невыветрившийся дух дикой вольницы, оставшийся со времен первопроходцев, — все это настолько приворожило меня, что потускнели воспоминания об Урале, и принял я Дальний Восток, как свою вторую Родину.

Но у судьбы — свои причуды. Не думал, не гадал, что большую часть жизни отдам Москве. Нет, не скажу, что вновь очарован своим пристанищем, хоть и красот, и старины здесь немеряно. Не чувствую я себя привольно в мегаполисе, где скоро машин будет больше, чем людей, а растущие этажи домов совсем заслонили солнце.

И было б мне здесь совсем неудобно, если б не та самая изба под Рязанью, где спасаюсь от суеты и смога каждой весной. Здесь я нашел свою третью и, надеюсь, последнюю привязанность, или “присуху”, как здесь говорят. Но не стану называть этот “край березового ситца” своей третьей Родиной, как не может быть и второй. Только с годами пришло осознание того, сколь многолика и едина в этом многообразии моя Россия, моя единственная. И эти короткие записи о былом — как малая дань любви к ней, моей неоглядной Отчизне. Да простится мне столь высокопарный слог, но иначе сказать не могу.

ЮРИЙ БАСТРИКОВ

\* \* \*

Весна пришла хозяйкой бала,  
и с ней — надежды и мечты...  
Впрямь революция настала:  
морозец свергнут с пьедестала,  
сугроб — буржуй и обирала —  
совсем лишился капитала —  
запасов снега до отвала,  
роскошно лужа засверкала  
каймай из чудного опала...  
Порой снежок — простим нахала —  
на землю стелет покрывала,  
и солнце греет вполнекала,  
но все равно зиме — кранты...

Весна идет по белу свету,  
и с нею — кризис мировой...  
Кто тугодум — возьми газету,  
там разъясняет пакость эту  
спец по финансам и бюджету,  
семит, как видно по портрету,  
мол, просчитаем снова смету,  
и жизнь пойдет, как по паркету...  
Когда с умом проблемы нету,  
тут никакого нет секрету:  
ворьё обчистило планету,  
Россию — просто до скелету,  
и, как известно, не впервой...

Весну встречает, как варяга,  
людей недружная семья...  
Кому-то дача — хлеб и брага,  
кого-то кормит госшарага,  
хотя ее продукт — бумага,  
а чей-то дом родной — тюряга,  
тот мот, а этот жлоб и скряга...  
Теперь геройство и отвага  
нужны для собственного блага,  
о славе Родины и флага  
кто помнит? Чудик и бродяга —  
то бишь геолог-бедолага...  
Да, кстати: с праздником, друзья!

\* \* \*

Удивительная штука —  
россиянская наука:  
трепыхается, как щука  
    в реформаторской сети,  
но рыбешку поучает,  
видно, искренне считает,  
что рыбалкой управляет,  
    с рыбаком ей — по пути...

Вот геологов собрали  
из столиц и дальней дали,  
чтоб они пообсуждали —  
    где к урану есть мосты,  
это вправду интересно,  
но сказать вполне уместно:  
на мостах не будет тесно,  
    ведь геологам — кранты...

Нас осталось — единицы,  
мы — как редкостные птицы,  
в Красной книге две страницы  
    нам пора бы отвести,  
власти мы — одна обуза,  
банкам — рубликов от пуза,  
нам — как корку от арбуза,  
    мать их... Господи прости...

Мы с ураном разберемся,  
если скоро не загнемся,  
вот в столице соберемся  
    в представительном кругу,  
и... никто в научном чине  
по естественной причине  
о геологов кончине  
    не промолвит ни гу-гу...

*г. Москва*

## **ЮРИЙ ХРОМОВ**

### **СТИХИ ДРУЗЕЙ**

Стихи друзей, поэтов невеликих,  
Читаю чаще я, чем прочий гладкий стих,  
Ведь вижу за строфой живые лики,  
Я слышу их — умнейших и простых.

Их книжечки порой не толще пальца  
В простых обложках, малым тиражом,  
От чувств и мыслей пухнут и ершатся  
То грустью, то веселым куражом.

Я эти книжки подниму на полку,  
На верхнюю — над книжным стеллажом.  
Ребята всем еще “намылят холку”,  
Ведь мы еще творим, друзья, живем!

### НА “О”, НА “А”

Мы испОкОн нижегОрОдцы,  
Всегда вОрОчаем на “О”.  
Москвич порою посмеется,  
Услышав Оканье мОе:  
“ТопОр, кОрдОн, кОзел, кОлОда,  
КОнечно, и кОлОвОрОт”.  
Наш гОвОрок — мОтОр народа,  
РокОчет рОвно и не врет.

Москва на “А”, я помню с детства:  
“Казёл, кАнцерт, кАза, пАшла”...  
Столица — родина кокетства,  
Через века такой прошла.

Ну, что же, Окать или Акать,  
Одна страна, один народ,  
Шутить, трудиться, да не плакать...  
Подковырнуть? Аж сводит рот:  
— КАза, кАрова!  
ОбОрмОт!

*г. Нижний Новгород*

## МАРСЕЛЬ САЛИМОВ

### ЭТОТ ФАЛЬШИВЫЙ МИР\*

Крутом все сверкает и блестит, везде заграничные товары в красивых упаковках. Аж в глазах рябит. Казалось бы, радоваться надо и восторгаться, но — странное дело — меня прямо-таки тошнит от этого блеска. Голова кружится, давление скачет.

Пошел к врачу. А он вздыхает:

— Сейчас, — говорит, — многих тошнит. Болезнь такая, современная. — И выписывает лекарство, заграничное, дорогое.

Захожу в аптеку.

— А не фальшивка? — говорю. — В газетах ведь пишут, теперь в торговле шестьдесят процентов лекарств фальшивые.

— В газетах девяносто девять процентов неправды пишут, — парирует аптекарша. — Пресса у нас фальшивая!

И то сказать. Грамотно возражает эта тетя из аптеки. Зашёл в гастроном, взял бутылку. Думаю, если лекарство фальшивое, желудок спиртом промою. Во избежание летального исхода. По пути домой заглянул в парфюмерную. Смотрю, французские духи. Ишь ты, неужели настоящие?

— Почем? — спрашиваю.

---

\* Печатается в рамках проекта “Литературное содружество”.



— Недорого, — отвечает продавщица.

— Подделка, что ли?

— Да нет, имитация. Запах французский, вода — местная.

Дай, думаю, обрадую жену. Она вряд ли унюхает.

Но жена, оказывается, еще как разбирается. Флакон в форточку выкинула.

— Нужна, — говорит, — мне твоя фальшивка! Да и сам ты вообще-то фальшивый. Словом, прощай. Я уйду к бизнесмену Безменеву.

Оторопел я при этом известии. В голове не укладывается, что вся наша жизнь, оказывается, была фальшивой. Однако ничего не поделаешь. Чего только не бывает в этом лживом мире!

— Ну что ж, — говорю, — только сына оставь. Своего сына я тебе не отдам!

— Как хочешь. Если нужна тебе эта фальшивка, забирай!

— Как это фальшивка? — не понял я.

— А ты, — говорит, — прямо-таки заблуждаешься, если думаешь, что это твой сын.

Тоскливо мне стало от такого признания. До того тоскливо, все равно что олигарху в Сибири.

Выпил того лекарства, еще хуже на душе. На сердце — тоже. Хоть и упаковка красивая, и название заграничное. Но содержание, видимо, обычное — фальшивое.

Достал бутылку. Ну, думаю, если и водка “паленая”, тогда вообще хана. Но деваться некуда, надо как-то нервы успокоить. Пропустил стаканчик, и сразу на душе легче стало. И жена, и сын, и духи французские, и прочие фальшивки — ничего больше не волнует, не беспокоит. Слава Богу, хоть водка оказалась настоящей, русской!

Выхожу на улицу в приподнятом настроении. Как это и положено нашему брату, принявшему на грудь. Думаю, и зачем мне эта фальшивая жена, пусть катится куда подальше со своим бизнесменом. Думает, наверное, он настоящий. Настоящие давно уже за границей. Здесь — одна имитация. А я еще найду свою судьбу. Настоящую. Вон сколько женщин на улице! Все куда-то бегут, спешат, суетятся, видимо, тоже в надежде найти что-то настоящее. В этом насквозь фальшивом мире.

## МИССИЯ ТОЙ ПАССИИ

В восемьдесят лет старик Мухаметьян приехал в родную деревню. В честь юбилея председатель колхоза подарил ему землю.

— Вот тебе, бабай, пять гектаров за былые заслуги! — произнес он торжественно и смущенно добавил: — Больше дарить нечего. Кроме земли в колхозе ничего не осталось.

— Что я буду делать с этой землей? — недоумевал старик. — Ведь у меня свой участок есть, шесть соток.

— А ты почувствуй влекущий зов родной земли. Отец же у тебя кулаком был.

Увидев своими глазами заброшенные поля, Мухаметьян-бабай действительно почувствовал влекущий зов родной земли и не шутя взялся за дело. Загородный участок продал, взял кредит в банке, закупил элитные семена, удобрения, разные гербициды-пестициды и, естественно, собрал невиданный в последнее время урожай. Построил себе коттедж, склады, мастерские и всякие там амбары-ангары...

Видя такое дело, потянулись к нему на работу старики, потом и молодежь, и начал процветать вместо прежнего колхоза “Большевик” кооператив с несколько претенциозным названием “Кулак”. Это он — в честь своего отца, некогда раскулаченного.

Вскоре заявила к Мухаметьяну-эфенди местная красавица Гюльчатай.

— Секретаршей возьмете?

— У нас нет такой должности.

— Тогда пассией.

— А это что такое?

— Ну, дед, ты и тупой, хоть и богатый. Нынче у любого крутого есть своя пассия для вдохновения. Вроде как юная красавица-немка вдохновляла восьмидесятилетнего Гёте на стихосложение.

— Да я стихов никогда не слагал и не читал, — засмутился Мухаметьян-эфенди. — Читал лишь резолюции партконференций да исторические решения очередного съезда.

— Экие ты времена вспомнил, дед. Нынче кроме интернета и иномарки ничего такого не полагается, — засмеялась красавица и так выразительно крутнула бедрами, что Мухаметьян-бабай невольно почувствовал себя если не крутым с иномаркой, то лихим джигитом, объезжающим необъезженных лошадей.

И не дождавшись даже посевной, укатил наш бабай со своей пассией на Канары. Оказывается, при нынешней крутизне так полагается. Иначе никакого уважения не будет. Со стороны нынешней молодежи.

Завоевав уважение нынешней молодежи, вернулся домой... и что он видит: поля заросли сорняком, амбары-ангары разрушены, коттедж разграблен, а во дворе пьяный управляющий валяется.

Разбудил его хозяин и кричит:

— Что ты наделал?!

— Н... н... не я это, — от страха заикается управляющий. — Это н... н... народ... Увидели, что хозяин уехал, и раскулачили.

Закручинился раскулаченный бабай от подобного оборота дела, потянулся к своей пассии за утешением, а ее и след простыл. Опять она на юг улетела. Вместе с очередным, еще не раскулаченным хозяином.

А Мухаметьян-бабай по стопам отца на север подался — в те края, где сейчас олигарх Ходорковский книги сочиняет. И у него появилось желание что-нибудь эдакое написать. Это, может быть, и к лучшему. Ведь у нас гораздо безопаснее книги строчить, чем заниматься разной там политикой или экономикой.

*г. Уфа*

## СЕРГЕЙ КАШИРИН

### ТОЧУ ТОПОР

Благодарю столицу! —  
Мудра качать права:  
Газ русский — за границу,  
Мне, русскому, — дрова.

Охота ль, неохота,  
Работа — не игра  
Тяжелого до пота  
Трудяги-топора.

К чертям собачьим — куртку,  
Ладонью — пот со лба,  
И р-раз! — за чуркой чурку  
С размаху — “на попа”!

Вдруг свыше — треволнение,  
Аж ахнул мой топор:  
Лес — не для населения,  
Лес — тоже за бугор!

А мне?.. А мне — отходы,  
Хоть сдохни к декабрю...  
— Спасибо за заботы! —  
Сквозь зубы говорю.

От туч низковисящих  
Мрачнеет небосвод.  
Хохочет телеящик,  
А я — наоборот.

Не то чтоб притомился,  
Не то чтоб нечем крыть,  
Да вот — подзатупился  
Топор — пора точить.

О времени гримасы!  
Ну до каких же пор?!  
...Госдума точит лясы,  
А я точу топор.

*г. Гдов*

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## “ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

### Глава 16. Керженский дух

Сочиняя свою передовицу к “Скифам”, Иванов-Разумник, очевидно, держал в уме слова Иннокентия Анненского: “В нас еще слишком много степи, скифской любви к простору. Только на скифскую душу наслоилась тоже давняя византийская буколика с ее вертоградями, пастырями, богородицыными слезками и золочеными заставками”.

И Разумник формулирует принципиальное одиночество “скифов” — до Февраля и после, когда, казалось, “наше время настало”... “Но прошли дни — и немного дней — и... рассеялось марево этой всеобщности порыва... Снова на трибунах и на газетных столбцах уверенно заговорили... разумные, слишком разумные политики “Справедливости”... Как раньше, и больше, чем раньше, они не хотят нашей Правды... Мы снова чувствуем себя скифами, затерянными в чужой нам толпе, отслоненными от родного простора”.

Наступил Октябрь — и “скифы” снова почувствовали себя в своей стихии. По существу их мироощущение было религиозно-катастрофическим. Радость от грядущего перестроения всего бытия соседствовала с воспеванием первобытного хаоса. Но говорить о каком бы то ни было единстве взглядов не приходилось.

Из письма Иванова-Разумника Андрею Белому:

“Партии — омерзительны; фракционные раздоры и диктатура одного человека, искреннего, но недалекого, — погубили революцию. Теперь такие же люди хотят вывести из тупика — и все дальше и дальше заходят в него. Вожди “большевистские” — все то же самое политическое болото; но масса большевистская — лучшие и самоотверженнейшие люди. Я с ними провел все дни “октябрьской революции” — с 26 по 28 октября я был безвыходно в Смольном; потом через два-три в Царском массажи были кронштадцы и красногвардейцы. Как горевал я, что Вы уехали — особенно когда узнал, что творится в Москве...”

Сегодня утром я послал Вам заказную бандероль — корректуру “Котика Летаева”, об этом речь идет на следующем листе; я завернул ее в газету “Знамя Труда” от 28 окт(ября), где есть моя статья “Свое лицо”. Прочтите ее, чтобы стало ясно, почему я не с Лениным, но и не с теми, кто хочет обрушить громы на его голову...

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6 за 2010 год.

Посылаю Вам сегодня в этом письме поэму Есенина “Пришествие”, посвященную Вам. Как Вы думаете, если поместить ее в 3-ем “Скифе”? В ней есть чудесные места, некоторые я твержу уже несколько дней. И снова революция, как Крестный путь, как Голгофа... Растет мальчик (и откуда что берется); пройдя через большие страдания, быть может, и до Клюева дорастет. Кое в чем он уже теперь равен ему...

Ремизов – “Слово о гибели Русской Земли” – вещь совершенно удивительная по силе, и глубоко мне по духу враждебная. О ней – статья моя “Две России”, непосредственно за ней следующая... Мое мнение – именно в “Скифах” надо напечатать то великолепное “Слово”, глубоко *реакционное* не по внешности, а по глубокой внутренней сущности. З. Н. Гиппиус отказалась напечатать это “Слово” в предполагавшейся Савинковской газете, заявляя, что “Слово” это “слишком черносотенно”...

А III “Скиф” необходимо вместе составить в Царском Селе, в декабре! Жду...” (9 ноября 1917 года).

3-й сборник “Скифы” так и не вышел. А во втором Разумник вместе со стихами Есенина, Клюева, Ганина и Орешина дал две свои статьи – “Две России” и “Поэты и революция”, а также восторженную статью Белого “Песнь Солнца” о клюевской поэме (в письме Разумнику от 4 января 1918 года Белый писал: “*Песнь Солнца*” одинаково нам обоим дорога. Н. А. Клюев... все более и более, как явление единственное, нужное, необходимое, меня волнует: ведь он – единственный народный Гений (я не пугаюсь этого слова и готов его поддерживать всеми доводами внешнего убеждения”).

“Две России” – это Россия Ремизова, противостоящая России Клюева и Есенина. И как же, в представлении Разумника, предстает “новая Россия”?

“Святая Русь” Ремизова, исконного “старовера”, лежит “об-он-пол” петровской революции, ибо лежит по ту сторону *всякой* революции. Но все-таки понимает ли он, что в своей революции Петр был в тысячи и тысячи раз более взыскующим Града Нового, чем девяносто из сотни староверов, сожигавших себя в срубах во имя “Святой Руси”?..

Два подлинных народных поэта противостоят Ремизову и присным его – и сталкиваются две России, два мира, две революции. Клюев и Есенин – каждый из них подлинно “от самых недр” России, от самых недр “Святой Руси”. Но их “Святая Русь” – не позади, а впереди; все старое до крупинки приняли они в свои души, “Рублевская Русь” дорога им не меньше, чем Ремизову, но впереди видят новое Солнце они, подлинно народные поэты. И не прогибают они, а благословляют, не приходят в отчаяние, а верят в будущее, не Ангела Зла видят в мировой революции, а Мессию грядущего дня, не ужас бессмыслицы видят вокруг, а трагедию Голгофы...

Народ-грабитель и насильник? – “воскрешенный Иисус”? Нет, не народ-грабитель, а народ-освободитель, не народ убивающий, а народ умирающий. И поистине слеп тот, кто не видит вокруг себя этого, кто не видит вокруг себя подвига и жертвы. Отвратительны на верхах политические партии, губящие революцию дрязгами, духовным грабежом народных ценностей, омерзительна в низах темная, веками вскормленная злоба, но разве злобы этой не вдесятеро больше на верхах? И разве непонятно, что *народ* в целом – ни тут, ни там, что не может душа народная быть сопричтена к разбойникам и убийцам! Пусть эту хулу на духа произносят с лютой злостью на одной стороне пропасти – не поколеблет она того, что мы видим своими глазами. Видим мы и грабеж, и насилие, и душевное падение, но видим и жертву, и подвиг, и душевное горение – видим и то и другое *на обеих сторонах* пропасти, разделившей на два стана Россию. Велика наша скорбь, негодование наше – о падении; велика наша радость, ликование наше – о горении человеческой души...

И все это – чувствуют, все это – осязают народные поэты. Радостна для них народная свобода, праведен для них народный гнев... Ибо гнев этот – начало свободы...”

И далее Разумник восторженно цитировал клюевские “Песнь Солнца” и “Красную песню”, есенинские “Пришествие” и “Отчарь” – как некий единый гимн “всемирной грядущей революции”...

Через несколько дней после выхода “Скифов” критик получил гневное есенинское послание:

“Дорогой Разумник Васильевич!

Уж очень мне понравилась с прибавлением не клюевская “Песнь Солнценосца” и хвалебные оды ей с бездарной “Красной песней”.

Штемпель Ваш “первый глубинный народный поэт”, который Вы приложили к Ключеву из достижений его “Песнь Солнценосца”, обязывает меня не появляться в третьих “Скифах”. Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышинный писк...

Клюев, за исключением “Избятных песен”, которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше его знаю, чем Вы, и знаю, что заставило написать его “прекраснейшему” и “белый свет Сережа, с Китоврасом схожий”.

То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся.

“Я ярвчатый стих”

и

“Приложитесь ко мне, братья”

противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтоб сдвинуть не только государя с Николая на овин, а...

Но об этом в печати говорить не принято, и я оставляю это для “лицезрения в печати”, кажется, Андрей Белый ждет уже...

В моем посвящении Ключеву я назвал его *средним* братом из чисел 109, 34 и 22. Значение среднего в “Коньке-горбунке”, да и во всех почти русских сказках —

“так и сяк”.

Поэтому я и сказал: “Он весь в резьбе молвы”, — то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель.

А я “сшибаю камнем месяца”, и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает.

Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценосца и моим “созвучно вторит”, а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклеивается из сердца самого себя птенцом...

“Числа 109, 34 и 22” — возраст Кольцова, Ключева и Есенина на 1917 год, на момент написания стихотворения “О Русь, взмахни крылами...” “Созвучно вторит” — слова из злополучной разумниковской статьи “Две России”, которая не пришлась Есенину по душе поистине “не из ущемления” клюевским “первенством”.

Самому Ключеву разумниковские слова, что Петр был более “взыскующим Града Нового”, чем старoverы, сжигавшие себя в срубках, должны были стать поперек горла... В “Песни Солнценосца” оживает вся мировая архаика — от Назарета до Садко, которому Ключев и вкладывает в уста слова: “Я — песноводный жених, русский ярвчатый стих”. Это поэтическое воплощение мечты Николая Федорова о всенародном, всеславянском храме, ибо “славянскому племени принадлежит раскрытие мысли о всеобщем соединении и приятие ея как руководства, как плана, проекта деятельности, жизни”, поскольку — **нет вражды вечной, устранение же вражды временной составляет нашу задачу**. России остается на выбор: 1) или примирить Европу и Азию, Запад и Восток (ближний и дальний) и примирить не теоретически только, как это сделал Константинополь, но и практически, устраняя причины к раздору; 2) или же самой разложиться на Азию и Европу. Даже и замечено уже было, что народ в России уйдет в раскол, а верхние слои обратятся в католическое суеверие или в протестантское неверие”.

В “Песни Солнценосца” свершается даже не примирение — соединение, и — не только сторон света, но Бездны с Zenитом.

У Есенина же, после “Преображения”, где россияне — “ловцы вселенной” — старая вселенная в “Инонии” рушится и исчезает без следа. Может быть, он вспоминал читанное ему некогда Ключевым:

*Наша земля — голова великана,  
Мы же — зверушки в трущобах волос,  
Горы — короста, лишай — океаны,  
В вечность уходит хозяина нос.*

*В перхоть мы прячем червивые гробы,  
Костные скрепы сверлом берем.  
Сбудется притча: Титан огнелобый  
Нам погрозится перстом громовым.*

*Коготь державный косицы почешет —  
Хрустнут Европа, безбрежный Китай...  
В гибели внуков ничто не утешит  
Светлого Деда, взрастившего рай.*

И о каком “храме”, о каком воскрешении архаики, о каком, недавно же-  
лаемом новом пришествии Христа может идти речь, когда “иное пришествие,  
где не пляшет над правдой смерть”, несет с собой вселенскую катастрофу,  
совершаемую с участием самого поэта, что сам становится подобием — нет,  
не “огнелобого Титана”, а карающего архангела.

*Я сегодня рукой упруго  
Готов повернуть весь мир...  
Грозовой расплескались вьюгою  
От плечей моих восемь крыл.  
.....  
До Египта раскорячу ноги,  
Раскую с вас подковы мук...  
В оба полюса снежнорогие  
Вопьюся клещами рук.  
Коленом придавлю экватор  
И, под бури и вихря плач,  
Пополам нашу землю-матерь  
Разломлю, как золотой калач.  
И в провал, осененный бездною,  
Чтобы мир весь слышал тот треск,  
Я главу свою власозвездную  
Просуну, как солнечный блеск.  
И четыре солнца из облачья,  
Как четыре бочки с горы,  
Золотые рассыпав обручи,  
Скатясь, всколыхнут миры.*

Это уже не “светлый гость” “Преображения”, что сходит на землю “из рас-  
пятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь”... Создается новое мирозда-  
ние после наступившего апокалипсиса — и в этом мироздании нет места ни  
распятию, ни воскресению, ни евхаристии, ни причастию. “Связь со старым  
миром порвана”, — объяснял Есенин. Не с миром — со старым мирозданием.  
В есенинской “Инонии” то, что было кощунством в старой системе коорди-  
нат — уже не кощунство. “Тело, Христово тело выплевываю изо рта... Даже  
Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов... Языком вылижу на иконах я  
лики мучеников и святых... Проклинаю тебя я, Радонеж, твои пятки и все сле-  
ды!.. Ныне ж бури воловым голосом я кричу, сняв с Христа штаны...” Эти  
всесокрушающие удары в сакральные точки православного мировоззрения  
объяснимы при обращении к пророку Иеремии, которому посвящена “Ино-  
ния”: “Так говорит Господь: вот, идет народ от страны северной, и народ ве-  
ликий поднимается от краев земли; держат в руках лук и копье; они жестоки  
и немилосердны, голос их шумит, как море; и несутся на конях, выстроены.  
Как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона...” “Дочь Сиона” по-  
жрана катаклизмом, вызванным не всадниками, а новым “пророком — Есени-  
ным Сергеем”... Нет ни Московии, ни Америки, “ибо прежние небо и пре-  
жние земля миновали” — и когда на очищенной новой земле рождается “Ино-  
ния с золотыми шапками гор” — заново звучит с “золотых шапок”: “Радуйся,  
Сионе... Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволе-  
ние...” Обретение после отречения — словно отвечает эта “песня с гор” клю-  
евскому Садко “Песни Солнценосца”.

3 января 1918 года Есенин навестил Блока. В этот день Блок делает примечательную запись: “На улицах плакаты: все на улицу 5 января (под расстрел?)” Да, именно под расстрел пошли немногочисленные защитники разогнанного Учредительного собрания. “К вечеру – ураган (неизменный спутник переворотов). – Весь вечер у меня Есенин”.

Есенин читал еще не законченную “Инонию”. Блок подмечал в его внешнем облике проявившееся сходство с Андреем Белым (тот заражал своей порывистой манерой разговора – и Есенин на какое-то время перенял ее). Внимательно слушал, потом задавал вопросы. Есенин – объяснял.

– Я не кощунствую. Я не хочу страдания, смирения, сораспятия.

Последнее слово возвращало к “Посланию к Галатам” святого апостола Павла, часто цитируемому Клюевым: “Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но во мне живет Христос”.

– Вы – западник, – бросал Есенин Блоку. – Но между нами нет щита, я его не чувствую. И революция должна снять все щиты.

Цепляя на себя клюевскую маску – называясь выходцем из богатой старообрядческой семьи (что не имело никакого отношения к реальности) – связывал старообрядчество с хлыстовством и тут же резко отстранялся от Клюева.

“Клюев – черносотенный (как Ремизов), – записал Блок есенинские слова. – Это не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово – не предмет и не дерево; это – другая природа: тут общими силами выяснили”.

Это “черносотенный” парадоксально совпало с Гиппиусихиной характеристикой Ремизова, но Есенин вкладывал в слово, естественно, иной смысл. Не о политической реакционности шла речь, а, если угодно, о поэтической. То бишь духовной и смысловой (не только формальной). Это был и камушек в огород Разумника, для которого Ремизов – реакционер, а Клюев – солнценосец.

Блок, конечно, читал разумниковские “Две России”. Следы этого чтения прослеживаются отчетливо.

Пафос статьи Разумника, влияние есенинского чтения и долгой беседы с младшим собратом, что лишь недавно (трех лет не прошло!) приходил к Блоку, дрожа от волнения, – все отложилось в строках написанной через несколько дней “Интеллигенции и революции”.

“Дело художника, *обязанность* художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит “разорванный ветром воздух”.

Что же задумано?

*Переделать все.* Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью... Меньшее, более умеренное, более низменное – называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется *революцией*”.

И далее размышляет об этом Блок в унисон не только с есенинской “Инонией”, но и клюевской “Песнью Солнценосца”.

“Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невинными недостойных; но – это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот, все равно, всегда – *о великом*.”

Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет – гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны – теплый ветер и нежный запах альпийских роз; увлажнит спаленные солнцем степи юга – прохладным северным дождем.

“Мир и братство народов” – вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать”.

“Двенадцать” и стали таким напряженным трагическим вслушиванием в происходящее. И если Разумник писал о “темной веками вскормленной злобе” в низах и задавался вопросом – не больше ли ее в верхах, то для Блока природа этой злобы составляла еще больший вопрос:



*Черная злоба?  
Святая злоба?*

Слабую попытку ответа обрывает патруль:

*Товарищ, гляди  
В оба!*

И, наконец, главный вопрос, задаваемый Разумником с привлечением клюевской строки: “Народ, грабитель и насильник, — “воскрешенный Иисус”?. Не может душа народная быть сопричтена к разбойникам и убийцам” при том, что “видим мы и грабеж и насилие”... Блок трезво и безжалостно пишет в “Двенадцати” и грабеж, и насилие. “В зубах — сигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз... Свобода! Свобода! Эх, эх, без креста!” Любой, взявший газетный лист с поэмой, увидел бы в этих строках забубенных каторжников. А тот же Клюев прочел бы их другими глазами — ибо “бубновые тузы” на спинах по указу Петра I почти весь XVIII век носили староверы, и только Екатерина II отменила сие императорское распоряжение... А Христос? Он — в снежной дымке, в воздухе, неуязвимый для пуль, выпущенных в него новыми “апостолами”... Вопреки финалу есенинского “Товарища”, где “пал сраженный пулей младенец Иисус”, сошедший с иконы, и которому “больше нет Воскресенья”... А у Блока — “нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди — Иисус Христос”. И этот образ — совсем уже из иного источника.

“Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина: оба они провели в тюрьме долгие годы; и первый — единственный христианский поэт после Данте, а второй — человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России”.

Так писал Оскар Уайльд в своей тюремной исповеди — “De Profundis”.

Несколько нитей завязывают этот непростой узел. В первую очередь в тексте поэмы бросается в глаза староверческое написание — “Иисус” — “белоснежного Христа”, кажется, впрямую заимствованного у Уайльда. Но здесь же возникает анархист князь Кропоткин, от которого по ассоциации тянется нить к другому прославленному анархисту — Михаилу Бакунину, — о нем Блок написал отдельную статью сразу после первой русской революции. О нем, о котором, по словам поэта, “можно писать сказку”.

“Искать Бога и отрицать его; быть отчаянным “нигилистом” и верить в свою деятельность так, как верили, вероятно, Александр Македонский или Наполеон; презирать все устоявшиеся порядки, начиная от государственного строя и общественных укладов и кончая крышей собственного жилища, пищей, одеждой, сном, — все это было для Бакунина не словом, а делом... Можно ли брать с Бакунина пример для жизни? Конечно, нет. Нет, по тому одному, что такие люди только родятся. Такая необычная последовательность и гармония противоречий не даются никакими упражнениями... Займем огня у Бакунина! Только в огне расплавится скорбь, только молнией разрешится буря...”

Буря разрешается на глазах у поэта... Но при чем здесь, мнится, Бакунин? Люто враждовавший с Марксом, он в свое время отмечал, что “марксисты должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую... Они должны отвергать крестьянскую революцию уже по одному тому, что эта революция специально славянская”. Но самое главное — ни мимо Блока, ни мимо “скифов” не могли пройти слова Николая Бердяева в статье “Интернационал и единое человечество”, напечатанной в “Русской свободе” в мае 1917-го:

“... У Бакунина была идея русского революционного мессианства...”

“Большевизм” г. Ленина есть крайнее выражение этой идеи. В Григории Распутине нашла себе выражение черная хлыстовская идея. В г. Ленине и кружащихся вокруг него ярко выражена красная хлыстовская стихия... В лениновском большевизме идея... утверждается в исступленной ненависти и раздоре, в обречении на гибель большей части человечества...”

Запомним эти слова: “красная хлыстовская стихия”. Ничуть не меньшие враги Ленина, чем Бердяев, оценивали происходящее в более точных категориях.

Так, Влас Дорошевич в одном из фельетонов, напечатанных в июле 1917 года, так характеризовал Ильича:

“Ленин — это легенда семнадцатого века, капризами взвинченной фантазии перенесенная в двадцатый”.

А уже в эмиграции высланный Лениным за границу Георгий Федотов оценивал вождя в еще более глобальном контексте:

“Их (большевиков. — **С. К.**) почвой была созданная Лениным железная партия. Создание этой партии было... свидетельством о каких-то огромных — пожалуй, даже **допетровских** (выделено мной. — **С. К.**) — социальных возможностях. Вся страстная, за столетие скопившаяся политическая ненависть была сконцентрирована в один ударный механизм, бьющий... с нечеловеческой силой”.

Партия, вдохновляемая антирусской идеологией, аккумулировала силу, вдохновляемую извечной русской мечтой о земной справедливости. По сути, в революции 1917 года сложились несколько революционных потоков, не просто противоречащих, а откровенно враждебных друг другу. В этом и заключается загадка последующего мощного и трагического пути России в XX столетии.

Религиозный пафос революции был подавляющим. Он сказывался во всем — в быту, в творчестве рабочих и крестьянских поэтов, в самом всеохватывающем революционном энтузиазме. Читая прессу тех лет, приходишь к неумолимому выводу: без религиозной составляющей революция была бы обречена. Это при том, что верхушка революционных вождей — закоренелых атеистов (а среди них были и чистые сатанисты вроде Якова Свердловла) — ненавидела православие лютой ненавистью.

И еще один вывод напрашивается со всей очевидностью. В своем духовном, мировоззренческом диалоге, во взаимопрियाтии и взаимоотрицании, точнее Блока, Клюева и Есенина никто, пожалуй, в те дни не проникал в суть свершающегося. Нам, неблагодарным потомкам, восхищающимся их стихами, должно быть страшно за предание забвению их заветов и прозрений, их жестоких уроков — нам, легко поверившим в то, что не было *революции*, а был всего лишь *переворот*, нам, смирившимся с жизнью, покрытой буржуазной ряской. Когда настанет черед возмездия за это — не следует посыпать голову пеплом.

\* \* \*

16 февраля Иванов-Разумник писал Андрею Белому:

“Постоянно приходится встречаться и чувствовать духовную связь свою с самыми разными людьми. Блок и Лундберг, Есенин и Сюнненберг, Чапыгин и (судя по стихам и письмам) Клюев — люди разных кругов, разных вер, разных верований. Чувствую, что жутко было бы одному остаться лицом к лицу со всем вражеским станом; но чувствую и другое — что и тогда бы, один, не перестал бы я делать и говорить то, что делаю и говорю. Как радостно, что Вы, что Блок — на этой же стороне пропасти!”

Но даже Блок с Белым не были “на одной стороне пропасти”. В ответном письме Белый восхищался блоковскими “Скифами”, а о “Двенадцати” писал: “С ними я не согласен”.

“Скифская рать” разбрелась в разные стороны, каждый пошел своей дорогой, — остались памятником этому кратковременному содружеству два сборника, на страницах которых сошлись в горячем порыве прियाтия и отрицания революции — народ и интеллигенция.

А Клюев... Клюев поддерживает эпистолярное общение с Виктором Миролюбовым, присылает ему стихи и, конечно, знает из писем своего адресата о гневных словах Есенина (тот свое письмо писал в присутствии Миролюбова). Для Клюева, пребывавшего в крайней бедности и в очень тяжелом физическом и душевном состоянии (очевидно, у него был приступ цинги), это известие стало лишней щепоткой соли на раны, чем и объясняется горечь его тона в послании.

“Присылаю Вам, дорогой Виктор Сергеевич, три стихотворения под общим названием “Республика”. Не знаю, как они сложены, но по чувству истинны и необлжны. Если Вы найдете достойным напечатать их в “Ежем(есячном) журнале”, то вышлите за них и деньги кряду же по получении, как Вы

обещали в письме за стихотворение “Уму республика”, причем и за это последнее стихотворение уплатить заодно. Мне стыдно с вами говорить так, но я очень нуждаюсь. Мука ржаная у нас 50 руб. и 80 руб. пуд. Есть нечего и взять негде. Сам я очень слаб и болен, вся голова в коросте, шатаются зубы и гноятся десны, на ногах язвы, так что нельзя обуть валенки, в коросте лоб и щеки, так что опасно и глазам. Я очень и очень удручен, ни за что придется пропадать. Хотя при пролетарской культуре такие люди, как я, и должны погибнуть, но все-таки не думалось, что погибель будет так ужасна, — ведь у меня столько друзей с братьями, которым стоило бы один раз в неделю не сходить в “Привал комедиантов” или к любовнице, и я был бы сыт в моей болезни. Вот Есенин — так молодец, не делал губ бантиком, как я, а продался за уголь и хлеб, и будет цел и из него выйдет победителем — плюнув всем “братьям” в ясные очи”.

Судя по тону и содержанию — Клюев уже не сдерживался, может быть, и понимая в глубине души, что никому Есенин не “продавался”, но получить удар от своего “жавороночка” — ни с чем не сравнимая боль... И все же — проходит немного времени, Иванов-Разумник умасливает “Сереженьку”, объясняя ему — насколько тот не прав в оценке клюевских революционных гимнов. И Есенин оттаивает. Уже следующее стихотворение, где он воспевает “щедрость наставников моих”, где “звездой нам пел в тумане разумниковский лик” и “апостол нежный Клюев нас на руках носил” — говорит о том, что добро не забыто, даром что “теперь мы стали зрелей и весом тяжелей”... Уже написана статья “Отчее слово” о “Котике Летаеве” Белого, где финал “Песни Солнценосца” цитируется в абсолютно доброжелательном контексте. Наконец, в феврале выходит тот самый коллективный сборник, о котором Есенин писал Ширяевцу — “Красный звон” с циклом поэм Есенина “Стихослов”, с подборками стихов Клюева, Ширяевца и Орешина. Уже известная нам Зоя Бухарова под характерным псевдонимом “Фома Верный” писала в “Знамени труда”: “Красный звон” должен найти самое широкое сочувствие и распространение. Будем бережно хранить его свежие, дорогие страницы от всяких темных, лукавых покушений. Будем отдыхать на них от мелочно-обывательской, жалко-трусливой болтовни. И несленными, благоуханными, невредимыми донесем эти скрижали Великой Русской Революции — до наших потомков, не удостоившихся быть благоговейными очевидцами грозного, но прекрасного мирового переворота”.

Посодействовал заочному примирению и Миролюбов, о чем известил Клюева, а Николай откликнулся сердечным письмом, где, что характерно, обозначил свою “третью правду”, свой путь в революционном взбаламученном море.

“Я не большевик и не левый революционер, дорогой Виктор Сергеевич. Тоска моя об Опоньском царстве, что на Белых Водах, о древе, под которым ждет меня мой царь и брат. Благодарение Вам за добрые слова обо мне перед Сержей, так сладостно, что мое тайное благословение, моя жажда все отдать, переселить свой дух в него, перелить в него все свои песни, вручить все свои ключи (так тяжки иногда они, и Единственный может взять их) находят отклик в других людях. Я очень болен и если не погибну, то лишь по молитвам избяной Руси и, быть может, ради “прекраснейшего из сынов крещеного царства”.

Есенин в это время работал над одним из первых вариантов “Ключей Марии” — название еще не родилось, но было уже подсказано клюевским письмом, прочитанным у Миролюбова. Трактат о поэзии, писавшийся под явным влиянием бесед с Клюевым и Белым об орнаменте и в послупудной полемике с “Жезлом Аарона”, получил имя с соответствующим примечанием: “Мария” на языке хлыстов шелапутского толка означает “душу”. При очевидной для посвященных отсылке к Клюеву, к его знанию этого потаенного мира, высвечивается и еще один смысл: Мария, не хлопотавшая, в отличие от Марфы, а благоговейно внимавшая Христу. И как примеры высшей поэзии на первых страницах приводились стихи Клюева из цикла “Земля и железо”.

\* \* \*

Россия перешла на григорианский календарь. Был принят закон о социализации земли. Ликвидирован Святейший Синод. Наконец, Россия объявила себя вышедшей из войны, был отдан приказ “о полной демобилизации по всему фронту”.

Церковь лишалась прав юридического лица и всего имущества. В знак протеста в провинции прошли крестные ходы, некоторые из которых были расстреляны.

18 февраля немцы прекратили перемирие с Советской Россией и начали наступление на Псков и Нарву.

А через 2 дня на фоне немецкого наступления и непрекращающихся антибольшевистских выступлений в Петрограде Совнарком принял решение о переезде и переносе столицы в Москву.

Еще через 2 дня в Петрограде вводится военное положение. Немцы занимают Псков. Заключается похабный (без всяких кавычек!), но, увы, жизненно необходимый мир в Брест-Литовске. Россия практически превращается в протекторат Германии.

А в Мурманск прибывает английский крейсер “Глория” по договору с Исполкомом Мурманского совета для обеспечения безопасности города и отражения немцев на севере. В Архангельске с той же целью высаживаются французские и американские части. Начинается, по сути, ползучая оккупация страны.

10 марта советское правительство переезжает в Москву. Петербургскому периоду российской истории приходит конец.

И в это время Клюев, при получении последнего известия, пишет одно из самых своих поразительных стихотворений.

То, до чего додумались Бердяев, Дорошевич, Федотов – Клюеву было ясно изначально, но последним шагом Ленина, вдохновившим поэта – стал именно переезд в Москву. Статуса столицы лишалось детище Петра-антихриста, начинался заново московский период русской истории, прерванный 300 лет назад.

*Есть в Ленине керженский дух,  
Игуменский окрик в декретах,  
Как будто истоки разрух  
Он ищет в “Поморских ответах”.*

*Мужицкая ныне земля,  
И церковь — не наймит казенный,  
Народный испод шевеля,  
Несется глагол краснозвонный.*

*Нам красная молвь по уму:  
В ней пламя, цветенье сафьяна, —  
То черной неволи басму  
Попрала стопа Иоанна.*

*Борис — златоордный мурза,  
Трезвонит Иваном Великим,  
А Лениным — вихрь и гроза  
Причислены к ангельским ликам.*

Честно говоря, когда сплошь и рядом приходится читать о лукавости, расчетливости и гибкости Клюева, который умел “прилаживаться”, — возникает единственный вопрос: о ком речь? “Прилаживаться”, да, впрочем, весьма двусмысленно, он научится позже. А эти стихи — не носят в себе ни малейшего признака лицемерия. Так, “подлаживаясь”, не пишут. И не стоит забывать о цене, которую при вполне реальной перемене ситуации пришлось бы заплатить за эти величальные строки.

Поразительно, что это первое стихотворение в советской поэзии, посвященное Ленину, не несет на себе никаких признаков самообмана. Клюев трезв и точен. Он разговаривает с Лениным, как “посвященный от народа”, как “потомок лапландского князя, Калевалов волхвующий внук”. Он видит в Ленине то, что видела в нем забитая, замордованная черносошная Россия, которая впервые за столетия услышала: “Это — твоя страна”. Он слышит в речах Ленина то, что слышали его братья-староверы, которых Ульянов — еще не глава государства — с восторгом и интересом слушал и советовал своим со-

ратникам использовать в борьбе против самодержавия. “Красная молвь” словно входит в эти стихи с древней иконы “Спаса в Силах”, а “вихрь и гроза”, причисленные к “ангельским ликам”, отсылают к многожды читанному и известному наизусть Апокалипсису. Но...

Но — куда деть три столетия блестящего петербургского периода, когда все живущие поколения памятью и родословной принадлежат ему кровно?

*Есть в Смольном потемки трущоб  
И привкус хвои с костяникой,  
Там нищий колодовый гроб  
С останками Руси великой.*

*“Куда схоронить мертвеца”, —  
Толкует удалых ватага...  
Поземкой пылит с Коневца,  
И плещется взморье-баклага.*

*Спросить бы у тучки, у звезд,  
У зорь, что румянят ракиты...  
Зловещ и пустынен погост,  
Где царские бармы зарыты.*

*Их ворон-судьба стережет  
В глухих преисподних могилах...  
О чем же тоскует народ  
В напевах татарско-унылых?*

“Татарско-унылые напевы” возвращают к “златоордному мурзе” — ибо других напевов у живших под Романовыми, как под золотой Ордой, пока еще нет... И живы еще Николай, Александра, их дочери и сын... Но Клюев уже зрит все наперед.

А хоронить... Хоронить ненавистную романовщину он готов вместе со всеми.

*Пусть черен дым кровавых мятежей  
И рыщет оторопь во мраке, —  
Уж отточены миллионы ножей  
На вас, гробовые вурдалаки!*

.....  
*Керенками вымощенный проселок —  
Ваш лукавый искариотский путь.  
Христос отдохнет от терновых иголок,  
И легко вздохнет народная грудь.*

*Сгинут кровосмесители, проститутки,  
Церковные кружки и барский шик,  
Будут ангелы срывать незабудки  
С луговин, где был лагерь пик.*

“Кровосмесители” и “церковные кружки” явственно напоминают о “Башне” Вячеслава Иванова, сожительствовавшего с падчерицей, и о “Религиозно-философских собраниях”, суть которых беспощадно обнажил Блок. Но главное — дальше, а дальше — призыв “русским юношам, девушкам”:

*В львиную красную веру креститесь,  
В гибели славьте невесту-Россию!*

Так впервые в “революционном” цикле появляется образ льва. На колоннах “Львиной капители” в долине Ганга львы, спящие с полуразверстыми лапами, символизируют Север. Но неизбежно возвращение еще к одному смыслу — к смыслу подвига мучеников-христиан, травимых львами в римском Колизее. Те — славили Христа. Этим — новым мученикам — славить “невесту-Россию”... И отвечать злом на зло, презрев христианскую заповедь:

*Жильцы гробов, проснитесь! Близок Страшный суд  
И Ангел-истребитель стоит у порога!  
Ваши черные белогвардейцы умрут  
За оплевание Красного Бога.*

.....  
*За то, что гвоздиные раны России  
Они посыпают толченым стеклом.  
Шипят по соборам кутейные зми,  
Молясь шепотком за Романовский дом,*

*За то, чтобы снова чумазый Распутин  
Плясал на иконах и в чашу плевал...*

Ясно, что это не Распутин, никогда в жизни не плясавший на иконах, а его отложившаяся в памяти газетная карикатура... Но вспомним бердяевское противопоставление “распутинской черной хлыстовской идеи” и ленинской “красной хлыстовской стихии”... Русский обыватель, читая подобное, мог бы только, перекрестившись, произнести про себя: “Хрен редьки не слаще”... Но Клюеву “красное хлыстовство” – слаще. И еще как слаще!

*Хвала пулемету, несытому кровью  
Битюжьей породы, батистовых туш!..  
Трубят серафимы над буйною новью,  
Где зреет посев струннопламенных душ.*

От такого многим станет не по себе... Клюев, словно ангел мести, призывает к умерщвлению “битюжьей породы”, дабы на месте, пропитанном кровью, вызрел новый посев под серафимовы трубы. Он уже ощущает себя “право имеющим”, проповедником от новой земли, парадоксально перекликаясь с “пророком Есениным Сергеем”.

*Я — посвященный от народа,  
На мне великая печать,  
И на чело свое природа  
Мою прияла благодать.*

.....  
*Пусть кладенечные изломы  
Врагов, как молния, разят, —  
Есть на Руси живые дремы —  
Невозмутимый светлый сад.*

*Он в вербной слезке, в думе бабьей,  
В Божьявленье наяву,  
И в дуде ветра об арабе,  
Прозревшим Звездную Москву.*

Тоже своеобразная “Инония”.

Это революция явно не по Марксу. И не по Ленину – хотя клюевские скрытые поучения вождю еще впереди. Пока лишь обрисован идеальный образ – пример того, кто обязан стоять во главе новой России... Инония еще раз отразится в клюевских стихах – в небольшой поэме “Медный кит”, уже пронизанной тревожным чувством, что такой, как Клюев, при пролетарской культуре “должен погибнуть”.

“Газеты пищат, что грядет Пролеткульт”, – а для этой жуткой организации деревенская изба – смертельный враг. Тревожные образы наплывают друг на друга и, кажется, в пределах небольшого стихотворного пространства радость успевает многократно смениться смертной горечью. “Увы! Оборвался Дивеевский гарус, // Увял Серафима Саровского крин...” Словно есенинский ураган-торнадо смел с лица земли все драгоценное для Николая – и эту жертву надо принести, хотя совсем не есенинская “Инония” встает перед глазами:

*Глядите в глубинность, там рощи-смарагды,  
Из ясписа даль, избяные коньки, —*

*То новая Русь — совладелица ада,  
Где скованы дьявол и Ангел Тоски.*

Узреть эту Русь можно, лишь потеряв прежнюю, и если есенинский Исус сходил с иконы для борьбы “за равенство, за труд”, то клюевские святые покидают доличное письмо не по своей воле.

*Всепетая Матерь сбежала с иконы,  
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать,  
И с псковской Ольгой за желтые боны  
Усатым мадьярам себя продавать.*

.....  
*Погибла Россия — с опарой макитра,  
Черница- Калуга, перинный Устюг!  
И новый Рублев, океаны — палитра,  
Над ликом возводит стоярусный круг —*

*То символы тверди плененной и сотой  
(Девятое небо пошло на плакат).  
По горным проселкам крылатою ротой  
Спешат серафимы в святой Петроград.*

Умирает Россия-мать, чтобы родилась невеста-Россия, которую будут “в гибели славить” юноши и девушки и встречать “соленым словом” матросы, правящие свою обедню на Марсовом поле, где хоронили убитых городских и застреленных ими бандитов и мародеров — всех, как “героев революции”... И это — прозревает Клюев — “путь к Солнцу во Славе и Духе”.

А что до “звездной Москвы”...

Пятиконечная пламенеющая звезда издавна считается масонским символом — символом микрокосма, позаимствованным у древних римлян — в их мифологии бог войны Марс вырос из красно-оранжевого пятиконечного цветка лилии. Она была утверждена еще в апреле 1917 года масонским Временным правительством в военно-морской кокарде. А в Красной Армии введена в качестве символа по предложению Троцкого, причем поначалу была перевернута вверх ногами — двумя лучами вверх — и символизировала знак антихриста, но почти сразу введена в изначальное правильное положение.

Но Клюев знал о красной звезде и другое. У русских язычников это был знак весеннего бога Ярилы, а у саамов Лапландии — оберегом, охраняющим оленей. Его чрезвычайно почитали охотники-карелы — при встрече зимой с медведем охотник рисовал на снегу три пятиконечные звезды перед собой — и считалось, что медведь не может эту линию переступить.

Не было у Николая и не могло быть изначальной неприязни этого символа. Но чем больше посещали его сомнения в том — е г о ли эта революция и т а ли она, о какой он мечтал, — как волей-неволей возвращался к “общепринятому” значению знака в его смертельной для русского человека интерпретации.

*Не диво в батрацкой атласная дама,  
Алмазный король за навозной арбой,  
И в кузнице розы... Печатью Хирама  
Отмечена Русь звездоглазой судьбой.*

*Нам Красная Гибель соткала покровы...  
Слезинка России застынет луной,  
Чтоб невод ресниц на улов осетровый  
Закинуть к скамье с поцелуйной четой.*

Его еще не посещают мысли о грехе и покаянии. Но жуткие видения уже мелькают перед глазами.

...12 марта скончался Алексей Тимофеевич Клюев. После похорон отца Николай покинул деревню и уехал на постоянное жительство в Вытегру. С этим городом он почти неразрывно будет связан ближайшие 5 лет.

(Продолжение следует)

ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

## КРИМИНАЛ И КРИЗИС

### IV. Мафия в эпоху кризиса

По мере того как разрастается кризис, появляются противоречивые сообщения о том, как на это реагируют структуры организованной преступности, или, если использовать обобщенный термин, – мафия. Некоторые СМИ сообщали, что якобы мафия “осталась без работы”, а в Японии члены “якудзы” чуть ли не получают пособие по безработице. Конечно, это – из области желаемого. Жизнь показывает, что *любые кризисы мафия использует себе во благо*. В январе 2009 г. ООН сообщила, что, по данным исследований, проведенных ее экспертами, крупные кланы мафии ринулись в главные международные банки. В этой связи исследователь каморры – неаполитанской мафии Роберт Савиано полагает, что банки “из-за кризиса рады любым деньгам, чтобы остаться на плаву. И это чудовищно. Не только потому, что грязные деньги попадают в межбанковскую среду, это и так происходило десятки лет, но и потому, что крупные вкладчики, в данном случае из мафии, могут навязывать банкам свою волю: кому давать кредиты, кого поддерживать. Это означает, что мы столкнулись с опасностью утратить контроль над нашим будущим. Мафия будет решать всё, исходя из своих интересов” (см.: *Euronews*, 4 февраля 2009).

Директор Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста в интервью лондонскому еженедельнику *Observer* в декабре 2009 г. заявил: в самые трудные времена кризиса, когда банки списывали убытки десятками миллиардов долларов, многие из них были спасены деньгами организованной преступности. Он назвал даже сумму “грязных” денег, которая была отмыта, – 352 млрд долларов, но не указал конкретные банки.

“Во многих городах и странах, – рассказал Коста британским журналистам, – деньги, полученные от продажи наркотиков, были единственным ликвидным капиталом для инвестиций. Во второй половине 2008 года главной проблемой всех банков была ликвидность. Поэтому ликвидный капитал превратился в очень важный фактор функционирования и самого существования финансовой системы”.

Информация о том, что деньги организованной преступности помогли ряду банков пережить самые тяжелые времена, была получена из Великобритании, США, Швейцарии и Италии. Отмытые деньги ушли в экономику и там тоже помогли многим компаниям справляться с кризисными трудностями.

---

\* Окончание. Начало в № 6 за 2010 год.



Специалисты считают, что большую часть незаконных доходов организованная преступность традиционно получает от торговли наркотиками. По оценкам Антонио Марии Косты, общая сумма наркодоходов превышает 400 млрд долларов в год. Наркобароны по традиции держали деньги в наличности или прятали их от властей своих стран в оффшорах. В кризисные времена к этим механизмам добавились еще и банки.

Исследования, проведенные в период кризиса в Италии, показывают, что по мере роста счетов на оплату и дефицита банковских кредитов все больше жителей этой страны обращаются за деньгами к криминальным структурам. “Кредитные акулы” мафии чувствуют новые возможности.

В то время, когда компаниям больше всего необходимы займы на фоне спада продаж, роста долгов и надвигающегося банкротства, банки ужесточили свои требования к заемщикам. Банки Италии, которые часто подвергались критике за купное кредитование мелких и средних предприятий, теперь полностью захлопнули дверь перед ними, – считает Джан Мария Фара, президент частного исследовательского института Eurispes. Однако “кредитные акулы” решили извлечь выгоду из сложившейся ситуации. По данным Confesercenti, национальной ассоциации владельцев магазинов, в начале 2009 г. около 180 тыс. предприятий в отчаянии обратились за помощью к мафии.

“Офисные работники, средний класс, владельцы фруктовых, цветочных киосков – все становятся их жертвами... Такого не было никогда”, – комментирует ситуацию Лиино Буса, руководитель Confesercenti. По словам Нино Мисели, консультанта Confesercenti, мафия стремится взять контроль над проблемными компаниями. В случае просрочек в уплате займов, проценты по которым достигают трехзначных цифр, заемщикам поступают угрозы. Таким образом, рестораны, магазины и бары переходят во владение преступных групп.

Мафиозные группировки ежедневно получают от ритейлеров около 250 млн евро (315 млн долларов). По данным института Eurispes, кризис позволил итальянским мафиозным структурам увеличить свой доход на 40% – с 90 млрд евро в 2007 г. до 140 млрд в 2008 г.

Со своей стороны государство пытается не допустить чрезмерного усиления преступных группировок. В конце прошлого года в Италии была проведена целая серия антимафиозных операций. Под стражу взято более 100 человек.

Китайская газета “Чайна дейли” 22 декабря 2008 г. сообщила, что Китай для сохранения социальной стабильности в условиях мирового финансового кризиса намерен интенсифицировать работу подразделений по борьбе с организованной преступностью.

“На фоне драматических социальных и экономических изменений, которые переживает страна, в ближайшем будущем преступные группировки сохранят свою активность”, – цитирует газета слова главы китайского следственного отдела по борьбе с организованной преступностью. В этой связи, сообщил он, помимо уже имеющегося следственного отдела, “будет создано специальное подразделение для решения этой проблемы”.

Спецподразделения по борьбе с оргпреступностью создают полиция различных штатов США. Так, в ответ на разгул гангстерских войн в период кризиса в Чикаго (в 2008 г. здесь в результате “разборок” между бандами только из огнестрельного оружия убито около 500 человек) в чикагской полиции создан специальный отряд “Мобильные ударные силы”, укомплектованный пятьюстами офицерами секретной полицейской службы.

А что происходит у нас в России? Словосочетание “организованная преступность” вообще не попало в Национальный план противодействия коррупции. И это не было случайностью. 6 сентября 2008 г. в соответствии с Указом Президента России № 1316 подразделения по борьбе с организованной преступностью в МВД России ликвидированы.

*Если образование специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью в МВД СССР в ноябре 1988 г. всегда считалось революцией в системе органов внутренних дел, то их ликвидацию через 20 лет в сентябре 2008 г. с полным правом можно назвать контрреволюцией.*

Почему создание спецподразделений по борьбе с оргпреступностью являлось революционным шагом? Во-первых, это было признание того, что организованная преступность – не миф, а реальность, которой надо професси-

онально противостоять. Во-вторых, это было вынужденным организационным решением. Дело в том, что традиционно аппараты уголовного розыска в основном работали «от преступления», то есть после регистрации криминального события. Страны в борьбе с экономической преступностью действовали в основном по линейно-отраслевому принципу, то есть обслуживали конкретные отрасли народного хозяйства и предприятия. Организованная же преступность тем и отличается от общеуголовной и экономической, что действует сразу во всех сферах. Это универсальное явление, в которое элементами входят и насильственные преступления, и мошенничество, и вымогательство, и бандитизм, а также незаконный оборот наркотиков и оружия, контрафакт, контрабанда, отмыwanie грязных денег, коррупция и т. д., и т. п. Клубок взаимосвязанных преступлений, совершаемых членами преступных групп, банд, организаций и сообществ. И противодействовать организованной преступности можно только комплексно, не разделяя ее на общеуголовную и экономическую. А главное, успех в борьбе с оргпреступностью достигается только тогда, когда работа идет не от конкретного преступления или конкретного экономического объекта, а от конкретной преступной организации.

С самого начала образования спецподразделений они подвергались нападкам со всех сторон. Многим они были, мягко говоря, неудобны, так как с самого начала валом пошла информация о сращивании с преступными формированиями чиновников всех уровней и сфер, в том числе и в самом МВД.

Первым попытался ликвидировать эти подразделения и передать их функции в уголовный розыск и БХСС Борис Пуго, в конце 80-х руководивший МВД СССР. Но ему тогда не дал это сделать первый секретарь МК КПСС Юрий Прокофьев. После его похода по этому вопросу к Михаилу Горбачеву в противовес проекту приказа, подготовленного Пуго, родился Указ Президента СССР об укреплении этих подразделений и создании Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД ССР.

После развала СССР и создания МВД России министр Виктор Ерин сначала создал оперативно-розыскные бюро по борьбе с организованной преступностью, а затем при поддержке секретаря Совета безопасности Юрия Скокова преобразовал его в Главное управление по борьбе с организованной преступностью. На местах были созданы региональные управления по борьбе с организованной преступностью (РУОПы), которые не подчинялись местным руководителям МВД, УВД, а замыкались непосредственно на МВД России. Тем самым в условиях сепаратистских тенденций была выстроена силовая вертикаль, которая сыграла большую роль в сдерживании центробежных тенденций.

Эта силовая вертикаль сохранялась и укреплялась министрами Анатолием Куликовым, Сергеем Степашиным и Владимиром Рушайло.

РУОПы и их специальные отряды быстрого реагирования (СОБРы) участвовали в двух чеченских компаниях и приобрели там дополнительный опыт.

26 сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью за эти годы стали Героями России (20 из них посмертно).

Борис Грызлов, будучи министром внутренних дел, ликвидировал РУОПы, но укрепил и создал во всех МВД, УВД субъектов Федерации управления по борьбе с организованной преступностью.

Нынешний министр МВД Рашид Нургалиев всегда был сторонником укрепления этих подразделений. По его инициативе в *МВД разработана и реализовывалась Концепция борьбы с организованной преступностью, где указанным структурам отведена главная роль.*

Но 6 сентября 2008 г. подразделения по борьбе с организованной преступностью были ликвидированы и преобразуются в подразделения по противодействию экстремизму и подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Одновременно функции по борьбе с организованной преступностью возложены на подразделения уголовного розыска и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП).

Такое решение ломает всю стратегию, организацию и тактику борьбы с организованной преступностью. Преступные организации и сообщества остаются фактически бесконтрольными. Ведь уголовному розыску и службе БЭП физически невозможно будет определить зоны ответственности, учитывая универсальный характер деятельности преступных сообществ и организаций.

В 2008 г. руководители МВД России заявляли, что они контролируют деятельность более 400 крупных преступных организаций. Именно силами подразделений по борьбе с организованной преступностью был осуществлен разгром самой мощной преступной организации страны – “Общак”, арестован за организацию рейдерских захватов лидер тамбовского преступного сообщества Кумарин–Барсуков (“ночной губернатор” Санкт-Петербурга).

Кто же сейчас будет заниматься ликвидацией преступных сообществ?

Кто будет заниматься борьбой с рейдерством, где общеуголовная преступность вообще неотделима от экономической?

Кто будет контролировать воров в законе и преступных авторитетов, которые продолжают укреплять свои позиции во многих регионах страны?

Кстати, в последние годы в Россию вернулись “короли” преступного мира, такие как Вячеслав Иваньков (уже, как известно, убит), Марат Балагула и др.

В связи с кризисом уже начался передел сфер влияния между лидерами криминального мира. Такой передел идет и в связи с реализацией крупных экономических проектов, в которые всегда стараются влезть мафиозные структуры. В феврале 2009 г. в Москве, например, был расстрелян из автомата “вор в законе” Алик Миналян (“Сочинский”), который был “смотрящим” за исправительными учреждениями Краснодарского края. Оперативники связывают это с криминальными “разборками” вокруг участия в олимпийском проекте, который реализуется на территории края.

Особенно странным решение о ликвидации подразделений по борьбе с организованной преступностью выглядит на фоне антимافیозного натиска на Россию со стороны Запада после “пятидневной войны” с Грузией. В ряде крупных западных СМИ звучали прямые призывы бороться с Россией путем обвинения ее в покровительстве преступным структурам. Для этого предлагаются массовые аресты счетов российских граждан, конфискация имущества. Инструментом давления на Россию таким способом, по всей видимости, будет являться Стратегия правоохранительной деятельности по борьбе с международной организованной преступностью, принятая в США в апреле 2008 г. Преступные формирования из России в ней обозначены как враг № 1.

Кто со всем этим будет разбираться в России?

Угрозыск или БЭП? Но у них совсем другие задачи.

Следует отметить, что объем работы оперативных подразделений по преступным сообществам (организациям), бандам и незаконным вооруженным формированиям в сравнении с объемом работы по экстремистским организациям и сообществам отличается в разы.

Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2009 г. зарегистрировано 548 преступлений экстремистской направленности. А число только расследованных преступлений, совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ (организаций), в том же году составляло 31397!

В интервью “Независимой газете” (10 февраля 2009 г.) министр внутренних дел Рашид Нургалиев говорил о том, что реформирование департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом было вызвано необходимостью исключения “дублирования функций”. Но в том же интервью говорится об успехах МВД по борьбе с наркомафией и наркотрафиком. Но разве здесь МВД не дублирует Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков? Никто же не говорит об устранении этой функции из объема задач органов внутренних дел. Так же как никто не лишит МВД функции борьбы с терроризмом, несмотря на то, что согласно Федеральному закону “О противодействии терроризму” основная ответственность за исполнение этой функции лежит на Федеральной службе безопасности.

Тем более что после взрывов в московском метро 29 марта 2010 года стало ясно, что вся антитеррористическая сеть оказалась в серьезных прорехах. Значит, не в “дублировании функций” причина ликвидации подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Трудно понять, кому нужно было уничтожить службу по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в МВД в условиях кризиса, и зачем все это затеяно. Если руководство страны располагало информацией, что подразделения по борьбе с оргпреступностью сами стали криминализованы, то логичнее было заменить их руководство. Если предполагается создать некую структуру вне МВД, то сначала создайте, а не ломайте, что работает.

## У. Кризис и преступность

У экономических кризисов есть свои криминальные индикаторы. Генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл в интервью ИТАР-ТАСС на Всемирном экономическом форуме в январе 2009 г. в Давосе заявил, что глобальный кризис вызвал рост криминальной активности в мире. Серьезно увеличились такие преступления, как мошенничество, подлоги, производство контрафактной продукции, уклонение от налогов.

Кражи – это преступления, которые напрямую зависят от кризиса. По данным американской полиции, опубликованным в сентябре 2008 г. в издании “Contra Costa Times”, кредитный кризис резко увеличил количество квартирных краж в США. С увеличением количества домов, отобранных за долги, увеличилось и количество краж из покинутого жилья.

Кражи обычно обнаруживают риэлторы или банки, которые описывают имущество, а затем выставляют жилье на торги. Тогда-то и всплывают многочисленные потери от воров. Риэлторы не досчитываются кондиционеров, водопроводных кранов, батарей, вентиляторов, ковров и даже деревьев во дворе. Все это становится легкой добычей для воров.

В январе 2009 г. The Independent опубликовала данные правительственного доклада Великобритании о влиянии кризиса на рост имущественной преступности. Число грабежей и краж в этой стране за последние четыре месяца 2008 г. значительно возросло, а в некоторых графствах практически удвоилось. Количество краж и ограблений увеличилось в 31 из 43 полицейских округов.

Для России экономическая обусловленность краж особенно актуальна. Известный криминолог Юрий Бышевский, более 30 лет исследующий феномен российского воровства, установил весьма печальную тенденцию. Его опросы осужденных воров в тюрьмах и колониях показали, что все эти годы росла доля воров, которые деньги, полученные от совершения краж, тратили на содержание семьи (с 9% в 1973 году до 44% в 2005 г.). Одновременно уменьшилась доля воров, расходовавших краденые деньги на развлечения и друзей (с 27,5% в 1973 г. до 17% в 2005 г.) (см.: Ю. В. Бышевский. Характеристика осужденных, отбывающих наказание за кражи. – Омск, 2007).

Иными словами, негативные явления в экономике страны толкали все большее количество людей на совершение краж.

О том, что экономические кризисы напрямую влияют на распространенность краж, говорят и данные официальной статистики. Резкий рост квартирных краж в России произошел в период 1991–1993 гг. Связано это было, в первую очередь, с шоковыми реформами. Если в 1991 г. количество краж из квартир составляло 29,5 тыс., то в 1993 г. эта цифра достигла показателя в 45 тыс. С 1994 г. до 1997 г. отмечалось некоторое снижение квартирных краж. Однако в связи с дефолтом в 1998 г. число краж из квартир опять резко увеличилось.

С 2000 г. до осени 2008 г. вновь отмечалась тенденция к снижению числа этих преступлений, что в немалой степени было обусловлено развитием рынка услуг по обеспечению сохранности денежных средств населения (кредитные карты, вклады, банковские ячейки). Но, начиная с осени 2008 г., ситуация начала меняться в негативную сторону. Граждане стали забирать наличные деньги из банков, не доверяя им, а это сразу создало поле деятельности для воров всех видов, особенно профессиональных преступников-рецидивистов. Ведь доля этой категории среди квартирных воров самая большая – до 50%.

Когда преступники знают, что в квартирах накапливаются большие объемы наличных денег, их не останавливает ничто. Воры лезут с крыш в окна высотных зданий, используя альпинистское снаряжение. Взламывают самые изощренные металлические входные двери. Разыгрывают целые спектакли для проникновения в дома, где есть охрана. Но в большинстве случаев им и придумывать ничего не надо, учитывая бездарные архитектурные проекты наших домов, как будто специально созданных для домушников.

Помимо воровства следует ожидать всплеска всех видов корыстных преступлений. Впрочем, он уже начался. 2008 год завершился целой серией дерзких разбойных налетов на инкассаторов, отделения Сбербанка, дачи и квартиры граждан.

Хотя, если судить по официальной статистике, то преступность у нас снизилась. Удивительно – во всех странах в период кризиса она возросла, а в России – снизилась.

*Уголовная статистика вновь стала полностью управляема. Она не отражает реального положения дел. То, что зафиксировано в отчетах, это и есть “мнимая латентность”, то есть “подгонка” показателей преступности для создания видимости благоприятного положения.*

На состоявшейся в марте 2010 года коллегии Генпрокуратуры России по итогам работы за 2009 год Президент страны Дмитрий Медведев выступал два раза. Сначала на открытии. Потом после отчетов руководителей этого ведомства. В этом втором выступлении содержались необычные для такого рода мероприятий замечания.

Первое и, на наш взгляд, главное, звучало буквально так: *“Сначала по проблеме раскрываемости и регистрации преступлений: не знаю, насколько эта статистика является точной. Уголовная статистика, как и статистика в целом, довольно лукавая вещь. Что абсолютно очевидно и о чем говорил в своем выступлении Генеральный прокурор – надо навести порядок с первичной регистрацией. Как она осуществляется, мы сами знаем: сначала записали, потом подумали, потом выслушали пожелания вышестоящих начальников – и нет ничего.*

*Не предлагаю сейчас конкретных мер по первичной регистрации, но эти меры должны включать в себя и процедурные элементы, и технологические решения. Только в этом случае мы будем с вами оперировать более или менее точными цифрами. Иначе у нас миллион преступлений – туда, миллион – сюда, непонятно, что вообще происходит”.*

Заявление, огласитесь, весьма резкое. Если Президент говорит, что миллион преступлений можно скрыть, то это уже приговор всей правоохранительной системе. Ведь на “лукавых” цифрах фактически строится вся уголовная статистика, от них зависят оценки деятельности правоохранительных органов, намечаемые в этих органах реформы, необходимая численность людей, задействованных в борьбе с преступностью, выделяемые бюджетные средства, модернизация технической базы и информатизация правоохранительной системы.

Если в последние годы на итоговых коллегиях Генпрокуратуры и МВД постоянно заявляют, что “преступность неуклонно снижается”, “раскрываемость улучшается”, то зачем тогда выделять дополнительные ресурсы, можно обойтись и тем, что имеется, а еще и сократить “ненужную численность”.

А теперь попытаемся разобраться, что же реально у нас происходит с регистрацией преступлений. С 2006 года ежегодно, постоянно растет число заявлений, сообщений и иной информации о криминальных происшествиях (оцененных гражданами и организациями как криминальные). В 2006 году таких заявлений было 19 млн 305 тыс., а в 2009 году их стало уже 22 млн 789 тыс. Иными словами, “заявленная” преступность выросла на 3 млн 484 тыс.

А что с “зарегистрированной” преступностью, которая и попала в уголовную статистику и на которой строятся все оценки работы? Она в эти же годы постоянно ежегодно снижалась. С 3 млн 855 тыс. в 2006 году до 2 млн 995 тыс. в 2009 году. Сокращение за указанные годы – на 860,6 тыс. преступлений.

Куда же уходили заявления и сообщения о преступлениях? Самая значительная часть – в пресловутые решения об отказе в возбуждении уголовных дел. “Отказные” постоянно, ежегодно увеличивались на фоне “снижения” преступности. С 4 млн 596 тыс. в 2006 году до 5 млн 641 тыс. в 2009 году. Рост “отказных” за эти годы – на 1 млн 45 тыс. Причем судьба самих “отказных” весьма проблематична. В 2006 году прокурорами отменено 1 млн 423 тыс. “отказных”, в 2007 году – 1 млн 472 тыс., в 2008 – 1 млн 693 тыс., в 2009 – 1 млн 827 тыс.

Для манипуляций статистикой существуют совершенно экзотические основания. Например, в 2009 году почти 5 млн заявлений и сообщений “приобщены к материалам специального номенклатурного дела” (?!), 5 млн 323 тыс. “переданы по подсудности (подсудности) или по территориальности”. И эти показатели тоже превышают те, которые были в предыдущие годы.

Но зачем нам знать, что, куда приобщено и куда передано? Надо знать только три показателя: 1) возбуждено уголовных дел по заявлениям; 2) отка-

зано в возбуждении уголовных дел; 3) возбуждено дел об административном правонарушении (ведь карать можно и в уголовном, и в административном порядке).

**Важно одно: граждане должны видеть, что существует реальное государственное реагирование на их заявления!**

Теперь о “раскрываемости” и раскрытии преступлений. Понятия эти не идентичные. На коллегии МВД, которая предшествовала прокурорской, Рашид Нургалиев заявил, что “общая раскрываемость” преступлений повысилась на 2,1% и составила 55,8%. Причем “раскрываемость” улучшилась по всей группе тяжких и особо тяжких преступлений. Казалось бы, после такого заявления должна следовать раздача орденов и медалей.

Но с этим не следует спешить. Ведь **“раскрываемость” в последние годы растет за счет искусственного снижения преступности.** На деле это выглядит так: если меньше зарегистрировали преступлений, то для высокой “раскрываемости” можно и меньше раскрывать. Поэтому налицо, на первый взгляд, парадоксальная, а на самом деле закономерная ситуация: “раскрываемость” растет, а число раскрытых преступлений падает.

Рассмотрим это на примере убийств. Количество зарегистрированных убийств с 2004 года снизилось с 31,6 тыс. до 17,7 тыс. в 2009 году. “Раскрываемость”, естественно, выросла, а реальное число раскрытых убийств сократилось с 26,1 тыс. в 2004 году до 15,4 тыс. в 2009 году. Встает естественный вопрос – когда лучше работали оперативники и следователи?

Убийства – наименее латентный вид преступления. На первый взгляд, их нельзя скрыть. Оказывается, можно. В период, когда руководители правоохранительных органов ежегодно рапортуют о снижении числа убийств и повышении их “раскрываемости”, практически не снижается количество без вести пропавших граждан, судьба которых осталась неустановленной. Попробуем разобраться с вопросом исчезновения людей. За 2009 г. зарегистрировано 147,8 тыс. заявлений о безвестном исчезновении граждан (в 2008 году – 147,4 тыс.). Установлено было без заведения розыскных дел 79,8 тыс. человек (в 2008 году – 75,3 тыс.). В розыск в 2009 г. было объявлено 71,4 тыс. человек (ровно столько и в 2008 году).

Розыскная статистика идет с нарастающим валом: плюсятся исчезающие люди в предыдущие годы. Так вот, общее число людей, которые пропали без вести и которые так и не были найдены на конец 2009 г., составило 48,5 тыс. человек (в 2008 году – 48,9 тыс.). Те же цифры. Значит, никакого реального улучшения в розыске пропавших людей нет? И можно ли в этих условиях говорить о снижении убийств?

Правоохранительная система продолжает жить по принципу: “нет трупа, нет проблемы”. В 2008 г. вынесли приговор по группе убийц во главе с неким Чудиновым в Нижнем Тагиле (“Огонек” рассказывал об этом преступлении). В течение нескольких лет бандиты заманивали девушек и девочек (13–14 лет), насиловали их, заставляли заниматься проституцией. Тех, кто не соглашался, душили и сбрасывали в лесу в могильники. Когда собака случайно раскопала один из могильников, где было обнаружено 17 трупов, началось громкое дело. Оказалось, что в местной милиции не было зарегистрировано даже заявлений о пропаже детей! Не говоря уже о заведении розыскных и, тем более, уголовных дел. Убийцы сейчас наказаны. Но нигде не было сообщено, что наказаны те, кто укрывал эти убийства.

Теперь о неопознанных трупах. За 2009 г. на учет поставлено 30,7 тыс. дел об установлении личности неизвестных граждан по неопознанным трупам (в 2008 году – 34,2 тыс.). Из них установлена личность 25,3 тыс. трупов (в 2008 году – 27,7 тыс.). Личность 5,4 тыс. трупов так и не установлена (в 2008 году – 6,5 тыс.). В основном из-за так называемых “гнилостных изменений”. Но уголовные дела по этим фактам заведены только по каждому 12-му случаю!

Да и как можно быстро и качественно провести экспертизу, установить причину смерти, если на коллегии председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин заявил, что “особенно в плачевном состоянии пребывают судебно-медицинские учреждения. Их финансируют “по остаточному принципу”. Исследования трупов проводятся в помещениях, больше похожих на сараи, а заключения готовятся месяцами. Спрашивается, о каком тогда их качестве можно говорить?”

Это касается и экспертизы трупов самоубийц, которых в 2009 году было 37,2 тыс. человек, и отравленных алкоголем – 16,3 тыс. человек, и погибших в результате транспортных травм – около 30 тыс. человек.

Разве за многими этими смертями не могло быть криминала? И могут ли эти факты также оставаться “за скобками” обсуждения на коллегии?

Разве можно в такой ситуации говорить о снижении убийств?

Изменения преступности наступают не одновременно с кризисом, а вслед за ним. Поэтому можно выделить следующие фазы развития криминальной ситуации: предкризисную, кризисную, остро-кризисную и катастрофическую.

Как бы мы ни характеризовали сегодняшнее положение, уже сейчас ясно, что для остро-кризисной и катастрофической ситуации необходимо иметь уголовное и уголовно-процессуальное законодательство совершенно иного вида, чем для стабильной ситуации. В теории права это называется “отложенным законодательством”. Оно принимается, но вводится в особый период. У нас сейчас такого “отложенного законодательства” нет.

## **VI. Кризис и дестабилизация**

Негативных прогнозов развития дестабилизации в мире в связи с глобальным кризисом в настоящее время выдвигается множество. Но существуют документы, где эти прогнозы абсорбируются и на выходе получаются довольно аргументированные выводы. К таким документам безусловно следует отнести 120-страничный доклад разведывательного сообщества США “Глобальные тенденции 2025 года: изменившийся мир”, приуроченный к моменту вступления в должность президента США Барака Обамы.

Авторы утверждают: следующие двадцать лет мир будет жить в условиях постоянной угрозы ядерной войны, экологической катастрофы и упадка Америки как доминирующей мировой державы. “Вероятность применения ядерного оружия усилится, поскольку расширится доступ к ядерным технологиям, а также появятся новые варианты и возможности нанесения ограниченных ударов”, – говорится в докладе. “Мир в ближайшем будущем столкнется со все возрастающей вероятностью возникновения конфликтов из-за ресурсов, в том числе из-за продовольствия и воды. Его будут упорно преследовать угрозы “стран-изгоев” и террористических группировок, которые все чаще станут получать доступ к ядерному оружию”.

Прогноз нарастания террористической напряженности звучал и из уст руководителей разведки США. Бывший директор национальной разведки США Майк Макконнелл, выступая 30 октября 2008 г. на пленарном заседании симпозиума Фонда геопрозрастной разведки США в Нэшвилле (штат Теннесси), отметил, что, по оценкам аналитиков его ведомства, терроризм не будет побежден до 2025 г. Отсутствие необходимых экономических и политических предпосылок для ликвидации этого зла на Ближнем Востоке и в других регионах мира не позволит покончить с боевиками в глобальном масштабе. Более того, согласно прогнозам спецслужб, будущие социальные реалии приведут только к росту радикализма и увеличат приток молодежи в террористические группировки.

К 2025 г. ячейки экстремистов, утверждал Макконнелл, скорее всего сохранят все свои организационные структуры, а также элементы системы управления и подготовки бойцов ислама, необходимые для проведения изоциренных атак на Америку и на других врагов мусульманского мира, в том виде, в котором его понимают лидеры “священной войны с неверными”.

В начале декабря 2008 г. Командование объединенных сил ВС США обнародовало доклад “Объединенная оперативная обстановка-2008: вызовы и последствия для объединенных сил будущего”.

В докладе особо подчеркнуто, что одной из наиболее серьезных для американской нации внешних угроз является “закрытие доступа” к общемировым ресурсам и инфраструктуре.

По мнению авторов доклада, в XXI веке американским войскам предстоит в перманентном состоянии вести боевые действия – либо в виде обычного вооруженного конфликта, либо же в виде серии контртеррористических или противоповстанческих операций.

Практически одновременно с опубликованием доклада подписана директива Пентагона, согласно которой финансирование и планирование операции иррегулярной (или асимметричной) войны отныне приравнивается по рангу к обычным военным операциям, то есть к боевым действиям против вооруженных сил какого-либо государства. К иррегулярным операциям директива относит борьбу с терроризмом, с повстанцами и партизанами, помощь в обеспечении внутренней безопасности иностранному государству, а также операции по поддержанию стабильности в различных регионах планеты.

В связи с такими прогнозами и документами следует ожидать изменения концепции “войны с терроризмом”. Как известно, этот термин был введен в оборот американцами около 10 лет назад после нападений на Нью-Йорк и Вашингтон. Он предполагал объединение международных усилий в войне с “осью зла”, состоящей из “государств-изгоев”, порождающих терроризм, а также уничтожение Аль-Каиды – террористической организации, объявленной главным злом на планете.

“Пятидневная война” в Грузии переформатировала все элементы “войны с терроризмом”. После нападения США на Ирак оси стало корежить. Национальные интересы стали не совпадать. Подготовка к войне с Ираном развела оси в разные стороны. “Пятидневная война” в Грузии сломала оси об колесо.

После нее Россию сразу записали в число “государств-изгоев”. Известный политолог Артур Херман в своей статье “Россия и новая “ось зла” в “The Wall Street Journal” от 29 августа 2008 г. оформил новую “ось зла”, включив в нее Россию, Иран и Венесуэлу.

Многие эксперты сходятся во мнении, что главный американский фронт “войны с терроризмом” перемещается в Пакистан. Эта страна – следующий кандидат в новую “ось зла”.

В упомянутом докладе национальной разведки США сказано, что к 2025 г. население России уменьшится на 10 млн и составит 130 млн. При этом доля мусульманского населения будет расти и к 2030 г. достигнет 19%. Для сравнения, в Западной Европе при сохранении нынешних темпов миграции число мусульман не превысит 7%. Подобная ситуация, констатируют авторы доклада, неминуемо приведет в будущем всплеску национализма среди православного славянского населения России.

Постоянно обсуждаемая на Западе угроза русского национализма и “русского фашизма” – скорее мечта “друзей” России, чем реальность российской жизни. Две чеченские войны показали, что даже взрывы, устроенные террористами в Москве, не вызывают реального всплеска русского национализма.

Об этом говорят и данные уголовной статистики за 2009 г. За прошедший год **иностранцами гражданами (большинство из которых граждане государств – участников СНГ) совершено на территории России почти 58 тыс. преступлений. Это на 7,5% больше, чем в 2008 г. А против самих иностранцев совершено около 15 тыс. преступлений, или на 1,9% меньше, чем в 2008 г.** Где же здесь наблюдается пресловутая преступная активность “русских националистов”? При этом никто не отрицает наличие опаснейших групп фашистской направленности. Но большинство этих групп питает международная сеть неонацистов, а не русские националисты.

Между тем, существуют и множатся реальные источники дестабилизации в России.

**Клановая борьба.** На фоне некоторого затухания сепаратистских тенденций клановая борьба на Северном Кавказе продолжает оставаться мощным фактором роста террористических проявлений. Это проявляется во всех северокавказских республиках, особенно в Ингушетии и Дагестане. Терроризм здесь сейчас – это, как правило, терроризм мафиозно-коррупционной направленности. Кремль научился эффективно разбираться с террористами, но не отработал механизмов преобразования криминально-синдикалистских образований в нормальные государственные структуры. Из-за этого в большинстве северокавказских республик социально-криминальная ситуация будет по-прежнему рекрутировать в ряды террористов пополнение из числа молодых людей.

**Ваххабизм и джамааты** (самоорганизующиеся общины ваххабитов), несмотря на жесткую борьбу с ними правоохранительных органов и спецслужб, останутся притягательной силой для значительной части молодежи, исповедующей ислам, недовольной сложившейся клановой расстановкой сил в регионах.



Аналитики, отслеживающие ситуацию на Северном Кавказе, отмечают: для вовлечения молодых людей из малоимущих семей в джамааты им выплачиваются хорошие по местным меркам деньги. Платят за все: женщинам – за ношение хиджаба, мужчинам – за изучение ислама, за регулярное посещение мечети, за обучение в лагерях диверсионному делу, оказывают помощь семьям боевиков в случаях ранения или гибели “кормильца”. В условиях кризиса такая “финансовая поддержка” – это мощный стимул для расширения террористического подполья.

*Влияние международных террористических организаций и зарубежных спецслужб.* После “пятидневной войны” спецслужбы России констатируют усиление внешнего воздействия с целью обострения террористической ситуации в России. Тем более в окружении нового президента США Барака Обамы много “друзей” России – известных специалистов по “цветным революциям”. Эмиссары “Аль-Каиды” (или псевдо-“Аль-Каиды”) и других международных террористических и экстремистских организаций (таких, например, как Хиизбут-Тахрир) будут с удвоенной силой использовать патовую ситуацию на Северном Кавказе, сложившуюся в результате клановых войн, недовольство населения мафиозно-коррупционными отношениями в республиках. Все это будет усиливаться углубляющимся финансово-экономическим кризисом.

Следует ожидать активизации усилий международных террористических структур по доставке в регионы Северного Кавказа оружия, аудио-видеопродукции экстремистского содержания, закачивания финансовых средств для формирования подпольных террористических ячеек. С ноября 2008 г. в северокавказских республиках вновь возобновились теракты смертников-шахидов.

*Крупные акты террора.* В России уже был свой Мумбаи – это нападение террористов на Нальчик. После августовской войны 2008 г. следует ожидать попытку совершения в России крупномасштабных актов террора, подобных “Норд-осту”, Беслану, Буденновску. Взрывы в московском метро, видимо, первые в этом ряду. Для дестабилизации положения в стране акты крупномасштабного терроризма могут быть направлены в первую очередь против объектов ядерной энергетики, нефтегазопроводов, химических производств, электростанций и других объектов, вывод из строя которых способен создать серьезные проблемы для Кремля.

На этом фоне под видом реформы МВД принимаются очень “странные” организационные решения. Уже после мартовских взрывов в МВД ликвидируется Департамент режимных объектов и закрытых городов. Органы внутренних дел передаются под управление МВД, УВД субъектов федерации. Что означает многократное повышение рисков техногенных катастроф и диверсионных актов на объектах Атоммаша, в местах, где хранится химическое и биологическое оружие.

Одновременно, опять же под видом реформы, в МВД ликвидируются Департамент транспортной милиции и 20 линейных управлений на транспорте. Вместо стройной системы, существующей десятилетия, создается 8 управлений транспортной милиции в федеральных округах. Но это – хаос! Как можно на просторах нашей страны от Калининграда до Владивостока обеспечивать безопасность транспортных артерий, не имея специальной централизованной структуры? Преступность на транспорте – это относительно самостоятельное явление в криминальном мире. Она связана с грузовыми и пассажирскими потоками, длящимися в пространстве хищениями и другими преступлениями. Плюс к этому особая террористическая опасность.

*Террористическая экспансия из Пакистана и Афганистана.* Если будет введено “международное кризисное управление” в Пакистане, то страна распадется, и там будет реализована концепция “управляемого хаоса”. Следует ожидать набегов групп различной террористической направленности на союзников России – среднеазиатские республики. Это будет реальным воплощением *нового курса по управлению миром*, заявленного советником Обамы Збигневом Бжезинским в конце ноября 2008 г. в Королевском институте международных отношений (Чатем-Хаус), где он выступил с лекцией “*Внешиполитические вызовы новому президенту США*”.

Россия, по мысли Бжезинского, должна избавиться от своего исторического имперского багажа.

Что означает этот подход? Прежде всего, то, что следует ожидать политической атаки на все интеграционные структуры на постсоветском простран-

ве. Думается, что среди прочего будет поставлена задача оторвать Россию от углеводородов Средней Азии. Эта идея продвигалась Бжезинским еще 12 июня 2008 г. на слушаниях в Сенате США по энергетической безопасности. Именно там Бжезинский и новый вице-президент США Джо Байден (в тот период председатель Комитета международных отношений Сената США) прямо заявили о необходимости оторвать Россию от туркменского газа и других источников среднеазиатских углеводородов.

На совещании ведущих американских аналитиков в конце января 2009 г. в Heritage Foundation открыто ставился вопрос о необходимости положить конец газовой монополии России в Средней Азии.

Нет сомнения, что создание кризисных ситуаций по типу бомбейских как в России, так и в государствах – союзниках России также входит в число возможных вариантов давления. Ведь новый курс на управление миром, озвученный Бжезинским в указанной лекции, сводится к четырем словам: **Объединяй, Расширяй, Вовлекай и Умиротворяй** (Unify, Enlarge, Engage, Pacify).

Рядом с проявлениями терроризма в условиях кризиса всегда будут находиться бунты (массовые беспорядки). В этой ситуации властные структуры должны четко дифференцировать, где имеют место массовые беспорядки, а где акции протеста без применения насилия. К сожалению, то, что произошло в декабре 2008 г. во Владивостоке, говорит о несоразмерности и неадекватности применения силы со стороны российской власти.

По мере развития кризисных явлений ситуация на региональном уровне будет только накаляться. Причем, по экспертным оценкам, наиболее уязвимыми будут так называемые моногорода, где остановка градообразующих предприятий может сопровождаться стихийными акциями протеста разной интенсивности. Таких моногородов в России насчитывается до 460.

Силовое противодействие всем, даже мирным акциям протеста, может вызвать каскад бунтов по типу новочеркасских в 60-х годах. Тогда встанет вопрос о достаточности силового потенциала органов власти.

Аналогичный вопрос может встать и в США. Выступая в феврале 2009 г. на одном из каналов американского телевидения, Збигнев Бжезинский отметил, что нынешний финансовый кризис может вызвать в Соединенных Штатах массовые столкновения богатых и бедных. Он указал, что экономический кризис скоро приведет к появлению миллионов безработных американцев, в результате чего многие люди «столкнутся с серьезной материальной нуждой».

Бжезинский считает, что катализатором социального взрыва станет неэффективная политика некоторых компаний, которые получают из бюджета огромные средства, но не стараются их экономить. «Общество видит, что огромные средства (из госбюджета) передаются небольшому числу отдельных лиц, а объем этих выплат не имеет исторических прецедентов в Америке», – подчеркнул Бжезинский. По его мнению, в США могут повториться события 1907 года, когда масштабный банковский кризис привел к столкновениям между различными общественными классами.

Помимо чисто социальных конфликтов, в США не исключено разрастание расовых, этнических и конфессиональных конфликтов.

## VII. Кризис и уголовное наказание

Глобальный кризис с криминологической точки зрения ставит и еще один вопрос: что делать государству при дефиците бюджета с тюрьмами и исправительными учреждениями? Это – не второстепенный вопрос. США, например, именно через страх тюремного наказания всегда решали проблему обеспечения внутренней безопасности. На начало 2009 г. в американских тюрьмах находится 2,3 миллиона человек – четвертая часть всех заключенных мира! Даже Китай по количеству лиц, находящихся в тюрьмах, находится только на 2-м месте: там «всего» 1,5 миллиона заключенных (при том, что население КНР в 4,3 раза больше, чем в США). Россия – на 3-м месте – менее 900 тыс. человек на начало 2010 г.

В январе 2009 г. Associated Press сообщило, что может быть проведена массовая амнистия сразу в нескольких штатах США из-за невозможности содержания заключенных в связи с кризисом бюджета страны. Этому решению

предшествовало опубликование доклада юридического центра Совета органов власти штатов (Council of State Government's Justice Center), в котором рекомендовано сократить численность тюремного населения путем массового досрочного освобождения заключенных из тюрем и снятия приговоров об условном заключении и условном освобождении.

Данная рекомендация основана на том, что на конец 2008 г. общий бюджет органов власти всех штатов на тюрьмы и исправительные заведения составил 50 млрд долларов. Кроме того, федеральные власти на свои тюрьмы выделяют еще 5 млрд долларов. Итого – *55 миллиардов!*

Почему в США так остро встал вопрос о необходимости выпускать на волю значительное число заключенных? Дело в том, что за последние десятилетия вся тюремная система Штатов была поставлена на КОММЕРЧЕСКУЮ ОСНОВУ. Исследователь американских тюрем *Вики Пелаэс* пишет о том, что бум приватизации и коммерциализации тюрем в США начался в 1980-х, при Рейгане и Буше-старшем, но расцвета достиг при Клинтоне. Клинтоновская программа по сокращению федеральных работников привела к тому, что департаменты юстиции стали заключать контракты на содержание под стражей заключенных с частными тюремными корпорациями. Тюрьмы стали зависеть от дохода. Корпоративные держатели акций, которые делают деньги на труде заключенных, лоббировали приговоры к более длительным срокам, чтобы обеспечить себя рабочей силой. Система кормила сама себя.

*Тюремная индустрия* – одна из наиболее быстро растущих отраслей, и инвесторы ее находятся на Уолл-стрит. У этой многомиллионной индустрии есть собственные торговые выставки, съезды, веб-сайты, интернет-каталоги. Она ведет прямые рекламные кампании, владеет проектировочными и строительными фирмами, инвестиционными фондами на Уолл-стрит, фирмами по эксплуатации зданий, по снабжению продовольствием.

Тюремная индустрия США производит 100% всех военных касок, форменных ремней и портупей, бронежилетов, идентификационных карт, рубашек, брюк, палаток, рюкзаков и фляжек. Помимо военного снаряжения и обмундирования, тюрьма производит 98% от рынка монтажных инструментов, 46% пуленепробиваемых жилетов, 36% бытовой техники, 30% наушников, микрофонов, мегафонов и 21% офисной мебели, а также авиационное и медицинское оборудование и многое другое – заключенные занимаются даже дрессировкой собак-поводырей для слепых.

37 штатов легализовали использование труда заключенных частными корпорациями, которые организуют производство внутри тюрем. В список этих корпораций входят самые сливки американского корпоративного сообщества: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom[u]s, Revlon, Macy[u]s, Pierre Cardin, Target Stores и многие другие. Все эти компании с восторгом отнеслись к радужным экономическим перспективам, которые сулил тюремный труд. Заключенные, как правило, получают минимальную заработную плату, установленную в том или ином штате, но отнюдь не всегда. В частных тюрьмах они получают всего 17 центов за час, рабочий день составляет максимум 6 часов, то есть 20 долларов в месяц.

Благодаря тюремному труду Соединенные Штаты вновь оказались привлекательным местом для инвестиций в труд, что раньше было уделом стран Третьего мира. В Мексике расположенное вблизи границы сборочное производство закрылось и переехало свои операции в тюрьму “Сент-Квентин” (Калифорния). В Техасе с завода уволили 150 рабочих и заключили контракт с частной тюрьмой “Локхарт”, где собирали электросхемы для таких компаний, как IBM и Compaq.

Кризис всю эту тюремную индустрию обрушил. Тюрьмы стали нерентабельны. Стоит вопрос об их массовом закрытии и амнистии заключенных. Одновременно в США уже начался всплеск “кризисной” преступности. Должна меняться вся концепция “прибыльной тюрьмы”. Иначе Соединенным Штатам не избежать своего “холодного лета” (как это было в СССР во время “бериевской” амнистии после смерти Сталина).

Если действительно в США произойдет массовая амнистия заключенных, то криминальная ситуация в этой стране возникнет любопытная. Дело в том,

что кроме тех миллионов, которые сидят в американских тюрьмах, на воле, по последним данным ФБР (доклад “Оценка угрозы, исходящей от банд”, январь 2009 г.), в целом на территории США действует около 20 тыс. банд, которые насчитывают в своих рядах 1 млн членов (См.: Бандитская страна. Washington Profile, 2 февраля 2009).

Большинство подобных структур оперируют на локальном уровне – это уличные преступные группировки, которые совершают большое количество мелких преступлений и крайне активно вовлечены в торговлю наркотиками, фактически контролируя сбыт на низшем уровне.

Банды постоянно увеличивают свое влияние, они осваивают новые территории, вербуют новых членов и увеличивают обороты криминального бизнеса (например, за счет увеличения объемов продаваемых наркотиков). В некоторых районах США банды совершают до 80% всех преступлений. Обычно они специализируются на доставке нелегалов, оружия и наркотиков, грабежах, автоугонах, кражах, убийствах и пр.

Выход из тюрем большого количества заключенных, с одной стороны, увеличит криминальный потенциал этих банд, а с другой – усилит уровень конфликтности между ними.

Ждет ли новое “холодное лето” Россию? Исходя из того, как развиваются события, по всей видимости – ждет. В период кризиса вновь стало модным обсуждение проблемы “гуманизации наказания”. Госдумой был подготовлен проект крупномасштабной амнистии к 65-летию Победы – на 333,2 тыс. чел. (но, слава Богу, депутаты одумались и ограничились амнистией одних ветеранов – менее 200 чел.). Под видом реформы исполнения наказания предлагается шире использовать условно-досрочное освобождение, перевести часть преступлений небольшой тяжести в административные правонарушения, а тяжких – в преступления средней тяжести, шире использовать такие виды наказания, как условное осуждение, краткосрочные аресты, домашние аресты и штрафы вместо лишения свободы. По всем этим вопросам готовятся законопроекты.

Давайте попытаемся разобраться, что мы получим в итоге от реализации таких предложений.

Начнем с последних: *более широкое применение условного осуждения, штрафов и арестов как видов уголовного наказания, а также домашнего ареста*. С кого мы собираемся брать штрафы: с будущих безработных, воров и грабителей? Где реализовывать краткосрочные аресты? Нужны арестные дома. Нужна их охрана, другой персонал. Но на какие средства предполагается все это делать?

Что означает домашний арест? Ведь большинство осужденных в быту пьянствовали, хулиганили, потребляли наркотики, избивали соседей. И что, предлагается их вернуть в ту же среду, которая помогла им стать преступниками, и назвать это мерой наказания? Чтобы они, не испытав на себе реального наказания, вновь продолжали отравлять жизнь окружающим?

Если говорить о “гуманизации” наказания, то “гуманизировались” мы в последние годы и так “по полной программе”. У нас основной мерой наказания стало в последние годы *условное осуждение к лишению свободы*. В 2007 г. – 44,7% осужденных. Собственно *лишение свободы* применялось в 2007 г. только к 33% всех осужденных. Остальные преступники были вообще осуждены либо к *штрафам*, либо к *исправительным работам*.

В России две трети осужденных приговорены к лишению свободы за тяжкие насильственные и корыстно-насильственные преступления, а в США – наоборот, две трети заключенных совершили ненасильственные преступления.

Далее. О так называемой “*декриминализации*” наказания – *переводе преступлений небольшой тяжести в разряд административных правонарушений, а тяжких – в преступления средней тяжести*. В декабре 2003 г. уже декриминализировали всё, что можно. После этого нельзя привлечь к уголовной ответственности большинство хулиганов, если они издевались над людьми без оружия. Нельзя привлечь и лиц, которые незаконно носят холодное, охотничье или травматическое оружие. Что еще предлагается декриминализировать? И по каким преступлениям предлагается понизить их тяжесть?

Автор летом 2009 г. ознакомился на слушаниях в Общественной палате с одним из законопроектов по декриминализации УК, подготовленных в Минюсте. В нем предлагалось декриминализировать и перевести в администра-

тивное правонарушение сбыт наркотиков, совершенный впервые. И это при том, что Россия в результате “антитеррористической войны” НАТО в Афганистане стала **главным потребителем афганского героина в мире!** В том же проекте предлагалось декриминализировать незаконную порубку леса. В условиях, когда наша доморощенная мафия вместе с китайскими триадами методично уничтожают лесные богатства вдоль всей границы с Китаем!

*О массовой амнистии и расширении практики условно-досрочного освобождения.* Действительно, тюрьмы и колонии – это не лучшие места для “перевоспитания” преступников. Но кто в них сейчас сидит?

Нам пытаются навязать мысль, что большинство лиц, находящихся в местах лишения свободы, – это невинные агнцы. Но вот какие данные приводятся в докладах 2009 г. самой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) (их можно найти в интернете):

*“Криминогенный состав осужденных продолжает ухудшаться. Растет количество лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Несколько лет назад их численность составляла 30–35%. Сегодня она достигла **70 процентов (!)**. Каждый четвертый отбывает наказание за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый – за разбой или грабеж. 46% осужденных отбывают наказание второй раз и более. Намечилась тенденция к омоложению состава осужденных. Около одной трети лиц, отбывающих наказание, не старше 25 лет.*

*Увеличивается количество лиц с повышенной агрессивностью и возбудимостью, с психическими отклонениями. Сегодня в местах лишения свободы содержится более 600 тысяч человек, склонных к различным формам деструктивного поведения – агрессии, конфликтам, членовредительству, суициду, в том числе: 74 тыс. человек с признаками психических отклонений, низким уровнем интеллекта; 127 тыс. человек с повышенной агрессивностью и импульсивностью; 96 тыс. человек с низким социально-психологическим статусом; 102 тыс. человек с повышенной внушаемостью и слабыми волевыми качествами; 88 тыс. человек, склонных к суициду и членовредительству; 210 тыс. человек, склонных к другим формам деструктивного поведения; 51 тыс. человек с лидерскими качествами и отрицательной направленностью”.*

Остановимся на последней категории. Свыше 51 тыс. осужденных – это лидеры преступной среды (“воры в законе”, “смотрящие”, криминальные авторитеты, главари банд и ОПГ). Возраст двух третей таких лидеров составляет 30–50 лет, то есть это в основном зрелые люди, имеющие устойчивые жизненные установки, достаточный опыт противоправной деятельности. Национальный состав лидеров разнообразен. Например, 33% “воров в законе”, находящихся в местах лишения свободы, составляют грузины, 32% – русские, 8% – армяне, 5% – азербайджанцы; остальные являются представителями других национальностей.

Лидеры криминальной среды пытаются осуществлять в местах лишения свободы властные, идеологические, экономические, координационные и контрразведывательные функции. Нередко они организуют беспорядки, сбор средств в “общаки”, дискредитируют соперников, проводят “коронацию” союзников, дезорганизуют работу общественных формирований осужденных, осуществляют подкуп представителей администрации, выявляют агентов и через них дезинформируют администрацию, предпринимают усилия по вербовке лиц из числа персонала учреждения, в том числе и за счет своих связей на свободе. Для манипулирования волей осужденных они используют различные возможности, способы и средства: угрозы, насилие, вовлечение в азартные игры и т. д.

Теперь представим, что произойдет в обществе, если будет реализована так называемая “массовая амнистия” и расширена практика условно-досрочного освобождения. Возникнут “встречные потоки”. С одной стороны, масса амнистированных и условно-досрочно освобожденных преступников, которые никогда не работали и ничего кроме совершения преступлений делать не умели, попадет в обстановку растущей безработицы и безденежья. А с другой, масса тех, кто совершил преступления из-за безработицы и безденежья, попадет в места лишения свободы – под контроль оставшихся там сидеть лидеров преступной среды. Получается “заколдованный круг”. Амнистированных и условно-досрочно освобожденных преступников вновь ловят и сажают в те же тюрьмы и колонии. Находящихся там “новобранцев” (уже обученных “во-

ровским законам”), в свою очередь, тоже амнистируют, чтобы потом вновь вылавливать и направлять обратно в места лишения свободы. В конце концов, такие “встречные потоки” могут всю уголовную политику “схлопнуть”, грузив страну в криминальный беспредел.

В складывающейся кризисной ситуации надо говорить не о “гуманизации наказания”, а об “экономии репрессий”. Это не замена слов. Это – разнопорядковые явления.

При “экономии репрессий” речь должна идти не об амнистии и условно-досрочном освобождении по формальным признакам. Допустим, при амнистии и условно-досрочном освобождении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, на свободу выходят все педофилы (только осенью 2009 г. была ужесточена уголовная ответственность для этих нелюдей. До этого им больше 3–4 лет лишения свободы не давали), большинство воров и хулиганов, значительная часть грабителей и вымогателей. Но лица, которые совершили тяжкие преступления в сфере экономики, продолжают оставаться в местах лишения свободы.

Не разумнее ли было бы в условиях кризиса *восстановить конфискацию имущества как вид наказания*, и именно с ее помощью наказывать экономических преступников, не сажая их в тюрьму?

Это, конечно, для теоретиков уголовного права весьма спорный вопрос. Но мы живем в кризисе. А кризис диктует свои правила игры.

Нельзя не согласиться с руководителем Следственного комитета при прокуратуре РФ Александром Бастрыкиным, который на коллегии своего ведомства 12 февраля 2009 г. предложил в корне изменить существующую систему условно-досрочного освобождения лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Действительно, можно ли выпускать досрочно террористов, маньяков-насильников, главарей банд, преступных организаций и сообществ? Глава Следственного комитета привел данные: в 2008 г. в России условно-досрочно освобожден фактически каждый второй осужденный из категории особо опасных преступников. Только за шесть месяцев 2008 г. снова получили приговор почти 28 тыс. подобных лиц, которых суд выпустил из колоний раньше назначенного срока. На воле они опять стали убивать, насиловать и грабить.

Говоря об “экономии репрессий”, нельзя не коснуться и вопроса о государственном надзоре (контроле) за лицами, отбывшими наказание (попавшими под амнистию). В советское время действовал институт *административного надзора за отбывшими наказание*. Теперь “воры в законе”, главарь банд, насильники, педофилы, маньяки-убийцы, террористы (не говоря уже об “обычных” ворах, грабителях, мошенниках) выходят на свободу, и ими НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ. Их никто не регистрирует, им не устанавливается никаких ограничений в передвижении и устройстве на работу.

Пора понять, что *общественная опасность конкретных лиц не исчезает после формального отбытия наказания*. “*Экономия репрессий*” и заключается в том, чтобы эта *потенциальная опасность вновь не превращалась в реальную*.

О том, что система исполнения наказания в стране тяжело больна и нуждается в радикальном лечении, знает вся страна. И это не пустые и громкие слова. С начала нового XXI века через эту систему прошло более 10 миллионов человек. У каждого из них есть родственники, друзья, знакомые. Вот и получается, что система исполнения наказания стала частью жизни каждого жителя России.

Болезнь системы имеет много симптомов. Но самое страшное – это то, что полная закрытость системы в последние годы породила там такую страшную раковую опухоль, как пытки и издевательства над осужденными в колониях и тюрьмах и арестованными в СИЗО.

Бывшие руководители ФСИН всегда отрицали наличие этой тяжелой болезни. Но 2009 год стал взрывным в этом отношении. Следственными органами в пытках и убийствах обвинены крупные региональные руководители системы. Обвинения предъявлены начальнику челябинского ГУФСИН генерал-майору Жидкову, а также начальнику управления по безопасности этого ГУФСИН майору Афанасьеву и начальнику оперативного управления майору Шилину.

Эти руководители для того, чтобы скрыть убийство нескольких осужденных в результате пыток со стороны сотрудников исправительной колонии № 1

гор. Копейска Челябинской области, по заключению следствия “инсценировали нападение погибших осужденных на должностных лиц исправительного заведения”, а также “подготовили пакет подложных документов о произошедшем”.

Настоящий пыточный конвейер, устроенный руководством ГУФСИН по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вскрыт питерским Следственным комитетом при прокуратуре и ФСБ. В сентябре 2009 года уже осуждены к 4 годам лишения свободы и лишены специальных воинских званий первый заместитель этого ГУФСИН Бычков, начальник оперативного управления Типпель и начальник управления СИЗО Довгополый.

У Быčkova в сейфе была изъята целая кипа видеодисков с пытками, которые творил он и его подчиненные. Пытали не для того, чтобы раскрыть преступление или предотвратить побег. Пытали, чтобы посредством этих видео “выбить деньги” из родственников осужденных, перевести на своих людей собственность истязаемых. В 2010 г. осуждено еще 10 сотрудников питерского ГУФСИН, в том числе и руководителей.

Начальник этого ГУФСИН Маленчук – один из тех региональных руководителей системы, которых Президент снял с должности своим Указом в конце прошлого года.

Новое руководство ФСИН проводит глобальную “чистку”. И одновременно организует реформу системы. Тоже глобальную.

Что касается “чистки”, ее поддерживает любой здравомыслящий человек. Но, что касается реформы, то здесь возникают весьма тревожные вопросы.

Посмотрим, что из себя представляет сегодняшняя система исполнения наказания и что с ней собираются сделать.

На конец 2009 года в учреждениях ФСИН содержались 875,8 тыс. человек, в том числе в 755 исправительных колониях отбывали наказание 731,4 тыс. человек; в 225 следственных изоляторах и 164 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, содержались 135,2 тыс. человек; в 7 тюрьмах отбывали наказание 2,9 тыс. человек; в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 6,3 тыс. человек. В учреждениях содержатся 70,4 тыс. женщин, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживают 844 детей.

В состав ФСИН также входят 2450 уголовно-исполнительных инспекций, в которых состоят на учете 549,9 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 205 федеральных государственных унитарных предприятий, 499 центров трудовой адаптации осужденных, 38 лечебных центров, 40 учебно-производственных мастерских.

При исправительных и воспитательных колониях функционируют 315 вечерних общеобразовательных школ и 521 учебно-консультационный пункт, 338 профессионально-технических училищ.

Штатная численность уголовно-исполнительной системы, содержащейся за счет средств федерального бюджета, составляет 328,2 тыс.

В чем состоит суть концепции реформирования уголовно-исполнительной системы?

Авторы концепции считают, что реформирование пройдет в три этапа вплоть до 2020 года. Первый этап уже начался. Он длится до 2012 года. В течение этого времени предусматривается разработка и принятие целевых программ, изменение законодательства. Также предусматривается более широкое внедрение в судебную практику альтернативных наказаний, создание государственной службы пробации (социальной помощи. – Авт.), тюрем особого режима, создание системы административного надзора МВД.

В период с 2013 по 2016 годы предполагается перепрофилировать большую часть учреждений в тюрьмы общего и усиленного режимов, создать новые колонии поселения, сеть социальных центров постпенитенциарной адаптации, расширить функции службы пробации.

Заключительный этап – 2017–2020 годы – это завершение реформы и планирование развития уголовно-исполнительной системы в будущем.

Согласно планам реформирования, осужденные несовершеннолетние будут отбывать наказание в *воспитательных домах*. Наряду с этим предлагается сохранить для выполнения специальных медицинских задач лечебно-исправительные и лечебно-медицинские учреждения. Осужденные к лишению свободы за преступления по неосторожности, а также осужденные впервые за та-

кие преступления будут отбывать наказание в колониях-поселениях двух видов: колонии с усиленным наблюдением и обычные колонии-поселения. Основным критерием для направления туда осужденных будет оценка тяжести совершенных ими преступлений и наличие рецидива. Кроме этого, предполагается законодательно закрепить возможность перемещения в колонии-поселения лиц, отбывающих наказания в тюрьмах, при наличии комплекса положительных характеристик, поощрений и заключения, что человек встал на путь исправления. Одновременно предполагается возможность перемещения из колонии-поселения в тюрьму тех осужденных, которые, наоборот, ведут себя отрицательно либо совершают новые преступления или административные правонарушения.

Колонии-поселения с усиленным наблюдением планируется организовывать в виде стационарных учреждений с развитым производством и инфраструктурой. Колонии-поселения обычного типа предусматривают временное размещение и работу на строящихся или развивающихся государственных объектах. Руководители ФСИН говорят, что во многом эти колонии-поселения будут напоминать существовавшие в прошлом спецкомендатуры для отбывания таких уголовно-правовых мер, как условное осуждение с обязательным привлечением к труду и условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным направлением на стройки народного хозяйства.

Также планируется создание тюрем трех видов. *Общего режима* – для содержания лиц, впервые осужденных к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, для осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. *Усиленного режима* – для содержания лиц, ранее не менее двух раз отбывающих наказания в виде лишения свободы и вновь осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. *Особого режима* – для содержания лиц, осужденных к лишению свободы за неоднократное совершение особо тяжких преступлений, в том числе осужденных к пожизненному лишению свободы, а также для лиц, признанных активными членами и лидерами преступных сообществ, особо опасными рецидивистами, “воров в законе”, осужденных за тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности.

Теперь давайте попробуем разобраться в сути реформы.

Ее разработчики постоянно подчеркивают, что она проводится в двух главных целях. *Первая* – отход от системы ГУЛАГа, которая, по их мнению, состоит в перевоспитании через труд. *Вторая* – переход к европейским стандартам содержания осужденных в тюрьмах.

По поводу ГУЛАГа. Сама постановка вопроса – странная. ГУЛАГа нет уже 50 лет. В 1961 г. было изменено все законодательство, которое регламентирует исполнение наказаний. Последние 19 лет мы живем как бы при демократии. Нашу систему исполнения наказания с 1996 года постоянно инспектируют ревизоры из Совета Европы. При чем здесь ГУЛАГ?

О труде. А чем осужденным заниматься, кроме как принудительным трудом? Об использовании труда как позитивном факторе перевоспитания осужденных писали многие отечественные и зарубежные ученые.

В Обзоре наилучших видов практики обращения с заключенными, представленном ООН на 12-м Конгрессе по предупреждению преступности в Бразилии (апрель 2010 г.), труд назван главным фактором отбытия наказания и перевоспитания осужденных **любой категории**.

А потом, разработчики реформы сами себе противоречат. Они прямо говорят, что стремятся создать колонии-поселения по типу спецкомендатур, которые были созданы при Щелокове. Но ведь спецкомендатуры – это тоже принудительный труд на стройках народного хозяйства времен “развитого социализма”. Где логика реформаторов?

Теперь о европейских стандартах. Есть швейцарские тюрьмы, похожие на дома отдыха, а есть французские. Например, такая как La Sante в Париже. Камеры переполнены. Душ можно принимать не более 2-х раз в неделю. Количество крыс таково, что, как пишут французские журналисты, осужденные подвешивают свои вещи к потолку, чтобы крысы не съели их ночью.

Реформаторы предполагают, что в тюрьмы будет переведено не менее 400 тысяч осужденных. По нашим расчетам – 500–600 тыс. Напомним, что сейчас в 7 имеющихся тюрьмах отбывает наказание менее 3-х тысяч человек. Значит, сколько таких тюрем надо построить и перепрофилировать до 2016 го-



да? Не менее 500–600? (Ведь по международным правилам в тюрьме не должно находиться более одной тысячи человек.) Реально ли это в условиях финансово-экономического кризиса, который неизвестно когда закончится и какие будет иметь последствия? Или в стране некуда девать деньги? А жилье для военнослужащих? А социальное жилье? Дороги? Инфраструктура ЖКХ? И, самое главное – десятилетие намечаемой модернизации у нас будет идти под знаком тюрьмостроения? А вместо технополисов мы будем строить “тюрьмополисы”?

Откуда появятся деньги на тюрьмы, если в докладе ФСИН об основных направлениях деятельности в 2009–2011 годах отмечается, что из действующих в настоящее время технических комплексов охраны и надзора 65% разработаны и установлены на объектах в 1980–1985 годах, 30% технических средств охраны и надзора выработали по два и более срока эксплуатации. Укомплектованность подразделений охраны, режима и надзора пультами оперативной связи составляет 25%, из которых 40% выработали установленные сроки нормы эксплуатации и подлежат ремонту или списанию. Уровень технической оснащенности оперативных служб СИЗО и тюрем составляет 17,6% от установленных норм табельной положенности. Оперативные подразделения учреждений, исполняющих уголовные наказания, находятся в еще более сложных условиях, имея техническую оснащенность на уровне 12%. Значительная часть имеющихся технических средств морально устарела, ресурсные сроки их эксплуатации истекли.

Так, может быть, сначала надо обеспечить нормальное функционирование действующей системы, а потом разрабатывать глобальные проекты по ее реформированию?

Никто из разработчиков не говорит об экономическом обосновании реформы ФСИН. Но ведь деньги потребуются не только на строительство тюрем, перепрофилирование колоний. При переходе на тюремный вариант неминуемо возрастет численность личного состава самой ФСИН!

И, вообще, не создадим ли мы нечто худшее, чем ГУЛАГ? Ведь в тюрьмах в основном не будет никакой работы, ограничено пребывание на воздухе. Гноить людей заживо – это лучше ГУЛАГа?

И это прекрасно понимают обитатели нынешних колоний, особенно “паханы”, “авторитеты”, “воры” и “смотрящие”. И у них нет желания идти в “крытку” – так называют тюрьмы на “фене”. Не вызовет ли сама подготовка к такой “реформе” бунты в колониях?

Что касается колоний-поселений с “усиленным наблюдением”, то чем они будут отличаться от действующих исправительных колоний? Тем более что размещаться будут на их базах.

Колонии-поселения с обычным режимом планируется организовывать либо на больших стройках либо в городах с крупными промышленными предприятиями, где в большом количестве требуется труд невысокой квалификации.

А как здесь будут обстоять дела с охраной?

Реформу предлагается завершить к 2016 году. Это означает, что все 500–600 тыс. осужденных должны быть переведены из колоний в тюрьмы до этого срока. Но у многих сроки лишения свободы обязывают содержать их именно в колониях. Ведь перевод в тюрьму – это ухудшение положения осужденного. Здесь нужен новый приговор суда. А за одно и то же преступление и по международным нормам, и по нашим законам не судят. Значит, не просчитаны даже основополагающие положения реформы?

И самое главное. Избавит ли предлагаемая реформа ФСИН от раковой опухоли пыток, унижений, издевательств и коррупции? Станет ли система в условиях приоритета тюрьмы более открытой?

Говоря о наказании, нельзя не коснуться вопроса СМЕРТНОЙ КАЗНИ. В США, Китае никто не собирается отказываться от этой исключительной меры наказания, особенно в условиях кризиса и связанных с ним криминальных последствий. Газета Wall Street Journal в ноябре 2007 г. опубликовала результаты исследования американских профессоров Роя Адлера и Майкла Саммерса, в соответствии с которыми С КАЖДОЙ КАЗНЬЮ В КАЖДОМ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПРОИСХОДИТ НА 75 УБИЙСТВ МЕНЬШЕ.

Данные других американских исследований также подтверждают *превентивное значение смертной казни*. Так, по данным преподавателей универси-

тета Эмори, каждая казнь преступника предотвращает в среднем 18 убийств. Исследователи Хьюстонского университета подсчитали, что введенный в 2000 г. в действие мораторий на смертную казнь в штате Иллинойс прямо или косвенно спровоцировал убийство 150 человек за четыре года.

Как здесь не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина:

*Потворствовать греху есть то же преступленье;  
Карая одного, спасаю многих я.*

*Для справки. Смертная казнь в Соединенных Штатах.*

С тех пор, как в 1976 г. вновь была введена смертная казнь, в США за определенные федеральные преступления, а в ряде штатов также за убийства и насильственные преступления было казнено более 1000 человек (1976–2007 гг.).

В 1976 г. Верховный Суд США постановил, что смертная казнь не является нарушением Восьмой поправки к Конституции США, которая запрещает жестокое и необычное наказание. Это постановление было принято после десятилетнего моратория на исполнение приговоров о высшей мере наказания.

В 2008 г. в США смертная казнь грозила преступникам в 36 штатах. 14 штатов и г. Вашингтон отменили смертную казнь.

Федеральные законы, предусматривающие смертную казнь, охватывают следующие преступления, связанные с насильственной смертью: убийство с применением огнестрельного оружия вследствие приема наркотиков, нарушение гражданских прав, повлекшее за собой убийство, убийство в связи с сексуальной эксплуатацией детей, убийство в связи с угоном автомобиля или похищением человека и изнасилование с убийством. Не связанные с насильственной смертью человека преступления, которые наказуемы смертной казнью, включают в себя шпионаж, государственную измену и торговлю большими партиями наркотиков.

В России с 1997 г. исполнение смертной казни не применяется.

Количество исполненных смертных приговоров в Российской Федерации выглядит следующим образом: 1991 г. – 15 казней; 1992 – 1; 1993 – 4; 1994 – 19; 1995 – 86; 1996 – 53; 1997 – 0.

Осуждено к смертной казни: 1991 г. – 147 чел.; 1992 г. – 152 чел.; 1993 г. – 164 чел., 1994 г. – 160 чел., 1995 г. – 141 чел., 1996 г. – 153 чел., 1997 г. – 108 чел., 1998 г. – 77 чел.

Помиловано: 1991 г. – 37 чел., 1992 г. – 55 чел., 1993 г. – 149 чел., 1994 г. – 134 чел., 1995 г. – 5 чел., 1996 г. – 0 чел., 1997 г. – 0 чел., 1998 г. – 149 чел.

До ноября 2009 г. в России действовало постановление Конституционного Суда № 3-П от 2 февраля 1999 г., в соответствии с которым смертная казнь в нашей стране не может применяться, пока во всех субъектах федерации не будут созданы суды присяжных.

В конце 2008 г. наши законодатели решили вывести террористов, диверсантов, мятежников из-под юрисдикции суда присяжных. И так сконструировали новую редакцию статей УК, что теперь этим особо опасным преступникам смертная казнь не грозит. А значит, они не могут требовать суда присяжных.

Получилась полная ШИЗОФРЕНИЯ: человек, совершивший убийство, например, из хулиганских побуждений, или из кровной мести, или общеопасным способом, или убивший двух и более человек, может быть приговорен к смертной казни, а террорист, взорвавший десятки людей, – нет. **Нет для террориста-убийцы такого наказания в новой редакции УК.**

После взрывов в московском метро 29 марта 2010 г. те же законодатели потребовали применять смертную казнь к террористам. Но здесь тоже явная раздвоенность сознания.

С января 2010 г. заканчивался срок действия постановления Конституционного Суда, которое не позволяло применять смертную казнь до создания суда присяжных.

Госдума вновь уклонилась от принятия решения по 6-му протоколу о смертной казни. В Конституционный Суд обратился Верховный Суд с просьбой разъяснить ситуацию с применением смертной казни.

19 ноября 2009 г. Конституционный Суд рассмотрел этот вопрос и принял Определение № 1344-О. В этом документе говорится, что «в Российской Федерации на основе Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее правовых актов смертная казнь как наказание уже длительное время не на-

значается и не исполняется. В результате столь продолжительного по времени действия моратория на применение смертной казни, элементом правовой основы которого является Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П во взаимосвязи с другими его решениями, сформировались *устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни (? – Авт.)* и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер (“впредь до ее отмены”) и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода”.

Фактически КС отменил смертную казнь в России.

А что делают в это время американцы? Они продлили срок действия своего специального закона “Патриот” (принятого после 11 сентября 2001 г.), где **применение смертной казни за федеральные преступления распространяется на лиц, причастных к террористическим актам, приводящим к гибели людей** (в том числе тех, кто доставляет материалы для совершения терактов, тех, кто участвует в заговоре о нападении на систему общественного транспорта, и тех, кто участвует в нападении на суда и морские объекты).

Но особого уважения заслуживает ответ США на заявление Евросоюза в связи с институтом смертной казни в США (от 10 февраля 2010 г.).

Приведем полностью текст выступления временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене:

“Мы благодарим Европейский союз за выраженное беспокойство по поводу института смертной казни в Соединенных Штатах, и мы понимаем его озабоченность.

Как мы уже неоднократно указывали, применение смертной казни в Соединенных Штатах является решением демократически избранных правительств на федеральном уровне и на уровне отдельных штатов и не запрещено международным правом. Кроме того, наличие института смертной казни не является нарушением обязательств в рамках ОБСЕ. *Народ в большинстве штатов, действуя через своих свободно избранных представителей, решил продолжать применение смертной казни (выд. – Авт.)*.

Судебная система США предоставляет исчерпывающие механизмы защиты, которые необходимы для того, чтобы смертная казнь не применялась внесудебным или произвольным образом, либо в результате упрощенного судопроизводства. Действительно, по вопросу, поднятому сегодня Европейским союзом, аспекты данного дела были рассмотрены апелляционными судами штатов, федеральным окружным судом – дважды – и Верховным Судом Соединенных Штатов Америки. Верховный Суд США неоднократно выносил решение о том, что смертная казнь сама по себе не является нарушением Конституции США. Тем не менее смертный приговор может быть приведен в исполнение только с соблюдением многочисленных надлежащих правовых процедур и требований в отношении равной защиты, а также после исчерпывающего рассмотрения апелляций.

*Хотя обеспечение надлежащей защиты прав обвиняемого имеет большое значение, мы не можем забывать о жертвах и характере совершенных преступлений (выд. – Авт.)*. В данном случае Джонс в 1995 году признан виновным в совершении жестокого разбойного нападения, изнасилования и убийства Мэри Брэдфорд, при этом он также избил и подверг пыткам ее одиннадцатилетнюю дочь. Все это произошло при обстоятельствах столь тяжелых для восприятия и ужасных, что я не могу их здесь описать.

Господин председатель, вопрос о применении смертной казни по-прежнему является предметом энергичной и открытой дискуссии среди американцев, и мы передадим властям в Соединенных Штатах заявление об озабоченности, с которым выступил Европейский союз”.

Отметим здесь два важнейших обстоятельства, о которых “забыл” в своем определении Конституционный Суд России. Первое: не орган конституционного надзора, а НАРОД ДОЛЖЕН РЕШАТЬ, продолжать смертную казнь или нет. Второе: при решении об отмене смертной казни МЫ НЕ МОЖЕМ ЗАБЫВАТЬ О ЖЕРТВАХ. А Конституционный Суд больше озабочен о том, что якобы УБИЙЦЫ ПОЛУЧИЛИ УСТОЙЧИВУЮ ГАРАНТИЮ ПРАВА НЕ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТЫМИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

## Заключение

Для прогноза развития кризиса и его криминальных последствий наиболее продуктивно использовать метод *аналогии*. Вспомним, что в период “шоковых реформ”, когда рушилась российская промышленность, останавливались градообразующие предприятия, во многих регионах и городах России власть бездействовала или имитировала деятельность. Но известно – “святое место пусто не бывает”. Властные функции сразу перехватывались мафиозными, сепаратистскими, националистическими лидерами и их структурами. Долгим и кровавым был процесс восстановления ВЛАСТИ РЕАЛЬНОЙ. Во многих местах этот процесс восстановления до своего завершения так и не был доведен.

В этой связи следует согласиться с Андреем Серенко в том, “что именно российская организованная преступность (частью которой являются и коррумпированные бюрократические кланы) окажется в наибольшем выигрыше от нынешнего мирового кризиса и связанной с ним деиндустриализацией региональных экономик. Бессилие официальных властей в решении социальных проблем, разрушение промышленного образа жизни для десятков тысяч молодых мужчин, их семей, актуализация архаических практик социального и политического поведения, доиндустриальных способов жизнеобеспечения неизбежно приведут к резкому повышению социальной роли криминально-мафиозных “семей”, организованных преступных кланов. “Крестные отцы” этих “семей” (в том числе из числа высокопоставленных коррумпированных чиновников) получат возможность переключить на себя рычаги управления социально-политическими процессами во многих субъектах РФ” (А. Серенко. Архангельский реванш. Независимая газета, 18 февраля 2009).

Нынешняя возможная потеря властного управления даже на региональном уровне может стать КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ. Поэтому необходима отработка всех вариантов развития событий и алгоритмов действий.

Главное, чтобы эти алгоритмы и сами действия были направлены не против народа, массы которого кризис выбрасывает на улицу, а против криминальных структур, пытающихся использовать кризис для достижения своих *алчных целей*.

Кризис заставляет переосмысливать экономическую и социальную политику. Заставляет он *переосмысливать и уголовную политику*. Многие решения, казавшиеся правильными и устоявшимися, на поверку оказываются такими же “мыльными пузырями”, как и представлявшие правильными экономические решения.

Кризис – это и СУД БОЖИЙ и ОЧИЩЕНИЕ. Очищение всех видов политики от нароста лжи и самообмана.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## ЖРЕЦЫ И ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА

### ХV. БЕДНЫЙ БАДРИ...

*“Сколько вам заплатил этот жид?”*  
“Коммерсант”

В конце 2007 года во время предвыборной борьбы за кресло грузинского президента еженедельник “Коммерсант” опубликовал репортаж, который был тут же перепечатан русскоязычной американской газетой “Форум” с заголовком “Скандал в Грузии”:

*“В предвыборной Грузии разгорелся очередной скандал: оппозиция обвинила власти в антисемитизме. За последнее десятилетие это первый скандал в Грузии, связанный с разжиганием межнациональной розни.*

По мнению оппозиции, власть, опасаясь, что кандидат в президенты Бадри Патаркацишвили составит на выборах реальную конкуренцию действующему главе государства, решила напомнить, что бизнесмен не принадлежит к “титульной национальности”.

Скандал поднял руководитель предвыборного штаба бизнесмена Бадри Патаркацишвили, депутат парламента Валерий Гелбахиани, созвавший брифинг, на котором и прозвучали обвинения в адрес грузинских властей.

В качестве главного обвинения, прозвучавшего в адрес властей, соратники кандидата Патаркацишвили назвали разжигание антисемитских настроений. По их мнению, таким образом власти пытаются унижить кандидата Патаркацишвили и помешать ему стать президентом. Стоит отметить, что вскоре после того, как Патаркацишвили официально ушел в оппозицию, власти стали постоянно намекать на его еврейское происхождение: например, чиновники перестали называть его Бадри, а употребляли исключительно его малоизвестное “негрузинское” имя Аркадий, записанное в паспорте.

Во время разгона митинга 7 ноября “антисемитская” тема впервые была озвучена открыто – спецназовцы, разгоняющие толпу, называли демонстрантов “пособниками урия”, то есть “пособниками жида”, а также выкрикивали фразы: “Сколько вам заплатил этот жид?” и “Вашу жидовскую мать”. Частично эти выкрики были записаны оппозицией на мобильные телефоны, и одну из таких записей в воскресенье вечером продемонстрировала телекомпания “Имеди”. Комментируя эти факты, Гелбахиани обратился к специальному прокурору Гаагского трибунала с требованием возбудить против грузинских властей уголовное дело.

*“Это хороший симптом для Грузии, что грузинский еврей Бадри Патаркацишвили баллотируется на пост президента и имеет реальный шанс победить, – заявил Гелбахиани. – Грузинский и еврейский народы объединяют 26 веков дружбы. Но то, что власти раздувают антисемитскую тему, очень*

Продолжение. Начало в № 1–6 за 2010 год.

*опасная тенденция. Значит, они не могут бороться с Патаркацишвили другими, законными методами”.*

*Патаркацишвили уже подал жалобу в генпрокуратуру Грузии, в которой он констатирует нарушение прав человека в отношении себя и своих родственников. В ближайшее время кандидат подаст иск в Международный суд в Гааге – в нем он намерен обвинить власти в разжигании антисемитизма и межнациональной розни”.*

Но удивляться нечему: вполне закономерно то, что в Грузии впервые за “26 веков дружбы” появились опричники, которые стали разыгрывать в политической борьбе еврейскую карту. Эти преторианцы заразились антисемитизмом от своего хозяина Саакашвили, подхватившего в свою очередь дурную болезнь от друга Ющенко. Все закономерно: за что боролись – на то и напоролись. Но неужели не отдавали себе отчет архитекторы и организаторы “перестройки” в том, что развал Советского Союза неизбежно должен привести к вспышкам открытого антисемитизма в бывших республиках, или у них ума не хватало просчитать все последствия своего замысла? Ведь помимо ключевых фигур (Горбачев, Ельцин, Яковлев) августовского переворота (1991 г.) и октябрьского кровопролития (1993 г.) историю в это время творили не только Чубайс с Гайдаром, но и целая свара еврейских функционеров рангом помельче – Немцов, Ясин, Явлинский, Лифшиц, Уринсон, Лойко-Шомберг и т. д.

Рано или поздно им всем при жизни или посмертно придется отвечать за юдофобскую волну, искалечившую судьбы многих ни в чем не повинных евреев из Прибалтики, Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и, конечно же, из некогда любимой мной Грузии...

\* \* \*

Я очутился в Тбилиси осенью 1964 года, когда меня, как писателя и офицера запаса, направили на двухмесячные сборы в армейскую газету “Ленинское знамя” Закавказского военного округа, где главный ее редактор полковник Головастикив сразу же приказал мне отредактировать и подготовить к печати небезынтересные, но полуграмотные, написанные косноязычным русским языком воспоминания знаменитого еврея генерал-майора Драгунского, ставшего впоследствии при Брежневе главой антиссионистского Комитета советской державы. После того, как я успешно привел в божеский вид мемуары Драгунского, полковник Головастикив дал мне полную волю, и я днем, находясь якобы на службе, резался в волейбол на редакционном дворе или играл в азартные шахматные пятиминутки с поэтом и сотрудником “Ленинского знамени” Владимиром Мощенко, а по вечерам кутил в ресторанах с грузинскими молодыми поэтами.

В коридорах “Ленинского знамени” я встретился с Александром Межировым и благодаря ему в тот же вечер очутился в громадной и запущенной квартире, где хлопотала Сима Фейгина, уютная круглая женщина в домашнем халате, с обожанием смотревшая на своего мужа Эму, автора книги о легендарном еврее, Герое Советского Союза Цезаре Куникове.

В доме Фейгиных я познакомился и со всей еврейской литературной знатью, жившей тогда в Тбилиси...

Эма и Сима были добродушными, всегда улыбающимися и добродушными людьми. Эткими старосветскими помещиками еврейского происхождения. У них не было своих детей и, может быть, поэтому они стали относиться ко мне с каким-то родственным чувством: кормили, оставляли ночевать, восторженно внимали моим стихам.

В фейгинских застольях, как правило, принимали участие трое друзей – поэт Шура Цибулевский, литературный критик, и виртуозный тамада Гия Маргвелашвили, а третьим был художник, поэт и авантюрист Гоги Мазурин, в послевоенной юности тачавший модные туфли для тифлисских красавиц. На следующий день после знакомства с Фейгиными я уже бродил по древним улицам Тифлиса в сопровождении Шуры Цибулевского, бормотавшего, как заклинания: “Верейский спуск”, “Винный подъем”, “Авлабар”... Мы дошли до двухэтажного деревянного дома с обветшалыми балконами, лестницами и балюстрадами, погрузились на ощупь по темному коридору в его чрево, источающее кислые запахи грязного белья, примусов и керосинок, и, натыка-

ясь на потемневшие от времени цинковые ванны, на древние велосипеды и прочие реликвии местечкового быта, наконец-то вошли в комнату, где жил, кажется с мамой, и сочинял свои стихи Шура Цибулевский. Он достал из-под стола бутылку мукузани, обтер с нее пыль и разлил темное вино в граненые стаканы. Мы выпили, закусили чурчелой, и Шура тут же, обратив ко мне свои библейские глаза, умоляющие о внимании, что-то забормотал в рифму из своей первой, только что изданной под жеманным названием “Что сторожат ночные сторожа” книжки.

В его витиеватых стихах, сплетенных из обрывков чувств, картин и мыслей, угадывалась судьба – горестная, одинокая и даже лагерная.

*Откуда запах горьковатый?  
Так мог бы пахнуть керосин.  
Ужель команда огневая,  
Бредбериевщины фантом?  
Нет, это маме наливает  
Наш керосинщик в наш бидон.*

У Шуры было красное веснушчатое лицо, седая кудлатая голова с рыжими подпалинами. А в глазах стояла застывшая, непреходящая печаль, то ли наследственная еврейская, то ли, как я потом узнал, благоприобретенная, советская, лагерная. Я не спрашивал его о происхождении этой печали, но по одному слову “бредбериевщина” умному человеку можно было понять, что речь идет не об американском фантасте Рее Бредбери, а о знаменитом сталинском опричнике, уроженце Грузии. Когда я осторожно высказал Шуре свое предположение, он растрогался и тут же с детской непосредственностью подарил мне свою первую книжечку, видимо, бесконечно ему дорогую, с размашистой искренней надписью: “Стасик дорогой – благодарю и целую – Шура”...

С тех пор наши встречи, во время которых мы читали друг другу Мандельштама и Заболоцкого, стали постоянными и трогательными. Он всегда был благодарен мне за мое молчаливое понимание его судьбы и на титульном листе своей последующей книги “Владелец шарманки” написал: “Стасик – напоминаю о шарманках, Тбилиси и тбилисцах, встречах. Обнимаю. Твой Шура”. Точных дат, когда сделаны эти автографы, Шура, как настоящий вдохновенный заложник вечности, конечно же, не ставил. Через тридцать с лишним лет после наших свиданий, уже после смерти Шуры я прочитал в книге еще одного нашего соучастника тбилисской жизни Бориса Гасса о том, что Цибулевский в юности был дружен с Булатом Окуджавой. “Они вместе учились в университете, проходили по одному делу... Шура, как и Булат, был членом литературного кружка “Молодая Грузия”, при обыске у него нашли первое издание “Уляяевщины” Сельвинского с подчеркнутыми карандашом строчками о том, что лиру не отдаст ни третьему отделению, ни особому отделу номер три. Ему приписали статью “по знанию и недонесению”. За это Шура получил десять лет. Последние годы заключения Цибулевский провел в городе металлургов под Тбилиси. Там он подружился с двумя талмудистами и при каждом свидании просил приносить ему картошку и лук – кошерную пищу для новых товарищей... “Все дерутся за баланду, а эти верующие евреи соблюдают кошерность и ведут религиозные споры”. Вспоминать или писать о тех временах Шура не любил”. Да, это правда – не любил. Но то, что его могли посадить на 10 лет за чтение широко известной в 30-е годы и не запрещенной поэмы Сельвинского, много раз издававшейся в советское время, я не верю. Да и о своих лагерных связях с талмудистскими евреями он мне не рассказывал, и не было в его стихах и прозе ничего ветхозаветного или талмудического.

В те времена Шура Цибулевский, возможно, следуя своему кумиру Осипу Эмильевичу, изо всех сил убежал от хаоса иудейского, сгустки которого, как я понял впоследствии, живут в душе почти что каждого еврея. И проза и стихи его были трогательно несамостоятельны, похожи своей бессвязностью и разноцветностью на переливы калейдоскопа, наполненного осколками стекла, обрывками полочувств и ощущений, в которых то и дело вспыхивали мандельштамовские искорки: “шьют воздух синие стрекозы”, “вдрук за столом бутылка бренди! Ужель то самое?! На дамбе вкусим его и покорим. По-го-ворим о Мандельштаме, поговорим и погорим. Все так же ли Орланд неистов? А скат шинели тех годов? Что ж, серая, и я готов... Привет, “кузнечик муску-

листый”. В этих отрывках каждое второе слово — мандельштамовское, да и самого себя Шура ощущал, неким грузинским двойником Осипа Эмильевича, и в его покорности мелодиям любимого поэта было нечто наивное, беззащитное и фатальное. И конечно же, подражая своему божеству, он не мог не написать “Стихи об Армении”, переполненные “мандельштапами”: “И не купить у Арарат-Горы”, “мура”, “колючий быт”, “брадобрей... он мылит щеку” и так далее.

Да и вся его путевая проза о Бухаре, о Туркмении, о Дагестане была как бы зеркальным отражением мандельштамовского очерка об Армении. До осознания своего еврейства Шура должен был пройти длинный путь освоения чужих миров, соблазнительных именно своей чуждостью.

*“Дербент. Море горьковатое. Чуть горьковатое. Без листьев, но с водорослями дружественными, и тает лодка. Жара. Безумие. Жара. И все чепуха, как этот лимонад. И снова библейские старцы. Родиться евреем, родиться еврейкой в Дербенте, в Дербенте. И ходить на базар — ей, и в чайную — ему, и в баню по воскресеньям. По аллее с листьями, в рубаше, прилипшей к спине. Хорошо в дербентской бане. А часы в Дербенте показывают разное время. Оно разных планет”.*

Перечитываю его наполненные испугом перед жизнью стихи и бессвязную “бесскелетную” прозу и с тоской понимаю, что не смог бы он остаться в нынешней “свободной” Грузии, но и в новой России делать ему было нечего. Скорее всего, он совершил бы побег в “иудейский хаос”, уже поджидавший своего очередного “усталого раба”, свою очередную жертву...

Иногда мы с Шурой совершали незабываемые прогулки по пустынным улицам ночного города, разгребая ногами желтые ручьи платановых листьев, вдыхая потоки свежести, плывущей из влажного каменного русла Куры.

Шура знал, возле каких духанов еще доживают век бродячие шарманщики. Они крутили ручку своих разноцветных шарманок, из чрева которых вылетали наивные звуки старинных мотивов, однажды вылетела мелодия моей любимой с детства песни “По диким степям Забайкалья”...

*Шарманка — забытое чудо —  
откуда взялась, не пойму!  
Я так и не понял откуда,  
но вспомнил свою сторону,  
когда, то звеня, то рыдая,  
из ящичка вывалось вдруг:  
— “Бродяга, судьбу проклиная!” —  
стакан повалился из рук.*

Эту песню на послевоенном калужском базаре хриплым голосом исполнил слепой инвалид, отчаянно терзая гармошку.

Иногда мы с Шурой заходили в ночные пекарни, которых было много в тогдашнем городе. Мы смотрели, как люди в фартуках, рукавицах и белых колпаках время от времени склонялись над печами, похожими на громадные глиняные горшки, зарытые в землю, снимали с их внутренних стенок горячие лепешки и пришепывали к раскаленным стенкам кругляши из свежего теста. Шура что-то говорил пекарям по-грузински, показывал на меня, а в ответ всегда слышались радушные слова, а иногда дружеская рука протягивала нам по стопочке чачи и по куску горячей лепешки... Однажды на рассвете в ограде Кошуэтской церкви мы увидели мужчину и женщину, которая тащила за собой на веревке барашка. Мужчина связал ягненку ножки, повалил его в траву и перерезал животному горло, а женщина, набрав горячей крови в глиняный кувшин, смяла заросли крапивы вокруг церковного фундамента и окропила свежей кровью все четыре угла древнего храма. Следом за ней шел мужчина, который целовал окропленные жертвенной кровью камни. Шура поговорил с ними и объяснил, мне, что у этой крестьянской семьи кто-то очень болен или при смерти и этот древний обряд — последняя надежда.

Умер Шура в середине 80-х годов, не пережив измены своей жены, соблазненной каким-то московским литератором, прохвостом-переводчиком. Слава Богу, что он не дожил до эпохи Саакашвили, когда в антисоветской и антирусской Грузии евреев, укорененных со времен Багратидов в историю и почву, стали называть “жидами”.



Ближайшим другом Цибулевского был Гия Маргвелашвили, маленький, лысенький, усатый человек с кругленьким брюшком и походкой Эркюля Пуаро из известных фильмов. Почему он считался в Грузии выдающимся критиком и вообще властителем дум, приезжим людям понять было трудно, поскольку Гия в 60-е годы почти не писал ничего примечательного. Но когда он приподымался над застольем в белой рубашке, с волосатой грудью, и озирал орлиным взором сквозь толстые линзы своих очков наши восторженные лица, все замирали в ожидании устного шедевра, который будет сотворен на наших глазах. Многих изощренно и вдохновенно витийствующих трибунов я слышал в дни тех незабвенных кутежей – и Бесо Жгенти, и Отара Чиладзе, и Резо Амашукели, но этот невзрачный на первый взгляд грузинский еврей превосходил их всех в ритуальном священнодействии. Он начинал свою речь изда- лека (“поэт издалека заводит речь!”), медленно и загадочно импровизируя, словно какой-нибудь Луи Армстронг на саксофоне, менял регистры от “форте” до “пиано”, неожиданно взмывая до немыслимых красноречивых высот. И никогда он не повторялся, и никогда никто не мог предугадать ход его витиеватой мысли, которая, подкравшись к финалу, вдруг взрывалась, как фейерверк, последней искрометной фразой, прославляющей или одного из нас, сидящих за этим столом, или всю Грузию в целом, а то бывало, что и за Россию мы выпивали, восторженно распрямляясь во весь рост и опроки- дывая в разверстые рты какое-нибудь кахетинское, воспетое Осипом Ман- дельштамом:

*Кахетинское густое  
хорошо в подвале пить,  
пейте вдоволь, пейте двое —  
одному не надо пить.*

Правда, злые грузинские языки в минуты редкой откровенности говорили мне, что у красноречивого Ги рыльце в пушку, что в конце сороковых годов, в эпоху борьбы с космополитизмом, молодой критик, успешно делавший карьеру, написал какую-то статью, в которой приклеил ярлык космополита к славному облику своего учителя Павла Антокольского, талантливо и обильно переводившего в послевоенные годы на русский язык лучших поэтов Грузии. Но, как говорили те же языки, с той поры столько воды утекло, что и сам Павел Григорьевич то ли забыл все, что происходило во времена “культы лич- ности”, то ли простил своего легкомысленного соплеменника. Да и Гия са- моотверженной застольной работой во имя грузинской литературы давно и с лихвою искупил все грехи своей неразумной молодости.

Впрочем, несколько позже, когда я стал серьезно изучать литературную атмосферу 30-х годов, я обнаружил в недрах Ленинской библиотеки стихо- творный сборник “Павлика” (как называли Антокольского в либеральной мос- ковской среде) с названием “Ненависть”, в котором с искренним пафосом воспевалось все то, что впоследствии стало называться “Большим терро- ром”... Так что “Павлик” во искупление своих грехов мог быть наказан явле- нием Ги Маргвелашвили...

Многие ветераны советской литературы в эпоху “оттепели” как бы обре- ли, если говорить словами Пастернака, “второе рождение” Известный критик Иосиф Гринберг, прославлявший в 30-е годы чекистскую поэзию Эдуарда Ба- грицкого и утверждавший, что его “поэзия затмила и отодвинула в сторону по- эзию Есенина”, в 60-е годы, встречаясь со мной во дворе нашего писатель- ского кооперативного дома, с азартом расспрашивал меня, вернувшегося из Тбилиси, как там поживают Симон Чиковани или Карло Каладзе, и, закаты- вая громадные черные глаза и вздымая выбритый до синевы подбородок, на- чинал с артистическим завываньем читать грузинские стихи Осипа Мандель- штама:

*Человек бывает старым,  
а барашек молодым,  
и под месяцем поджарым*

С наслаждением продекламировав изящный стишок Мандельштама, за-  
павший ему в душу с молодых лет, Иосиф Львович склонил ко мне на грудь  
свою седую шевелюру и проникновенным голосом спросил: — А как там в Гру-  
зии принимали нашу Белочку?

Белла Ахмадулина как раз в то время становилась культовой фигурой в  
среде русскоязычной и грузинской интеллигенции, особенно после стихо-  
творенья, где изображался обед на даче переделкинского критика, в кото-  
ром Гринберг мог узнать и себя и восхититься фрондерской строчкой: “За  
Мандельштама и Марину я отогреюсь и поем”. Я порадовал душу старого  
еврея Гринберга, рассказав ему, что “Белочкой восхищалась вся грузин-  
ская интеллигенция”, особенно после того, как она в Кахетии, куда нас при-  
вез Иосиф Нонешвили, на веранде деревенского дома, увитой виноградны-  
ми лозами, после того, как в застолье Феликс Чуев провозгласил тост за  
“великого сына грузинского народа Иосифа Виссарионовича Сталина”, ныр-  
нула на мгновение под стол, сорвала со своей ножки туфельку и, отчаянно  
взвизгнув, запустила ее, как из пращи, в закоренелого сталиниста... За-  
столье после подобного скандала должно было бы немедленно развалиться,  
но положение спас кто-то из грузинских евреев: то ли Боря Гасс, то ли вез-  
десущий Гия Маргвелашвили. Не дав никому опомниться, он подхватил чуть  
ли не на лету туфельку, мгновенно плеснул в нее дымящейся виноградной  
водки и выпил сразу за обоих именитых гостей — за поэта с огненным граж-  
данским темпераментом Феликса Чуева и за божественный лирический та-  
лант Беллы Ахатовны.

На другой день весь литературный и даже партийный Тифлис полнился  
слухами о происшедшем. Потрясенный случившимся бывший ЗК сталинской  
эпохи Шура Цибулевский даже написал стихотворенье о том, как Белла после  
вечерней пьянки восстанавливает свою красоту при помощи народных снадо-  
бий, именуемых “хаши” и “чача”, с эпиграфом из ее же стихотворенья: “обуг-  
ленных желудков черноту позолоти своим подарком хаши”.

...Выслушав мой рассказ, старый, умудренный жизнью еврей Иосиф  
Львович Гринберг, не говоря ничего лишнего, еще раз, как замороженный,  
пробормотал мандельштамовскую строчку: “пейте вдоволь, пейте двое, одно-  
му не надо пить”...

Ахмадулина, швырнув в Чуева туфельку, тут же стерла со своего лица гри-  
масу отвращения, словно актриса, сыгравшая роль и тут же позабывшая и о  
Сталине, и о Чуеве, и о туфельке.

Помню, что именно это удивило меня на той пахнущей орехами, виногра-  
дом и киндзой веранде, но много позже, прочитав книгу дневников ее быв-  
шего мужа Юрия Нагибина, я понял, что такого рода сцены во время засто-  
лья были у нее хорошо отретепированными акциями “пиара”, если говорить  
сегодняшним языком. Нагбин рассказывает, как однажды в ресторане Дома  
литераторов он увидел компанию во главе с Евгением Евтушенко, который  
пригласил его за свой стол:

*“Компания сидела на веранде за довольно большим столом, кругом ни-  
кого не было, видимо, Женя распорядился не пускать “черную публику”. Он  
угощал своего боевого друга, корреспондента “Правды” во Вьетнаме, куда  
Женя недавно ездил. В подтексте встречи подразумевались подвиги, боевая  
взаимовыручка, спаявшая навеки правдиста и поэта, и прочая фальшивая че-  
пуха. Но в глубине души Женя не очень доверял своему соратнику и нес ан-  
тиамериканскую окоlesiцу. Ахмадулина решила отметить мое появление то-  
стом дружбы:*

— Господа! — воскликнула она, встав с бокалом в руке. — Я пью за Юру!..

— Сядь, Беллочка. Я не люблю, когда ты стоишь, — прервал Евтушенко,  
испуганный, что Ахмадулина скажет обо мне что-то хорошее. (Испуг его был  
лишен всяких оснований).

— Я должна стоять, когда говорю тост. Я пью за Юру. Пусть все говорят,  
что он халтурщик...

— Сядь, Беллочка! — мягко потребовал Евтушенко.

— Нет, Женя, я и за тебя произносила тост стоя. Так пусть все говорят,  
что Юра киношный халтурщик... — она сделала паузу, ожидая, что Женя ее

опять прервет, но он внимал благосклонно, и Белла обернулась ко мне. — Да, Юра, о тебе все говорят: халтурщик, киношник... А я говорю, нет, вы не знаете Юры, он — прекрасен!.. — И она пригубила бокал.

А Б. Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Актриса она блестящая, куда выше Женьки, хотя и он лицедей не из последних. Белла холодна, как лед, она никого не любит, кроме — не себя даже, а производимого ею впечатления. Они оба с Женей — на вынос, никакой серьезной и сосредоточенной внутренней жизни. Я долго думал, что в Жене есть какая-то доброта при всей его самовлюбленности, позерстве, ломании, тщеславии. Какой там! Он весь пропитан злобой. С какой низкой яростью говорил он о ничтожном, но добродушном Роберте Рождественском. Он и Вознесенского ненавидит (...); и мне ничего не простил.

3 сентября 1972 г.”

Вот какова была по наблюдениям либерала и юдофила Юрия Марковича Нагибина наша русскоязычная литературная тусовка 60–70-х годов прошлого века, дружно поддерживавшая в октябре 1993 года расстрел демократического парламента.

\* \* \*

В Тбилиси я вел легкомысленный образ жизни и вскоре стал желанным гостем во многих известных домах и своим человеком для многих представителей местной элиты, носивших славные грузинские фамилии.

... Я заходил в гости к седовласому Ладо Гудиашвили, знаменитому художнику, учившемуся в молодые годы живописи во Франции, который угощал меня каким-то редчайшим имеретинским мутноватым вином и водил по своей необъятной, с потолками эрмитажной высоты квартире с затянутыми паутиной потолками, показывая громадные — чуть ли не во всю стену — картины, где были изображены олени с изящно изогнутыми шеями и грузинские красавицы с шеями, не уступавшими по красоте линий шеям оленям.

По вечерам мы не раз пировали с отпрыском знатного рода Петром Багратиони, автором знаменитой в те годы песни “Тбилисо”, которую без конца исполняли во всех ресторанах, благодаря чему ее создатель имел свой столик и открытый счет в такого рода заведениях. Я тоже вносил свою лепту в атмосферу этих кутежей, когда Петр после исполнения его “Тбилисо” выходил на ресторанный подиум и объявлял всему залу, что его русский друг “Стасык” сейчас прочитает стихотворенье “Грузинские тосты”, которое написал только вчера после посещения (тут произносилось имя ресторана или духана, в котором мы находились):

*Давно не доверяющий словам,  
звучащим патетично и обманно,  
я поднимал доверчиво стакан,  
учился говорить высокопарно.*

*Высокопарно... Высоко парить...  
Забывший смысл угадываю снова.  
Учись красноречиво говорить  
и как вино, продегустируй слово.*

*Что говорить? А что придет на ум.  
Как говорить? Как на душу положит.  
Подковой золотой лежит Батум,  
и море это золото полощет.*

*А север пьет, словами дорожа,  
здесь хмурятся, свою судьбу поведав...  
на юге тосты ходят не спеша  
и азбукою служат для поэтов.*

*Не торопись. Спокойно постигай  
искусство говорить неделовито,  
не суетись и сердцем понимай,  
что так в горах рождается лавина,*

*которая смешает все подряд,  
а смешивать вино небезопасно  
в стране, где птицы высоко парят  
и люди говорят высокопарно.*

Стихи принимались на “ура” и в ресторане, и на улице, и в уютной квартире Фейгиных.

А утром в мой гостиничный номер стучался отпрыск знатнейшего грузинского рода Тархан-Моурави, узкоплечий, совершенно спившийся, но все равно знаменитый молодой человек с трясущейся головой, покрытой местами редким пухом, и мы шли в хашную (где посетители с почтением вставали при его появлении) и восстанавливали расстроченные в ночных кутежах силы при помощи граненой стопки чачи и янтарного хаши, колыхавшегося в грубых глиняных мисках (“пейте вдоволь, пейте двое – одному не надо пить!”).

Пить кофе мы заходили к Додиду Давыдову – блистательному фотохудожнику, сделавшему несколько моих портретов, которыми потом я оформлял московские издания своих книг. Меланхоличный Додик владел одной комнатой, но не где-нибудь, а на проспекте Руставели в громадной коммуналке старинного дома. Комната была одновременно его кухней, его спальней, его кабинетом и его фотоателье. Окна комнаты и днем и ночью были занавешены плотными темно-красными одеялами. В блаженной полутьме Додик чудодействовал при свете красного фонаря над своими ванночками, в которых плавали, постепенно обретая жизнь, то лики заезжих знаменитостей, то изображения грузинских проституток в таких позах, которые не снились ни Ренуару, ни Тулуз-Лотреку. Додик заманивал их к себе, чтобы снять обнаженную натуру и доказать всему миру, что их изображения в его исполнении есть вершина подобного жанра.

\* \* \*

Мой младший друг Сергей Алиханов, с которым я познакомился в Тбилиси полвека тому назад, написал печальную и саркастическую поэму “Плач по Мазурину”, который был колоритнейшей фигурой тбилисской жизни шестидесятых годов.

Одно такое произведение существует в русской поэзии: “Плач по Сергею Есенину” Николая Клюева. Не знаю, читал ли Алиханов клюевский шедевр, но в любом случае он сделал все, может быть, сам того не понимая, чтобышний раз подтвердить, что рано или поздно трагическая суть одной эпохи отзовется в следующей неизбежным фарсом:

*Вы летчик и боксер,  
любовник балерины,  
защитник, так сказать,  
прохожих и витрин.  
Вас выпестовал сброд  
родного Воронцова.  
Все верили:  
из Вас получится бандит.  
Все думали:  
почет и власть Вам предстоит,  
но погубило Вас  
бессмысленное слово.*

О поэте и художнике Гоге Мазурине рассказывали, что после войны он на каком-то боксерском турнире местного масштаба встретился с великим бок-

сером тех времен Николаем Королевым. Но так как их в тяжелом весе было лишь двое, то, когда они оба вышли на ринг, Мазурин, сделав пару движением перчатками, рухнул на пол перед чемпионом Советского Союза, который не задел его ни единым взмахом. Судья, как и положено, довел счет до десяти, и в результате Мазурин занял в тяжелом весе второе место после великого Королева, получил почетную грамоту, какой-то приз и, что самое главное – долгие годы ореол этой славы мерцал над его головой.

А что касается строки Алиханова “любовник балерин”, то мазуринский роман с немолодой, но знаменитой балериной Верой Цигнадзе протекал на моих глазах, когда она приходила в гости к Фейгиным со своим “бойфрендом” и молчаливо проводила вечера за столом, выбирая из вазы тонкими пальцами спелые виноградины и выслушивая тосты в свою честь.

Она приглашала нас в грузинский театр оперы и балета, и я в конце концов написал по просьбе Мазурина стихотворенье, прославляющее Веру в роковой роли несчастной Жизели.

*Танцуй, Жизель! Танцуй, пока с тобою  
любимый твой! Очерчивай круги,  
взлетай над ошарашенной толпою  
физическим законам вопреки.  
Последний круг. Не будет поворота  
обратно в мир. Уносит навсегда  
тебя, Жизель, предчувствие полета  
в пространство,  
в зал,  
на сцену,  
в никуда.*

Кроме “бессмысленного слова” и романов с балеринами Гоги Мазурин увлекся еще одним пагубным проектом: он решил стать знаменитым живописцем и нарисовал темперой на картоне несколько десятков картин, разоблачающих сталинские преступления. Пирамиды черепов, наподобие верещагинских, колонны арестантов, шествующих из лагерных ворот, вышки с охранниками, собаки-овчарки на снегу, тулупы конвойных – со всем этим модным джентльменским набором плакатных ужасов Мазурин отправился в Москву и даже добился выставки то ли в Доме литераторов, то ли на Кузнецком мосту. О выставке что-то лестное было сказано по вражескому “Голосу Америки”. Выставку посетил сам Константин Симонов. Шестикратный лауреат Сталинской премии прошелся по ней с трубкой в зубах, одобрительно покачал головой и исчез. На этом попытка Мазурина ухватить за хвост жар-птицу славы закончилась. Опечаленный Мазурин вернулся со своими картонками в родную Грузию. Я встретил его в Москве перед отъездом сильно пьяного в баре Дома литераторов. Крупный, телесный, с лицом и подбородком, как будто вырубленными из смуглого камня, с гривой черных, жестких, словно конская грива, волос, с манерами неутомимого брачного афериста, он захотел в хрущевскую эпоху задолго до Тенгиза Абуладзе с его “Покаянием” разыграть антисталинскую карту. Но столько тогда появилось игроков более талантливых, более изощренных, нежели этот тифлиссский провинциал! Недоумение было написано на его лице: как же так? Вроде приняла его либеральная Москва с распростертыми объятьями и вдруг охладела? Может быть, потому, что картон – материал не для вечности, и писать на нем – все равно, что на заборе?

Мы выпили по рюмке и попрощались без лишних слов, я не стал ему говорить, что его “окна РОСТА” всегда были мне не по душе. Зачем сыпать соль на раны?

А все-таки человек он был незаурядный, послевоенный, простонародный. И не случайно его облик всплыл сегодня в моей стариковской памяти. Может быть, мы с Сергеем Алихановым последние в этом мире, кто помнит о том, что в наше время жил на белом свете обаятельный enfant terrible, тифлиссский кинто, незадачливый поэт и художник Гоги Мазурин. В алихановском “Плаче” его выставочная эпопея изображена таким образом:

*Мазурин! Два часа американский голос  
угрюмую Россию просвещал,*

*с глушилками его волна боролась,  
картинам Вашим на сыром картоне  
он славу и бесстрашье предвещал.  
И Вы свернули в трубочки картины  
.....  
и канули из выпренной Москвы.  
Да, многих прокормило ремесло.  
Поэзия загнала в гроб немногих.  
К числу забытых, жалких и убогих  
принадлежал Мазурин. Но сожгло  
его нутро отнюдь не вдохновенье.  
Он бросил в воды мутные забвенья  
две книжки неотесанных стихов.  
В них изобилъе очень сильных слов.  
Он там кричал, в экстаз входил и в раж  
и к вечности стремился приобщиться,  
а после долго бегал к продавицам,  
скупая в магазинах весь тираж.*

Каюсь, что я не читал этих книжек, потому что мы с ним после его неудавшейся попытки завоевать Москву больше не встречались. И что потом стало с его картинами на “сыром картоне”, я не знаю. И не знаю, где и когда он был похоронен после своего последнего инфаркта. Но об этом знает Сергей Алиханов.

*Мазурин!  
Где-то там под зеленью густой.  
под праведной, под теплою землей  
лежите с миром Вы.  
Крест осеняет Вас,  
корнями тянутся к Вам сильные растенья,  
вас посещало в жизни вдохновенье,  
Бог миловал, но все-таки не спас.*

Последняя строчка, видимо, навеяна Алиханову гениальной лермонтовской эпитафией “На смерть князя Одоевского”, умершего в Абхазии:

*“но свет не пощадил, но Бог не спас...”*

“Я человек холодного ума”, — писал о себе Алиханов, юный очевидец тифлисской жизни тех лет. И он был прав.

\* \* \*

Почти все мои новые тогдашние друзья из грузинского еврейства работали либо в издательстве “Заря Востока”, либо в “Мерани”.

Впрочем это была традиция, сложившаяся при нэпе, которую Сергей Есенин, гостивший в Тифлисе за год до своей смерти, даже изобразил в шуточном стихотвореньи, сочиненном после нелегких, но все-таки увенчавшихся успехом усилий по изъятию из кассы издательства “Заря Востока” гонорара, столь необходимого поэту для существования в разоренном гражданскими распрями городе:

*Ирония! Вези меня! Вези!  
Рязанским мужиком прищуривая око,  
Куда ни заверни — все сходятся стези  
В редакции “Заря Востока”.*

*Приятно видеть вас, товарищ Лифшиц,  
Как в озеро, смотреть вам в добрые глаза,  
Но в гранки мокрые вцепившись,  
Засекретарился у вас Кара-Мурза.*

*Поэт! Поэт!  
Нужны нам деньги. Да!  
То тупфи лопнули, то истрепалась шляпа,  
Хотя б за книжку тысячу дал Виран,  
Но разве тысячу сдержишь с Вирана?*

Вот так и я, переводивший для издательств “Заря Востока” и “Мерани” стихи действительно блистательных поэтов – Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Шота Нишнианидзе, Отара Чиладзе, приходил с утра в издательство и начинал выяснять его гонорарные возможности. В первую очередь надо было поговорить с редакторами – Борисом Гассом, Мишей Вайнштейном, Мишей Лохвицким, Аидой Беставашили, которая была в восторге от того, как я перевел по ее просьбе стихи Георгия Леонидзе. Однажды она выразила свои восторги в письме: “9 июня 1967 г. Стасик! я пишу о своем впечатлении от переводов Леонидзе. Оно очень сильное, и боюсь, что в письме всего не выразишь. Если в двух словах, то “Есенин”, “Солнце Грузии” и “Солнце кровоточащее” – великолепны. А остальные четыре – задумалась, как бы определить их, и тоже решила, что – великолепные, только по своему, по-другому. В “Есенине” есть такие блистательные вещи, как – “мчатся сани, кони храпят, бубенцы то поют, то плачут, вьюга бесится, дни горят, **жизнь гуляет, а юность платит**”. Или – “Я кричу ему: не спеши в петлю лезть соловьиным горлом”. Или конец. Чтобы не переписывать всего стихотворенья, просто поблагодарю тебя за него и за всю “великолепную семерку”. Посылаю “Ниноцминду”, помня о том впечатлении которое произвело чтение его на встрече с институтом литературы <...> Еще посылаю 3 стиха Отара, как всегда прекрасных. Книгу твою “Метель заходит в город” девицы мне зачитали вконец, пропагандирую я Вас изо всех сил и не без успеха. А впрочем, слава Ваша в этом не очень и нуждается, Все наши – и Миша, и Майя, и Камилла кланяются тебе. Большой привет от Марики Чиковани. Она готовит для тебя много подстрочников посмертных (и чудесных!) стихов Симона, которые должны выйти отдельной книгой.

*Пиши, переводы, присылай. Аида”.*

Скоре она переехала в Москву и после дискуссии “Классика и мы” перестала со мной здороваться. Sic transit gloria mundi! Римляне – правы. А переводил я не жалея времени и вдохновения, настолько хорошо, что грузины в конце концов оказали мне высшую честь, издав в Тбилиси книгу, из трех разделов: мои собственные избранные стихи, мои стихи о Грузии и мои избранные переводы из грузинских поэтов. “Золотые холмы” вышли в блистательном оформлении тиражом в 7 тысяч экземпляров, издательство было передо мной в долгу, и главная моя задача теперь заключалась в том, чтобы получить гонорар и расплатиться за гостиницу, где администраторы уже хмуро поглядывали на безнадёжного должника.

Когда я узнавал от моих еврейских “агентов”, что денежки в издательской кассе есть, то смело шел в кабинет директора издательства Карло Каладзе. Он сидел за дубовым письменным столом, обрамленный короной седых, падающих на плечи кудрей, похожий телом на огромный бурдюк. Его тучное тело – в поясе не менее чем в два обхвата. Когда Карло выходил из-за стола, оно опиралось на две коротеньких ножки.

– А, Станислав, ну рассказывай, с кем выпивал вчера, где гуляли? Смотри, будь начеку с нашей молодежью – с Резо Амашукели, с Гурамом Асатиани, тебе, москвичу, перепить их невозможно!

– Карло Ражденович! – вклинивался я в его монолог, – за гостиницу задолжал, в буфете в долг питаюсь. Ну и приходится ужинать за счет грузинских поэтов. Сегодня уже приглашен на ужин в “Белый духан” братьями Чиладзе. А там ведь без вина не поужинаешь. Подпишите, батона Карло, распоряжение в кассу! – Но хитрый Карло, который ждал от меня перевода его поэмы о создании колхозов в Грузии, являвшейся, на мой взгляд, скверной копией “Страны Муравии” Александра Твардовского, всячески избегал разговора об авансах, пока я не закончу перевод. Когда я приносил ему очередную главу и читал ее вслух, Карло молча слушал, вытирая пот, катившийся с его красного разгоряченного лица, потом протягивал руку, брал мои странички, сопя, читал их, медленно шевелил губами, потом делал скорбное лицо:

– У Пастернака лучше! – и печально замолкал, как бы забывая о моих финансовых притязаниях. А дело заключалось в том, что в 30-е годы, на мою беду, одну из глав поэмы перевел Борис Пастернак, и с той поры Карло браковал все попытки перевести его эпохальную поэму на русский язык. Но я решил покончить с этим пастернаковским комплексом:

– Батоно, почему у Вас такое красное лицо?

– Давление, Станислав, давление! – горестно вздыхал Каладзе.

– Борис Леонидович Пастернак, – жестоко продолжал я, – умер, и нового Пастернака с таким давлением Вы не дождетесь. Я перевел поэму не хуже его. Подписывайте платежку, Карло Ражденович!

Окончательно раздавленный моими доводами, папа Карло дрожащей рукой поставил на платежке закорючку и протянул мне листочек.

– В кассу? – радостно спросил я.

– Нет, кинто, – горестно уточнил папа Карло, – к Марку Израилевичу!

Марк Израилевич был точь-в-точь клоном или ближайшим родственником финансового министра из “Зари Востока”, которому посвятил стихи Сергей Есенин. Он покрутил платежку перед близорукими глазами, ощупал ее, понюхал, словно не веря, что его директор совершил такую грубую ошибку, допустив меня к кассе. Потом, видимо, убедившись, что перед ним не фальшивое авизо, а подлинный документ, черкнул на платежке свою закорючку и поднял от стола лучезарный лик, обрамленный, как у Каладзе, венчиком белоснежных прядей, и, словно награждая меня орденом, привстал, протягивая мне платежку:

– Поздравляю Вас, молодой человек! Идите в кассу! – и снова уложил свое тело, очертаниями повторявшее тело Каладзе, в кресло. Субординация была соблюдена – Карло Ражденович царствовал, а Марк Израилевич управлял, будучи одновременно министром финансов у подножия царского трона.

\* \* \*

Однажды осенью я вместе с Гурамом Гвердцители, Гурамом Асатиани и Борей Гассом, прослышав, что в Ереване открылась выставка модного в интеллектуальных кругах художника Роберта Фалька, уселись в “Волгу” и покатали к Пушкинскому перевалу.

Ехали весело, останавливались в придорожных забегаловках, закусывали армянский коньяк севанской форелью и потому едва-едва успели на выставку. Потом, правда, заглянули в мастерскую Мартироса Сарьяна, а ночевать – поскольку в ереванских гостиницах для гостей из Грузии не нашлось места – нам пришлось в пустующем Доме творчества в селении Цахкадзор... Я подзабыл подробности этой поездки, но, к счастью, недавно мне попала в руки книга Бориса Гасса, изданная в Лондоне, где он вспоминает:

*“Всю ночь мы резались в карты и пили коньяк.*

*Утром Стасик Куняев, которому “опостытели эта Армения и мытарства”, улетел в Москву. Ну а мы помчались домой, в Тбилиси.*

*Вскоре я получил от Куняева почтой книгу со стихом, написанным на форзаце от руки:*

*Я помню, помню, Боря Гасс,  
Я видел это сам воочию,  
Как выжимал ты полный газ  
В Армении осенней ночью.*

*Армянский национализм  
Нам, правда, кое-что испортил,  
Но мы всю ночь рубились в покер  
И пили... Словом, не сдались.*

Меня тогда резанул его шовинизм по отношению к армянскому чувству национальной гордости, но кто мог предположить, что эти искорки разгорятся в пламя антисемитизма и приведут С. Куняева в “Огонек”? Впрочем, Василий Аксенов как-то при мне назвал его охотнорядцем. В результате оба они ходили с синяками под глазом...



Многое сходит с рук в общем-то серенькому парню и посредственному поэту Станиславу – даже то, что взятые им напрокат у М. Светлова слова “добро должно быть с кулаками” прославили не автора, а Куняева. . .”

Смешно, конечно, что Гасс увидел в моем шуточном стишке “шовинизм по отношению к армянской национальной гордости”, стилистику оставляю на совести автора, как и его комментарий к нашей ссоре с Аксеновым, которая на самом деле выглядела так: как-то с утра грузинские поэты подъехали к нам в гостиницу и уговорили “поправить головы” – съесть по горячей миске хаши и выпить по стаканчику чачи. Мы спустились на первый этаж в ресторан, который был еще закрыт. Но для желанных гостей. . . Словом, вскоре мы сидели в громадном пустом зале и подымали тосты друг за друга.

Василий Аксенов, сидевший напротив меня, быстро захмелел и совсем некстати, вспомнив московскую жизнь, начал ругать моего друга Анатолия Передреева, имя которого почему-то возникло за столом. И что поэт раздутый, и что пьяница и хам, и антисемит. . . и вообще, – вдруг, распалив себя до предела, заключил Василий Павлович, – вы все любимцы черносотенного ЦК – и Передреев, и Кожинов, и Фирсов! Все вы там днюете и ночуете!

Увидев, что грузинские поэты внимательно слушают его речь и что-то мо-тают себе на ус, я сразу отрезвел и перебил Аксенова:

– Знаешь, Вася! Ни Передреев, ни я в ЦК дороги не знаем. Но я допускаю, что если Володя Фирсов идет к Суслову с парадного входа, то в это же время Евтушенко или ты с черного хода от Суслова выходите!

Взбешенный Аксенов перегнулся через стол и попытался вlepить мне пощечину. Но я был трезвее – успел уклониться, а мой ответный удар оказался более точным.

Падая со стола, зазвенели тарелки и бокалы. Соображая, что завтрак окончен и что надо избежать окончательного и крупного скандала, я рывком поднялся из-за стола и пошел через зал к выходу. Аксенов, вырвавшись из волосатых рук Бори Гасса, бросился за мной вдогонку. Я уже был у входной двери и мог бы уйти, чтобы избежать скандала, но на нас глядели ошеломленные грузинские поэты, и я понял, что сегодня же весь город узнает, что Станислав Куняев убежал от Аксенова! Я развернулся спиной к стене ресторана, обитой коричневым дерматином, и тут же мне пришлось, как боксеру, уклониться от аксеновского кулака раз-другой, одновременно отвечая ему своими мгновенно воскресшими приемами уличной драки. Когда подбежавшие грузинские друзья рзняли нас, синяков и ссадин на его лице было все-таки больше, чем на моем. Вечером нам обоим нужно было выступать в драматическом театре. Дабы спасти положение, жена Окуджавы Оля по просьбе Булата позвала нас к себе и умело при помощи крема и пудры заштукатурила все повреждения на наших лицах.

. . . Когда мы прилетели с Васей в Москву, то тут же во Внуково двинулись в буфет, взяли бутылку коньяку и долго изливали друг другу душу, мирились, обнимались. . . Но, конечно же, трещина между нами с того тбилисского утра постепенно становилась все шире и шире.

\* \* \*

Однажды в разговоре с Межировым я заметил, что Грузии повезло, поскольку в ее литературной элите немало образованных и талантливых представителей еврейского племени, вросших в грузинскую почву.

В ответ Александр Петрович даже с некоторой гордостью добавил, что и в жилах Багратидов была еврейская кровь, и потому грузинская община одна из самых древнейших на Кавказе.

У Межирова как раз незадолго до моего появления в Тбилиси вышла в издательстве у Марка Златкина толстая книга – стихи о Грузии и переводы из грузинских поэтов. На обложке был изображен автор – с крупными губами, курчавой складкой волос, с узким миндалевидным глазом от переносицы до уха. . . Словом, это бы почти наскальный рисунок в профиль древнего египтянина из Долины Царей. Рисовал Межирова модный в те годы художник Юрий Васильев, который до предела выявил семитскую сущность персонажа, что, конечно, не было случайным капризом художника. Этим изображением художник как бы посылал знак грузиноязычной еврейской интеллигенции, что-

бы она понимала, кто есть кто, после чего Александр Петрович стал в Грузии своим человеком...

А то, что грузинские евреи народ начитанный, я понял, когда румянощекий, усатый Боря Гасс, увидев в моем гостиничном номере цветаевский сборник “Лебединый стан”, подаренный мне в Москве одним американским филологом (впоследствии оказавшимся сотрудником ЦРУ), ахнул от восторга, и я, зная, что если уж что дарить, то такое, чтобы самому было жалко, протянул ему драгоценную книжечку и щедро, по-грузински, сказал: “Дарю!” Боря прижал сборник к сердцу и тут же побежал в буфет за коньяком, чтобы сделать дарение необратимым фактом. А с Фейгиными – Эмой и Симой последний раз мы встретились в Дубултах, в середине 80-х годов, когда советский корабль, расшатанный усилиями многих его пассажиров, уже скрипел вовсю и кое-где в нем появлялись течи. Семья Фейгиных уже знала про мои художества на дискуссии “Классика и мы” и о письме в ЦК по поводу “Метрополя”, да и я знал, что их любимый племянник Марик стал диссидентом и то ли уехал, то ли собирался уехать в Израиль. Тем не менее, мы обменялись грустными улыбками, я купил арбуз, навестил их в номере, мы съели арбуз, вспоминая о лучших временах. Разговаривал я лишь с Симой, Эма говорить не мог, у него был рак горла, мы обнялись и расстались, понимая, что больше не увидимся никогда.

\* \* \*

“Воспоминанье прихотливо”, как писал Владислав Ходасевич, и всех грузинских евреев я сегодня вспоминаю с нежностью. И молчаливого волшебника Додика, который прожил жизнь в комнатке с окнами, занавешенными байковыми одеялами; и худого, надменного Владимира Мощенко, о котором Межиров написал: “а у Мощенко шахматный ум, он свободные видит поля”; и похожего на пингвинчика с усиками Гию Маргвелашвили, златоуста, тамаду, красная; и Марка Израилевича Златкина – скупого рыцаря издательской кассы, оберегавшего нас от мотовства и неуважения к твердой советской валюте; и даже Бориса Гасса, как бы скверно он ни отзывался обо мне в своих мемуарах, за его благоговение перед обликом Марины Цветаевой. И, конечно же, мне мил Георгий Мазурин – человек неизвестной национальности, в белой рубашке, с грудью, увитой черным курчавым волосом, похожий в профиль на вепря, с тяжелым золотым перстнем местной работы на толстом безымянном пальце левой руки.

Воспоминанье прихотливо... Начал я эту главу размышлениями о противоестественной вспышке антисемитизма в Тбилиси, когда отряд центурионов, словно стая коршунов, набросился на толпу несчастных демократов, объединенных именем Бадри... Бедный Бадри не выдержал такого надругательства над своим именем в родном Тбилиси и умер от огорчения в туманном Альбионе. А теперь над его наследством, как коршун, кружит бывший его партнер, а ныне оголодавший хищник Борис Березовский...

Ну добро бы холопы Саакашвили обвинили Бадри, в чем он действительно виноват: в преступной приватизации, в присвоении совместно с Березовским общенародной собственности и т. д. Но нет, это справедливое обвинение не интересовало грузинских опричников: они обвинили Бадри-Аркадия в том, в чем нельзя обвинять человека: поиздевались над его происхождением, с криками “Урия!”, “Жид!”, “Жидовская мать!”... Бедная Грузия... Бедные Багратиды... Бедный Бадри...

*(Продолжение следует)*

АЛЕКСАНДР АРЦИБАШЕВ

## НЕ УГАСАЙ, ТИМОНИХА

*В древней Вологде прошла Всероссийская научно-практическая конференция “Инновационное развитие сельских территорий”. В ней приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Михаил Николаев, начальник департамента социального развития территорий Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Торопов, главы муниципальных образований, общественные деятели, ученые, руководители сельскохозяйственных организаций, фермеры. Потенциал агропромышленного комплекса региона огромный. Здесь есть что посмотреть. В первый день работы конференции гости побывали в Шекснинском, Усть-Кубинском, Грязовецком районах, в Спасском и Новленском сельских поселениях Вологодского района. За “круглым столом” были обсуждены важнейшие проблемы: развитие предпринимательской деятельности и потребительской кооперации, активизация жилищного строительства, подготовка кадров для АПК, создание социокультурных центров на базе общеобразовательных средних школ и другие. Но основной разговор состоялся на пленарном заседании, где довольно обстоятельно была проанализирована ситуация в агропромышленном комплексе. Прозвучали конкретные предложения, как вывести деревню из финансово-экономического кризиса, нарастить производство сельскохозяйственной продукции, обеспечить занятость населения. Столь мощный “мозговой штурм”, думается, поможет крестьянам решить многие насущные проблемы.*

*В конференции участвовал и председатель Общественного совета по возрождению деревень, сопредседатель Правления Союза писателей России Александр Арцибашев. Его раздумья о поездке в вологодскую глубинку публикуем в этом номере.*

С великой печалью воспринял из Вологды весть о том, что в родной деревне писателя Василия Ивановича Белова – Тимонихе, что в Харовском районе, не осталось ни одного жителя. Помнится, работая в сельском отделе газеты “Правда”, часто звонил туда и подолгу беседовал с Беловым о крестьянских бедах. В отсутствие писателя к телефону подходила его покойная матушка Анфиса Ивановна – мудрая, рассудительная, душевная женщина. До сих пор в памяти ее проникновенный голос. Жаль, не довелось увидеться. Сам Василий Иванович в последние годы сильно хворает и редко выбирается в деревню. Разве друзья свозят по лету на денек-другой в родной дом, чтобыдохнул вольного воздуха, попарился в баньке. Мне кажется, это поддерживает его больше, чем лекарства. Представляю, сколь тяжело Белову думать об исчезающей крестьянской России...

Купив билет на поезд в Вологду, позвонил другому классику русской литературы Юрию Васильевичу Бондареву. В свои восемьдесят шесть лет за-

щитник Сталинграда, участник битвы на Курской дуге, автор знаменитых романов “Горячий снег”, “Батальоны просят огня”, “Тишина”, “Берег”, “Выбор”, “Искушение” и многих других, так же как и Белов, очень остро переживает за судьбу деревни, заброшенные поля, редущие год от года мужицкие подворья.

— Кто же будет кормить страну? — спросил меня Бондарев. — Ведь это чудовищно: вырезано две трети коров, впусе десятки миллионов гектаров пашни...

— Действительно, дошли до края, — ответил я. — Ситуация в деревне очень тяжелая: ни зерно, ни мясо, ни молоко не приносят крестьянам прибыли, а работать себе в убыток никто не будет.

— Почему же раньше-то колхозы имели миллионные доходы?

— Государство не стояло в стороне от деревни. Почти пятая часть бюджета направлялась на развитие сельского хозяйства. Было мощное тракторное и комбайновое машиностроение, росло производство минеральных удобрений и средств защиты растений, ежегодно вводились в строй сотни крупных животноводческих комплексов, прокладывались тысячи километров внутрихозяйственных дорог, газопроводов, водопроводных сетей, много строилось жилья, школ, детских садов, больниц. Все эти программы рухнули в начале девяностых годов с приходом к власти Бориса Ельцина. Затеянная им “реформа” агропромышленного комплекса обернулась очередным разором деревни. Ныне на село направляется лишь один процент бюджетных средств.

— Обидно за крестьян, — грустно произнес Бондарев. — Сколько же безумных “экспериментов” вынесла наша деревня! Крестьянский корень подрублен. Мне не раз приходилось бывать на Вологодчине. Удивительно красивый край! Трудолюбивый, сметливый народ. Однажды тогдашний главный редактор журнала “Наш современник” Сергей Васильевич Видулов пригласил пожить две недели в его родной деревеньке. С удовольствием принял его предложение. Побывал в Кирилло-Белозерском монастыре, Череповце, в ряде хозяйств. Остался доволен поездкой. Тогда поразили своей ухоженностью поля, тучные стада коров на пастбищах, исправные крестьянские дворы. На Русском Севере испокон веку мужики строились обстоятельно. Здесь не было крепостного права. Отнюдь не случайно царь Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей государства. Собственно, отсюда и пошла Русь-матушка.

Такой вот был разговор. После этого я взял в руки дореволюционный статистический справочник и проанализировал положение дел в русской деревне на начало двадцатого века. Цифры поголовья крупного рогатого скота в северных губерниях России меня просто потрясли. Десятками лет нам внушали, что, дескать, у нас плохие климатические условия для ведения сельского хозяйства: суровые зимы, тощие поля, короткий световой день... Согласен, кукурузу на севере не вырастишь, как ни старайся, но производством-то мяса и молока тут искони занимались успешно. Ныне же животноводство — самая провальная отрасль.

Судите сами. В 1916 году вологжане имели 850 тысяч голов скота. В том числе 485 тысяч коров. А еще 567 тысяч овец, 72 тысячи свиней, 290 тысяч лошадей. Понятно, скот без кормов не стоял. Хватало пастбищ и сенокосов. Крестьяне славно управлялись со всем этим огромным хозяйством. Вологодское масло хорошо знали за границей.

А вот картина сегодняшнего дня. В здешних хозяйствах всего 203 тысячи голов скота — вчетверо меньше дореволюционного. Коров — 93 тысячи. Овец, можно сказать, вывели. Разве поголовье свиней нарастили до 117 тысяч.

Среди соседних областей Вологодчина выглядит еще солидно. А вот в Архангельской области коров осталось только 28 тысяч, в Новгородской — 25, Костромской — 36, Ивановской — 38, Псковской — 57, Ярославской — 68, в Карелии — 13 тысяч. Откуда же взяться молоку и мясу? Вся надежда на привозное. Почему терпим такое положение дел? Где спрос с глав регионов, районов, сельских поселений? В царской России не было ни одной губернии, где поголовье коров составляло бы менее 200 тысяч. Впрочем, приведу конкретные цифры: в Архангелогородской губернии дойное стадо исчислялось в 222 тысячи голов, Тамбовской — 281, Вятской — 469, Тверской — 759, Нижегородской — 378, Санкт-Петербургской — 635, Московской — 310, Пермской — 361, Рязанской — 327, Саратовской — 316, Смоленской — 460, Ярославской —

370 тысяч. В целом по России на 1916 год поголовье крупного рогатого скота составляло почти 39 миллионов, в том числе – 18 миллионов коров. Плюс 23 миллиона лошадей, 67 миллионов овец, 13,6 миллиона свиней.

Только в двух российских регионах удержали животноводство на высоком уровне. Это в Башкирии и Татарстане. До революции поголовье крупного рогатого скота составляло здесь соответственно – 1,4 миллиона и 800 тысяч, ныне – 1,7 миллиона и 1,1 миллиона. Как видим, даже увеличили стадо. Потому-то и демографическая ситуация в этих республиках не столь пугающая, как в исконно русских селах и городах. Чем объяснить такой разрыв? Получается: сами себя губим...

Такого бегства из деревень, как ныне, я что-то не припомню. Ежегодно родные гнезда покидает свыше 700 тысяч селян! Куда бегут? Где и кто ждет горемык? Это что, “лишние” люди? Из богатых крестьянских дворов никто никогда не убежал. Бегут от нищеты и безысходности.

... По приезде в Вологодскую область отправился в Грязовецкий район. Ехал старинным Архангелогородским трактом и внимательно всматривался в мелькающие за окном машины поля и деревеньки. Донимала назойливая мысль: “Ну не может быть такого, чтобы крепкие вологодские мужики все разом растерялись и опустили руки...”

Порадовалась встреча с директором племзавода имени 50-летия СССР Василием Ивановичем Жильцовым. Он двадцать семь лет у руля колхоза. Сметливый, расторопный хозяйственник. На таких пока еще и держится российская деревня. Село Юрово, где центральная усадьба, никак не назовешь захолустьем. Хорошее здание школы, добротные многоквартирные дома, асфальт. Есть краеведческий музей, библиотека, спортивный зал. Ну и само производство на высоте. В хозяйстве 4,1 тысячи голов скота, в том числе 1520 коров. Пашни – 3652 гектара. Занимаются семеноводством зерновых и многолетних трав.

Побывал на животноводческом комплексе в деревне Савкино. Новенькие фермы, современный доильный зал. Часть стада доят четыре робота, закупленные совсем недавно за границей. Стоимость каждого – шесть миллионов рублей. Коровы сами идут на дойку, гуляя без привязи по двору. Потом получают определенную норму комбикормов. Особого пригляда не требуется. Надой в среднем на корову свыше семи тысяч килограммов. Ежедневно из хозяйства отправляют в Москву в фирму “Данон” 32 тонны молока. Причем самого высшего качества.

Поинтересовался у главного зоотехника Раисы Петровны Легчановой:

- По какой цене отдаете молоко?
- Базисная ставка – одиннадцать рублей за литр, – вздохнула она. – Ну, еще доплачивают за жирность, белок...
- А себестоимость?
- Около десяти рублей.
- Не густо! – вырвалось у меня: – Бутылка газировки в магазине вдвое дороже.
- Куда же деваться? Не выливать же молоко в канаву...

В ходе беседы выяснилось, что коровам добавляют в корма премиксы иностранного производства. Надой при этом заметно возрастают. Стоят добавки дорого, но оправдывают себя. Так поступают фермеры и на Западе, где надой превышает десять тысяч килограммов. Однако гормоны роста, которыми пичкают животных, в конечном счете попадают в молоко, и это небезопасно для здоровья людей.

Поделился своими сомнениями с зоотехником. Она почему-то смутилась:

- Нельзя, конечно, злоупотреблять премиксами. Даем их не более четырехсот граммов на корову. Имеем свою лабораторию. Ежедневно делаем анализы на наличие антибиотиков, жира, белка, самматических клеток. Да и на “Даноне” раз в десять дней продукцию проверяют. Претензий нет...
- А на гормоны анализы делаете?
- Нет.

Мне вдруг вспомнился разговор с атташе по сельскому хозяйству одного из западных посольств в Москве. Я задал ему прямой вопрос: “Зачем вы используете гормоны роста при откорме скота и птицы и отгружаете в огромных количествах мясо в Россию? Это ведь во вред здоровью”... Ответ шокировал: “А вы думаете, в молоке гормонов меньше?”

В погоне за прибылью в настоящее время идут на разные ухищрения. Научная мысль не стоит на месте. Известно, что за рубежом широко используют генно-модифицированные кукурузу, сою, рис, картофель, овощи, активно ведут опыты по клонированию животных, разрабатывают новые и новые ядохимикаты, стимуляторы роста... Стоит ли нам перенимать все это без оглядки? Не лучше ли ориентироваться на производство здоровой пищи?

Ныне вошло в моду закупать за границей высокоудойных коров. Вот и в Юрове соблазнились – приобрели сотню телочек голландской селекции. Оно, конечно, специалистам виднее, на что тратить деньги, только тут следует, как говорится, семь раз отмерить... Неизвестно: приживутся ли в наших северных суровых условиях иностранки? А то ведь недолго погубить отечественное племенное дело.

Теперь о роботах. Это хорошо, но разве без них нельзя обойтись? Племязаводу имени 50-летия СССР придется аж два года отдавать всю выручку от молока, чтобы расплатиться за это оборудование. Меж тем в 2009 году прибыль колхоза уменьшилась до 6,5 миллиона рублей – одиннадцать процентов от предшествующего года. Только из-за снижения закупочных цен на молоко потеряли 35 миллионов. А с мясом что? Ежегодно сдают на мясокомбинат 500 тонн говядины. По 62 рубля за килограмм. При себестоимости – шестьдесят рублей. Раньше получали дотацию на мясо, сейчас не дают. Обирают крестьян, что называется, до нитки...

Как выворачиваться? Приходится сокращать работников. Десять лет назад в хозяйстве было 368 человек, ныне на сотню меньше. Да и зарплата не ахти... Разговорился на скотном дворе с выпускницей Вологодского молочно-ветеринарного института имени Верещагина Ольгой Пахолковой. Она из Мурманска. Ветврач. Приехала в Юрово, выйдя замуж за местного паренька. У них – пятилетний сынишка. Живут на съемной квартире. Муж работает слесарем где-то в Вологде.

– Сколько ж получаете? – спросил девушку.

– Чуть больше десяти тысяч рублей, – ответила она грустно, – маловато по нынешней-то жизни. Три тысячи отдай за жилье, а на оставшееся тни мяса, как можешь.

– Но ведь молодым специалистам положены подъемные?

– Один раз дали четыре тысячи, и все. Говорят – кризис, денег нет...

Рядом стояла ветеринар Юлия Борисовна Нечаева. Отработала в колхозе 27 лет. Слушала нас молча, но не выдержала:

– Разве не обидно? Вроде как чужие государству... Ни внимания, ни заботы. За всю жизнь только два декретных отпуска и взяла, больше не отдыхала. А что заработала? Никаких сбережений. Обе дочери у меня окончили пединститут, однако работают продавцами. Учительская зарплата не устраивает. Наше хозяйство еще на хорошем счету, а другие вокруг давно разорились...

А потом был долгий разговор с директором Василием Ивановичем Жильцовым. Он сначала вскипел, когда я ему рассказал о беседе с ветврачом Ольгой Пахолковой:

– Взяли ведь сверх штата, войдя в трудное семейное положение. Грех жаловаться.

– Да она вовсе не жаловалась, Василий Иванович. Просто, видимо, наболело на душе. Была бы зарплата и в пятнадцать тысяч рублей – это же, согласитесь, тоже крохи...

– Так-то оно так, – уперся взглядом в стол директор и продолжил уже миролюбивым тоном: – Но год от года связывать концы с концами все труднее и труднее. Успели построить восемнадцатиквартирный дом. Половину жилья отдали молодым семьям. Надо думать о будущем. Средний возраст работающих – сорок два года. При нынешней экономической ситуации строить жилье практически уже не под силу. Нужна помощь государства. Вроде бы все делаем по уму: производим в год сельхозпродукции на сто пятьдесят пять миллионов рублей. Недавно взяли под свое крыло соседнее хозяйство “Покровское”. Забот прибавилось: три с половиной тысячи гектаров пашни, девятьсот коров. В целом надаиваем теперь ежедневно сорок пять тонн молока. Валовый сбор зерна – около восьми тысяч тонн. Продаем излишки. Со стороны могут подумать, катаются как сыр в масле. Увы, на счету каждый рубль. Вот и думаю: как же развиваться дальше?

Впрочем, не все так грустно. В том же древнем селе Покровском недавно возродили из руин церковь и родовую усадьбу святителя Игнатия Брянчанинова. Съездил туда. Белокаменный храм на взгорье – вроде путеводной звезды. Сохранился чудный парк с вековыми липами. В доме раньше размещался санаторий для душевнобольных, теперь проводят выставки, экскурсии, устраивают вечера. Род Бранчаниновых пошел от боярина Михаила Андреевича Бранко – оруженосца святого благоверного великого князя Димитрия Донского. По легенде, накануне знаменитой Куликовской битвы, чтобы запутать неприятеля, он переоделся в военные доспехи князя и был убит. Отец святителя Игнатия, Александр Семенович Бранчанинов, исполнял должность Вологодского губернского предводителя дворянства, принадлежал к самому образованному кругу людей того времени. В семье было девять детей. В пятнадцать лет отрока Димитрия определили в Петербургское военно-инженерное училище, и, казалось бы, перед ним открывалась блестящая карьера. Он был вхож в высший свет, увлеклся литературой. Его незаурядный поэтический талант отмечали Пушкин, Батюшков, Крылов, Гнедич. Но он мечтал об иной судьбе. Познакомившись с оптинским старцем Львом, учеником преподобного Паисия Величковского, Димитрий укрепляется в желании уйти в монастырь. Сам император был против его отставки. Однако Бранчанинов все же уединился в Александро-Свирской обители. Затем в течение 24 лет был настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой пустыни. В 1857 году – епископ Кавказский и Ставропольский. Умер святитель Игнатий 13 мая 1867 года. Мощи его почивают в Свято-Введенском Толгском женском монастыре. На юбилейном Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году он был причислен к лику святых.

Такая вот трогательная история. Находясь в Покровском, чувствуешь какую-то особую Божью благодать. В 1992 году сюда приезжал покойный Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В полуразрушенных стенах совершил торжественный молебен. До этого в храме складировали зерно. Патриарх прошел внутрь церкви по дощатому настилу и осенил стены крестным знамением. Началась служба. Пел хор Свято-Троицкого монастыря. Люди не скрывали слез. С этого дня и началось возрождение святыни.

Убранство Покровского храма скромненькое. Старики рассказывали, что в тридцатые годы прошлого века все древние иконы сложили рядом с церковью в кучу и сожгли. Всего в Грязовецком районе до 1917 года насчитывалось 72 церкви и семь монастырей. Основательно пеклись о людских душах, и потому ели свой, а не чужой хлебушек.

Подтверждением тому, что с душами нынче не все ладно, является растущее год от года число брошенных родителями детей. Беда эта не обошла стороной и Вологодчину. В том же Грязовецком районе сейчас зарегистрировано 327 сирот. Их, конечно, берут под опеку, усыновляют, удочеряют, устраивают в детские дома, семьи. Кстати, немало больных, недоразвитых. А чему удивляться? Пьянство на селе повальное. У алкоголиков и наркоманов дети по определению не могут быть здоровыми. Жалко несчастных. Однако все же находятся добрые души. Скажем, в деревне Панфилово в девяти семьях приютили 31 ребенка! Государство оказывает таким финансовую поддержку. И слава Богу! Только ведь отца и мать никто не сможет заменить. В масштабе России каждый год при живых родителях количество брошенных детей увеличивается на 100 тысяч! Возможно ли нечто подобное в какой-либо другой стране мира? Сомневаюсь.

Оцепенение от демократических “реформ”, кажется, проходит. В российской глубинке все больше людей начинают понимать, что судьбу надо брать в собственные руки. Со стороны жизнь никто не направит. В Верховажском районе, граничащем с Архангельской областью, есть такое село Сметанино. Так вот там развернул довольно бурную деятельность фермер Александр Васильевич Мызин. Раньше работал агрономом в колхозе “Верховье”. Пока был жив толковый председатель Петр Федорович Игнатовский, дела в хозяйстве складывались неплохо. К сожалению, он умер. Избрали нового руководителя, но тот не справился с должностью и, по сути, привел колхоз к банкротству. Что делать?

Мызин решил попытать счастья в фермерстве. Поначалу взял 179 гектаров земли. Приобрел два трактора. Реконструировал под молочную ферму старый телятник, куда поставил 39 коров. Молоко возил на маслозавод в Верховаж-

жье. Потихоньку раскрутился. Теперь у него 1870 голов крупного рогатого скота, в том числе 360 коров. Причем родной, холмогорской породы. Средний надой: 4200 литров. Молоко – на вес золота, поскольку экологически чистое. Фермер принципиально не использует премиксы, только сено и зернофураж. В Вологодском учебно-опытном молочном комбинате, куда отгружает продукцию, вырабатывают из мызинского молока детское питание. От покупателей нет отбоя.

А еще Мызин взялся за возделывание традиционной на Русском Севере культуры – льна-батюшки. Многие хозяйства в последние годы перестали его сеять, льнозаводы зачахли. Помню, как дважды Герой Социалистического Труда председатель колхоза “Путь Ленина” Котельничского района Кировской области Александр Дмитриевич Червяков с гордостью показывал мне свои льняные поля. В хозяйстве под долгунцом было 700 гектаров. Лен буквально озолотил колхозников. Имели на нем баснословные доходы. А совсем недавно Червяков позвонил и сказал, что не засевают льном ни одного гектара: сырье никому не нужно. . . Поэтому, прослышав о планах Мызина, очень удивился.

Встретились с Александром Васильевичем. Коренастый, кряжистый, бородатый, с приветливым русским лицом, он с первых минут знакомства сразу расположил к себе. Из потомственной крестьянской семьи. Отец, Василий Егорович, был трактористом, мать, Нина Петровна, – доярка. Семеро детей. Жили как все: огород, корова, поросята, куры. . . С ранних лет мальцов приучали к труду. Наука не прошла даром.

– Ну разве это дело – носить китайские рубашки? – улыбнулся Мызин. – На Руси искони лен был в почете, что ж свое-то хаять? Начинать с двадцати пяти гектаров. Ныне – шестьсот. Заканчиваем строительство завода по переработке тресты на длинное волокно. Вологодский текстильный комбинат гарантирует сбыт. Думаю, не прогорим. . .

– Трудности есть? – поинтересовался у фермера.

– Как без них? Приходится крутиться, словно белка в колесе. Недавно вот мировой судья наложил взыскание за задержку зарплаты работникам – дисквалифицировал меня. Почему так вышло? Мне задержали выплаты по субсидированному кредиту. А я как раз рассчитывал на эти деньги. Три месяца длилось разбирательство. Слов нет. . .

Мне вдруг подумалось: “Господи, ведь тот самый судья трижды в день садится за стол есть. Неужели ему в голову не приходит, что без таких мужиков, как Мызин, тяжко придется народу? Это – опора России”.

Встреча с фермером зарядила меня оптимизмом. Лишний раз убедился: возрождение деревни пойдет не сверху, а снизу. Мызину никто не помогал. Сам построил добротный дом, поднял на ноги троих сыновей. Старший Илья – электромеханик, средний Артем – программист, младший Иван – строитель. Все под отцовским крылом. У них есть будущее. Так бы везде.

Ну и, конечно, побывал я у Василия Ивановича Белова. Пришел к нему вместе с вологодским писателем Михаилом Ивановичем Карачевым. Страстный ревнитель деревянной Вологды, защищающий от разрушения памятники истории, он взялся за, казалось бы, неподъемное дело: возрождение деревни Тимонихи. С группой энтузиастов разработали общественно-благотворительный проект, целью которого является создание модели комплексного развития сельских территорий с учетом исторических, культурных и духовных традиций Русского Севера. Здесь испокон веку проблемы решались всем миром. Нашлись желающие переселиться в Тимониху, чтобы заняться земледелием и животноводством. Разрабатываются туристические маршруты. Например, вот уже несколько лет ездит сюда профессор Токийского университета Ясуи Рёхей. Что тянет его в глубинку? Необыкновенно красивая природа и загадочная русская душа. Высоко ценит творчество Василия Ивановича и так же, как писатель, остро переживает за опустение русских деревень.

. . . Проговорили с Беловым допоздна. О литературе, театре, живописи (у него приличная коллекция картин известных художников). Ну и, конечно, зашла речь о крестьянских проблемах.

– Ныне кругом заросшие кустарником поля, брошенные фермы, – сокрушённо покачал головой писатель. – Жутко! А ведь проложили хорошую дорогу, подвели электричество. Чего бы не жить? До последнего времени в Тимонихе держалась одна старушка, но и та захворала и перебралась в город к детям. Представьте, каково думать о покинутом родном доме? Надо



понять простую истину: без молодежи у деревни нет будущего. Нашим правителям следовало бы бросить ныне все силы и средства на создание хороших условий жизни в глубинке. Порознь решать экономические и социальные проблемы нельзя. С землей неладно... Паями завладели богачи. Вряд ли они будут заниматься сельским хозяйством: купил, перепродал... Кто на них будет батрачить? Земля должна принадлежать крестьянам. И еще: нельзя переводить коров. Нет коровы – нет семьи, а значит, и детей. Хорошо помню свою Красулю, которая нас вскормила. По гроб буду благодарен ей.

– Тянет в Тимонику? – поинтересовался я.

Лицо Белова просветлело, глаза повлажнили:

– Жду не дождусь лета... Хочется в баньку. Зима нынче выдалась снежной, морозной. Сажу вот и думаю: “А избы-то в деревне, поди, занесло по самые стрехи”...

Голос Василий Иванович осекся. На прощание он крепко пожал мне руку и глухо произнес:

– Передай поклон Юрию Васильевичу Бондареву. Скажи, что я его очень люблю и ценю. И как солдата, и как писателя. Отец мой погиб под Смоленском. Ездил туда, искал могилу. Увы, не нашел. Сталин был скуповат на деньги: не все имена павших выбиты на обелисках. Вернись батяня и другие мужики с войны в Тимонику – думаю, наша деревня бы не угасла...

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

## НАФТАЛИЙ ФРЕНКЕЛЬ

Н. А. Френкеля, одного из самых страшных людей XX века, справедливо считают автором той лагерной системы эксплуатации и уничтожения людей, какой стал ГУЛАГ. Там, где он работал, погибли сотни тысяч человек. Натан (Нафталий) Аронович Френкель родился в 1883 году в семье коммерсанта, по некоторым легендам – в Константинополе (сын турецкоподданного!).

До революции он занимался в Одессе крупным бизнесом при поддержке главы уголовного мира Одессы Япончика. Он уверился в своей власти настолько, что, будучи воинствующим атеистом, потребовал сократить отчисления в синагогу в пользу малоимущих семей.

В июне 1919 года, чтобы спасти свою многотысячную банду от большевиков, Япончик сформировал отряд Красной Армии, и в июле Нафталий вместе с 54-м полком одесских налётчиков под командованием Михаила Винницкого уходит на фронт. После расформирования полка возвращается в Одессу. И снова – порт, морские грузы и тесная связь с одесским воровским миром. К 1921 году Френкель сформировал свою банду. Под прикрытием частной торговой фирмы создал трест контрабанды. Нафталий Аронович в первый, но не в последний раз создаёт государство в государстве: со своими законами, своими подданными (в основном из среды уголовников и контрабандистов), своей собственностью, разбросанной по разным городам и странам; со своими палачами и при своей абсолютной власти. Несколько пароходов, целый флот парусников и катеров курсировали по Черному морю между портами России, Румынии, Турции.

На некоторое время он уехал в Стамбул, где числился резидентом ЧК, но вскоре вернулся в Россию по приказу Дзержинского и стал одним из руководителей одесского ЧК. Будучи практически неподконтрольным, он организовал скупку валюты и драгоценностей в пользу своего ведомства. Но особенно он развернулся при нэпе, держа под своим контролем контрабанду, что сочетал с производством импортных товаров, которые изготавливались, как известно от Ильфа и Петрова, на Малой Арнаутской. По доносу Дзержинскому, что все одесские чекисты связаны с уголовным миром, они были вывезены в конце 1923 года в Москву и 14 января 1924 года приговорены к расстрелу. К этому времени у Френкеля уже были свои люди, в том числе и будущий глава ГПУ Генрих Ягода (замечу, что подпись Ягоды стоит на ордерах на арест по Сергиево-Посадскому делу 1928 г., в том числе и на ордере П. А. Флоренского). Расстрел Френкелю заменили десятью годами Соловков. На Соловках он, опираясь на свои связи, устраивается в штат нарядчиков.

---

*ФЛОРЕНСКИЙ Павел Васильевич родился в 1936 г. в Москве. Окончил МИНХиГП им. И. М. Губкина. Профессор, доктор геолого-минералогических наук. Автор 10 монографий и 300 научных работ. Внук выдающегося мыслителя о. Павла Флоренского. Живёт в Москве.*

Нафталий внимательно присматривается к жизни соловецкой каторги. Констатирует бесцельность труда двадцати тысяч каторжан и разрабатывает в деталях, как организовать в больших объемах руками заключенных кустарное и промышленное производство. В Соловках после монастыря хранились большие запасы кож. В конце 1924 года Френкель организовал их переработку (помните артель “Рога и копыта”?) и мастерские по изготовлению обуви. Обувь пользовалась спросом, а об успехах кожзавода регулярно сообщалось в газете “Новые Соловки” даже после отъезда Н. Френкеля из Соловков. Опыт оказался успешным, и в мае 1925 года он возглавил созданную им эксплуатационно-коммерческую часть УСЛОНа\*, в которой работали заключенные за мизерные льготы. О заложенных в ее работу принципах Н. А. Френкель рассказал в специальной статье. (“Эксплуатационно-коммерческие перспективы Соловецкого хозяйства”. – Новые Соловки. 1925, 06.07, № 23, с. 2). Сначала статья читается спокойно, но постепенно, преодолевая специфическую лексику и зная, спустя 80 лет, что означало каждое ее слово, понятно ее историческое значение. Привожу статью полностью.

**Н. Френкель**

### **Эксплуатационно-коммерческие перспективы Соловецкого хозяйства**

*Касаясь перспектив дальнейшего развития Соловецкого хозяйства, необходимо, прежде всего, установить общее направление, единую систему экономической работы.*

*Можно много говорить о развитии производственной работы, о расширении того или иного вида промышленности и намечать разного рода технические усовершенствования, однако действительная целесообразность всей этой работы должна быть во всех случаях подвергнута проверке с точки зрения единого хозяйственного расчета. Всякое начинание с целью увеличения масштаба производящейся работы может быть, само по себе, не лишённым смысла, применение же к общему направлению хозяйства – не выдерживать ни малейшей критики. Примером может служить хотя бы производство разного рода новых построек и сооружений, которые, несомненно, придают оживление производственной работе, однако, вместе с тем, ложатся тяжелым и непроизводительным бременем на бюджет данного хозяйства и являются коммерчески неоправданными.*

*Способы осуществления работы каждой производственной единицы требуют точного расчёта всех вызываемых ею расходов, а также – тщательного установления ценности создаваемой продукции.*

*Наконец, работа отдельной производственной единицы – в целом, нуждается в непрерывном учёте общей целесообразности её осуществления; иначе мы увидим, что продукция какого-либо отдельного предприятия может быть очень хороша, и, тем не менее, дальнейшая работа этого предприятия признана недопустимой вследствие её убыточности.*

*Как видно, вся производственная работа СЛОН должна быть во всех своих частностях согласована с одним, общим направлением экономической работы – принципом хозяйственного расчёта.*

*Каково же содержание этого принципа хозяйственного расчёта, который должен быть положен в основу всей экономической работы СЛОН?*

*Со всей решительностью мы заявляем, что принцип хозяйственного расчета, единственного могущий дать направление развитию каждого хозяйства, заключается в последовательном осуществлении начала коммерческой эксплуатации во всей экономической работе данного хозяйства.*

*Эксплуатационно-коммерческое начало является тем общим направлением, по которому лишь и может получить своё дальнейшее здоровое развитие Соловецкое хозяйство: последовательное проведение этого начала абсолютно во всех хозяйственных начинаниях является обязательным условием возможности хозяйства СЛОН в качестве самостоятельной производственной единицы.*

*Термин “эксплуатация” заслужил себе плохую репутацию, будучи обыкновенно относимым к непосильному использованию кого-либо, перегруженнос-*

---

\* УСЛОН - управление Соловецкого лагеря особого назначения. – **Ред.**

ти работой и т. д. Однако слово это должно быть понимаемо как организация наиболее целесообразного использования работы, всех её элементов, как рабсилы, материалов, станков, инвентаря и т. д.

О такого рода эксплуатации мы и говорим, отдавая ей первое место в деле налаживания экономической работы.

В чём же прежде всего должна проявляться эта организация работы на рациональных началах, то есть содержащая ее эксплуатация?

Касается она, прежде всего, процесса данной работы в целом; правильная эксплуатация создаёт общую, спаянную систему работы, согласует и связывает смежные производственные моменты, дифференцирует (разделяет) отдельные функции работы и тщательно нормирует задания каждому исполнителю. Как видно, эксплуатационная работа касается всего процесса производства, причём с рабсилой она связана лишь как с одним из производственных элементов. Организация рабочей силы, несомненно, входит существенным элементом в общие эксплуатационные вопросы, однако центр тяжести правильной эксплуатации лежит не столь в организации работы, как в налаживании всего процесса работы, ее оборудования, аппарата – “станка”. Конечно, предполагается более или менее твёрдый уровень производительности труда, однако дальнейшие эксплуатационные достижения идут за счёт усовершенствования всего процесса работы в целом.

Что из себя представляет эксплуатация коммерческая? Какое же это особое коммерческое направление?

В производственной работе, основанной на коммерческих началах, все расчёты и предложения делаются в зависимости от расходов и получаемого дохода. Только этим определяется смысл всякого начинания и его допустимость.

Коммерциализация направит всю экономическую работу СЛОН на путь рентабельности. Коммерческий расчёт – основа всей экономической работы СЛОН – в целом, однако, применение его этим не ограничивается.

Недостаточно, да и невозможно стремиться к получению доходности от всей экономической работы в целом; необходимо применять коммерческий расчёт ко всякому отдельному экономическому начинанию. Работа каждого отдельного предприятия, каждого отдельного вида промышленности должна постоянно проверяться по ее коммерческой целесообразности. Только тогда можно будет видеть: что выгодно и что – нет, что требует субсидий и что отчисляет дивиденд.

Проведение коммерческого принципа в экономическую работу СЛОН должно во многом изменить порядок производственной работы настоящего времени.

Всякое предприятие отныне становится самостоятельным производственным органом, оно имеет свои издержки и доходы, все снабжение его подлежит расценке по рыночным ценам, так же как и его продукция. Никаких “казенных” отпусков, нарядов, перерасчетов не производится. Всему ведется коммерческий учет, тщательно рассчитываются и по возможности урезаются расходы, изыскиваются всякие возможности увеличения дохода; подсчитываются итоги производственной работы, выводится дивиденд. В связи с этим перестраиваются счетоводство и бухгалтерия.

Каждое предприятие, организованное на началах коммерческой эксплуатации, выявляет свою производственную физиономию, – определенную ценность своего существования.

Таково в кратких чертах общее направление экономической работы СЛОН, на путях которого открывается возможность дальнейшего развития Соловецкого хозяйства.

Останавливаться на конкретных перспективах промышленности и хозяйства СЛОН, как оно представляется в настоящее время, пока – преждевременно.

Именно на Соловках Н. А. Френкель сформулировал и начал воплощать систему советских лагерей, которая была распространена на всю страну, по его методам стала обрабатываться организация охраны и практика репрессий, технология захоронения трупов; определялись нормы питания и, главное, изучались способы организации массового использования принудительного

труда, чтобы лагеря стали важной доходной частью экономической системы СССР. По отношению к людям она сводилась к сформулированному Френкелем девизу: “Получить от заключенного максимум пользы в первые три месяца его работы, дальнейшее не важно”.

На островах Соловецкого архипелага была создана модель государства, население которого было разделено на группы по классовому признаку, соответственно по привилегиям, по пайку, имелись своя столица, свой Кремль, своя армия, свой флот, свой суд, своя тюрьма и хорошая материальная база, доставшаяся в наследство от монастыря. Печатались свои собственные деньги – денежные купоны, издавались свои газеты и журналы. Имелось даже несколько театров и научное общество, изучавшее природу и памятники истории на территории лагеря.

Наступил 1929 год – Год Великого Перелома. Число репрессированных выросло на порядок, что потребовало реорганизации лагерной системы, и лагерная реформа, разработанная Френкелем, постепенно охватила всю страну. Количество заключенных на Соловецких островах достигает 10000 человек. Соловецкий лагерь был преобразован в 4-е отделение СЛОНа, Соловецкого лагеря (СЛАГ ОГПУ), которым командовал А. П. Ногтев. Он попытался подмять под себя и отнять у Френкеля строительство Беломорканала и разработал в апреле 1930 года “Материалы по реорганизации С. Л. О. Н”. Проект провалился, победил Н. Френкель, поддержанный И. В. Сталиным. Новое лагерное управление было создано в Медвежьегорске, а Ногтев был репрессирован.

Из кабинета вождя Френкель вышел начальником работ по созданию Беломорканала. На его плечи ложится груз огромной ответственности. По указанию Сталина канал длиной 227 км должен быть построен за 20 месяцев руками заключенных при нехватке строительных машин и механизмов. Френкель справился с поставленной задачей и сдал канал в эксплуатацию точно в назначенный срок. Одной из первых пропагандистскую поездку по каналу совершила делегация наиболее известных советских писателей во главе с М. Горьким. 36 членов делегации стали коллективным автором изданной в 1936 году книги “Беломорско-Балтийский канал им. Сталина”. На одной из страниц книги описание Френкеля: “С тростью в руке он появлялся на трассе то там, то тут, молча подходил к работающим и останавливался, опершись о трость, заложив ногу за ногу, и так стоял часами... Глаза следователя и прокурора, губы скептика и старика... Человек большого властолюбия и гордости. Он считает, что главное для начальника – это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти надо, чтобы тебя боялись, пусть боятся... Казалось, ни одно человеческое чувство ему не доступно”. Нечто подобное мне рассказывали те, кто видел Френкеля на строительстве БАМа в г. Свободном.

Очевидцы свидетельствуют, что Френкель никогда ни на кого не повышал голоса и не смотрел собеседнику в лицо. Если же иногда он бросал на кого-либо свой взгляд, то у того от страха заходило сердце. Это был человек феноменальных способностей. Не имея никакого систематического образования, он в уме мгновенно перемножал четырехзначные числа, извлекал квадратные и кубические корни, определял нужные площади сечений для несущих нагрузку конструкций и никогда не ошибался.

За строительство Беломорканала Френкель был награжден орденом Ленина и назначен начальником строительства Байкало-Амурской магистрали в чине генерала НКВД.

Но настал 1937 год, и Натан Аронович снова в камере на знакомой ему Лубянке. Из него начинают выбивать показания в том, что он является одновременно турецким, японским и французским шпионом. Он лишается всех зубов и получает “букет” болезней на всю свою довольно долгую жизнь.

Издевательства и избиения вдруг прекращаются, и Френкель вновь предстает перед хозяином главного кремлевского кабинета. Сталин поручает Френкелю в течение трех месяцев, при полном отсутствии автотрасс, складов и всего прочего построить три железные дороги. Френкель идет ва-банк и ставит вождю два условия. Первое – организовать в системе Наркомата путей сообщения Главное управление лагерного железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) под его руководством, второе – предоставить в его безотчетное

распоряжение все необходимые ему материальные ресурсы страны. Сталин эти условия принял. И впервые в истории страны появилась организация, которая, по словам Солженицына, "...испарилась из системы социализма с его доминирующим учетом". Френкель не отчитывается ни в чем. Он одевает своих заключенных в меховые тулупы и валенки, кормит их до отвала доброкачественной пищей, за перевыполнение плана выдает курево и спиртное.

Созданное Френкелем в чрезвычайных условиях детище стало бурно расти и развиваться. На него со всех концов страны посыпались многочисленные заказы, которые, как всегда, успешно выполнялись вплоть до середины 80-х годов. Более того, заложенная Френкелем организационная структура была использована при формировании послевоенного ГлавБАМстроя, а рабочие чертежи и изыскательские документы, подготовленные зеками его ведомства, и поныне используются при прокладке новых путей сообщения в отдаленных районах страны.

Во время войны ведомство Френкеля использовалось в самых горячих точках и никогда никого не подводило. Победа над Германией приносит ему звание генерал-лейтенанта. Он становится Героем Социалистического Труда и награждается пятью орденами Ленина. Последние годы жизни проводит в уважении и почете, работая заместителем министра путей сообщения по капитальному строительству...

И вдруг Френкель решает одним махом прекратить все свои операции. Владея информацией о происходящем в Министерствах внутренних дел и госбезопасности, он догадывается о грядущих чистках.

Чтобы уволиться, нужен был серьезный повод. Френкель дает взятку и 28 апреля 1947 года подает в отставку по причине серьезной болезни. Его провожают с почестями и очередной правительственной наградой.

А через год все его сподвижники были арестованы и приговорены к большим срокам заключения. Почетный пенсионер Френкель снисходительно наблюдал за судьбами известных ему людей и иронично улыбался. В 1960 году в возрасте семидесяти семи лет он предстал наконец перед единственным своим хозяином — Дьяволом.

СЕМЁН ШУРТАКОВ

## ЛЮБИТ ЛИ БОГ ТРОИЦУ?

“Бог любит троицу” – так назвал свою книгу один молодой писатель. Название столь же привлекающее вероятного читателя, сколь и призывающее к серьезному размышлению.

Что ж, давайте попытаемся поразмышлять.

Главный герой рассказа, давшего название книге, Антон работает в “Скорой помощи”, хотя и не имеет никакого медицинского образования. Впрочем, такое образование ему и ни к чему. Он работает в особом, так сказать, отделении “Скорой помощи” – психиатрической бригаде и выезжает с врачом по вызовам: где-то кого-то ножом пырнули или кому-то и вовсе голову топором оттяпали – в большом городе всякое случается. Иногда врач едет к таким, мягко говоря, психически неуравновешенным больным, он не застрахован от того, что и его могут пырнуть. И вот задача Антона состоит в том, чтобы охранять врача, усмирять тех, у кого в руках топор или какой другой, столь же опасный инструмент, например, ружье или пистолет.

Так что работенка у Антона, прямо сказать, незавидная. И – цитирую – “побывав два раза на волосок от смерти, он решил судьбу не испытывать, ведь говорят же, что Бог троицу любит”. Заявление об увольнении Антон написал, как и полагается, за две недели, осталось отработать последние сутки. Сутки оказались довольно драматичными, но не о них дальше будем вести речь, а зададимся наивным вопросом: при чем тут упомянутая автором Троица, которую Бог любит?

Поначалу я пытался задавать вопрос о смысле этого присловья своим знакомым. Однако же ответы были или уклончивыми, или неопределенными. Одни ссылались на Божескую троичность: Бог–Отец, Бог–Сын и Бог–Дух Святой. И тогда получалось, что Господь Бог как бы любит самого себя. Другие говорили: а вот рублевская “Троица” – она же чудо как хороша, и как ее не любить? Вот тут уж и вовсе получается несерьезная подмена понятий: я люблю “Троицу” Андрея Рублева, и почему бы Богу ее не любить?

Вопрос оказывается не столь наивным, сколь серьезным и даже каверзным, поскольку, с одной стороны, присловье это считается ходячим, а с другой – никто не сможет объяснить, что же оно, в сущности, обозначает, что за троица, которую Господь Бог любит?

В подобных случаях принято обращаться к так называемым первоисточникам: может быть, когда-то суть этого присловья была хорошо известна, но за давностью лет подзабылась и ушла в небытие...

Что ж, с помощью известных книг заглянем в те давние времена.

Начнем с Ивана Снегирева. Он первым в России, еще в начале XIX века, собрал и издал прекрасный том – “Русские в своих пословицах и поговорках”. Читать этот труд – одно удовольствие; о каждой странице и каждой строке можно сказать: здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Однако же среди множества замечательных, ярких, образных пословиц, интересующей нас поговорки, увы, нет.

Жаль, конечно, но, как говорится, на нет и суда нет. Утешимся тем, что во второй половине того же века на небосклоне русской словесности засияли такие ослепительно яркие звезды собирателей и исследователей народного языкотворчества, как В. Даль, И. Иллюстров, М. Михельсон. Уж у них-то, наверняка, найдем то, что нам надо.

В большом двухтомнике В. Даля “Пословицы русского народа” есть даже целый раздел “Бог – вера”, и занимает он ни много, ни мало – девять страниц. И на этих страницах можно найти и “Все мы под Богом ходим” или “Без Бога – ни до порога”, “Как Бог велит” или “Как Бог попустит”, “Кто добро творит – тому Бог оплатит” (вариант: благословит), “У Бога милости много”. Однако же “На Бога надейся, а сам не плошай” или, в крайнем случае, – “Проси Николу, а он Спасу скажет”. Можно привести и другие золотые россыпи народного творчества. Но нет ни одной пословицы или поговорки, в которой было бы сказано, что Бог что-то или кого-то любит. Ни единой!

Точно так же нет такой пословицы и в фолианте большого формата (более 7 тысяч пословиц!) И. Иллюстрова, многозначительно озаглавленного “Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках”.

Остается разве что столь же внимательно вчитаться в сборник М. Михельсона “Ходячие и меткие слова”, изданный в 1976 году.

У него вначале тоже идут словообразования, нам уже знакомые: “Бог дал, Бог и взял”. “Бог даст день, Бог даст и пищу”... а вот далее – кажется, именно то, что мы и ищем: “Бог любит троицу”. Наконец-то! Наконец-то мы узнаем, какую троицу Бог любит!

Однако же не будем забегать вперед, прочитаем пояснительный текст. Тем более что он с первых же слов озадачивает: “Виргилий намекает на суеверие древних и на мистическое значение, которое они придавали нечетным числам. Пифагор в числе “один” видел представление о Божестве. Два – дурное начало. Три – символ гармонии. Древние пили три раза в честь трех граций. Миром управляли трое – Юпитер, Нептун и Плутон. При жертвоприношениях ходили три раза вокруг жертвенника. Многие перешло и к нам...”

Как видим, возрадовались мы преждевременно. В пояснении и Бога-то нашего христианского вовсе нет, есть лишь греческие языческие божества. И если косвенно и упоминается о любви-предпочтении, но опять же – не к пословичной троице, а всего-то к нечетному числу “три”... И конечно же, когда русский человек произносит “Бог любит троицу”, он однозначно не может иметь в виду ни Юпитера с Нептуном и Плутоном, ни трех граций, ни, тем более, хождения вокруг жертвенника...

И что же в итоге получается? А получается то, что мы вернулись к той же исходной точке, с которой и начали наше путешествие по первоисточникам. Русское ходячее, то есть, повторим, имеющее постоянное хождение в русской разговорной речи, присловье объясняется каким угодно, только не русским корневым происхождением.

Мориц Ильич Михельсон куда менее известен, чем, скажем, Владимир Даль, хотя о его “Ходячих и метких словах” в знаменитом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона и были сказаны в те же годы зело похвальные слова, как о “ценном собрании типичных выражений на семи языках”, и я, набравшись храбрости, осмеливаюсь предположить, что Михельсона как истинного ученого, знатока многих языков, не могло удовлетворить объяснение русского ходячего выражения каким-то “намеком Вергилия”. Храбрость подвигла меня на то, чтобы еще раз подойти к заветной полке и открыть вышедший уже семь лет спустя после “Ходячих слов” “Сборник образных слов и иносказаний” в двух больших томах все того же М. Михельсона (хотя, признаться, я сам себя и отговаривал: небось, и в этом издании будет повторено то, что было в “Ходячих и метких”).

Нет, ученый, должно быть, и в самом деле, испытывая неудовлетворенность своим “греческим” пояснением русского ходячего слова, продолжил поиски – честь ему и слава! – и вот как по-новому поясняет-объясняет всем известную троицу:



“В старинной церкви св. м. Флора и Лавра (у Мясницких ворот) на обоих клиросах главного престола изображены Ермий, Солон, Платон, Фукидид и Аристотель с хартиями в руках. У Фукидида рече еще: едино три и три едино, бесплотное образно есть Троица”.

Ну вот, теперь нам известно хоть само понятие Троицы, выраженное кратко, внятно и определено: едино три и три едино...

Но что особенно интересно и существенно – ученый языковед формулу Троицы привел в новом издании не вместо “греческой”. Нет, он полностью сохранил и ее: нечетное число “три” как было, так и осталось символом гармонии. Сохранена и очень важная для нас заключительная концовка: “Многое перешло и к нам”. Ведь это, на первый взгляд, простенькое умозаключение – не что иное, как напоминание-указание на историческую взаимосвязь времен, на то, что любимое всеми число “три”, как число особое, сохранялось, жило в веках, прежде чем дошло до нас. И, естественно, разными народами, при их национальных особенностях, по-разному воспринималось и философско-божественные, и цифровые постулаты древних мудрецов: одним нравилось одно, другие отдавали предпочтение другому.

Если же говорить о нас, русских, то с незапамятных времен не самым ли ходячим, чаще других повторяемым, было у нас нечетное число “три”.

Начнем с того, что на троичности Бога (Бог–Отец, Бог–Сын, Бог–Дух Святой) стоит сама наша христианская вера. И еще не умея читать, русик уже слышал сказки, в которых довольно часто речь шла о трех братьях: старший был самым умным, средний и так, и сяк, младшего же все считали за дурака, а он потом оказывался всех умнее: все-то ему, пусть и не с первого, а с третьего раза, но удавалось. Научился русич грамоте – сам стал читать, как народный богатырь из Муромы Илья тридцать лет и три года на печке лежал, силу копил, но уж потом-то в борении с врагами родной земли не имел себе равных. У Пушкина тоже из морской пучины выходят на берег не двадцать два, не пятьдесят пять, а именно тридцать три богатыря, в чешуе золотой горя. Да и Балду – как не вспомнить: нанятый попом работник запросил не совсем обычную плату за свой труд – всего-то три щелчка по лбу. Однако щелчки оказались такими, что поп пожалел, что погнался за дешевизною.

Строилась изба или дом. И не так-то просто было вздывать бревна на верхние венцы сруба – подъемных кранов еще не было. Помогала артельная песня “Дубинушка”, в которой были такие слова: ой, дубинушка, ухнем! Ой, зеленая – сам пойдет, подернем-подернем да ухнем! При повторе слов (подернем-подернем) – бревно двигалось в нужном направлении, а с третьим “Ухнем!” оно уже укладывалось на уготовленное ему место...

В большой чести, в большом ходу у нас всегда было это словечко. И если листать страницы нашей отечественной истории, – не сосчитать, сколько подтверждений этому отыщется.

А можно и не листать, а всего лишь вспомнить русскую деревню прежних лет и подивиться тому, как ее жители в повседневном крестьянском обиходе широко и свободно пользовались словами, обозначающими как четные, так и нечетные числа.

Ни наручных, ни карманных часов у крестьянина не было. И ориентировался он в текущем времени днем – по солнышку, а ночью по петушину пению. И первая петушина переключка звалась первыми петухами, вторая, обозначающая полночь, – вторыми, а та, что раздавалась на утренней заре, перед восходом солнца – третьими. Надо ли пояснять, что самыми важными были они, провозглашавшие наступление нового дня. Между прочим, именно так и назвал свое последнее сочинение Василий Шукшин – “До третьих петухов”.

Ну и в заключение нашего письменного разговора вернемся к его началу.

Пословицы, ходячие и меткие слова, конечно же, оживляют нашу речь, делают ее более яркой и колоритной. Об этом знала даже Екатерина II, для которой русский язык не был родным. Она считала, что пословицы “изошряют разум и придают силу речам”. Однако же, меткие пословичные выражения в устную ли речь, в письменный ли текст нередко “встромляются” бездумно и вольно или невольно затемняют суть дела. Та же Екатерина сочинила комедию против такого употребления пословиц. Да и в народе, как мы знаем, живет-здоровствует известное речение о неких краснобах, которые ради красного словца готовы не пожалеть ни мать ни отца. Не то ли произошло и с троицей, которую будто бы Бог любит?

Оглянемся на упомянутый в начале рассказ, давший название книге, главный герой которого, побывав два раза на волосок от смерти, решает судьбу не испытывать – ведь говорят же, что Бог любит троицу – подает заявление об уходе с опасной работы. Трудно понять, при чем тут троица? А еще и то нехорошо, что автор, вместе со своим героем, не только не надеется на Божье милосердие, а, наоборот, выражает опасение, как бы Господь-Бог (а то у него мало других забот!) не подвесил бы Антона на тот самый смертельный волосок в третий раз. Повторим вопрос: при чем тут Троица?

А заодно скажем еще раз: в самой формуле “Бог любит троицу” имя Бога помянуто всуе. Это мы, человеки, можем кого-то любить, кого-то не любить и даже ненавидеть. Но корректно ли, как выражаются в нынешней Думе, позволительно ли нашим человеческим аршином мерять деяния Господа-Бога или допытываться, любит он или не любит Троицу. Нам известно, что Бог строг к тем, кто нарушает его заповеди. Даже пословица есть: Бог долго ждет да больно бьет. Но мы знаем также, что Бог милостив, и кто добро творит, тому тем же Бог и отплатит. Спрашивается: при чем тут Троица (три едино и едино три?) И надо ли во взаимоотношения Бога и человека вмешивать еще и Троицу и дознаваться, любит он ее или не любит.

Вот если бы свести эту формулу с небес на землю и, несколько упростив ее, задаться вопросом: любит ли русский человек Троицу – тут можно бы утверждать вполне определенно: да, русский любит Троицу, он любит и гениальное изображение Троицы Андреем Рублевым, и прекрасный праздник начала лета, который празднуется в пятидесятый день Воскресения Христова, когда вся наша русская природа цветет и благоухает.

А еще любит русский и тройку (словечко того же корня – символа гармонии), любит повторять вслед за великим писателем Николаем Гоголем, гениально олицетворившим нашу Россию необгонимой тройкой, такие слова:

“Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства”.

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

## ПОЕЗД УБИРАЕТСЯ В ТУПИК

*Происходящее на Кавказе подрывает миф о стабильности путинской эпохи и выявляет глубочайшие проблемы с управляемостью и охраной общественного порядка, общие для всей страны.*

Оуэн Мэтьюс, “Ньюсвик”

### I. “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ”

#### Пакт о стабильности и взрывы в метро

Прошло несколько месяцев, а события 29 марта так и не исследованы – и уж тем более не осмыслены – с должной тщательностью и полнотой.

Напомню: в 7.56 на станции “Лубянка” прогремел первый взрыв. “Два десятка человек, как находившиеся в вагоне рядом со смертницей, так и те, кто только что вышел на платформу, погибли на месте, – сообщали корреспонденты и прибавляли жуткие подробности. – Удар взрывной волны в прямом смысле слова оторвал головы тем, кто сидел или стоял рядом с террористкой” (“Коммерсантъ”, 30.03.2010).

Вторая “живая бомба” взорвалась в 8.39 на станции “Парк культуры”.

Погибли 40 человек. Всего пострадавших 160 (данные представителя Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимира Маркина).

**Все это слишком известно. Однако до сих пор общество не получило ответа на ключевой вопрос: как это стало возможно?**

Имена смертниц установили сравнительно быстро: Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева, жительницы Дагестана. Мельком сообщили о трех сообщниках, якобы уничтоженных впоследствии в ходе спецопераций на Северном Кавказе. Теперь они никогда не заговорят. Жаль! Ничто так не убеждает публику, как признания и показания преступников.

**Но даже техническая сторона дела не получила достаточного освещения.**

Как именно террористки добрались до Москвы? Ехали в автобусе – утверждает следствие. Но отец Марьям Шариповой свидетельствует: днем 28 марта дочь была в Махачкале. “...Непонятно, каким образом она могла оказаться 29-го в Москве”, – недоумевают журналисты, сообщая, что поездка в столицу на автобусе занимает 36 часов (“МК”, 06.04.2010).

Значит, по крайней мере одна смертница летела самолетом. Но, по сообщениям прессы, она не была зарегистрирована в аэропорту (там же). Воспользовалась чужим паспортом? Чьим? Провели через контроль сотрудники авиакомпании? Кто именно? Здесь особый повод для беспокойства. Если сообщники террористки работают на линии, они могут натворить еще немало бед!

Вот лишь одна группа вопросов. И какую сумятицу они вносят в стройную, на первый взгляд, версию, изложенную спецслужбами!

Есть и другие. Кто встречал шахидок? Кто и где передал им пояса смертниц? Не на платформе же метрополитена они обвешивались взрывчаткой? Пресса писала о съемных квартирах – на Малой Пироговской в Москве и в Одинцовском районе (“Коммерсантъ”, 03.04.2010). Упомянула об этом вскользь. Хотя, на мой взгляд, здесь ниточка, по которой можно выйти на организаторов преступления. Это же б а з ы – места сбора, отдыха, хранения оружия. Следы должны сохраниться. Кто-то оплачивал аренду, жил, навещался в гости. Очертите круг, расскажите о нем публике. Не видя результатов, хотя бы предварительных, она невольно думает, что расследование ведут спустя рукава.

Немаловажный вопрос: каким образом взрывчатка попала к бандитам? И что, собственно, это было: пластик, как утверждали вначале, или гексоген? Версия о гексогене вызвала возражения независимых экспертов: слишком большой груз пришлось бы тащить на себе. Пластик компактнее. Но это – взрывчатка спецслужб. Кто снабдил ею смертниц?

Не назван и заказчик. Главарь чеченских сепаратистов Доку Умаров взял ответственность на себя. Аналитики сомневаются: под силу ли ему осуществление операции такого масштаба. Если не Умаров – то кто?

**Еще более значимы вопросы политические. Почему спустя шесть лет после взрывов на “Рижской” и на перегоне между “Павелецкой” и “Автозаводской” в Москву вернулся террор? Сколько патронов истратили силовики, гоняясь за бандитами в горах Чечни и Дагестана. Какие деньгища вбухал Минфин в развитие Северного Кавказа. Какие хитроумные операции придумали и осуществили в Кремле. Важнейшая: назначение бывшего боевика, молодого и беспощадного, на пост руководителя покоренной Ичкерии. После того как он переманил к себе на службу большинство “лесных братьев”, а упрямым поотрывал головы, Москва, казалось бы, могла вздохнуть спокойно.**

А взрывы гремят!

Можно уточнить, рискуя безмерно расширить тему – не только в столичном метро. Взрываются гидроэлектростанции (после прошлогодней катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС взрыв, куда меньшей силы, прогремел нынешним маем на Нижнекамской ГЭС). Взрываются шахты. И двух недель не прошло после майской трагедии на “Распадской” – обвал на “Алексеевской” в том же Кузбассе. Прошлой осенью дважды рвались снаряды на военных складах в Ульяновске. А этой весной горели знаменитые продовольственные Бадаевские склады в Санкт-Петербурге.

**Страна разваливается – буквально. На это люди, похоже, махнули рукой. Не видят. Не желают смотреть. Не обращают внимания. А вот трагедия в метро отозвалась болью. Может, сказался фактор внезапности. Шахтер, отправляясь в забой, знает, что рискует. И работник оружейного склада – тоже. Даже инженер в операционном зале ГЭС. Но два раза на дню спускаясь в метро, невозможно все время думать о смерти!**

Нам говорят: атаки боевиков предугадать и предотвратить сложно. Ссылаются на теракты в США, Англии, Франции, Испании. Дескать, не застрахован никто.

**Опыт западных стран свидетельствует об обратном. Разумеется, спецслужбы и там страховку гражданам не выдают. Но работают на совесть. И после п е р в ы х акций – неожиданных, а потому и не предотвращенных, н о в ы х терактов не допускают.**

После 11 сентября (если принять версию Буша об ответственности “Аль-Каиды”) в Соединенных Штатах масштабных терактов не было! Спорадические вылазки, вроде эскапады подрывника-неумехи на Таймс-сквер весной этого года, время от времени случаются. Так же, как и выходы свихнувшихся янки, отстреливающих своих родственников и сослуживцев.

В голову к каждому психу не залезешь. А вот в подрывные организации “залезть”, внедриться необходимо. Перекрыть каналы, обезвредить, уничтожить. Работа не на показ. Об ее эффективности следует судить, скорее, не по судебным отчетам, а по тому, удастся ли обеспечивать мирную жизнь. Американцам удалось.

Так же, как и французам, после серии терактов в парижском метро в декабре 1995 году. Исполнители были найдены и обезврежены. Организатор – исламист Рашид Рамда из Алжира – получил пожизненное.

Обуздать террор смогли и английские спецслужбы. После атак в лондонском метро 7 июля 2005 года – тишина. Главные фигуранты – Мактад Саид Ибрагим, Ясин Омар и Рамза Мохаммед – осуждены в 2007 году. Попытки организовать новые взрывы пресекаются на стадии обсуждения замысла.

Сложнее Испании, где правительству приходится сражаться на два фронта – против исламистов, в основном выходцев из Марокко, и местных баскских сепаратистов. Но и здесь, после взрывов на мадридском вокзале Аточа в 2004 году, кровавая бойня не повторялась. Марокканец Омар Начха предстал перед судом. Его подручные уничтожены в ходе спецоперации. Многочисленные аресты обескровили и баскскую организацию ЭТА.

Как видим, в последние годы в развитых странах первая атака обычно становится и последней. В прежние времена террористы чувствовали себя куда вольготней. Но с усовершенствованием технологий, способных обеспечить всесторонний контроль, спецслужбы получили неоспоримые преимущества перед своими противниками. Если здесь и есть проблема, то отнюдь не безопасности, а свободы личности и гражданского общества в целом. Спецслужбы вторгаются в жизнь не только злоумышленников, но и законопослушных граждан. О чем многие на Западе говорят с тревогой. Думаю, как раз для того, чтобы успокоить страсти, следователи доводят до суда главных подозреваемых. Смотрите – вот виновник! Вот наказание. Не должно остаться и тени подозрений, что правоохранители что-то “нахимичили”, упустили главарей, подставили невиновных.

Стоит ли уточнять: такое положение дел предельно далеко от того, что мы видим в России. Начиная с Ахмета Гочияева, обвиненного во взрыве домов в Москве осенью 1999 года, организаторы терактов “гибнут в бою”. Хоть бы одного вывели на помост – на погляд и на осуждение народом. Смотрите, слушайте, исполняйтесь трепетом от неотвратимости возмездия. А затем наслаждайтесь наступившим миром. Ведь по уму: если закоперщики арестованы, террор должен сойти на нет\*.

Ситуацию в России уместнее сравнивать не с американской или западноевропейской, а с иракской, афганской, пакистанской. С происходящим в так называемых “проблемных”, “падающих” государствах со слабой властью и плохо работающим сыском.

**Московские взрывы так же, как и война, с новой силой разгорающаяся на Кавказе, высветили некомпетентность и бессилие федерального правительства. Об этом пишет американский журнал “Ньюсвик”: “В 2000 г. Владимир Путин пришел к власти, обещая восстановить мир на Кавказе. Прошло почти десять лет, а этот регион вновь в огне”** (цит. по: <http://rus.ruvr.ru/2009/10/12/1920373.html>).

Между прочим, россияне многим пожертвовали в обмен на обещание положить конец терроризму. Воспользовавшись мандатом на наведение порядка, власть жестко ограничила политическую активность в стране. Роль партий сведена к минимуму, их количество сократили в несколько раз. Выборы во многом стали формальностью, а губернаторские – и вовсе отменены. В конечном счете многие сочли возможным вообще отказаться от собственного суждения по важнейшим вопросам жизни страны. Опросы, проведенные накануне очередных парламентских выборов, показали: лишь для четверти респондентов важно собственное мнение, 27% передоверили вопросы политики Путину (“Время новостей”, 28.03.2007).

\* В середине июня пришло сообщение, что на Кавказе арестован Али Тазиев – террорист по кличке “Магас”. Он стал первым руководителем боевиков, которого российским спецслужбам удалось взять живым. Правда, Магас – личность полумифическая. Несколько раз его объявляли погибшим, но он появлялся вновь. Журналисты предположили даже, что под кличкой “Магас” скрывается несколько человек. Остается надеяться, что задержание положит конец его бандитской карьере.

**Политологи предложили формулу: свобода в обмен на стабильность. То был своего рода пакт, негласное соглашение на рода с Путиным, обеспечившее “национальному лидеру” непоказную поддержку на целых десять лет.**

29 марта страна увидела: стабильности нет! И как прорвало: чуть ли не через день подрывы на Кавказе. Убиты десятки, ранены сотни людей (мы еще обратимся к печальной конкретике). Страна оказалась не готова к росту террора, в перспективе чреватого новой Кавказской войной.

### **Кавказский след**

*...Из 42 террористов, чье место рождения нам удалось установить, 38 оказались уроженцами Кавказа.*

*“Нью-Йорк таймс”*

Первой реакцией на взрывы был ужас. Он буквально выплеснулся в интернет. За сутки появилось 100 тысяч сообщений, связанных с трагедией в метро.

Типичные отклики: “Где рванет в следующий раз???”; “Как жить дальше? Ездить на работу, в гости, да хоть куда. А уходя из дома, прощаться с родными. Не зная, вернешься или нет” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/04/05/461574-karabulak-vzorvali-po-sheme...>).

Люди рассказывали, как, изводясь от тревоги, ждали в тот день возвращения близких: “Это были два часа СТРАХА. Когда не знаешь, что можно сделать, и нужно только ждать.

А по телеку — эти веселые гнусные рожи Малахова и бред о здоровье.

А ты сидишь, плачешь и представляешь своего ребенка в этом кошмаре.

Невыносимо. Сколько людей, получив вовремя информацию, не попали бы в давку и остались бы дома.

На этот раз Бог спас. Для моей семьи все обошлось.

А сколько людей с понедельника перестали жить.

Они не погибли, но ушли их близкие, и жизнь остановилась.

И для многих уже не начнется никогда.

Жизнь до и существование после” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/03/30/458562/hronica-obyavlenyih-smertnit...>).

Эти пронзительные слова не нуждаются в подтверждении. И все же добавлю: в тот день моя знакомая, проводив детей в школу (они ездят туда на метро), вздремнула. Ее разбудила свекровь: “Спишь? А дети доехали?” Узнав новость, женщина бросилась звонить в школу — и з а б ы л а, представляете — забыла, как зовут одного из сыновей. . .

Маленькая деталь, позволяющая ощутить, какую драму пережили миллионы москвичей.

Растерялись все — не только несчастные женщины. В ступор впало информационное начальство. Интернет разрывался от боли, а телевидение гнало загодя сверстанную программу передач. Это возмущало — до дрожи! “В метро — кровь, покореженные вагоны, погибшие и покалеченные люди, — вспоминала телеобозреватель Ольга Галицкая. — В городе — паника и страх. По основным каналам — “Модный приговор” с “Контрольной закупкой” да “Тайны следствия”. Информационное “Время” наступает в полдень, и никакие теракты не способны поколебать этот порядок” (“Время новостей”, 06.04.2010).

С либералами из “ВН” в кои-то веки соглашалась патриотическая газета “Завтра”: “. . . В самые напряженные часы этого года, с 8 до 11 утра 29 марта, когда народу позарез нужна была ясная и четкая информация о том, что происходит в стране, российское государственное телевидение повело себя преступно. Посчитав граждан — быдлом, не достойным правды. Пролилась кровь, но ТВ полностью сохранило развлекательный формат вещания, не сняло никчемную рекламу, не прекратило оскорбительный в данной ситуации поток кавээнзовских острот и ситкомовских гэгов” (“Завтра”, № 14, 2010).

**Думаю, газета права лишь отчасти. Дело не столько в презрении телевизионных начальников к зрителям (хотя оно налицо!), сколько в пол-**

**ном и сознательном отрыве российского телевидения от жизни страны. “Ящик” создает и нулю реальность — даже не параллельную и не перпендикулярную, как говорят порою в народе, а просто не имеющую никакого отношения к тому, что волнует и страшит людей. Да и постоянная оглядка на Администрацию отучила думать своим умом. Ждали “указивки”, а она не поступала.**

Да и откуда ей было взяться, если высшее руководство не знало ни того, что предпринять, ни того, что думать. А. Колесников, корреспондент т. н. “кремлевского пула”, имеющий доступ на статусные мероприятия, иронически запечатлел терзания вождей. “А как предотвратить? Ну как предотвратить? — передает он слова полпреда президента в Сибирском федеральном округе А. Квашнина. — Как вот предугадать, кто тут из нас что думает? Тем более в метро?” (“Коммерсантъ”, 30.03.2010).

Путин и Медведев произнесли положенные по протоколу фразы, стремясь — каждый на свой лад — сказать нечто запоминающееся. Премьер выдал очередную вариацию на тему “мочить в сортире” — на этот раз слишком затейливую, а потому неубедительную. Президент призывал “проявлять бдительность”, “провести разъяснительную (!) работу”, не допуская, однако, “нарушения прав граждан”. Видно, сообразив, что этакий набор слов мало кого тронет, он, добавив металла в голос, заключил: “Мы продолжим и операции против террористов без колебаний и до конца” (“Коммерсантъ”, 30.03.2010).

Лучше бы они промолчали! “В полдень, спустя четыре часа после взрывов в метро, президент собрал экстренное совещание силовиков, и они ему пересказывали все то, что остальные граждане уже давным-давно знали, — не скрывая намерения, писала Ю. Калинина из “МК”. — Такие экстренные совещания нужны, чтобы граждане видели: власти контролируют ситуацию. Но когда знаешь, что они бездействовали, их освещение производит не лучшее впечатление” (“МК”, 02.04.2010).

Пресса не скрывала разочарования. Причем не только столичная пресса. Неадекватность действий высших должностных лиц была замечена даже из провинции. Депутат городской думы Екатеринбурга писал: “Можно топтать ногами, брызгать слюной, обещать мочить в сортире, вешать новые награды на борцовскую грудь Героя России Рамзана Кадырова, уничтожать второго помощника третьего заместителя эмира Ичкерии и говорить о том, что вот теперь-то уж точно терроризм не пройдет... А можно не брызгать и не топтать. Не говорить пафосных слов. Можно начать работу...” (“Ежедневные новости” (Екатеринбург), 30.03.2010).

**Народ почувствовал: власти нечего сказать по существу. И начал задавать неудобные вопросы. Несколько выписок из интернета: “И сколько было терактов и что сделали власти, органы, чтобы защитить народ?! Одна болтовня, совещания, возбуждения уголовных дел и махание кулаками”. “...Чем тогда занимается подразделение Э (экстремизм)? Кто там гоняются за русскими пацанами, дабы привлечь их за разжигание межнациональной розни, это мы знаем. Но разве они не должны в первую очередь гоняться за террористами...”. “Почему мы платим все возрастающие налоги... А наша безопасность все хуже и хуже?.. Не надо грозных и не выполняющихся сортирных обещаний. Пусть наделенные полномочиями господа наведут элементарный порядок с ордами приезжих и их покровителями из местных иуд!” ([www.mr.ru/social/article/2010/03/30/458580-vzryiv-ksenofobii-strashnee-chem...](http://www.mr.ru/social/article/2010/03/30/458580-vzryiv-ksenofobii-strashnee-chem...)).**

Обвинения в бездействии, неэффективности, покровительстве “ордам приезжих” были еще самыми мягкими. В те дни в интернете звучали и куда более крамольные речи. Вскользь (ибо повторять их в печати небезопасно) на них намекнул “МК”. Газета посоветовала властям дать как можно более полную информацию о произошедшем, иначе “народ выдвинет свою версию взрывов в метро. Примерно такую же, какую выдвинули Березовский и Литвиненко после взрывов домов в 99-м” (“МК”, 30.03.2010).

“Завтра” изложила все битым словом в качестве “версий и гипотез”. “...Версия, сторонниками и распространителями которой выступают представители “ультрадемократической оппозиции”, пытается возложить ответственность за взрывы на представителей силового блока в российском правительстве, которые таким образом якобы “хотят сорвать медведевский курс на

модернизацию и либерализацию общественной жизни, воспрепятствовать антикоррупционным расследованиям” своей деятельности в путинский период и на волне борьбы против террора вернуть себе всю полноту власти” (“Завтра”, № 13, 2010).

Предположение, не подтвержденное сколько-нибудь серьезными доказательствами. Его отвергли даже западные аналитики. Одному из них корреспондент швейцарской газеты “Тан” задал вопрос: “По мнению некоторых, эти теракты пришлось весьма кстати Владимиру Путину”, на что эксперт возразил: “...Сегодня я не вижу, зачем ему бы это было надо” (Цит. по: <http://rus.ruvr.ru/2010/03/30/5806302.html>).

Ответ вполне в западном вкусе: голая прагматика, нет и словечка о морали. Тем не менее он снимает подозрения с наших “действующих лиц”.

Как бы то ни было, в российском секторе интернета экзотическая гипотеза весьма популярна.

Может быть, и для того, чтобы отвести подозрения от себя, власти на этот раз не стали играть в игру, знакомую по случаю с первым и вторым подрывами “Невского экспресса”. Мол, рассматриваются различные версии, то ли это русские националисты, то ли кавказские террористы. Уже 29 марта директор ФСБ А. Бортников недвусмысленно указал в сторону Кавказа. Произнес какую-то диковинную фразу, вроде того, что некоторые признаки указывают на места компактного проживания в Северо-Кавказском регионе. Жаль, не записал сии упражнения в элоквиции: теперь и силовикам предписано соблюдать пресловутую политкорректность.

Представьте, даже такой витиеватый текст вызвал возмущение в Грозном и Махачкале! Спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов заходился от негодования: “Если все мы называемся гражданами Российской Федерации, то при таких преступлениях не должна называться национальность”. Он объявил всех, кто делает “еще не доказанные заявления о северокавказском следе”, “разрушителями государства”, которые “должны нести за свои слова полную юридическую и политическую ответственность” (“Коммерсантъ”, 31.03.2010). В том же духе высказался и новоназначенный глава Дагестана.

Погрозил пальцем президент. Прилетев в Махачкалу, Медведев заявил: “Надо, чтобы все понимали, что здесь на Кавказе... живут такие же наши люди, граждане России, а не выходцы с Северного Кавказа. Это не иностранная провинция – это наша страна. Здесь живет и огромное количество, подавляющее большинство нормальных, честных, приличных людей, и бандиты. И в других частях нашей страны живет огромное количество нормальных приличных людей, и тоже бандиты живут” (“Коммерсантъ”, 02.04.2010).

Все правильно: бандиты живут повсюду. Но террористы, увы, именно на Кавказе. Об этом прямо сказали отнюдь не “квасные” русские патриоты, а американские конфликтологи. В статье, опубликованной во влиятельной газете “Нью-Йорк таймс” сразу после московских взрывов, они привели впечатляющую статистику: “...Из 42 террористов, место рождения которых нам удалось установить, 38 оказались уроженцами Кавказа” (<http://rus.ruvr.ru/2010/03/31/5861139.htm1>).

**Можно назвать такой подход научным. Можно – просто честным. Но он вызывает доверие. А общие рассуждения типа “давайте жить дружно” – нет. Дружно жить – хорошо, но когда один “друг” взрывает другого, это мало кому понравится.**

В конечном счете назвать национальность смертниц и республику, откуда они приехали, пришлось. Это только в речах политиков у террористов “нет лица, национальности, веры”, как изволил выразиться в 99-м Б. Ельцин (ОРТ, 13.09.1999). Если бы они и впрямь были “людьми без свойств”, спустившись на нашу землю из некоего параллельного мира, их бомбы, надо полагать, не причиняли бы вреда. К сожалению, их оружие реально. А значит, реально и все остальное: явки, адреса, среда, национальность, почва, на которой выросли убийцы. Об этом – в следующей главе.

**А пока замечу: риторические упражнения далеко не безобидны. Десять лет повторяя фразу Ельцина, люди дошли до того, что уже и о Великой Отечественной – в канун юбилея Победы – говорят: “Война не имеет ни национальности, ни границ” (“Вести”, Россия-24, 03.05.2010). Вдумайтесь только – ни национальности, ни границ! Послушали бы этот**



**бред наши отцы и деды, защищавшие границы нашего государства и сражавшиеся с захватчиками – немцами, а также венгерскими, финскими, румынскими, итальянскими и многими другими, но всегда конкретными. Они смогли одолеть их именно потому, что знали, что защищали и против кого боролись. Любая другая позиция – капитулянтская. Ни к чему, кроме поражения, она не приведет.**

Наши власти не были бы самими собой, не смягчи они, елико возможно, эффект от национальной идентификации смертниц. В спутницы к дагестанским террористкам они записали женщин “славянской внешности”. Эта идеологическая операция столь причудлива и выразительна, что имеет смысл сказать о ней подробнее. Надеюсь, это позволит отчетливее уяснить национальную политику руководства РФ.

Сразу после сообщений о терактах дикторы ТВ уточнили: шахидок сопровождал мужчина и “две женщины славянской внешности”. Слова о внешности выделяли железной интонацией, будто жирной линией подчеркивали. В последующие дни менялись детали, уточнялись имена террористок, названия селений и аулов. Но формула “женщины славянской внешности” повторялась неизменно!

Точно так же репортажи о подрыве “Невского экспресса” в ноябре 2009 года ритуально сопровождалась отсылкой к “русскому террористу” Павлу Косолапову. А в крушении того же экспресса в 2007 году поначалу обвиняли “русских боевиков” (“МК”, 21.08.2007). Позднее обвинения в том и другом преступлениях предъявили жителям ингушского села Экажево.

Что называется: “Ложечки нашлись, но осадок остался”. Власти сделали для этого все!

**Хорошо информированная “НГ” поясняет: “Видимо, первой мыслью после терактов у власть предержащих... было предотвратить рост ксенофобии (а я-то думал: защитить москвичей! – А. К.), замешенной на справедливом гневе в отношении террористок. Как только пошли первые сообщения СМИ о найденных останках двух смертниц, неизбежно возник вопрос об “исламском” и “кавказском” почерке. Считается, что именно по этой причине было объявлено о том, что террористок-самоубийц сопровождали “женщины славянской внешности”. Дескать, мы имеем дело не с кавказским, а с глобальным исламизмом”.** (“Независимая газета”, 07.04.2010).

Чрезвычайно важная информация. В одном я бы поправил автора: сообщения о “славянской внешности” отсылали не к “глобальному исламизму”, а к вполне определенному – русскому – народу, который никакого отношения к теракту не имел. Кроме того, конечно, что стал его жертвой.

Показательно: фотография мужчины-провожатого была сразу же предьявлена публике. Это реальное лицо. Кавказской, кстати, национальности. А вот изображения женщин-славянок так и не появились. В конце концов автор той же “НГ” догадался: их не было!

Этакие “поручики Кижэ” в юбках! Чья функция вполне очевидна: перевести “справедливый гнев” с одного народа на другой.

Не знаю, как читатели, а я не могу определить подобную операцию иначе, как подлость!

**Параллельно интенсивно раскручивалась тема “бытовой ксенофобии” русских. Она возникает в СМИ всякий раз, когда нам хотят заткнуть рот и запретить бороться за свои права.**

Уже в день взрывов ТВ мусолило сообщения о том, что где-то в метро из вагона вытолкнули двух женщин, одетых в мусульманское платье, а в другом случае набросились на кавказцев, отказавшихся показать, что они везут в сумке. И хотя 30 марта председатель Совета Ассамблеи народов России дагестанец Рамзан Абдулатипов заверил, что от представителей диаспор “не поступали жалобы на насилие” (“МК”, 31.03.2010), тему продолжали обсасывать со всех сторон, иной раз, казалось, хрюкая от удовольствия.

“МК”, фактически опровергая помещенное на своих страницах свидетельство Абдулатипова, в том же номере размахнул: “Взрыв ксенофобии страшнее взрыва гексогена” (31.03.2010). В передаче “Пусть говорят” на Первом канале ТВ молодой армянин гневно кричал аудитории, что в метро на него “косо смотрят” (ОРТ, 30.03.2010).

Могу представить, как неприятны косые взгляды. Но хотел бы посоветовать молодому кавказцу хотя бы на мгновение подумать о том, что пережили и что чувствовали пассажиры московской подземки в злополучный день.

Тот, кто спускался в метро 29 марта, никогда не забудет увиденного! Безмолвные вестибюли станций, пустые вагоны, где можно сесть на любую скамейку. Рискнувшие войти глядели на попутчиков с непередаваемым чувством: напряженным вниманием и одновременно с надеждой. Они как бы говорили друг другу: ты же меня не взорвешь? я не верю, что ты способен убить меня.

По данным соцопроса, 22% москвичей заявили, что они «постараются ездить в метро как можно реже» («МК», 31.03.2010). Да и жители Подмосковья после терактов опасались посещать столицу. «По словам водителей автобусов, пассажиропоток до Москвы уменьшился примерно на треть» («МК», 07.04.2010).

**И вот в таких условиях москвичи всего лишь «косо поглядывали» на курчавых и горбоносых попутчиков. Чаще всего они просто пересаживались подальше или выходили из вагона. «МК» запечатлел характерную сцену: «В понедельник на одной из станций в вагон зашла женщина с восточными чертами лица. Часть пассажиров сразу же выскочила на платформу, а те, кто не успел, спешно перебрались в противоположный край вагона. Несчастливая женщина села на лавку и заплакала» («МК», 31.03.2010).**

Женщину «с восточными чертами лица», действительно, жалко. Но почему газета забыла пожалеть москвичей, которые в родном городе, в своем прославленном на весь мир метро вынуждены скакать как зайцы? Предосторожность отнюдь не чрезмерная, если вспомнить, что произошло 29 марта.

**На Западе в схожих условиях публика – и полиция! – реагировали куда более жестко. В 2001-м после терактов в Нью-Йорке толпа линчевала сикха – его тюрбан американцы приняли за арабский головной убор. В 2004-м в Лондоне после взрывов в подземке полицейские застрелили бразильца, приняв его за исламского террориста. Список можно продолжить. А уж случаев отказа ехать или лететь с «подозрительными попутчиками» не счесть! Вот одно из множества сообщений: «...Шестеро имамов, вылетавших в город Финикс (США), были удалены из самолета силами полиции. Одного из пассажиров насторожило поведение мусульман, совершавших вечернюю молитву» («Независимая газета», 06.12.2006).**

Побойтесь Бога, обличители нашей «ксенофобии»! Русский народ – один из самых незлобивых и уживчивых в мире.

К несчастью, его миролюбие иной раз провоцирует окружающих на самые дикие выходки по отношению к нему. Речь о терроре не только физическом, но и психологическом.

**Две недели спустя после взрывов все тот же «МК» начал раскручивать примечательную информационную кампанию. Остальная пресса еще обсуждала подробности терактов, а проворные «комсомольцы» бросились на поиски новых злодеев.**

В номере от 13 апреля газета сообщила об убийстве судьи Мосгорсуда Э. Чувашова. Казалось бы, известие не рядовое, но не выдающееся. Кого только не убивали в столице – губернаторов, банкиров, следователей. Однако уже на следующий день материал о произошедшем опубликовали под рубрикой «Громкое дело». Заголовок и впрямь кричал: «Судью убили как антифашиста» («МК», 14.04.2010).

Оказалось, Чувашов вел процессы скинхедов. Те считали его русофобом. И вроде бы не без оснований. В прессу просочились сведения об аудиозаписи, «якобы сделанной на одном из судебных заседаний, где председательствовал господин Чувашов. На ней некий мужчина, по утверждению националистов, это был судья, в полемике со своим оппонентом заявил: «У русских тоже менталитет такой, что надо порой вешать и убивать этих русских» («Коммерсантъ», 13.04.2010).

**У меня эти сведения вызывают ряд вопросов. Проверялась ли пленка на подлинность? Если же Чувашов и впрямь публично призывал «вешать и убивать этих русских», то почему его не лишили статуса судьи и**

**не преследовали по статье о возбуждении национальной ненависти? Почему именно такому человеку поручали вести разбирательство деятельности русских националистов, зная, что он не может быть объективным?**

Но не эти вопросы волнуют “МК”. Газета пытается представить преступление как месть “русских националистов”. Чуть ли не как русский террор: “Убийство Чувашова, по-видимому, не последнее” (“МК”, 14.04.2010).

Между тем тот же “МК” в номере от 13 апреля поместил фоторобот убийцы, составленный со слов видевшего его дворника, — это типичное “лицо кавказской национальности”.

Впрочем, на одной публикации пропагандистскую кампанию не построишь. 19 апреля в “МК” появляется заметка “Устроить теракт скинхедам помог телевизор”. Корреспондент извещал: “Две самодельные бомбы подбросили скинхеды в общежитие гастарбайтеров на северо-западе столицы”. Вопреки громкому заголовку говорить о “теракте” — явное преувеличение: “Один из пострадавших получил несколько порезов от разбитого оконного стекла, а второму на голову упал телевизор, стоявший на полке у изголовья” (“МК”, 19.04.2010).

Но главное не в этом: внимательно перечитав заметку, я не обнаружил ни одного доказательства, что к происшествию причастны скинхеды. Вот “улики”: “Сыщики располагают словесными портретами хулиганов — это молодые люди от 17 до 20 лет, один из них невысокий, другой — среднего роста. Одет в темные джинсы”. Нет даже обычного в таких случаях упоминания об армейских ботинках и черных куртках — своего рода униформе скинхедов. Нападавшие не оставили каких-либо надписей. Почему же тогда — “скинхеды”, а не, скажем, криминальные конкуренты гастарбайтеров-таджиков? Не настаиваю на своей версии, но и принимать газетную нет никаких оснований.

Оснований-то нет, а информационный “компромат” (“осадок”, если вспомнить анекдот о нашедшихся ложках) остается.

Я стал просматривать газету внимательнее. Вскоре появились еще две информации о “терактах”. Не состоявшихся. В обоих случаях “МК” обвинял “русских националистов” — совершенно бездоказательно. Впоследствии от одной из версий пришлось публично отказаться (“МК”, 04.05.2010). Но в сознании читателей, бегло просматривающих заметки, накапливался негатив: эти русские совсем распоясались!

Кульминация наступила 21 апреля, когда под престижной рубрикой “Свободная тема” газета опубликовала статью Матвея Гананольского “Личная война президента Медведева за человеческое лицо России”. Главного начальника Гананольский превозносит. Зато в “человеческом лице России” сомневается. Бог ему судья, насильно мил не будешь.

Вопрос, однако, не в предпочтениях г-на Гананольского. В статью вмонтирована конструкция, венчающая, на мой взгляд, многоходовую комбинацию газеты. Приведу обстоятельную цитату: “Между состраданием и злобой “патриоты” всегда выбирают злобу. Эта злоба многолика. Она не только в словах, но и в делах. Демонстративно убивают судью Эдуарда Чувашова, который вел дела против скинов и нациков. В окно общежития гастарбайтеров бросают взрывные устройства. Кто они, эти ребята... Кто они?” Гананольский сам же отвечает на эффектно поставленный вопрос: “Они — истинные террористы” (“МК”, 21.04.2010).

**А теперь внимание, читаем еще раз: “Они — истинные террористы”. Написано в конце апреля. И месяца не прошло после взрывов в метро. Страна еще не избывала подземный ужас. И что же ей предлагают? Классическую антитезу: раз есть террористы и ст и н н ы е, значит, другие — как бы поделикатнее выразиться — “неистинные”, во всяком случае, не самые страшные. Если и бороться с ними, то не в первую очередь. А с кем же — в первую? С русскими!**

“Поздравляю, граждане соврамши!” Да так ловко соврамши, будто фокусник глаза отвел. Поистине магическое шоу устроило самое популярное издание столицы! Заходит в волшебный ящик персонаж черный. Выходит — белый. Заходит белый — его как в сажу вываляли. Вползает змея — выпархивает голубок. И так далее. Пока у простака-зрителя голова не пойдет кругом, и он перестанет понимать, что же происходит на сцене.

Фантазирую? Читаю между строк? Помилуйте: “истинные террористы” черным по белому пропечатано.

**Идеологическая подмена смыслов совпала по времени с политической акцией, где на эти – подменные – смыслы ориентировались. Где они “конвертировались” в конкретные лозунги на площади. Что позволяет предположить координацию действий.**

20 апреля Православный корпус движения “Наши” совместно с Российским конгрессом народов Кавказа (РКНК) провели в Москве “Марш против террора”. Отчет о нем “МК” поместил в том же номере, что и писания Ганопольского.

Казалось бы, что может быть лучше – молодежь основных российских конфессий объединяется в борьбе с терроризмом. Однако лозунги, если судить по отчету “МК”, нацеливали на другое: “Ультранационализм похоронит Россию”; “Генеральный прокурор! Не допустим фашизм” (“МК”, 21.04.2010). Если учесть, что на либеральном новоязе “национализм” и “фашизм” употребляются только с прилагательным “русский”, направленность масштабного собрания вполне очевидна.

**Вразумите, отказываюсь понимать! Если судить по лозунгам, то 29 марта русские кого-то взорвали. Это их вознамерились остановить доблестные “Наши” вкупе с активистами народов Кавказа и “Генеральным прокурором” в придачу. Но мы же знаем имена террористов. Читали списки жертв (они опубликованы). Что же вы все переворачиваете с ног на голову?!**

Но, может, “МК” выхватил “две-три случайные фразы”? Не доверяясь “Комсомольцу”, проверим по куда более солидному “Коммерсанту”. Тут приведены лозунги еще более циничные и страшные. “Антиисламизм – это фашизм XXI века”; “Россия без россизма” (“Коммерсант”, 21.04.2010). Конечно, с “грамотешкой” у “Наших” неважно. Но функционеры из РКНК не могут не знать, что такое и с л а м и з м. Принято различать “ислам” – одну из мировых религий, и “исламизм” – его политизированное преломление. “Исламизм – политическое течение внутри исламского мира, нацеленное на создание исламских государств, приведение официального права в соответствие с шариатом и соблюдение мусульманами и немусульманами (так!) ценностей и законов пророка Мухаммада и четырех первых халифов”, – растолковывает Википедия\*.

На постсоветском пространстве уже существовало квази-государство, декларирующее верность шариату – Республика Ичкерия времен генерала Дудаева. Те же законы были самовольно введены в высокогорных районах Дагестана, на помощь которым в августе 1999 года рвались банды Басаева. Российские, прежде всего русские, солдаты в ходе двух чеченских войн положили конец исламистским новообразованиям.

Поинтересуемся у руководителей Православного корпуса движения “Наши” (а заодно у их кремлевских покровителей), считают ли они русских солдат, сражавшихся с Дудаевым и Басаевым, фашистами, что логически вытекает из лозунгов митинга? Хотят ли они заменить Конституцию РФ законами “пророка Мухаммада и четырех первых халифов”, сделав их обязательными – в том числе и для православного населения России? И наконец, что, собственно, означает проведение в центре Москвы митинга под транспарантами исламистов? Глупость современных незнаек или сознательное глумление над памятью жертв, как раз исламистами взорванных?

Еще возмутительнее слоган “Россия без россизма”. Воспользовавшись игрой созвучий, участники митинга отождествляли р у с и з м, то есть русское направление общественной мысли, с р а с и з м о м. Следует ли это понимать так, что русские – поголовно расисты? Или здесь требование очистить Россию от русских – россос, как именовали нас в прежние времена?

Можно было бы и не уделять особого внимания отвратительной словесной эквилибристике, если бы в мельтешении слов не затерялся смысл произошедшего 29 марта. Жесточайшее потрясение, страшный урок, требующий внятного, выношенного ответа, впрямь не пошел. Оказался не к месту и не ко времени.

---

\* Между прочим, не только “веселые и находчивые” активисты РКНК, но и сам хозяин Чечни, лучший друг Кремля и лично “национального лидера” Рамзан Кадыров недавно заявил в интервью французской прессе, что, по его мнению, “шариат стоит над законами Российской Федерации” (<http://www.newsru.com./Russia/01jun2010/radyr.html>).

Оттесненные крикливыми лозунгами, отошли на второй план проблемы вины и воздаяния, террора, с Кавказа пришедшего, да и самого региона – со всем, что происходит там, что связывает его с Россией и отталкивает от нас.

Утратил жгучую политическую актуальность поиск нашей стратегии на Кавказе. Развернутой, ответственной, продуманной на годы вперед.

Надо полагать, на это и был расчет. За тем и шумели.

### Территория войны

И все-таки трагедия многих отрезвила.

“Как можно было так бездумно, так опрометчиво закрывать глаза на то, что происходит на Кавказе? – по-женски резонерствовала Ю. Калинина. – Как можно было верить, что Кадыров все там исправит и наладит? Он, что, волшебник?” (“МК”, 02.04.2010).

Раздосадованная журналистка приходила к неутешительному выводу: “... Борьба с терроризмом, которую власти вели с 99-го года, не принесла результатов. Кадыров, обещавший извести террористов, никого не извел. Обстановка на Северном Кавказе продолжает оставаться не просто напряженной, а взрывоопасной. Все как было десять лет назад, так и осталось. Время ушло впустую” (там же).

Запоздалое прозрение мстительно. Калинина далеко не во всем права. Кадыров “изводил” боевиков исправно – о чем, помимо прочего, свидетельствует количество исков, поданных от имени родственников убитых или пропавших родственников чеченцев в Страсбургский суд. Но, во-первых, он, действительно, не волшебник. Во-вторых, террор давно перешагнул границы Чечни. В этом смысле, констатация “все, как было десять лет назад” – излишне оптимистична.

**Скорее, следует согласиться с зарубежным экспертом: “По всему Северному Кавказу рассеяны очаги мятежа. Главари бандформирований заявили о себе в Дагестане, исторической вотчине чеченских сепаратистов, в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии”** (<http://rus.ruvr.ru/2010/03/30/5806302.html>).

Хлесткую, но, к сожалению, точную формулу предлагает американский журналист Оуэн Мэтьюс – “Кавказ в огне” (<http://rus.ruvr.ru/2009/10/12/1920373.html>).

Чтобы убедиться в правоте экспертов, достаточно взглянуть на хронику происшествий. Выделю краткий отрезок, начиная со дня взрывов в метро и заканчивая майскими праздниками.

30 марта. В Ножай-Юртовском районе (Чечня) перестрелка с боевиками. 1 сотрудник правоохранительных органов погиб, 3 ранены.

31 марта. Два взрыва в Кизляре (Дагестан). 12 человек (в основном милиционеры) погибли, около 30 ранены.

1 апреля. Взрыв в Хасавюртовском районе (Дагестан). 2 милиционера погибли, 13 ранено.

5 апреля. Взрыв в Шалинском районе (Чечня). 1 военнослужащий ранен.

10 апреля. Взрыв в Нальчике (Кабардино-Балкария). Погиб начальник уголовного розыска республики.

11 апреля. Боестолкновение в Карабулахском районе (Дагестан). 3 бойца 102-й бригады ВВ погибли, 7 ранены.

15 апреля. В Назранском районе (Ингушетия) нападение на инкассаторов. 1 человек убит.

21 апреля. В Кизлярском районе (Дагестан) убит атаман Петр Стаценко.

29 апреля. Взрыв в поселке Ленин-Аул (Дагестан). 3 человека погибли, 5 ранены.

1 мая. Взрыв на ипподроме в Нальчике (Кабардино-Балкария). 1 человек погиб, 29 ранены.

1 мая. В Назрани (Ингушетия) перестрелка на входе в ДК, где выступал президент Евкуров.

3 мая. Нападение на газораспределительную систему в Карабулахском районе (Дагестан).

7 мая. Терракт на вокзале в Дербенте (Дагестан). 1 погибший, 6 раненых.

9 мая. Две бомбы взорваны в Каспийске (Дагестан). 3 погибших, 7 раненых.

12 мая. В Черкесске (Карачаево-Черкесия) убит советник президента республики.

**В середине мая на встрече с правозащитниками в Кремле Д. Медведев обнародовал сведения о терактах на Кавказе за 2009 год – 544. Только в правоохранительных органах погибло 235 сотрудников. 689 получили ранения** (“Независимая газета”, 20.05.2010).

По сути, это не “обострение террористической угрозы”, как говорят начальники в Москве, а н а с т о я щ а я в о й н а. Локальная, но достаточно интенсивная. Для сравнения. В том же 2009 году американцы потеряли в Афганистане 316 военнослужащих убитыми, а в Ираке – 150 (<http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2010-02-23/36840>).

**Всего за годы после распада Союза на Северном Кавказе погибло 10 тысяч сотрудников силовых структур и около 27 тысяч было ранено** (“Независимая газета”, 11.06.2010). **Число убитых значительно больше, чем у американцев в Ираке и Афгане.**

Важно, чтобы общество и власть наконец-то осознали характер происходящих в регионе процессов. Московские чиновники и руководство СКФО предпочитают успокаивать публику: “Никакой войны на Кавказе нет” (“МК”, 06.04.2010). Даже когда рвануло в Ставрополе (после громких терактов в Москве, Кизляре, Нальчике, Дербенте), А. Хлопонин уверял, будто “масштабного террора в регионе нет” (“Независимая газета”, 28.05.2010). Поистине – “ничего не вижу, ничего не слышу”...

С маниловским красноречием полпред обещает превратить новообразованный Северо-Кавказский округ в “жемчужину России” (“Коммерсантъ”, 09.04.2010). А небезызвестный Г. Бурбулис договорился до того, что объявил СКФО “полигоном модернизации” (“Коммерсантъ”, 20.01.2010). Между тем, пространство от Дербента до Нальчика превращается в полигон военный и даже в поле боя.

**Распространено мнение, будто эксцессы связаны с малочисленной группой бандитов, изгоев общества. Население, якобы, давно отвернулось от них. Лишь после взрывов в Москве СМИ заговорили о том, что “десятки террористов ощущают за собой поддержку сотен и тысяч их близких, друзей, соседей”** (“Уральский рабочий”, 30.03.2010).

Российскому обывателю (да и хозяевам высоких кабинетов в столице) трудно представить, как ж и в е т Северный Кавказ. Поэтому воспользуемся редкой возможностью хотя бы чужими глазами взглянуть на ситуацию в горных районах.

**В начале апреля журналисты сразу нескольких московских изданий отправились в отдаленное селение, где жила одна из смертниц. “На подъеме в гору, – сообщает автор “МК”, – вдоль дороги наравне со знаками установлены зеленые таблички с надписями арабской вязью. Читаю: “Аллах акбар!”. ... В какой-то момент в начале подъема обстановка вокруг меняется. Надписи на арабском появляются всюду: названия заправок, просто вязь баллончиком на скалах. Впрочем, есть и надписи на русском, но они, скорее, свидетельствуют о том, кто в “доме” хозяин: “Саид\*, мы не забудем тебя”, “Моджахеды” и т. п.”** (“МК”, 07.04.2010).

Иной мир со своими обычаями и законами. И при этом, несмотря на очевидную архаичность, отнюдь не отсталый, якобы обреченный волей-неволей признать и принять власть нашей более современной цивилизации.

Марьям Шарипова, проживавшая в селении Балахани, работала заместителем директора школы по информатике. К широко разрекламированному в е к у к о м п ь ю т е р о в она принадлежала в той же мере, что и ее московские сверстницы.

**К слову, ее брат Анвар несколько лет назад переехал в Белокаменную. По словам корреспондента газеты “Коммерсантъ”, он имел “богатый боевой опыт”, но был амнистирован** (“Коммерсантъ”, 09.04.2010). **После этого куда же еще податься, как не в столицу нашей Родины го-**

---

\* Саид Бурятский, идеолог боевиков, убит федеральными войсками в начале 2010 года.

**род-герой Москву! В гигантском человеческом муравейнике легче раствориться, скрыть криминальное прошлое. А заодно и денег заработать.**

Два мира связаны между собою. Об этой проблеме – в следующей главе.

Но связь фактически односторонняя. Брату смертницы, да и ей самой не составляло труда доехать до Москвы. А вот представителям федеральных и местных властей для того, чтобы добраться до Балахани, приходится заручаться военным прикрытием – как во времена кавказских войн XIX века.

Корреспондент “Коммерсанта” живописует: “Сотрудники Главного Следственного комитета при прокуратуре РФ прибыли в селение около 7 часов утра под мощной охраной – их сопровождали бойцы спецподразделений на четырех “Уралах”, в кортеж входили также бронированный спецавтомобиль “Тигр” и несколько милицейских “Газелей” и “УАЗов” (“Коммерсантъ”, 09.04.2010).

Сравните с проведением следственных действий в Центральной России и, что называется, почувствуйте разницу.

Может быть, сотрудники СКП перестраховались? Не скажите. В окрестностях Балахани не так давно напали на инкассаторов. Похищено 4 млн рублей. “Деньги пошли на финансирование бандгрупп”, – уточняет газета (там же).

В соседнем селении Губден боевики регулярно отстреливают сторонников федеральной власти. В июле прошлого года убиты депутат сельского собрания И. Ибрагимов, выступивший с призывом очистить село от ваххабитов, и дружинник М. Исмаилов. В конце сентября расстрелян служитель мечети Г. Нурмагомедов – также активный противник сепаратистов. В ноябре взорвали вдову бывшего начальника местной милиции (его убили годом ранее) Е. Трифониади, ее дочь и сестру (“Независимая газета”, 13.04.2010).

Что это, как не война?

Выразительная деталь. По утверждению хорошо информированной Э. Памфиловой, “в ряде районов... даже сотрудники милиции платят дань боевикам за свою безопасность” (“Независимая газета”, 20.05.2010).

Другие правоохранители ведут себя еще более “оригинально”: в свободное от работы время помогают “лесным братьям”. Во время мартовской спецоперации в ингушском селении Экажево в числе задержанных оказались “двое сотрудников МВД и три гаишника” (“Время новостей”, 05.03.2010). В этой связи корреспондент газеты вспоминает, что известный полевой командир “амир Магас” также служил в органах. А перед рейдом боевиков Ш. Басаева на Ингушетию в 2004 году Шамиля возил по республике “один из действующих сотрудников местной милиции” (там же).

**О том, как далеко зашло дело, свидетельствует президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. С гневом говоря о коррумпированности правоохранительной системы, президент отмечает, что судьи не хотят судить боевиков, опасаясь мести их сторонников. “Самое страшное, – подчеркивает Евкуров, – что бандиты, которых эти судьи выпустили, продолжают убивать. Поэтому я говорю, что судья, освободивший преступника, хуже, чем десять хаттабов” (“МК”, 19.04.2010).**

После подобных утверждений не таким уж невероятным покажется заявление чеченских сепаратистов, будто “кадыровские министры снабжают боевиков Доку Умарова и деньгами, и оружием. На случай, если бандиты победят” (“МК”, 27.01.2010).

**Надеюсь, победить Доку Умарову все-таки не удастся. Полагаю, что и “кадыровские министры” исключают такой исход. Однако сам факт помощи “лесным братьям” я бы не стал отвергать с порога. По вполне прозаической причине: “священная война” против Москвы эконо-мически выгодна многим нечистым на руку чиновникам. “Потерю” огромных сумм всегда можно списать на чрезвычайные обстоятельства.**

С другой стороны, не следует недооценивать религиозную составляющую. Арно Калика, западный специалист по России, считает, что сегодня на Кавказе “речь идет о борьбе с “православно-христианским игом” со стороны России. Ислам “вне мечетей” завладевает умами значительной части общества и молодежи. Он остается маргинальным, но это – резерв, в котором находят добровольцев для осуществления акций, подобных тем, что была проведена в метро” (<http://rus.ruvr.ru/2010/03/30/5806302.html>).

Маргинальным ли – это вопрос. Он предельно обострился после провокационного выступления главы Духовного управления мусульман Северной Осетии Али-Хаджи Евтеева. Цитирую: “Муфтий назвал боевиков своими братьями”. Евтеев признался, что “в середине 1990-х проходил обучение в лагере известного арабского наемника Хаттаба. Помимо араба своими учителями муфтий назвал лидеров вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Анзора Астемирова и Мусу Мукажева” (“Коммерсантъ”, 13.05.2010).

“Достойные” учителя были у человека, которому доверена духовная власть над мусульманами одной из кавказских республик. Кстати, единственной, пока еще всецело ориентированной на Москву.

Правда, после скандала Евтееву пришлось покинуть пост. Но произошло это не сразу. Поначалу в Духовном управлении мусульман России муфтия взяли под защиту и пытались замять дело (там же).

К несчастью, борьба с “православно-христианским игом” не ограничивается словесной сферой. На исходе 2009 года в Москве был убит священник Даниил Сысоев (подробнее в моей статье “Испытание” – “Наш современник”, № 2, 2010). Как я и предполагал, убийцу нашли и уничтожили на Кавказе.

После взрывов в метро развернулась настоящая кампания “телефонного терроризма”, направленная против Церкви. Поступали сообщения о якобы заложенных бомбах в московском Храме Христа Спасителя, Казанском соборе Санкт-Петербурга и других дорогих для православного сердца святынях.

Вряд ли случайно и время взрывов – они пришлись на первый день Страстной седмицы...

Многообразные угрозы позволяют судить о масштабе вызова, брошенного России. Готова ли она ответить на него?

Увы, нет уверенности ни в наличии достаточных материальных ресурсов – от финансовых до силовых, ни в способности московских менеджеров адекватно осмыслить ситуацию и взять ее под контроль.

Повторю: власти (и СМИ) до последнего уверяли – обстановка на Кавказе спокойная. Рапортовали о восстановлении Грозного. Грезили о грандиозном “туристическом кластере”. И только взрывы в Москве, многократно продублированные в регионе, заставили признать мрачную реальность.

По привычке все сводить к денежному эквиваленту, происходящее пытаются объяснить факторами экономическими. Выделяют массовую безработицу. Логика элементарна: создав новые рабочие места, федеральный Центр справится с террором.

Местные власти охотно поддерживают эту иллюзию. Мэр Махачкалы не поленился изобразить красочную сцену: “У нас на Кавказе самое страшное – это безработица. Человек без работы не знает, куда себя деть. Уходит, вечером возвращается... Жена его спрашивает: “Ты где был, мой любимый муж? Что ты принес домой? Дети голодные”. У него сразу кавказская кровь заиграет, и волей-неволей он оказывается у “лесных братьев”: ему некуда деваться” (“Время новостей”, 20.03.2009).

К слову – дотошные журналисты раскопали любопытную подробность: племянник мэра Магомед-Заур Гаджиев в 2006 году был арестован в Москве за подготовку взрыва в аэропорту “Шереметьево” (“МК”, 12.05.2006).

Неужели дядя не подыскал горячему юноше работу?

После трагедии в метро блогер из Тамбова задал вопрос: “...Почему в российской глубинке при такой же бедности террористов нет? Может, дело не в бедности?” (<http://newsforums.bbc.co.uk/ws/ru/thread.jspa?forum/D=11430>).

**Блогер прав. Конечно, финансовые обстоятельства во многом определяют действия человека. Во многом – но не во всем! Убить за деньги (а чем занимаются “лесные братья”?) способен далеко не каждый...**

Материальными условиями не предопределена и участь “черных вдов”. Что бы ни рассказывали по этому поводу излишне впечатлительные писатели. Сколько вдов и так называемых “разведенков” в России! Им тоже непросто. Но они не подрывают пояса шахидов.

Выразительное фото опубликовал “Коммерсантъ” в номере от 2 апреля. На нем смертница Джанет Абдуллаева снята со своим еще живым мужем. Семейная идиллия! Если бы не одна деталь – влюбленная парочка обвешана оружием! ОНИ ГОТОВИЛИСЬ УБИВАТЬ.



**Абдуллаева стала террористкой потому, что с самого начала нацеливалась на убийство. Она, как и ее супруг, стали жертвами с о б с т в е н н о й т я г и к н а с и л и ю.**

Дико? Аномально? Но мы имеем дело именно с дикостью! Взорвать себя в толпе ни в чем не повинных людей – это разве не дикость?!

**Проблема в том, что такое аномальное поведение в регионе распространено. И у многих вызывает не осуждение, а поддержку. Во время посещения отца Марьям Шариповой московские журналисты слышали, как ему звонили и поздравляли. С чем? С массовым убийством, учиненным его дочерью** (<http://kp.ru/daily/24468/628045>).

Таковы правила и игры. Здесь и сейчас. Далеко не для всех. Д. Медведев ко времени напомнил о том, что на Северном Кавказе живет “подавляющее большинство нормальных, честных, приличных людей, и бандиты”. Беда в том, что бандитов и террористов многовато – иначе бы не убивали по 235 милиционеров в год!

Можно (и нужно!) не принимать эти правила. Можно (и нужно!) бороться с ними. Но нельзя, запомните – нельзя их игнорировать. Делать вид, будто их нет.

А именно этим до сих пор занята Москва. Она уныло лепечет о “дружбе народов”. И одновременно пытается откупиться от боевиков.

Хлесткое слово уже прозвучало. Примечательно: его произнес один из немногих журналистов, не понаслышке знающих обстановку на Кавказе, Иван Сухов. Он пишет: “Люди, принимающие решения об увеличении ассигнований, рисуют перед всеми желающими радужные картины будущих туристических кластеров, куда россияне смогут ездить круглый год – то купаться, то пить минеральные воды, то кататься на лыжах. Но представить себе сейчас, что отдыхать на Кавказе будет хоть кто-то, кроме ездящих туда по инерции убежденных фанатов, по-прежнему нереально. И многим в России начинает казаться, что на самом деле социально-экономическая реабилитация – это, с одной стороны, перемещение северокавказской молодежи на работу и учебу в некавказские российские города, а с другой – попытка купить себе спокойствие там, где его не удалось завоевать (разрядка моя. – А. К.). Попытка, которая начинает выглядеть как провалившаяся на фоне мартовских терактов в московском метро” (“Время новостей”, 23.04.2010).

**Трагизм (без преувеличения) ситуации в том, что федеральные власти с еще большим усердием пытаются к у п и т ь л о я л ь н о с т ь уже после того, как непредвзятые наблюдатели, да и рядовые граждане убедились в провале этой затеи. Полпред президента в СКФО А. Хлопонин как раз в апреле развил бурную деятельность по формированию стратегии развития региона. Он обещает “представить конкретные мероприятия с предложениями по источникам финансирования, чтобы мы точно знали, что будем делать через год, два, пять, десять лет”** (“Коммерсантъ”, 09.04.2010). То же, “бином Ньютона”: **брать деньги у Москвы – какие еще “источники финансирования” обнаружатся?**

Излюбленная идея Хлопонина о “туристическом кластере” оценена аж в 450 млрд руб. (РБК, 18.06.2010)! Заговорили о льготном ипотечном кредитовании под 5% на сорок лет. О развитии АПК. Об “особых зонах льготного налогообложения”. Значит, в федеральный бюджет денег отдадут меньше, а из него заберут больше!

**Может ли подобная тактика дать желаемый эффект, способствовать установлению мира? Интересную мысль высказал в интернете С. Лазовский, сотрудник Центра российско-европейского межрегионального и приграничного сотрудничества. Она настолько нетривиальна и в то же время очевидна, что редакция “НГ” выудила ее из информационного потока и поместила на своих страницах. “Кавказские элиты, – утверждает Лазовский, – заинтересованы в возникновении очагов напряженности с целью получения финансовой помощи (провозглашенная стратегия решения проблем экстремизма экономическими способами наилучшим образом соответствует их желаниям) и прочих бонусов для самих себя. Кавказские элиты не заинтересованы в отделении от России. Они заинтересованы в сохранении напряженности”** (“Независимая газета”, 16.04.2010).

**Если С. Лазовский прав (а у меня это сомнений не вызывает), то кремлевская стратегия на Кавказе, делающая упор на материальное стимулирование лояльности местных элит, изначально ошибочна.**

А что же народ, широкие массы – они наверняка заинтересованы в прочном мире. Беда в том, что московская власть с низами фактически не контактирует. А местные элиты работают с ними – эффективно и, разумеется, с выгодой для себя.

Наиболее активным предоставляют возможности для внешней экспансии – прежде всего в Центральную Россию. Что облегчается специфической стратификацией бизнеса в столице и других мегаполисах, приобретающей отчетливый национальный характер. “Кавказцы-москвичи давно поделили между собой сферы влияния”, – констатируют эксперты. Приезжие “десантируются” не в “чистое поле”, а в готовые ячейки бизнес-структур.

Денежные переводы диаспор служат подспорьем многочисленным родственникам, проживающим на Кавказе. Оставшиеся люди получают толику федеральной помощи – из рук тех же элит.

Конечно, и в этой отлаженной системе оказываются обделенные и недовольные. Они пополняют ряды боевиков. Однако основная масса довольствуется тем, что имеет. И благодарит не Москву, а региональных лидеров.

Выразительная подробность: молодые чеченцы, отвечая на вопрос корреспондента арабского телеканала “Аль-Джазира” о том, как они живут, говорят: “Очень хорошо, даже лучше, чем в России и в других регионах. Благодаря Рамзану (Кадырову. – А. К.) все у нас отлично” (<http://rus.ruvr.ru/2009/10/26/2077835.html>).

Специфика местного “маскулинного” менталитета побуждает предпочесть энергичную формулу “Рамзан взял” благодарной констатации “Россия дала”.

**Представление о том, что “Москва должна” и надо лишь суметь получить сполна, распространено в регионе. Вновь сошлюсь на аналитическую статью И. Сухова: “На Кавказе очень многие понимают национальное возрождение исключительно как реванш (разрядка моя. – А. К.) – как покаяние России в содеянном и 200, и 15 лет назад, и за покорение, и за депортацию, и за последние войны. Как расплату метрополии с колониями, в том числе и материальную” (“Время новостей”, 23.04.2010).**

Материальными претензиями дело, впрочем, не ограничивается. Реванш мыслится предельно широко – и в административной, и в политической, и в национальной сферах.

Местная власть, в том числе и силовики, все меньше оглядывается на указания из Центра. Прежде всего это относится к чеченскому руководству. Республиканская милиция “засветилась” уже на всех сопредельных территориях, где она нередко вступает в конфликты с тамошними правоохранителями.

Прочитав еще одну публикацию И. Сухова: “Достаточно вспомнить эпизод 11 января 2005 года, когда милиция в Хасавюрте (Дагестан) остановила и задержала кортеж сестры Рамзана Кадырова в связи с тем, что у ее вооруженной охраны не было командировочных удостоверений и, как следствие, права везти с собой стрелковое оружие и боеприпасы для суточного боя. Возник конфликт. Мгновенно прибывшие сотрудники чеченской милиции фактически осадили управление внутренних дел в Хасавюрте – как будто они были не подразделениями единой федеральной структуры, а солдатами двух небольших неприятельских армий (разрядка моя. – А. К.).

Самым громким “внутриведомственным” эпизодом подобного рода стала перестрелка между чеченскими и ингушскими милиционерами на административной границе двух республик 13 сентября 2006 года, в которой погибло девять и было ранено 19 человек” (“Время новостей”, 15.01.2010).

Уважаемые читатели! Предлагаю вам если не припомнить (припомнить невозможно, ибо ничего подобного нигде, кроме Кавказа, не было), то хотя бы представить кровопролитные бои между милицейскими отрядами где-нибудь на границе Липецкой и Тамбовской областей. Не получится! Во-первых, потому что никто не посмеет проявить этакое безрассудство. Во-вторых, если бы какой-то безумец и дерзнул, головы полетели бы мгновенно!

На Кавказе не то. Постреляли и разошлись. Все при своих. Вот это и есть наглядное воплощение административного реванша.

С образованием СКФО и назначением А. Хлопонина местные элиты, по утверждению наблюдателей, начинают “бодаться” с этим “главным смотрящим”. “На Кавказе уже ходят слухи об эпизодических конфликтах между кадировской охраной, в которой по традиции состоят бородачи, увешанные оружием, и службой безопасности Александра Хлопонина, которая к такому колориту пока не привыкла” (“Время новостей”, 08.04.2010).

Похоже, придется привыкать! Так же, как и москвичам – к “художествам” чеченских милиционеров, командированных в столицу. О них я рассказывал в главе “Россия без русских?” большой публицистической работы “Возвращение масс” (“Наш современник”, № 6, 2009).

**Организационная вольница сопровождается жестким политическим нажимом. Россию, и впрямь, заставляют каяться – и в трагедиях прошлого, и в деяниях нынешних. День депортации в Чечне отмечают с тем же пафосом, что и день Катюни в Польше. Но и сегодняшние мероприятия федералов вызывают взрыв возмущения. “Почти каждая перестрелка между силовиками и боевиками порождает волну общественного негодования. – свидетельствуют корреспонденты. – Некоторые местные интернет-ресурсы почти каждый раз объявляют убитых невинными гражданами, погибшими от рук “карателей”** (“Время новостей”, 05.03.2010).

Проблема не только в “местных интернет-ресурсах”. Рамзан Кадыров не первый год добивается вывода российских силовиков с Кавказа. Его усилия небесплодны. В республике ликвидирована система блокпостов, отменен режим чрезвычайного положения. Удалось привлечь к уголовной ответственности и добиться осуждения нескольких офицеров российской армии, участвовавших в проведении спецопераций.

На таком фоне эпизодом смотрится решение суда в Грозном по поводу статьи о Чечне в 58-м томе Большой энциклопедии. Это многотомное издание выходит в Москве в издательстве “Терра”. Суд признал экстремистским содержание статьи и распорядился конфисковать 58-й том, – сообщается на сайте BBC Russian.com.

Иск подал республиканский омбудсмен Нурди Нухажиев. По его мнению, – информирует ВВС, – в статье “воспроизводятся старые, избитые мифы и басни о “разбойных набегах на своих соседей”, “массовом предательстве и сотрудничестве с немцами”, “геноциде русскоязычного населения”, “генетической предрасположенности к насилию” чеченцев” ([http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2010/04/100406-chechnuya\\_encyclopedia\\_extreme...](http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2010/04/100406-chechnuya_encyclopedia_extreme...)).

**На самом деле, эпизод не рядовой и – в перспективе – чрезвычайно опасный. Энциклопедии ни в России, ни где-либо еще в цивилизованном мире (нацистская Германия – печальное и характерное исключение) не запрещали. Это концентрированный опыт науки, сжато изложенный ведущими специалистами. И вот – “конфисковать том”!** Журналисты гадают, будут ли статью вырезать или уничтожат всю книжку. Что же, костры из книг чрезвычайно выразительны! Видимо, нам придется пройти и через это, чтобы убедиться, чем оборачивается навязываемый из Грозного вариант толерантности.

Пользователи интернета спрашивают: “А как быть с А. С. Пушкиным? “Не спи, казак, во тьме ночной чеченец ходит за рекой” (<http://kp.ru/daily/24469/628464>).

Мог бы добавить: а как быть с М. Ю. Лермонтовым: “Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал”? Как быть с Л. Н. Толстым? Он, как известно, симпатизировал горцам, но запечатлел чеченский набег на станицу в “Кавказах”. Их тоже – в костер?

**Поражает равнодушие столичной интеллигенции. Какие бурные кампании в прессе затеваются всякий раз, когда поборники нравственности пытаются запретить использование обценной (в просторечии – матерной) лексики в книгах или ограничить демонстрацию сцен насилия по телевидению. Писатели, режиссеры, юристы стеной встают на защиту “свободы творчества”. А конфискация энциклопедии никого не волнует. Пускайте под нож, палите в кострах – пожалуйста\*.**

\* Московские книжные магазины по собственной инициативе избавились от “опасного” издания. В июне пресса сообщила, что “из ассортимента крупнейших книжных магазинов Москвы полностью изъяты 58-й том Большой энциклопедии” (“Коммерсантъ”, 09.06.2010).

Не потому ли, что тезис о “виновности” России и русских, сформулированный на Кавказе, вполне согласуется с русофобским настроением московской элиты – творческой и политической?

Нас хотят принудить каяться – во всем и перед всеми.

Представьте, первые лица государства фактически извинялись даже за то, что вынуждены были сказать, откуда приехали террористки. Нас взрывают – и мы же извиняемся!

**К чести кавказцев, лучшие из них не приняли такой фальшивой, противоестественной политкорректности. В напряженной дискуссии, развернувшейся в интернете, буквально обжигает предельно искренний отклик человека с Кавказа. Сохраняю написание оригинала: “Москвичи простите нас с Кавказа. у вас ненависть наверное ко всем нам. поверьте мы тоже бессильны. страшное горе. соболезную всем родным и близким. ненавижу террор. никакой пощады боевикам и ваххабитам не должно быть – это не люди”.**

И представьте – после этих слов обмен обвинениями прекратился! Русские отходчивы. На чистосердечное покаяние они мгновенно ответили таким же чистосердечным прощением. Некто “Павел” написал: “Даже если Вы не с Кавказа – спасибо за этот пост. Лично у меня сразу ушел весь гнев на абстрактных жителей Кавказа (хотя иногда кажется, что половина их обитает в Москве)” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/03/30/458562-hronika-obyavlennych-smertnit...>).

Беда в том, что это личное покаяние совестливого человека с Кавказа не совпадает с идеологией реванша, которая формируется в чиновных кабинетах и навязывается региону (а теперь, как выясняется, и всей России). Поэтому оно осталось “гласом вопиющего в пустыне”.

**Наиболее драматические настроения реванша обнаруживают себя в сфере национальных отношений. Русским приходится отвечать за все – и за Ермолова, и за Сталина, и за Ельцина. В результате сегодня в ряде республик русских практически не осталось. В других их численность и влияние резко сокращается. Исключение составляет Ставропольский край, включенный в СКФО. Однако и здесь проблем хватает. Вспомним рейд Басаева на Буденновск, взрывы в электричках и в автобусах в Кавминводах, столкновения на национальной почве и недавний теракт в самом Ставрополе.**

К слову, о Ставрополе. Местные правоохранители несколько лет целенаправленно искореняли в крае русских националистов. За что удостоились публичных похвал от таких личностей, как Н. Сванидзе и В. Соловьев. И что же? Вождем национального мира установить не удалось. Место русских националистов заняли представители многочисленных диаспор. Теперь они ведут спор за “ничейную” территорию. За последнее время в столице края происходили столкновения чеченцев с армянами и дагестанцев с чеченцами. Последние называют Ставропольский край не иначе как “оккупированный вилайят Ногайская степь” (“МК”, 29.05.2010).

Положение русских на Северном Кавказе заслуживает отдельного исследования. И даже расследования – на уровне Федерального Собрания. И разработки специальной программы правительства – к примеру, в статусе еще одного нацпроекта.

Здесь я лишь бегло обрисую ситуацию. Благо ко времени опубликован доклад “Северный Кавказ: русский фактор”. Его презентация прошла в конце апреля. Работа подготовлена Центром консервативных исследований при социологическом факультете МГУ.

**Авторы утверждают: сегодня в Чечне русские составляют 1% населения. Для сравнения: в 1989 году – 23%. В Ингушетии их количество за два десятилетия сократилось в 13 раз! Только за первую половину 90-х из этих республик выехало 293,8 тысячи русских (“Время новостей”, 22.04.2010).**

Сейчас уже позабылись обстоятельства исхода. Чем кое-кто пользуется. Одно из обвинений в адрес статьи о Чечне в Большой энциклопедии: воспроизводит миф о “геноциде русского населения”. Дабы в свою очередь не быть обвиненным в мифотворчестве, сошлюсь на подготовленный МВД сборник “Криминальный режим. Чечня, 1991–95 гг.”, изданный в 1995-м. Вот в какой атмосфере происходило бегство наших соотечественников. Цитирую: “Стани-

ца Шелковская: Лысенко Евгений, зверски убит, умер. Орлянский Саша, дважды угонял машину, расстрелян. Геврасевы, супруги и трехлетняя внучка, убиты в своем доме. Синельников Валерий Сергеевич, бывший военком, выжили с работы. Долгополов Николай Павлович, избили, бросили в дом гранату... Станица Червленная: Еремин Георгий Максимович, застрелен в своем доме. Думанаев Владимир Владимирович, пропал вместе с автомашиной, найден в Тереке с огнестрельным ранением и переломом рук и ног. Лукьянцев Анатолий Петрович, Пятов Александр Ефимович, оба закрыты в вагоне и сожжены". И так далее – убийства, ограбления, изнасилования.

Я бывал в Грозном и во время первой, и во время второй войны. Встречался с активистками комитета "Терские казачки", с русскими жителями. Помню ясноглазую бабулю – из тех русских старух, которые за долгую жизнь претерпели, кажется, все испытания, уготованные человеку. Худенькая, в чем душа держится, она подошла ко мне в переулке на окраине чеченской столицы. "Знаешь, сынок, а я в доме без крыши живу. Бросили гранату – уже перед самым приходом наших. Говорят: это к тебе, старуха, бомба попала. А я вижу, какая бомба – граната! Так и живу – тазы подставляю, а с крыши течет. Я бы уехала, да некуда".

Это был второй человек, с которым мне удалось поговорить в Грозном. Первый – пожилой рабочий – собирал разбитые стекла во дворе больницы (почти все здания стояли без стекол). Он рассказал, что у него убили тещу и девятнадцатилетнюю племянницу. "Прихожу к ним домой, а они не дышат. Наверное, на девчонку польстились. А тещу убили, чтобы свидетелей не было".

**Перед вылетом в Грозный я встречался с генералом Куликовым. Он командовал группировкой наших войск и квартировал в Моздоке. Генерал сообщил, что во время правления Дудаева в Чечне убивали в среднем 2 000 русских в год. Значит, за три года – 6 тысяч. По утверждению казачьих активистов, убитых было значительно больше – от 10 до 30 тысяч...**

...Но вернемся к докладу социологов МГУ. Резко уменьшилось русское население в Дагестане. Еще недавно – указывают ученые – русские входили в "пятерку самых многочисленных этносов в республике", а в 2002 году их было уже менее 5%. Аналитики прогнозируют, что очередная перепись зафиксирует еще более "неутешительные результаты" ("Время новостей", 22. 04. 2010).

И вновь абстрактные цифры, на мой взгляд, требуют подтверждения живым примером. В конце 2009 года "Коммерсантъ" опубликовал репортаж из Махачкалы, где в ходе спецоперации были освобождены 30 человек, которые "незаконно удерживались на двух кирпичных заводах". Все они – уточняет газета – "прибыли в Дагестан в поисках заработка из других регионов России" ("Коммерсантъ", 15. 10. 2009).

По прибытии у русских работников отобрали паспорта, в течение полугода им не платили зарплату. Покидать заводскую территорию не разрешали. Провинившихся и строптивых жестоко избивали. Фактически их держали на положении рабов.

**Отдельные эксцессы? – Как любят выражаться наши начальники. К сожалению, нет. Работяги столкнулись с с и с т е м о й, в которой одна "шестеренка" цепляется за другую. Когда рабочие совершили побег, они обратились за помощью к местной милиции. Далее – показания потерпевших: "Они нас выслушали, спросили, откуда мы сбежали, посадили в машину. Мы думали, что нас отвезут в отделение, но на нас направили пистолеты и повезли обратно на завод. Там за нас они получили десять тысяч рублей" (там же).**

Стоит ли удивляться, что русские бегут с Кавказа, если есть хоть какая-то возможность укорениться в Центральной России.

Социологи МГУ отмечают, что русские еще составляют от трети до четверти населения Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Однако "с начала 2000-х годов они практически исключены из политического процесса" ("Время новостей", 22. 04. 2010). Наши соотечественники сталкиваются и с бытовыми гонениями. "Авторы доклада находят наиболее проблематичной ситуацию в Кабардино-Балкарии, где в марте (нынешнего года. – А. К.) в райцентре Майское несколько человек напали на казачьего хоруного Сергея Коптева с криками: "Русские свиньи, вас пора убивать". А 7 апреля состоялась массовая драка с этническим подтекстом в селе Янтарное, где взрослые кабардин-

цы избили и покалечили русских школьников после выигранного теми любительского футбольного матча” (“Время новостей”, 22.04.2010).

**Воспользуясь случаем, чтобы еще раз указать на полное равнодушие к происходящему со стороны федеральных властей, а также столичных правозащитников и журналистов. Строго отчитывая москвичей за “косые взгляды” в сторону приезжих, они совершенно не реагируют на насилие над русскими там, откуда к нам едут многочисленные и далеко не всегда мирно настроенные гости.**

Приведу еще одно сообщение. На этот раз из Адыгеи. Статью под броским заголовком “Быть русским в Адыгее разрешено” опубликовала “Независимая газета” (05.02.2010). Корреспондент информирует о прекращении уголовного дела в отношении активиста “Союза славян Адыгеи” Владимира Каратаева, написавшего и опубликовавшего стихотворение “Быть русским!”. На этот раз справедливость и здравый смысл восторжествовали. Но, согласитесь, возмутителен сам факт уголовного преследования по такому поводу.

**Если сравнить положение русских по обе стороны Кавказского хребта, то придется со стыдом признать, что в независимых государствах – Азербайджане, Армении, даже в Грузии, где русофобия возведена в ранг государственной политики, они чувствуют себя лучше, чем в северокавказских республиках РФ. Во всяком случае, их численность в Закавказье снижается медленнее. Хотя и здесь убыль значительна. Приведу данные на начало 2000-х (более поздние отсутствуют). В Азербайджане за 10 лет (с 1989 по 1999 год) численность русских уменьшилась с 392,3 тыс. до 148 тыс. – в два с половиной раза. В Грузии – с 341 тыс. до 140 тыс. – в те же два с половиной года. В Армении – с 51 тыс. до 9 тыс. – более чем в пять раз (“Независимая газета”, 19.07.2001).**

Как видим, русских не жалуют и по ту сторону Кавказского хребта. Колоссальная убыль – в пять раз. И все-таки не в 13 – как в Ингушетии!

Выдавливание русских из региона ставит под сомнение кавказскую стратегию правительства. Если только в данном случае можно говорить о стратегии, а не об инерционном сценарии: “держи то, что осталось от Союза”. Удержат северокавказские республики Москве пока удастся. Но создать нормальную государственность, то самое правовое государство, где каждый, независимо от своей национальности, чувствует себя дома, не получается.

**И уж совсем оторванными от действительности представляются рассуждения о некой единой российской нации. В очередной раз сошлюсь на компетентное мнение И. Сухова: “Вместо единой нации, которую хотели бы разглядеть в населении РФ и академические ученые, и популисты-политики... все более четко выступают на свет эти “мы” и “вы”. С каждым днем становится все яснее, что их разделяет не просто трещина, появившаяся во время политических неурядиц 1990-х годов, а огромный разлом” (“Время новостей”, 23.04.2010).**

Может показаться, будто я чересчур доверяюсь мнению одного специалиста. Поэтому подкреплю суждение И. Сухова высказыванием автора “Независимой газеты”: “Недавние теракты в Москве и на Северном Кавказе снова вернули нас к этому вечному вопросу: Кавказ, Дагестан, другие кавказские республики российские – это все еще Россия? Или это уже что-то другое?” (“Независимая газета”, 16.04.2010). Вопрос из тех, что заключают в себе неушительный ответ.

Радикально высказался в той же “НГ” известный культуролог Дмитрий Фурман: “Они говорят: “Мы с Россией навеки” – и формально входят в состав Федерации. А мы остались с экстремистским подпольем, с которым уже непонятно, что делать, действительно – только убивать. Кавказ – это клубок противоречий... В культурном отношении это абсолютно чужая территория, которую интегрировать по-настоящему невозможно (разрядка моя. – А. К.). Мне кажется, что борьба с терроризмом может вестись до бесконечности и должна вестись. Это не та сила, с которой можно договориться, но одновременно надо пытаться распутать эти кавказские клубки. Но распутать их можно, только если не ставить задачу их удерживать любой ценой. Это удержание формально” (“Независимая газета”, 31.03.2010).

Здесь я с Фурманом согласен. Хотя не стал бы высказываться столь категорично. Ему, похоже, не жаль имперского наследия. А мне жаль. Мои предки его собирали.

Созданное трудом и кровью поколений надо сохранять. Если сохранить возможно. Если попытка консервации прошлого не угрожает будущему страны.

Проблему следовало бы рассмотреть со всех сторон, взвесить все возможности. “Отдавать” Кавказ – не по-хозяйски. Но и терпеть сложившееся положение нельзя.

Именно потому, что местные элиты не заинтересованы в окончательном разрыве с Россией, им можно было бы намекнуть: наше терпение не беспредельно. Россия может уйти – вслед за русскими. Оставив вас наедине с исламистами и лишив московских субсидий.

Наследия, конечно, жаль. Но себя, как говорится, жальчее.

*(Продолжение следует)*

ФЁДОР ЛАПКО

## СОЛДАТЫ 41-ГО

*Из воспоминаний артиллериста-зенитчика*

Вспоминая события лета 1941 года, я думаю, что люди, прежде всего, никогда не забудут зверства фашистских карателей, которые (я это видел своими глазами) скашивали из автоматов первых попавшихся на глаза мирных жителей, забрасывали гранатами убежища, где прятались люди, сжигали дома вместе с их обитателями.

Всё это я видел, всё это довелось мне пережить в самом начале войны, которую я встретил в звании младшего лейтенанта, командуя 1-й батареей 743 зенитно-артиллерийского полка 14-й бригады ПВО. Полк наш дислоцировался и нёс боевую службу на старых оборонительных крепостях (фортах), расположенных вокруг города Каунаса Литовской ССР. Батарея, которой мне пришлось командовать, несла боевое дежурство на форте № 6. Этот форт уже тогда имел печальную славу. До принятия Литвы в состав СССР (до августа 1940 г.) на данном форте старым буржуазно-фашистским режимом была организована тюрьма, в которой происходило массовое уничтожение ни в чём не повинных людей, тех, кто не был согласен с фашистской диктатурой. На сводах внутри бетонных стен этого форта я сам читал множество различных надписей – это были последние слова узников перед пытками и смертью.

А в период оккупации Литвы фашистской Германией во время Второй мировой войны именно на этом форте № 6 был организован массовый расстрел мирных советских граждан, уничтожались старики, женщины, дети. Всего их было около 30 тысяч человек, множество из них были заживо закопаны в землю.

Но всё это ещё будет впереди, а я вспоминаю последнюю мирную субботу 21 июня 1941 года. До позднего вечера слышались напевы литовских девушек, после наступила полная тишина. На рассвете 22 июня, около трёх часов утра эта тишина была нарушена. Отчётливо помню, что вначале меня разбудила приبلудившаяся к нам на огневую позицию собака (овчарка), очевидно, и животное почувствовало опасность, оставила своего хозяина, искала место для своего спасения. Я в эту ночь больше уснуть не смог, волновался, тревожно было, не по себе.

Я разбудил политрука батареи Михайлова, а сам ушёл проверить огневую позицию и склады боеприпасов. Возвращаясь к своей палатке, в которой мы жили, услышал шум мотора и вскоре обнаружил самолёт, принадлежность которого трудно было определить невооружённым глазом. Дежурный разведчик на огневой позиции, наблюдая в бинокль, говорит мне: “Товарищ младший лейтенант, смотрите – кресты”. Когда самолёт подлетел ближе к нашей огневой позиции, оказалось, что это был немецкий “Юнкерс-88”. Он летел на высоте около 1000 метров в сторону аэродрома г. Каунаса, его преследовал наш истребитель И-16. Оба самолёта вели огонь друг против друга. Во время стрельбы трассирующие пули проходили выше и ниже самолётов. Мы эту



стрельбу приняли за учебно-тренировочные полёты, но тут послышались взрывы бомб со стороны аэродрома. Позже выяснилось: одна из сброшенных бомб совершила прямое попадание в жилой дом, остальные бомбы упали на взлётной полосе аэродрома. Я решил срочно доложить на командный пункт командира полка, но связи не было. Позже было установлено, что телефонный кабель к тому времени уже был вырезан немецкими диверсантами на участке около 200 м. Радиосвязи на батарее не было. В результате на некоторое время мы были лишены всякой связи с командным пунктом.

Вскоре немецкие самолёты появились большими группами (по 20–25 в группе), летели в эшелонированном порядке с прикрытием истребителей. Пролетали они западнее и восточнее батареи километров около 10–12.

На батарее была объявлена боевая тревога. По сигналу весь состав батареи занял свои места, перед расчётами была поставлена задача: обнаружить самолёты противника и обеспечить надёжное прикрытия наземных объектов. Умело и слаженно действовали расчёты. Командир взвода и командиры орудийных расчётов доложили о полной боевой готовности батареи. В эту же минуту в радиусе от 1,5 до 2 километров от батареи возникло множество пожаров: горели скирды соломы, дома, сараи и другие сооружения. Нам не было понятно, что это за пожары. Разведчик, наблюдая за окружающей местностью, обнаружил, что в сторону батареи на большой скорости скачет всадник на рыжей лошадке. Это был начальник продовольственного снабжения нашего полка, который по прибытии к нам передал в устной форме распоряжение командира полка, где было сообщено: “Немецкие войска перешли границу Советского Союза, большими группами продвигаются в сторону г. Каунаса Литовской ССР. Наши пограничные войска ведут ожесточённые оборонительные бои с превосходящими силами врага”. Начальник продовольственного снабжения передал распоряжение командира полка и тут же отправился на командный пункт. Появилась большая группа самолётов противника, шла стройно, красиво поблескивая поочерёдно крыльями и носовой частью, как зеркалами. Над ними барражировали истребители, словно на параде. Моторы работали с переливистым тяжёлым гулом, они несли смертоносный груз на наши города, сёла. Самолёты подходили к зоне сопровождения, с дальности начали чётко передавать высоту и дальность. И вот последовала первая моя команда: “По головному самолёту противника боевыми – заряжай!..” – и затем последовал первый залп. Разрывы снарядов ложились кучно впереди летящих самолётов, и в результате они вынуждены были изменить своё направление движения и пройти курсом западнее батареи. Следом за большой группой появились два самолёта, летящих на бреющем полёте курсом строго на батарею, по которым был открыт ураганный огонь и прямой наводкой был сбит первый самолёт противника Ю-88.

В первом бою наши солдаты, проявляя стойкость и мужество, не дрогнули перед массой боевых машин противника, которая появилась над нами. Мы поклялись: что бы ни произошло, драться до последнего человека, не допустить ни единого воздушного и наземного противника к своим позициям. На батарее закипела боевая работа для встречи врага. Готовили боеприпасы, проверяли материальную часть орудий и приборов, установили круговое наблюдение за воздушным и наземным противником. Мы считали себя “обстрелянными”, поскольку уже выпустили большое количество снарядов по самолётам противника, но никто из нас не видел убитых и раненых людей. К вечеру звуки танковых и орудийных выстрелов стали приближаться. Весь состав батареи нервничал, переживая эти минуты в ожидании противника, очевидно, каждый про себя думал: не подведут ли нервы, как сохранить спокойствие. Настали ночь и второй день войны, пожары, стрельба, взрывы. Всё больше осложняется обстановка.

Батарея продолжала нести боевую службу в течение всей ночи, проводилась большая работа по усовершенствованию инженерного оборудования огневой позиции, рыли окопы, ячейки, подносили боеприпасы, раскладывали по ячейкам гранаты и т. д.

К утру 23 июня появилось большое количество бегущего гражданского населения: литовцы, русские, белорусы. Люди бежали, спасаясь от фашистских захватчиков, обращались друг к другу и к нам за советом и помощью: что делать, в каком направлении совершать движение; говорят – с нами дети, старики и жёны.

В эту трудную минуту тяжесть положения усугубляли предатели, трусы и диверсанты, которые вносили панику, сбивали с дорог и правильных маршрутов. Они говорили, что все дороги отрезаны, отходить некуда, кругом немцы. Фашистские самолёты летали на бреющих полётах, расстреливали мирное население, сбрасывали листовки с призывом сдаваться. Многие, кто клюнул на такую удочку, впоследствии были расстреляны.

23 июня 1941 года в 4 часа утра от заместителя начальника штаба полка я получил устное распоряжение оставить огневую позицию и срочно следовать на Зелёную гору г. Каунаса в район сосредоточения. Там будет вручён приказ о дальнейшем действии батареи. Это означало, что нам необходимо совершить около 10 километров марша от форта № 6 до Зелёной горы, при наличии одного трактора и автомашины ГАЗ-53. Обстановка не позволяла медлить ни одной минуты. Итак, передислокация началась. К трактору прицепили два орудия, 85-миллиметровые зенитные пушки. Оставшиеся два орудия поочерёдно перевозили автомашиной ГАЗ-53 с помощью огневых расчётов, которые подталкивали, а в трудных местах просто тянули на себе.

Марш совершался около 5 часов вместо 40 минут. Особенно испытывали большие трудности в движении по городу, так как все улицы были запружены людьми, различными видами транспорта. Везде шум, крик, плач. Непривычная обстановка угнетающе действовала и на солдат, они зачастую терялись, не зная, что делать, тем более нам приходилось по несколько раз возвращаться, оказывать помощь своей колонне и давать советы уходящему населению.

Батарея сосредоточилась в указанном районе, приказ командира полка был выполнен полностью и в срок. Казалось, всё в порядке, трудности позади. К сожалению, на деле оказалось совсем иначе. В данном районе никого из состава нашего полка и других воинских частей не оказалось. Как стало известно, командир полка майор Алейников со своим штабом выехали из города Каунаса значительно раньше. К месту нашего сосредоточения начали стекаться со всех концов отдельные военнослужащие из различных частей и подразделений, которые по различным обстоятельствам и причинам отстали или потеряли связь со своими штабами и командирами. Они спрашивали у нас обстановку: где противник, какие изменения произошли в течение дня. Как нам быть, что делать? Короче говоря, задавали те же вопросы, которые и нас интересовали. В это время фашистские самолеты начали совершать массированные налёты, контролировали все дороги и населённые пункты, расстреливали из пулемётов всех и всё, что было обнаружено. Стала слышна артиллерийская стрельба, совсем рядом появились воздушные разрывы снарядов. В эту минуту весь личный состав батареи готовил себя к бою, а материальную часть, орудия, автотранспорт — к походу. Помощи и совета ожидать неоткуда, обстановка требовала принятия срочных решений. В воздухе наших истребителей, которые могли бы противостоять численному и техническому превосходству гитлеровской авиации, не было. Немцы летали безнаказанно, каждую минуту увеличивались жертвы, которые, в первую очередь, несло мирное население.

Перед совершением марша на батарею состоялось, можно сказать, нечто похожее на заседание военного совета, на котором было выработано важное решение: принять все меры к сохранению боевой техники, которая нам была вручена. За этот пункт проголосовали единогласно, и это стало для нас боевой задачей. В плен не сдаваться, с материальной частью не расставаться, кому судьба умереть — умирать героем, останешься в живых — бей врага со всей силой, не жалея сил, здоровья и самой жизни.

В 17 часов 23 июня 1941 года батарея начала совершать свой марш в направлении г. Двинска (ныне г. Даугавпилс), короче говоря, искать наши оборонительные рубежи. Нам совершенно не было известно, куда идти, кругом незнакомая местность, не было топографических карт. Мы могли ориентироваться только по общему движению гражданского населения и отдельных военнослужащих, которые так же получали информацию от местного населения: куда ведут дороги, где противник, а в общем — держали курс на восток. Не проехав и двух километров, слева, в 500 метрах от нашей дороги, по которой мы начали совершать свой марш, заметили не совсем удачно замаскированную зенитно-артиллерийскую батарею, чему мы вначале обрадовались. Подумали, что мы не одни и наше направление правильное. Пришла мысль, что, очевидно, где-то впереди сделана неплохая ловушка для немцев. Естественно, что там, где расположены зенитные части, может быть, и есть глав-

ное направление движения или расположение воинских частей, которые должны прикрываться от воздушного противника. По этому случаю я подал команду свернуть с дороги, рассредоточиться, принять все меры для маскировки, до выяснения обстановки. Сам с двумя разведчиками отправился на обнаруженную огневую позицию с целью узнать обстановку, возможно, и получить боевую задачу для прикрытия наших войск в обороне. Оказалось, что все наши предположения ошибочны. Выяснилось, что эта зенитная батарея оставлена нашим полком из-за отсутствия транспортных средств. Причём вся материальная часть находилась в полной исправности и боевой готовности. Заметно, что батарея вела огонь до последнего часа, так как на позиции валялось большое количество стреляных гильз. Перед нами возникли новые сложности: надо было решать, как поступить в такой обстановке. Нужен транспорт, горючее, боеприпасы, продукты. Всего этого нет.

К нашему счастью, со стороны зелёной рощи на большой скорости причмчался к нам на помощь шофёр на грузовой машине ЗИС-5. Эта машина и шофер принадлежали авиачасти с Каунасского аэродрома. В то время машина ЗИС-5 считалась самым мощным и хорошим видом транспорта. Жаль, прошло много времени, не смогу вспомнить фамилию водителя, кажется, Денисов. Но сам факт забыть нельзя, потому что этот человек показал себя настоящим воином, преданным своему воинскому долгу.

При сложившейся обстановке, когда стрельба приближалась всё ближе и ближе, а враг с минуты на минуту мог появиться в этом районе, у нас на батарее решался вопрос о материальной части, оставленной подразделением нашего полка. Товарищ Денисов одним из первых поддержал инициативу вывезти прибор ПУАЗО-3 (прибор управления зенитно-артиллерийским огнём), который только начал поступать на вооружение частей. Прибор был вывезен, мы считали, что он в дальнейшем должен заменить наш морально и технически устаревший ПУАЗО-2, который, к сожалению, всё ещё находился на вооружении зенитно-артиллерийских частей. Что касается оставленных орудий, то они нами были выведены из строя. После всех организационных мероприятий пришёл час совершить самый сложный и трудный для нас марш. Его трудность заключалась в том, что противник проскочил далеко вперёд, так как наши части не смогли оказать серьёзного сопротивления на данном направлении. Задачи сложнее не может и быть, нужно было сохранить организованность, не растеряться при любой обстановке. Политрук тов. Михайлов в этот тяжёлый час успевал находиться там, где трудно и опасно. Он своим личным примером, добрым словом умел поддерживать моральный дух солдат и командиров, укреплял чувство ответственности и уверенности в своих силах. Он прекрасно понимал, что мы оказались в такой обстановке, когда при проявлении малейшей неуверенности или трусости могли бы потерять многое: людей, технику. Наш пример служил не только для военных, но и для гражданских лиц, уходящих на восток. Они ориентировались на нас, на наше поведение.

Для совершения марша были приняты все меры маскировки, за машинами следовали бойцы огневых расчётов, неся в руках массу веток, наша колонна была похожа не на боевую единицу, а на зелёную аллею.

Двигались в основном по шоссейной дороге, при появлении вражеской авиации колонна останавливалась, скорость движения была небольшая. В общей сложности до наступления тёмного времени нам удалось продвинуться примерно на 60 километров. Эта медлительность объяснялась тем, что наш трактор с двумя пушками в среднем не мог идти быстрее 20 километров в час. Кроме трактора, как уже говорилось, мы имели в наличии еще одну полуторатонную машину ГАЗ-53 и позже вновь принятую и зачисленную из другой части ЗИС-5 вместе с водителем Денисовым.

Итак, мы имели всего, если так можно выразиться, три тягловые единицы, а для полного укомплектования батареи того времени необходимо было иметь около восьми автомашин, способных транспортировать всё имущество, боевую технику на прицепе весом около пяти тонн. Поэтому, не имея такой возможности, на всём пути нашего движения приходилось тянуть орудия силами орудийных расчётов. Большую помощь нам оказывали и гражданские лица, простые мирные люди, бегущие от фашистов на восток. В общем, в этом движении участвовали все: военные и гражданские, спасая боевую технику, которая так необходима была для нашей армии. Все мы прикладывали

усилия как можно быстрее и дальше продвинуться вперёд для встречи со своими воинскими частями.

Между тем автоматная и танковая стрельба слышалась всё ближе и ближе. У нас над головами появились воздушные разрывы снарядов. Вражеские самолёты усиливали налёты, не давая покоя и отдыха нам и отходящим гражданским. На бреющем полёте один за другим летали немецкие самолёты, сбрасывали бомбы, строчили из пулемётов. После каждого налёта на дорогах и обочинах оставалось лежать множество убитых и раненых. В основном гибли беженцы, они двигались по обочинам дорог, более компактно, группами, растерянно металась, не находя себе места во время бомбёжки и обстрела. Была слышна ругань, выкрики: “Где наша армия? Почему её нет? Куда делась наша авиация?” Некоторым казалось, что немцы уже окружили нас, идти дальше нет никакого смысла. Многие выбились из сил, не имели продуктов питания. Другие сами себя утешали, подбадривали, что всё равно немцам нас не одолеть; смотрите, мол, какая масса людей уходит, все дороги забиты, нам только бы быстрее дойти до старых границ, тогда всё пойдёт иначе. . .

Основная масса беженцев, собрав последние силы и энергию, с большими трудностями день и ночь шла, совершая весьма тяжёлый и опасный марш. От усталости падали, на ходу спали. Всё же большинство отступавших своей цели достигли: добрались до своих частей.

Конечно, были и малодушные, поддавшиеся на удочку провокаторов различных мастей. Им помогали трусы и предатели, уговаривавшие людей остаться на милость врага. Оставаясь на месте, эти люди ещё не понимали, что такое фашизм и его война. Вскоре они столкнулись со зверствами фашистов на оккупированной территории. До сегодняшнего дня у меня в памяти сохранилась лежащая в придорожном кювете убитая женщина, держащая в объятиях своего ребёнка. Меня это потрясло тогда. . . Только мать может с такой силой, до последнего дыхания отдать свою жизнь за своего самого близкого и дорогого ей человека. Женщина была довольно крупная, у ребёнка, девочки, были светленькие, выющиеся волосёнки, примерный возраст — около трёх лет. Женщина и девочка были одеты в одинаковые летние лёгкие платья голубого цвета в горошек, при них не оказалось ни документов, ни вещей. Они лежали окровавленные, я заметил, что у девочки изо рта пульсирующими лёгкими дозами идёт кровь. Когда нам удалось освободить девочку из крепких рук матери, она была ещё жива, но истекала кровью. Не прошло и 20 минут, как ребёнок умер от ранения в животик, а мать её погибла от сквозного ранения в грудь.

Уже совсем к вечеру из лесного массива слева от дороги, по которой мы двигались, в нашу сторону побежало множество гражданских людей. Они на расстоянии махали нам руками, платками, стараясь донести до нас, что немцы в лесу.

Мы сразу приостановили движение, заняли оборону в придорожном кювете, были полностью готовы для встречи с врагом. Долго не пришлось ожидать: примерно через десять минут мы услышали трескотню мотоциклов, они выскочили из леса, вначале прострочили из пулемётов по гражданским лицам, затем помчались с большой скоростью с небольшим интервалом между собой мимо нас. Обнаружили нашу колонну и тут же взяли курс прямо на батарею. Мы не растерялись: подпустили их на самое близкое расстояние, и я только подумал: “Как бы не промахнуться при первом выстреле”. Мне, как бывшему охотнику, приходилось себя тренировать стрельбой из личного оружия по быстролетящим и движущимся целям. Поэтому я взял на себя миссию и ответственность произвести первый выстрел из винтовки, который должен был в дальнейшем явиться сигналом для открытия огня. Мой первый выстрел оказался удачным, головной мотоциклист сразу же перекувыркнулся вместе со своим мотоциклом. После стрельбы из личного оружия орудийных расчётов нам удалось ещё уничтожить двоих мотоциклистов, остальные повернули обратно. Во время стрельбы из-за поднявшейся пыли и дыма не удалось рассчитаться с остальными. Это была первая встреча с наземным противником.

Подошёл ко мне младший политрук батареи Михайлов и говорит: “Теперь держись, не исключена возможность, что оставшиеся в живых мотоциклисты врага вскоре приведут противника более сильного, с танками и пехотой”. Я ответил, что в таком случае развернём свои орудия в боевое положение, и их танки полетят в воздух вместе с пехотой. . .

Продолжался наш марш на восток. Колонна двигалась с интервалом примерно около 50 метров между машинами. Я ехал на головной автомашине, а младший политрук – на последней.

После тридцатиминутного марша внезапно на бреющем полёте появилась группа “мессеров”, которые вначале пробомбили нас, а затем, после бомбёжки, сделав разворот, начали обстреливать нашу колонну из пулемётов. В этом налёте много осталось убитых и раненых. Был тяжело ранен и наш политрук товарищ Михайлов, ранение он получил в голову. Ему оказали необходимую помощь и к утру его отправили на попутной машине в направлении Двинска, на этой же машине были несколько других раненых солдат и две семьи военнослужащих. Судьба этой машины и людей осталась мне неизвестной.

Несмотря на плохую разбитую дорогу, завалы из обломков разбитых и сгоревших машин, повозок, трупы убитых людей и лошадей, всё же движение ночью для нас прошло благополучно. Притихла стрельба, наступила тишина, только слева от нас были видны отдельные очаги пожаров, изредка вспыхивали ракеты. В это время немцы поужинали, приостановили свои действия и отдыхали. Так говорили гражданские, такое мнение сложилось и у нас.

За это тихое время мы продвинулись примерно на 80 километров. Наступил рассвет, позади осталось множество хуторов, населённых пунктов и наших граждан, которые также пробирались на восток, искали поддержку и спасение от врага.

К утру мы вынуждены были сделать остановку, чтобы отдохнуть, перекусить, если найдётся пища, проверить материальную часть орудий, состояние транспорта и наличие горючего, уточнить наше положение в данном районе. Несмотря на окружающую тишину, на всякий случай два орудия привели в боевое положение, остальную технику тщательно замаскировали, выставили наблюдателей. Некоторые солдаты склонились у орудия и уснули, другие сидели, переживая за себя и судьбу других людей.

Мы понимали, что тишина эта временная и обстановка может в любой момент измениться и привести к непоправимому результату для всех нас. Один из командиров взводов, лейтенант, несмотря на усталость, пошёл к домикам, расположенным на расстоянии трёхсот метров от нас, произвести разведку. Его разведка оказалась весьма удачной. Из домиков ему навстречу вышел мужчина, примерно 50 лет, и рассказал, что на хуторе никого нет, жильцы оставили своё хозяйство, а сами ушли в лес, где-то скитаются. Молодёжь вечером ушла с воинскими частями, которые дислоцировались в Шяуляе. Дорога находится справа от нас за кустарниками, отсюда около одного километра. Немцев здесь не было, севернее около 3 километров от хутора наблюдались воздушные разрывы артиллерийских снарядов. Командир взвода убедился, что действительно на хуторе кроме домашних животных никого нет. Он тут же развернул свою “полуторку” и отправился дальше для уточнения расположения дороги, на которую указал встретивший его мужчина. Оказалось, что это действительно основная магистраль, идущая к Двинску. Когда он вернулся, вместе с ним к нам подъехали две грузовые автомашины ЗИС-5. Одна из них была нагружена хозяйственными свёртками, другая – различным грузом и бочкой с бензином. Обе машины принадлежали воинской части, которая дислоцировалась в Таурагах. Их часть вступила в бой с превосходящими силами противника, понесла большие потери, была потеряна всякая связь, и вот эти военнослужащие попали к нам. В это время мы крайне нуждались в транспорте, которого нам не доставало, чтобы поднять наше хозяйство. Вскоре вокруг нас начали собираться люди, шли со всех концов. Ругали фашистов, сообщали нам сведения о противнике, о большом количестве танков, мотопехоты, об артиллерийских частях и их примерном расположении. Каждый из них стремился сообщить как можно больше точных сведений.

Мы продолжали свой путь. Стало ясно, что врагу нет должного сопротивления со стороны наших частей, поэтому он вскоре должен появиться здесь. Примерно в 11 часов утра совсем рядом застрочили немецкие пулемёты, возобновилась артиллерийская стрельба, разрывы снарядов наблюдались слева и далеко впереди нас. Один лейтенант подошёл ко мне и говорит: “Слушай, комбат, наши дела плохи, мы, очевидно, попали в хорошую ловушку немцев. Дальше ехать опасно, необходимо принять другие меры”. Я ответил, что обратной дороги нет, слева немцы, справа будет их тыл, дорога остаётся

одна, только прямо на восток, на Двинск. Это наш единственный путь, а что будет — того не миновать. В воздухе самолётов противника пока не было, у немецких лётчиков, похоже, был перерыв на завтрак. Мы решили еще раз рискнуть продвинуться вперед. А может, мы их напугаем, как это было при встрече с их мотоциклистами. Позже нам стало известно, что по чистой случайности мы миновали их и не встретились с превосходящими силами противника, у которого были танки, бронетранспортёры и большое количество автоматчиков.

Наше движение продолжалось в сторону Двинска. На отдельных участках противник приближался к нашей дороге, и тут уж был слышен удаляющийся шум танков и стрельбы. Короче говоря, без конца возникала угроза со стороны противника.

Враг развил такую скорость передвижения своих войск на восток, что не представлялось никакой возможности оторваться от его преследования. Чувствовалось, что и здесь ему не оказывалось никакого сопротивления со стороны наших войск. И это очень угнетало.

Во время двухчасового марша нам пришлось проезжать небольшие населённые пункты, отдельные хутора, домики, кустарники, подъёмы и склоны дорог. На извилистой широкой реке Западная Двина совсем неожиданно показался мост, он своими стройными пролётами возвышался над прилегающей местностью и городом Двинском, как бы с гордостью смотрел вдаль. Командир орудийного расчёта Коноваленко первым заметил этот мост и с большой радостью вскрикнул, да так, что настроение солдат поднялось. У моста было тихо и безлюдно, только на левой стороне у самого моста прошло несколько человек военнослужащих. Мы спокойно переехали через мост и с его левой стороны увидели одну противотанковую 45-миллиметровую пушку с орудийным расчётом, который состоял из 3 человек, а в тридцати метрах справа от них сидел в ячейке один солдат с усталым видом, грязный, небрежно одетый, склонившийся к своей винтовке. Когда я спросил его, что он здесь делает, он поднялся и начал докладывать по всей форме: “Приказали сидеть, вот я и сижу”. На мой вопрос: “Где ваш командир?” — он ответил, что все ушли, а лишь его одного оставили здесь до ухода наших сапёров оборонять мост, и показал рукой в сторону моста. Затем добавил с волнением: “Они производят подготовку для взрыва моста”, и, сделав небольшую паузу, сказал: “Какая жалость, сколько потрачено человеческого труда, материальных ценностей и любви для сооружения такого прекрасного моста, а взорвут его за несколько минут”.

Только закончился этот странный разговор с солдатом, в одиночку обороняющим мост, как мне навстречу выезжает сам наш пропащий командир полка майор Алейников. А я обрадовался, думаю, сейчас отчитаюсь, как мы добрались, как сохранили всю материальную часть, какие были трудности, успехи и потери, что нам известно о противнике... Но наш героический командир был ужасно взволнован, никаких вопросов не задавал, а лишь дал задание: занять огневую позицию восточнее на полтора километра от двинского аэродрома. Путь следования — по дамбе реки Двина в направлении юго-запада, с задачей прикрыть аэродром от воздушного противника. Расстояние до огневой позиции — не более двух километров. Мы начали движение на новую огневую позицию, указанную командиром полка, слева текла Двина, справа был громадный котлован, заполненный водой. Сквозь крупные кустарники, заросшие высоким бурьяном, просматривались массивные стены из красного кирпича. Мы это сооружение приняли за давно заброшенное старое укрепление. Круто вправо сворачивала мало укатанная просёлочная дорога. Мы остановились. Далее совершать движение по дамбе не представлялось возможным, стало опасно находиться в походном положении, в то время как противник был не более чем в двух километрах от нас. Приняли решение свернуть на эту “дорогу”, проехали по ней не больше двух километров, заняли временную огневую позицию (до уточнения обстановки), так как в данном районе начала действовать авиация противника. Огневая позиция оказалась удобной, с хорошим круговым обзором, что позволяло вести огонь не только по воздушным целям на различных высотах, но и уничтожать наземного противника.

На огневой позиции закипела большая боевая работа, готовилась материальная часть орудий и боеприпасы к стрельбе, одновременно проводились инженерные работы, копали ровики для орудий, ячейки для расчётов и заготавливали маскировочные средства.

Одновременно мы в срочном порядке приступили к разведке окружающей местности. Нас крайне интересовало, какие здесь имеются объекты, точное их расположение, надо было разыскать аэродром, который мы должны прикрывать от воздушного противника. Кроме того, надо было установить связь с воинской частью в этом районе. После часовой разведки установили, что аэродром располагался от нас на удалении около двух километров западнее. Но он был уже полностью эвакуирован, а других воинских частей на этом участке не было. Кого же нам нужно было прикрывать? Также установили, что обратный путь нашего отхода возможен только по дамбе, по которой нам уже пришлось ехать на данную огневую позицию. Понимая, что в сложившейся обстановке нам тут защищать нечего, для начала мы приступили к подготовке автотранспорта к совершению марша и с нетерпением ожидали приказа командира полка о снятии нас с этой огневой позиции. Как выяснилось позже, приказ о занятии нами этой позиции был отдан в тот момент, когда сам командир и его штаб не были в курсе всех происходящих событий и изменений на данном направлении. После произведённой нами разведки и при отсутствии связи со штабом и какой-либо информации от штаба нашего полка или других воинских частей мы вынуждены были принимать самостоятельное решение о снятии с занятой огневой позиции и марше в новый район.

Итак, батарея снялась с этой прекрасной огневой позиции и, совершив небольшой марш, подъехала вплотную к дамбе, то есть к реке Двине, к месту, где мы уже побывали. Осталось только выехать на дамбу и продолжить свой марш. Но произошло совсем неожиданное: с противоположной стороны реки Двины на горизонте показались первые группы наступающих гитлеровцев. Они в различных местах вели беспорядочную стрельбу из автоматов, пулемётов, изредка слышны были выстрелы из танков. Один бронетранспортер подошёл вплотную к реке, начал маневрировать, делая вид, что нас не замечает. Опустил ствол вниз, создал такое впечатление, что появился здесь не стрелять, а “грибы собирать”. На самом деле ему было неудобно вести стрельбу, поскольку мы находились за дамбой. Он явно решил выждать, когда мы совершим выезд на дамбу и начнём свой двухкилометровый марш по открытой узкой дороге, которая не позволяет свернуть ни вправо, ни влево, так как слева – овраг, справа – река Двина. Для фашистского транспортёра мы были прекрасной мишенью, которую легко расстрелять в упор. В сложившейся ситуации мы решили вручную подкатить одно орудие поближе к дамбе (это место хорошо прикрывалось мелкими кустарниками и бурьяном), привели его в боевое положение, и с первого же выстрела бронетранспортёр взлетел в воздух! Этот наш удачный выстрел и взрыв бронетранспортёра впоследствии привёл в замешательство всю фашистскую колонну, и они притормозили движение. А нам это позволило выехать на дамбу и два километра опасного пути проехать без потерь. Фашистским артиллеристам удалось вслед нашей колонне произвести три выстрела, из них два снаряда шлёпнулись в воду, а один взорвался впереди нас в двухстах метрах. К этому времени мы уже были у моста, успели повернуть влево и начали движение по улицам города Двинска. Всё шло без задержек, мы выехали на шоссе, идущее на Псков (вначале это было наше главное направление). Но не успели опомниться от предыдущих событий, как тут же появилась новая беда: сломался трактор – основная наша тяговая сила. Мы остановили своё движение для принятия срочных мер по восстановлению трактора. Нас сразу же окружила масса людей: сначала гражданских, а позже стали подходить отдельные группы военнослужащих, начались беседы, спрашивали, что мы видели и слышали о противнике, что делать и т. д.

В это время в городе возникла паника. Очевидно, городское население не было своевременно проинформировано о сложившейся обстановке, и люди не знали, как быть, что им делать. Не знали толком и мы, ведь наш храбрый командир полка снова куда-то исчез вместе со всем штабом.

Трактор собственными силами восстановить не удалось, и мы решили с тремя пушками проехать город и на окраине выбрать подходящее место для огневой позиции, после чего прислать машину за оставленной пушкой с трактором. Один из командиров взводов, лейтенант, своим звонким голосом поддал команду: “По машине, марш!” Я в тот момент командовать не смог, у меня “разнесло” обе щеки до такого состояния, что я в течение двух суток не мог раскрыть рот: прорезались, как их называют, “зубы мудрости” одно-

временно с двух сторон. Да, “мудрость” и в прямом, и в переносном смысле пришла ко мне вместе с войной. . .

Только тронулись с места и начали своё движение, как вдруг со всех концов города бегут к нам люди – мужчины, женщины – и кричат: “Спасите, помогите!” Их перепуганные глаза и лица вынудили нас остановиться, разобраться, в чём дело, что за паника. Подумали: “Не исключено, что проскочили где-то фашисты на окраину города”. Я приказал: пусть наша колонна совершает марш в указанный район, а части личного состава батареи принять меры для прикрытия и оказания помощи населению, подготовиться к ведению боя в городских условиях, быть готовыми пустить в ход винтовки, гранаты, которых, к сожалению, было очень мало.

Впоследствии стало известно, что паника возникла стихийно. Поводом стало то, что из городской тюрьмы Двинска были выпущены заключённые, отбывавшие там наказание. Когда их освободили из тюрьмы, не зная положения и обстановки, они стихийно рассеялись по улицам города, часть из них двинулась в направлении центральной дороги, проходящей по городу в направлении Пскова, а часть – в другом направлении, в общем, кто куда. Позже, из слов самих граждан, выяснилось, что со стороны заключённых не было допущено случаев зверства, мести и каких-либо других акций. Они также бросились искать выход и спасение от общего врага. Вначале к нам подошло около пяти человек заключённых в тёмной одежде, они были разных возрастов. Мы стали беседовать с ними. Их интересовало многое, а главное – где наша армия, где немцы, какое положение на фронте? На их многочисленные вопросы я ответил, что немцы пока нажимают так, что трудно оторваться от них, идут буквально по пятам, особенно быстро продвигаются на нашем направлении танковые подразделения. Не успели закончить разговор, как буквально над головой разорвался снаряд и стали слышны выстрелы совсем близко. Один из заключённых говорит: “Товарищ командир, просим Вас принять нас в вашу часть, мы сумеем немчуре намылить голову, мы прекрасно знаем всю окружающую местность, каждый бугорок станет для нас крепостью”. Так мы разобрались в той панике, которая возникла в городе.

Мы привели себя в порядок и двинулись на Псков. Движение по Двинску прошло спокойно, выбрались на окраину. Впереди заметили множество людей. Дорога узкая, справа и слева расположен большой лесной массив. На данном участке дороги скопилось большое количество гражданских, в основном это были литовцы, белорусы, украинцы, небольшие группы и одинокие военнослужащие – неуправляемая и неорганизованная масса, с которой легко было справиться и малочисленному противнику. Дальнейшее движение по дороге стало невозможным, образовалась пробка. В такой обстановке необходимо было принять срочные меры: очистить дорогу, отвести в сторону, в лес всё гражданское население, маскироваться. Я оставил свою колонну и решил пройти вперёд, выяснить причину задержки. Прошёл не более одного километра, и оказалось, что впереди была выставлена так называемая “застава” из представителей военного совета округа для сбора и остановки отходящих граждан и военнослужащих, для формирования боевых подразделений, на которые в дальнейшем будет возложена задача – остановить и нанести удар по наступающему противнику в районе Двинска, то есть отстоять город. Такие меры были бы полезными, если бы данное формирование проводилось значительно раньше, хотя бы за сутки до встречи с врагом.

Меня тоже прихватили, и тут же, с ходу, не выслушав моего объяснения (почему я подошёл к заставе), назначили командиром стрелкового батальона. Представители военного совета торопили очистить дорогу, чтобы замаскировать от воздушного противника своё местонахождение. Моя батарея вскоре подошла к военной заставе, и её также повернули в лес. Я в это время выполнял поручение, а точнее, приказ представителя Совета сформировать стрелковый батальон из лиц, только что призванных в армию, одетых в гражданскую одежду. У каждого из них за плечами рюкзак, в руках – ветхие чемоданы и другие свёртки. При построении их оказалось около 400 человек, сила большая. Несмотря на усталость и голод (все продукты закончились, мы начали делиться последними кусками хлеба), я спросил: “Давно вы находитесь в этом районе?” Они ответили: “Только что прибыли из-под Одессы”. Затем прозвучали голоса: “Быстрее обеспечьте оружием и боеприпасами, ви-



дите, на такое количество людей всего 50 винтовок, и то за счёт пристроившихся к нам военнослужащих, отставших от своих частей”.

В основном формирование батальона, хоть и наспех, подошло к концу, были назначены командиры рот, взводов и отделений. Назначенные командиры рот приступили к проведению бесед на тему дня и о предстоящих задачах. Настроение людей было хорошее, боевое, каждый из них был уверен в себе и в своей победе над врагом. Многие из нас, в том числе и командиры, не полностью представляли, какой будет эта война и её течение.

Наш район формирования вскоре был обнаружен фашистской авиацией, и на нас было брошено большое количество самолётов для полного уничтожения всех, кто был в этом лесу. После бомбёжки, пролетая на бреющем полёте и обстреливая из пулемётов и пушек, врагу удалось нанести большой урон нашим людям, много было убито и ранено. После массовой бомбёжки и обстрела сложилась ещё более тяжёлая обстановка. Кроме большой потери рядового состава, также выбыл из строя командный состав. Представители военного совета приложили много усилий для приведения в порядок людей, сбора и отправки раненых, похорон убитых и отдачи нужных распоряжений оставшимся в строю.

Представитель военного совета, по воинскому званию майор, вызвал меня и спросил: “Вы командир зенитной батареи?”, я ответил: “Так точно”. От майора я получил следующее распоряжение: “Немедленно вывести материальную часть из леса, с орудиями совершить марш по шоссе в сторону Пскова, на марше вы получите дополнительно распоряжение от своих командиров”. До марша нам удалось доукомплектовать автотранспортом свою батарею за счёт других подразделений машинами марки ЗИС-5.

Итак, движение началось. Весь личный состав стал неизвестаемым по своему поведению, по своей суровости и строгости. Сказался уже хоть и небольшой, но имеющийся боевой опыт.

Мы продвинулись на пять километров вперёд, и сзади уже не было ни одного человека. Я подумал: “Что делать? Произвести разведку – нет времени”. Решили проехать ещё с километр, заметили, что в нескольких сотнях метров от нас быстро бегают солдаты, что-то делают. Мы вначале на одной машине подъехали к ним поближе. Я спросил: “Что вы здесь делаете?” – ответили, что им приказано поджечь мост и немедленно уходить в лес. “Наш командир за этой рощей”, – и показали рукой. Тут же подошёл их командир, по воинскому званию младший лейтенант. Он сообщил: “В двух километрах впереди дорога перерезана немцами. Мы сейчас подождём мост и сами будем уходить, пробираться лесом”. Но нам на машинах здесь не проехать, кругом сплошные болота. Мы оказались в более тяжёлом положении, чем когда-либо, Противник преследует нас со стороны Двинска, наши раздробленные части не в состоянии противостоять ему или задержать его хотя бы на несколько часов...

Нам остался один выход – уничтожить материальную часть, то есть всю боевую технику. Кругом лес, болотистые места, проехать на автомашинах ЗИС-5, да ещё с прицепом весом около пяти тонн, невозможно. Я про себя подумал: “Сколько приложено усилий, и неужели пришёл конец? Так просто распрощаться с техникой?”

Враг со всех сторон зажимает нас (со стороны Двинска и со стороны Пскова). Поэтому, находясь на дороге в походном положении, необходимо было принять срочные меры, найти выход из создавшегося положения. Для этой цели были приглашены командиры орудий.

Наши мысли совпали, все высказались за то, чтобы вернуться обратно в сторону Двинска к лесной просеке, которую мы видели во время проезда по дороге. Эта просека проложена в сторону наших старых границ, ещё до сороковых годов. Учитывая, что дорога, на которой мы находимся, узка для разворота орудий и машин, всё пришлось делать вручную, силами орудийных расчётов. Вся эта операция прошла неожиданно быстро, сразу же тронулись обратно, то есть навстречу противнику. Мы были готовы во всеоружии встретить врага, откуда бы он ни появился. Я ехал на головной машине, один из командиров взвода – на последней. При подъезде к просеке не пришлось долго раздумывать: все как один нырнули в лес. Я прикинул, что собой представляет просека: примерно около километра просматривалось вперёд. Она шла немного на подъём, впереди сухо, почва покрыта плотной травой, похоже, по ней не ступала человеческая нога. Итак, наше движение проходило в

необычайных условиях. Мы оказались в объятиях кондового леса. Столетние сосны стояли, как часовые на своём посту.

Проскочили несколько полян, небольших просек, кругом тихо и мирно, движение шло хорошо. Проехали около двух с половиной километров, и нашей просеке пришел конец. Мы остановили свою колонну, заглушили моторы, наступила абсолютная тишина, только наши желудки покоя не дают: охота хотя бы слегка перекусить. Но из пищи ничего не осталось, в общем, единственно досыта надышались лесным ароматом.

Мы прислушались. Справа от нас, совсем недалеко, слышен звон топоров, происходит энергичная рубка леса, доходят отдельные голоса людей. Время не ждёт, тут же организовали из числа своих людей небольшую разведгруппу, чтобы выяснить, что происходит в данном районе, осмотреть местность и найти проезд. Не прошло и 30 минут, как наша разведгруппа возвратилась обратно со следующими данными. Слева от нас проходит сплошное болото, проезда и прохода нет. В пятистах метрах отсюда происходит подготовка леса для строительства дороги через болотистые участки. Дорога оказалась слабой, она могла обеспечить только лёгкий малогабаритный транспорт и пешеходов.

Мы подтянули свои пушки поближе к переправе с задачей: во что бы то ни стало вклиниться в поток движения транспорта, идущего на выложенную из хвороста и жердей дорогу. Организацией переправы руководил тот, кто старше по воинскому званию, и отвечал только за свои подразделения. Мою колонну вообще не пропускали по двум причинам: первое, и, пожалуй, самое главное, с чем нельзя не согласиться, что наши машины ЗИС-5 сами не пройдут, а если тянуть пушки, то разрушим всю дорогу так, что после нас вообще прекратится всякая переправа. Руководитель переправы внимательно выслушал мою просьбу пропустить нас через болото, после чего распорядился развернуть наши пушки для прикрытия переправы от воздушного противника. Начальник согласился на нашу переправу, но в последнюю очередь. Ну, думаю, обрадовал, на последнюю очередь не потребуются твоего разрешения. Там уж, как Бог разрешит...

К нашему большому счастью, на поле примерно около километра от нас работал небольшой трактор. Не помню, кому он принадлежал и кто был подлинным хозяином трактора. Я обратился к трактористу с просьбой оказать нам помощь в переправе четырёх пушек через это проклятое болото. На мою просьбу ответ последовал не сразу. Было заметно по его лицу и взгляду, что он был чем-то взволнован. Мне трудно было понять, в чём дело. Я думал, что этот латыш не понимает меня. Он и действительно плохо говорил по-русски. Как сейчас помню эту картину: он сидит на тракторе, я стою в двух метрах возле его трактора, смотрим друг на друга. У меня мелькнула мысль, что нужно его пистолетом припугнуть, он тогда наверняка согласится...

Но не успел я принять свои меры принуждения, как он говорит: “Товарищ командир, а вы возьмёте меня в свою часть?” Откровенно говоря, такого вопроса я совсем не ожидал. Смотрю на него с удивлением и думаю, что ему сказать в ответ. Мой собеседник, не ожидая ответа, разворачивает свой трактор, мне показал рукой стать на крюк и тут же рванул к нашей переправе. Подъехали к пушкам, а наши товарищи, все как по команде, закричали: “На этом тракторе не пушки возить, а навоз. Долой его, сами вручную потянем, не привыкать”. Всё же решили подготовить последнюю свою машину, стоящую в колонне, с тем, чтоб не так было заметно для окружающих на переправе, что мы замысливаем. Итак, трактор зацепил своим тросом за крюк машины, часть людей взялась за пушку, остальные распределились возле орудия. Я неверующий, но на этот раз прямо-таки перекрестился и обратился к Всевышнему: “Помоги, дорогой, если ты видишь, в какую мы попали беду, нам во что бы то ни стало необходимо переправиться через болото, в долгу не останусь перед тобой”.

Все мы дружно взялись помочь трактору и работающей машине выбраться с этого “святого места”, и, действительно, не проехали, а пролетели. Наш “полёт” вызвал общее удивление, но Господь, видно, и в самом деле помог... Выбравшись из этого болота, мы все были чумазые, как черти, но счастливые.

Подходит ко мне наш тракторист и говорит: “Товарищ командир, вы не сказали в отношении зачисления меня в вашу часть”. Стоящие рядом товарищи в один голос крикнули: “Принимаем, только со своим продовольственным

пайком”. “Согласен, — отвечает тракторист, — я сегодня как никогда сытно позавтракал, и у меня на тракторе в сумке имеется кусок хлеба, два яйца и небольшой кусок сала”. Ему в ответ пущена шутка: “За такой паёк можно и звание дать младшего лейтенанта, а после видно будет”. Колонна была готова к дальнейшему маршу, нас поддерживали и подбадривали все, кто видел нас на переправе. Много хвалебных слов услышали мы в свой адрес за находчивость, организованность, а впереди показалась хорошая дорога, идущая на г. Опочку.

После заболоченной местности, которая отобрала у нас много сил и времени, мы вышли на хорошую грунтовую дорогу, идущую в сторону Опочки. По этой дороге проходило большое количество автотранспорта, курсировали бензозаправочные машины, боевой техники не было, многим не удалось вывести её в нужный район. В разговоре с товарищами выяснилось, что их боевая техника оставлена в различных районах Литвы, Латвии, особенно много — в таких городах, как Таураги, Шяуляй и Каунас.

Следуя по маршруту основного движения, мы достигли г. Опочки. Решили произвести осмотр машин, дозаправку горючим, а главное — подыскать пищу и накормить людей. Мы не успели как следует развернуться, как к нам подъехал наш неуловимый командир части майор Алейников! Все с большим удивлением встретили его, из груди вырвался тяжёлый вздох. У некоторых даже появились слёзы на глазах. С тяжёлым чувством выслушал он нас, наши трудности и переживания. Я про себя подумал, что на этот раз все трудности позади, все вопросы будут решены. Командир части приказал собрать людей, он решил вкратце сообщить о положении наших дел на этот час. Он начал с того, что нам нельзя терять ни минуты времени, наша разведка сообщает тревожные вести, противник на всех направлениях имеет успех, наши части отходят к Ленинграду. Нам следует немедленно продолжить марш до Старой Руссы, где нас будут встречать командиры из штаба... Что ж, приказ получен, нам предстояло совершить ещё один бросок. И, к сожалению, снова на восток.

На этом участке пути уже активно действовала авиация противника, слева от нас слышна была артиллерийская стрельба, проходили машины с ранеными. Мы дважды подвергались бомбёжке и обстрелу с самолётов противника, при обстреле было прямое попадание в моторную часть одной из машин. При подъезде к городу Старая Русса нас действительно встретили работники штаба полка, они провели нас в район сосредоточения. Настроение у нас боевое, доложили во всех подробностях о своих приключениях. Прибыли в полном составе и сохранили свою боевую технику. В заключение доклада я попросил накормить моих людей, которые вот уже третьи сутки были без пищи. Стоянка в районе сосредоточения оказалась совсем короткой, противник по-прежнему продвигался с большой скоростью, без конца появлялись всё новые и новые направления.

Решение командования было таким: кто имеет боевую технику, будут отправлены под Ленинград, а подразделения, которые не имеют боевой техники, — в Москву, на переформирование.

Присутствующие на совещании все, как один, повернулись в мою сторону: боевую технику из всего полка сохранил только я. Я подумал, если получу такой приказ, к этому отнесусь с полной ответственностью и желанием быстрее найти своё место в бою и твёрдо стать на защиту своей Родины. Командир части закончил совещание, приказал всем разойтись по своим местам и быть готовым к маршу, а мне задержаться на дополнительные указания. Был задан вопрос, готов ли я к маршу, ответ был: “В любую минуту”.

Впоследствии наш полк был отправлен в Москву. По прибытии мы разместились в Чернышевских казармах. Командный состав направлялся в различные части. Впереди была ещё долгая дорога войны, но эти роковые дни 41-го, эти первые бои — мне не забыть никогда.

*Воспоминания участника Великой Отечественной войны Фёдора Ивановича Лапко, ныне покойного, подготовил к публикации его сын Владимир Фёдорович Лапко.*

*После публикации статьи Ильи Кириллова в № 4 за этот год мы полагаем, что тема “Большой книги” нами исчерпана. Однако ошибались.*

*Статья, посвященная лауреату премии последнего “выпуска”, вынудила продолжить этот нелегкий разговор. Ведь премия “Большая книга”, по замыслу, должна вручаться за достойное, талантливое, лучшее в современной литературе. И вроде бы ДО того (до объявления победителя) пишутся какие-то рецензии, идет “осмысление творчества номинантов”. Автор статьи тоже решил подумать над последним романом-победителем. За какие смыслы и достоинства дают нынче “Большую книгу”? Ведь роман-победитель уже переводится на английский язык — представляет, так сказать, европейскому читателю “лучшие образцы” современной русской прозы. И каковы они?*

ИВАН УГРЮМОВ

## ЛЕОНИД АБРАМЫЧ СРАЖАЕТСЯ С ЧЕРЕПАХАМИ

Итак, опус Леонида Юзефовича “Журавли и карлики”... Название сего произведения в ходе чтения первых глав вызвало в моей памяти ассоциацию с фантастическими иллюстрациями XIII века, иллюстрировавшими (уж простите за столь явную тавтологию!) реальные походы Александра Македонского по Азии. Может быть, читатель помнит эти фантазмагорические картинки (я их в Интернете встречал) с подписями типа: “Александр Великий поражает шестирукую человеческую расу” — и прочими. Разумеется, никакой шестирукой расы на земном шаре никогда не существовало. Равно как и не было сражения Александра III Филипповича с черепахами... Впрочем, и гомеровской битвы журавлей с карликами тоже никогда не бывало... Однако давайте, наконец, обратимся к тексту.

### ГЛАВНАЯ ТЕМА № 1

Прежде всего остального меня в тексте Л. Юзефовича интересовала его главная тема. Выяснить ее и рассмотреть — вот в чем я видел свою первостепенную задачу. И на этом пути меня ждали странные открытия...

Честно скажу, первоначально за главную тему я принял эту:

“...После ужина Катя привела его на теткину дачу. Выпили сухого вина, немного потанцевали под транзисторный приемник. Раздевать ее он начал как-то очень вовремя, не раньше и не позже, чем нужно. Легли, дальше все пошло наперекосяк. Он, видимо, считал, что порядочная женщина должна раздвинуть ноги и лежать под ним как бревно, в крайнем случае может руками развести себе губы, если прицел взят неверно, и несказанно изумился, когда Катя, облегчая ему задачу, сама ввела в себя его член. После этого он

решил, что с ней все позволено, и стал требовать от нее всяких штук. Она попробовала объяснить, что они еще слишком мало знают друг друга, чтобы подобные изыски могли доставить им удовольствие. Началась какая-то дикая торговля, вдруг ему стукнуло в голову, что от такой, как она, нужно ждать беды. Он вскочил как ошпаренный, налил воды в кастрюлю, поставил на газ и нервно курил, то и дело пробую воду пальцем. Потом побежал с этой кастрюлей во двор и долго мылся там с мылом...” (Глава 4. #9)

Согласитесь, с такой детализацией описывать столь интимные подробности встречи мужчины и женщины автор должен, по идее, не просто так, а лишь при сильной сюжетной нужде в таком описании. Но ничуть не бывало, сценка так и осталась изолированной от общего течения повествования, далее она никаких последствий не имела.

А вот аналогичная сценка с несколько иным составом участников:

“Он благодарно погладил ее лобок. Чувствовалось, что на днях здесь побывали ножницы.

– Подожди, – отвела она его руку, – давай сначала поговорим о чем-нибудь таком... Тебе снятся эротические...

– Мне никакие не снятся, – слукавил Жохов, считавший сон без сновидений признаком мужественности.

– А мне снилось недавно, что меня хотят изнасиловать трое бомжей. Ночью бегут за мной по улице, я кричу, зову на помощь, а кругом – никого. Загнали меня в какой-то тупик между заборами. Дальше бежать некуда, я повернулась к ним, а сама вся трясусь от страха. Один выходит вперед с такой мерзкой ухмылочкой на роже, расстегивает штаны, достает член. Вдруг вижу – член у него отваливается и падает на снег. Он как в столбняке смотрит себе на то место, где было и нету, а я начинаю хохотать, хохотать и сквозь хохот кричу голосом ведьмы: “Следующий!”

– Ничего себе эротика”. (#21)

Мы можем лишь согласиться с суждением Жохова о том, что “эротика” в сновидении героини, действительно, весьма и весьма своеобразная...

Подобные действия, если верить тексту, происходят в наше время. То же самое мы обнаруживаем и в своеобразных исторических экскурсах автора (которыми он, как мне рассказывали, вообще-то знаменит). Вот что мы встречаем у него в веке XVII:

“Он нанял в местечке хату, привел туда Сару и, как говорили у них в Вологде, хотел расчесать ей нижние кудри, но она заплакала так горько, что чесальщик лег и вставать не желал. При виде ее слез улетучилась вся его мужская сила. По природе своей, отличной от казацкой натуры, брать женщин насильно он не умел.

Тогда, отступившись, Анкудинов поведал Саре, что он сам – еврей, рожден от еврейских отца и матери...

Она не верила, пока Анкудинов не показал ей свой обрезанный уд. Тогда Сара заплакала еще горше...

В тот же вечер Сара взялась учить его языку предков. На первом уроке она рассказала, что если взять слово “Хмель”, истинное прозвание злодея Хмельницкого...

Анкудинов ей не перечил. Второй урок закончился на ложе, где он сам стал учителем, а она – ученицей”. (#27)

И эта сценка по сюжету не имела никаких последствий, как и свидание того же Анкудинова в Риме, где с ним пыталась возлечь “нимфа с бритым лобком”.

Разумеется, я тут привожу лишь выборочные сценки, самые характерные. Процитировать все места по предполагаемой “главной теме произведения” я не могу, дабы статья моя не разрослась в монографию.

Главная тема в тексте Л. Юзефовича касается не только современности и древности, она пронизывает также и филологические изыски героев (и, видимо, самого автора – все ж таки писатель):

“– Страшнее всего – этимологический словарь, – объявила она. – Читаешь и видишь, на каких первобытных основах все держится, вся наша жизнь.

– Например? – полубопытствовал школьный друг Марика, чье имя Шубин снова успел забыть.

– Например, я узнала, что слова “удовольствие” и “удаль” происходят от слова “уд”.

– Х/.../\*, значит, – смачно прокомментировал Марик. – Даешь ему волю, получаешь удовольствие. Несешь его в даль, то есть насилуешь женщин из соседнего племени, считаешься удалым добрым молодцем.

– Правильно, – кивнула Катя. – Все остальное – только суффиксы.

– Что – всё? – спросила Лера.

– Всё вообще. Современная цивилизация – это суффиксы, приставки и окончания”. (#31)

Последний тезис вроде бы даже претендует на философское обобщение. Хотя и не тянет на таковое.

Все половые связи, описанные в тексте Л. Юзефовича, совершаются без каких бы то ни было следов любви мужчины и женщины, – эти отношения представлены просто как функциональный секс. Они скоротечны и развиваются обычно в неприспособленных помещениях. Например, на нетопленной даче (а еще снег на улице лежит), куда герой попадает воровски. Или вообще в подсобке:

“Первый раз все произошло во время обеденного перерыва, в подсобке, поэтому она сняла только трусы, а он положил их себе в карман, потому что на ней была юбка без карманов. Сгоряча оба про них забыли и до конца смены переглядывались, как два террориста среди толпы, не подозревающей, что у одного из них в кармане спрятана бомба. Потом пошли в городской сад, и, самое удивительное, когда она за кустами, прямо при Марике, подхватив юбку, натянула эти трусы, это ее движение взволновало его куда больше, чем то, каким они были сняты. В чем тут дело, он постичь не мог и допытывался у Шубина, бывало ли с ним такое, или он, Марик, какой-то уникам”.

Если Л. Юзефович писатель, то, скажем так, у этого писателя весьма странное пристрастие к изображению половых актов в нехарактерных для этого занятия местах. В торговом киоске, например:

“За год у него собралась неплохая коллекция автомобильных значков, свинченных с чужих иномарок, и появилась еще не старая молдавская женщина, не проститутка. По утрам, когда торговля шла вяло, она, опустив щиток на окошке, иногда бесплатно ложилась с ним в своей хлебной палатке на Никулинском рынке”.

Заметьте: все эти сценки из жизни разных персонажей. Автор создает такую картину всеобщего секса в слабо приспособленных помещениях. И только в них.

Иных описаний, окрашенных сексуальной тематикой, я в тексте не припомню. И не потому, что “видно, память моя однобока”, а просто их там нет. Да и сама “сексуальность” в изображении автора имеет странноватый оттенок: “...Жохов поцеловал ее, как ребенка, в лоб. Она положила огрызок на пол и закинула руки за голову. Небольшие грудки растеклись по ребрам. Имя Аида подходило ей больше, чем Катя.

Он провел пальцем по ее животу.

– А животик у тебя все-таки имеется. В одежде кажется, что его совсем нет.

– Его и нет. Просто сейчас в нем скопилось кое-что лишнее.

– Женщины! – покровительственно улыбнулся Жохов. – Воздушные создания, страдающие запором.

– Бывает, – не стала отрицать Катя. – Мне, например, в детстве никто не объяснил, что какает нужно каждый день”. (# 20)

Согласитесь: странный у героев Л. Юзефовича “эротизм”, странная “чувственность” (после полового акта “поцеловал ее, как ребенка, в лоб”). И если бы это произведение изучали в школе на уроках литературы, то вполне можно домыслить, о чем писались бы соответствующие сочинения: “Тема запоров в образе женщины у Л. Юзефовича”...

Порой приходится слышать от добровольных защитников “творчества” порнографических режиссеров или такого рода писателей, что, мол, мы же ничего не выдумали, все это есть в жизни. Правда, мне неясно, почему при этом они себя называют писателями и режиссерами, то есть творческими людьми. Прозаическое произведение или художественный фильм создают – а мы с детства это знаем, давно привыкли к этой истине – как произведение искусства. Искусства! А всю грязь и мразь вываливать на зрителя или чита-

---

\* Матерных слов редакция старается избегать. (Прим. ред.).

теля — это не искусство вовсе. Это не творчество, а так, одна мерзость. И к чему было браться за перо?

В итоге видно, что сексуальные изыски Л. Юзефовича не образуют чего-то целостного. Они в сюжете текста не составляют нечто, хоть отдаленно напоминающее тему произведения. Это не тема, а, скорее, “завлекалочка”. Л. Юзефович описанием всех этих разбросанных по тексту сексуальных сцен стремится всего лишь сделать свою продукцию привлекательной для молодых людей. Точнее, для той их части, которая имеет сильно повышенный интерес ко всему, где есть секс.

Всеми этими сценками автор стремился завлечь читателя — чтобы у книги были хорошие продажи. Это не искусство. Это гешефт.

## **ТЯГА К ИСТОРИИ КАК ВИД ГЕШЕФТА**

Для меня лично хватило бы даже одного фрагмента, подобного приведенным выше, чтобы далее прекратить чтение. Однако я сознательно взялся за изучение, грубо говоря, творчества Л. Юзефовича, а посему продолжал читать до самого конца текста.

Про тексты Л. Юзефовича ходят рассказы, будто бы они все, как бы это поделикатнее выразиться, с историческим уклоном. Разумеется, рассматривать их как художественные исследования нашего прошлого ни в коем случае нельзя. Полагаю, что и сам автор рассмеялся бы от такого предположения. С другой стороны — тут я должен высказать критическое замечание, которое с чьей-то точки зрения, пожалуй, покажется похвалой — Л. Юзефович не может претендовать и на то историческое фантазирование, которое выходит из-под пера Э. Радзинского. У Л. Юзефовича под видом исторического экскурса скрывается все тот же гешефт — стремление продать текст любым путем. Да он и сам об этом прямо пишет.

В самом начале повествования нам сообщается, что Самый Главный Герой произведения Шубин получил от книгоиздательства заказ на нечто историческое, про самозванцев на Руси. Ему обещали денег. Потом редакторов тех уволили. Затем и само издательство исчезло. И тогда-то Шубин (то бишь сам Юзефович) решил продать уже написанную рукопись про самозванца Тимофея Анкудинова... тебе, читатель! То есть весь этот невостребованный текст здесь же дальше и следует...

Гешефт, короче говоря.

Невольно вспоминается сценка из книги Лиона Фейхтвангера “Успех”. Там артист-мим постоянно показывает разные пантомимы. Каждая заканчивается однообразной фразой: “А сколько ж вам за это заплатят, соседка?”. В очередной сценке мим поочередно изображает быка и тореадора. А кончается она, как и заведено, умерщвлением быка. И вот испускающий дух зверь вопрошает тореадора: “А сколько ж вам за это заплатят, соседка?”.

Торговля есть торговля. Впрочем, есть тут и идея. Даже чем-то напоминающая главную тему. Попробую ее вам показать.

## **ГЛАВНАЯ ТЕМА № 0**

Нет, это не ошибка, именно “0”. Сначала я хотел написать: “тема № 2”, но тут же сообразил, что не может быть вторым номером “еврейский вопрос”! А так как № 1 уже был использован выше, то... что у нас идет перед единичей? Правильно — 0.

Итак, “еврейский вопрос” в тексте Л. Юзефовича вполне может претендовать на Главную тему. И тому я приведу доказательства.

Уже во втором параграфе читателя насильно в тему сию втягивают:

“Еврейский вопрос меня вообще не интересует...”

Причем фраза эта произносится без какой-либо сюжетной потребности. Просто так, на пустом месте: персонажи обсуждают поездку в г. Свердловск, который в сюжете больше не упоминается. Что тут должен был подумать читатель? — “Значит, этот вопрос для автора архиважен”.

И подобные сигналы, смысловые метки с намеком на “главный вопрос современности” рассыпаны в обилии по всему тексту, в котором регулярно наталкиваешься на разной тяжести “холокост”.

Вводить читателя в любимую тему автор начинает с первых глав. Вот по забору промзоны, вдоль которой герои направляются на деловую встречу, вдруг проходит граффити:

“... Антропоморфная пятиконечная звезда в островерхом шлеме русского витязя, с прямым варяжским мечом в руке, наступала на вооруженный кривой хазарской саблей могоидовид в шапке, как у хана Мамай”.

Как-то сразу, без каких бы то ни было подсказок, понимаешь, на чьей стороне в этом графическом бою выступает автор...

Впрочем, я чуть выше соврал: не со второго параграфа начинаются подобные “хазарские намеки”, а уже с первого. Приведу в доказательство диалог Самого Главного Героя (виртуального двойника самого автора) со своей женой:

“— Чего ты хочешь? — вступился за него Шубин. — Бедная страна, люди выживают как могут. А он, между прочим, чингизид.

— То есть?

— Из князей. В нем есть кровь Чингисхана.

— Еще прирежет по дороге, — сказала жена, залезая в постель”. Характерная логика: если княжеских кровей, значит потенциальный “фашист” и убийца. При этом убийцы из числа соплеменников персонажей (и самого автора) не только не интересуют, но обсуждать эту тему — значит быть безмозглым маргиналом, отставать от времени. Выражена эта мысль также с характерным юморком:

“Курс доллара сделался важнее вопроса о том, сколько евреев служило в ЧК и ГПУ и как правильно их считать, чтобы получилось поменьше или побольше”.

При этом, заметьте, реплики — как бы ни были они размыты, нечетки — всегда в высшей степени определенно указывают на своих и чужих. Князья, дворяне, белая кость и голубая кровь — потенциальные “фашисты”, убийцы и прочая. Свои же соплеменники мерзавцами не могут быть по определению. Прямо как кассирша в магазине: при счете часто ошибается, но неизменно в свою пользу.

У Александра Галича также присутствовала эта тема, и бард мыслил себя строго с определенной стороны баррикады. Напомню эти строки барда:

*Но как-то с трибуны большой человек  
Воскликнул с волнением и жаром:  
“Однажды задумал предатель-Олег  
Отмстить нашим братьям-хазарам...”*

И далее в таком же духе:

*“Каким-то хазарам какой-то Олег,  
За что-то отмстил почему-то”.*

На первый взгляд может показаться, что у автора (в данном случае А. Галича), так сказать, гражданская позиция четко не определена. Однако ж ясно, что он тут не на стороне Олега Вещего.

И у Л. Юзефовича мы находим свидетельства его приверженности в той древней войне Киева против Итиля и Семендера. Свои симпатии автор демонстрирует открыто. Самый Главный Герой, прототипом которого — по всему видно — является сам Л. Юзефович, суть воплощение Хазарского каганата в одном теле:

“Прадед Шубина по отцовской линии носил имя Давид и фамилию Шуб, Шубиным стал дед-эпидемиолог, один из героев успешно защищенной в вузе диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. После революции он полтора года проработал на западе Халхи, в районе Улясутая, где тогда свирепствовала чума. Оттуда дед вывез жену из семьи алтайских казаков, бежавших от советской власти в Монголию и выкошенных там чумной бациллой. От этой бабки Шубину достались глаза и скулы с намеком на азиатчину. Так считала мать, хотя ее собственные предки, уральские крестьяне и горнозаводские рабочие, тоже были не без примеси татарской и угро-финской крови. Если собрать вместе всех шубинских пращуров, получил-ся бы **полный каганат**”.



Объясняя непонятливый: Россия — это вовсе не разросшаяся до Тихого океана Русь, а воссозданный Хазарский каганат. Так теперь следует понимать всю отечественную историю. Впрочем, “полный каганат” является все же не реальной действительностью, а мечтой многих авторов, вроде вымышленного писателя Шубина (Шуба) и его реального прообраза Л. Юзефовича.

Удивительна эта пронесенная сквозь тысячелетие приверженность, приобретающая порой маниакальные очертания!

Представьте себе: распыленные по тысячам местечек Малороссии и Белоруссии хазарские отпрыски веками держали шинки, пускали деньги в рост, торговали, но вместе с тем продолжали мечтать о том времени, когда на просторах Евразии воссоздадут они свой новый Хазарский каганат. Казалось, что в 1917 году мечта почти что свершилась. Первое десятилетие советской власти потомки каганов мнили, что “СССР” — это и есть один из синонимов слова “Хазария”.

Но потом случилось нечто непонятное: руками одних хазарских отпрысков большая часть остальных была превращена в лагерную пыль. Казалось бы, еще в войне 1941–1945 годов дети хазарские участвовали как защитники своих кровных интересов, своего государства. Но сразу же после окончания войны часть этих “защитников” отвергла СССР как чужое государство и пошла на соединение с сионистами Запада, на создание отдельного государства (в Крыму ли, на Мадагаскаре, в Уганде ли, в Палестине). Но продолжали мечтать-то по-прежнему не об Израиле на Ближнем Востоке, а о восстановлении на месте ненавистного СССР новой Хазарии, пусть и под другим названием, пусть будет хоть Эрэфия.

И вот сейчас я, читая подобные тексты “с вкраплениями откровений”, не перестаю удивляться. Ведь умные ж люди! Образованные, эрудированные, логически мыслящие... книжки пишут (и гонорары за них получают). А как про Хазарию подумают, так будто бы мозги им напрочь отшибает. Куда девается их логичность и эрудированность?!

Однако я несколько отошел от рассматриваемого текста. Ну, ничего. Как говорил критик, “я весь в отступлениях”.

## СЮЖЕТНЫЕ ИЗГИБЫ

Независимо от того, задумана ли изначально была автором именно эта “главная тема произведения” или не предусматривалась им вовсе, но я вынужден обратиться к извилинам сюжета. Может быть, из его анализа родится намек на соображение о том, ради чего все это написано.

Фундаментом сюжета текста Л. Юзефовича служит беспрюирышный детектив (правда, странный).

Вот ведь и Федор Михайлович использовал такую основу при создании своих бессмертных произведений. “Преступление и наказание” просто-таки состоит из следственного дела об убийстве старухи-проценщицы.

Те же “Братья Карамазовы”...

Один мой добрый знакомый рассказал, как в юные годы читал эту книгу Достоевского. Он сидел на скамейке вагона метро, когда на очередной остановке вошли люди, и на свободное место рядом с ним бухнулась подвыпившая женщина. Она заглянула через плечо в открытую книгу и, немного помедлив, сообщила о своем открытии всему вагону: “А-а-а... помню: убили мужика, а кто — не известно...”

Моему знакомому подобная интерпретация сюжета “Братьев Карамазовых” показалась неожиданной. Но ведь правда — детектив. Иное дело, что Достоевский на сей сюжет нанизал величайшие идеи. О том, что на свой наизнал Л. Юзефович, я отчасти уже показал. Но сейчас не об этом речь, а о качестве собственно сюжетной основы.

Как я заметил выше вскользь, детектив этот странен. Обычно как бывает? Как бомжиха сформулировала: убили мужика, а кто — не известно. И после убийства начинается расследование. У Л. Юзефовича получается все наоборот. Когда кого-то из персонажей после долгих преследований все-таки убивают, то у автора (а с подачи автора — и у читателя) сразу же интерес к убитому понижается до абсолютного нуля по Кельвину.

Сначала вместо Жохова Ильдар убивает будто бы его брата (самозваного). И автор заставляет читателя испытывать от этой вести облегчение (не главного же героя убили. Ошиблись. Хорошо!!!). “Брата” благополучно похоронили. И больше о трупе ни гу-гу. Странный детектив...

Во второй раз Жохова вроде как убивают в октябре 1993 года возле Белого дома (причем бить его начинают защитники Белого дома). Но через полтора десятилетия он живехонький обнаруживается в Монголии. Причем возле Белого дома он отделяется всего-то “фонарем” под глазом. Опять читатель с облегчением вздыхает (об остальных, реально убитых в тот день, Л. Юзефович, как и следовало ожидать, не вспоминает).

В третий раз, когда шальные монгольские хулиганы по неосторожности все-таки убивают, то ли спутав его с местным аналогом, то ли не зная, что именно он сидит в машине, — то, похоже, небывалый катарсис испытывает не только читатель, но и сам автор. Он рад, что закруглил-таки сюжетную линию, которая все никак не хотела предыдущие два раза закругляться. Как-то топорно получилось: машина, стоявшая на открытой стоянке, отравила Жохова выхлопными газами, потому что, видите ли, выхлопное отверстие каким-то хитрым образом снегом занесло, и весь выхлоп шел под машину. А там (как в масть!) в днище была дырка. Странно, что автор не догадался о трубочках, которые бы вели от выхлопной трубы прямо Жохову в ноздри...

Короче говоря, построение сюжета живо напомнило античных драматургов. Иногда они так спутывали сюжетные линии, что самостоятельно уже не могли выгresti к финалу. И тогда на помощь приходил *deus ex machina* (бог из машины). При помощи специального устройства (машины) на сцену спускался актер, изображающий из себя местного бога. И двумя энергичными тычками распутывал все хитросплетения сюжета. Разбираясь в сюжетных линиях текста Л. Юзефовича, я пришел к выводу, что античные авторы использовали не самый худший способ подвести произведение к финалу...

Каков же итог мытарств Самого Главного Героя — Шубина? Сразу после убийства Жохова, когда перепутанный с последним и оттого оставшийся живым местный монгол от удовольствия запел за рулем, Шубин вдруг ни с того ни с сего понял, за что и как он любит свою жену...

Не знаю уж, что по этому поводу и думать...

Правда, действие происходит на развалинах чингисхановой столицы Кракорума. Может быть, этим обстоятельством автор хотел намекнуть на перспективу развития Москвы, в которой разворачивается основное действие. Москва вот уже более двух десятилетий ряду публицистов и “писателей” мнится развалинами Карфагена. Тоже своеобразная мечта — о полном и окончательном закате империи.

### **“ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ” АВТОРА**

Личность автора составляет неотъемлемую часть его произведения. Она проясляется через текст. Как бы автор ни маскировался, все равно, взявшись за нечто прозаическое или стихотворное, он вынужденно разоблачает себя перед читателем. Не составляют исключения “Журавли и карлики”.

По всему тексту, но особенно в одном — самом характерном — месте, Л. Юзефович показывает свою и своего героя “гражданскую позицию”, не менее странную и своеобразную, чем “образ женщины” в книге. Один из персонажей (Жохов), как я уже сообщал, случайно оказывается возле Белого дома во время событий осени 1993 года и вдруг там сталкивается с необходимостью вслух определиться со своей национальной принадлежностью: еврей он или русский.

Казалось бы, в чем тут проблема? Если ты русский, так и скажи. Если еврей...

Но по рассуждению автора (а тут не персонаж действует, а именно сам Юзефович, так сказать, голос за кадром) получается иначе: свою национальность, оказывается, человек может и менять — в зависимости от обстановки. Если выгодно сию минуту считаться евреем, то лучше назваться евреем. Да вы сами прочитайте это фрагмент:

“...Жохов оцепенело ждал развязки. Бежать было некуда, со всех сторон окружали люди. В тишине один из парней с дубинками высказал общую мысль: — Коля, он провокатор.

От головы к голове покатилося эхом:

— Провокация!.. Провокация!

Ясноглазый оторвал от Клинтона тяжелеющий взгляд.

— Ты кто? — спросил он негромко, но с копящейся в голосе сталью.

— Человек, — сказал Жохов.

– Еврей?

Как ни странно, отвечать следовало утвердительно. Каждая нация идет своим путем, еврей с портретом американского президента – это понятно, евреям есть за что любить Америку. Наверняка стали бы не бить, а полемизировать. Возможность вступить в дискуссию не с каким-нибудь подневольным солдатиком, а с открытым врагом выпадала им нечасто, но Жохов не успел об этом подумать.

– Да вы что, ребята? – возмутился он. – Русский я! Чистокровный. Могу паспорт показать.

Тут-то ему и врезали”. (# 45)

Ну, просто извращение ума какое-то. А ведь несколькими параграфами выше тот же Жохов сам себе признается:

“Действительно, это (то есть еврейское. – Авт.) в нем было – потребность постоянно куда-то бежать, рваться то в Москву, то в Монголию, падать и подниматься, бросать жен, менять кожу, влюбляться в чужое как в свое, а свое кровное, засушив его для сохранности, беречь про запас, чтобы было чем согреться, когда последним холодом начнет дышать в лицо”. (# 37)

Представляете? Влюбляться в чужое! В данном случае – в русское (и в монгольское?). Но не для того, чтобы искренне стать русским, а лишь из тактических соображений. Согреться-то он все равно намеревается засушенным для сохранности своим кровным... еврейским. Психологи называют такое состояние нарушением этнической самоидентификации. Автор порой сам не может себя понять и как бы спрашивает, обращаясь к себе же: “Кто я – русский или еврей?”

Из этой психологической раздвоенности и рождается авторская интерпретация гомеровской идеи “журавлей и карликов”. Вот один из вариантов такой интерпретации, высказанной будто бы Тимофеем Анкудиновым в XVII веке:

“Дальше шло совсем уж невразумительное: “Коли царь московский всядет на конь и пойдет на вас всей силой, со всем своим войском, пешим и конным, то если вы – карлики, я среди вас – журавль, дающий вам силу против моих собратьев, а если природа ваша журавлиная, то я – карлик, и без меня все вы падете, яко назем на пашню и снопы позади жнеца”.

Это темное пророчество оставлено было без внимания”. (# 34)

Л. Юзефович сообщает читателю, что мысль эта невразумительна, что она была оставлена без внимания. Однако ж сколь она сходна с тем, что произошло с Жоховым возле Белого дома! “Если вы – карлики, я среди вас – журавль”, “...а если природа ваша журавлиная, то я – карлик”. Эта формула описывает существо международного авантюриста XVII века Анкудинова, его последователя в наше время Жохова... и, можно предположить, “писателя” Л. Юзефовича.

Суть человека остается одна и та же, а миру он демонстрирует себя как журавля или как карлика – в зависимости от того... что в текущий момент выгоднее. Что дает большие продажи. Похоже, что продажа все-таки тут важнее темы, даже “самой главной темы современности”.

\* \* \*

С началом “перестройки и гласности” многочисленные магазины, причем не только в провинции, но даже в изобильной торговыми точками столице, вдруг стали превращаться в универмаги. Галантерея, торговавшая пуговицами и резинками, “Спорт”, понятно чем торговавший, хозяйственный – все стали продавать все на свете. Если площади позволяли, происходило превращение в торговые ряды, в пассаж, не позволяли – просто в универмаг.

К чему это я? А к тому, что и с прозой в ходе “перестройки и гласности” я заметил нечто схожее: сборники рассказов, повести и романы, произведения всех жанров постепенно превратились в литературные торговые ряды. В текстах наинového времени есть все – от мелодрамы до детектива, от философских обобщений до примитивного детского лепета, от фрагментов мистических учений (и даже чего-то из Талмуда!) до порнографических рассказов. Нечто, напоминающее рецепт пиццы; сгребите в одну кучу все, что у вас есть в холодильнике, перемешайте, и в итоге получится пицца. Вот такая литературная пицца предстала взору читателя под заглавием “Журавли и карлики”. “Купи – продам!” – будто бы взывает к нам автор.

АНАТОЛИЙ ПАРПАРА

## ВАДИМ КОЖИНОВ И “МОСКВА”

*Сообщение о публикациях только в одном журнале*

Впервые я обратил внимание на Вадима Кожина, когда присутствовал 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов на дискуссии “Классика и мы”. Со своим пониманием этой животрепещущей проблемы выступали Петр Палиевский, Станислав Куняев, Анатолий Эфрос, Феликс Кузнецов, Евгений Евтушенко, Александр Борщаговский, Сергей Ломинадзе, Михаил Лобанов, Сергей Машинский, Инна Ростовцева, Инна Роднянская, Вадим Кожин и другие. Говорили резко, запальчиво, противоборчески. Проблемы обострялись впервые так легально и так конкретно. Через четырнадцать лет трещина в мировоззрениях выступавших стала пропастью, разделившей их по нравственной линии. А через тридцать три года, сегодня, нам ясно, кто стоит и по какую сторону баррикад. Но тогда, успокоенные долгим миром, многие из нас близоруко не понимали, что третья мировая война, холодная или горячая, но продолжалась.

Точнее всех эту тревогу выразил тогда Юрий Селезнев: “. . . классическая, в том числе и русская классическая литература, сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта третья мировая идеологическая война. И здесь мира не может быть, его никогда не было в этой борьбе, и я думаю, не будет до тех пор, пока эта борьба. . . пока мы не осознаем, что эта мировая война должна стать нашей Великой Отечественной войной – за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим” (“Москва”. Дискуссия “Классика и мы”. 3/1990. С. 191).

Да, идет война. И мы ощутили ее дыхание на своей коже, когда в том же 1977 году на Юрия Селезнева, Геннадия Серебрякова, Вадима Кузнецова и Анатолия Парпару по личному указанию небезызвестного “серого кардинала” Суслова обрушилась вся пропагандистская машина, обвиняя нас ни больше, ни меньше как “в желании поссорить – рабочий класс и крестьянство” и требуя исключения из Союза писателей СССР и партии. Благодаря поддержке наших друзей и мужеству осуждаемых удалось отстоять свою правоту. Но Юрий Селезнев так и погиб вскоре на этой войне, как и многие другие подвижники национальной идеи: Галина Литвинова, экономист Кузмич, Игорь Тальков. . .

Активная многолетняя деятельность Вадима Валерьяновича на культурной ниве дала нам блистательные образцы умной, высокоорганизованной борьбы с чуждой идеологией, с агрессивным дилетантством, с наивной глупостью. В том же разгоряченном зале ЦДЛ прозвучала взволнованная речь Кожина, в которой он привел несколько примеров невежества известных публицистов и писателей, в частности, Л. Жуховицкого, который утверждал в “Литератур-

ной газете”, что “каждая вторая десятиклассница чувствует в сто раз богаче, чем пушкинская Татьяна”. Кожинов рассказал о постановках спектаклей иных режиссеров, проводивших свои новации по классическому тексту так, что от классики мало что оставалось. Цитирую его выступление: “Вот я скажу, например, что Мейерхольд совершенно открыто, без всякого, так сказать, забрала выступал против русской классики”. Защищая П. Палиевского и Ст. Куняева от нападков, он упрекнул оппонентов в том, что те обвиняют выступавших в антисемитизме. “Я заранее хочу сказать, что с презрением отвергаю ту истерику, которая здесь по этому поводу совершилась” (там же, с. 192). Кожинов уже тогда понимал, что идет подмена серьезного разговора о нравственных проблемах путем навешивания ярлыков.

Запись дискуссии “Классика и мы” была опубликована только в 1990 году в первых трех номерах журнала “Москва”.

Я просмотрел подборки журнала с 1957 года (кроме 1960 и 1961 гг.) по 2001-й, т. е. по год смерти Вадима Валерьяновича. И выбрал все кожиновские публикации независимо от жанра их: научное исследование ли, статьи ли, рецензии ли, интервью или ответ на анкету, участие в дискуссии или напутствие. Всего оказалось 16 материалов. Причем 13 из них укладываются в последнее десятилетие жизни ученого и публициста.

И это на прострaнстве только одного журнала. А было еще множество публикаций в журналах “Наш современник”, “Русская провинция”, в “Литературной газете”, “Литературной России”, в научных журналах и сборниках...

Вот серьезный вывод, важный для понимания духовной жизни советского периода, сделанный критиком после прочтения жизнеописания выдающегося философа Алексея Федоровича Лосева, исполненного его супругой – Азой Алибековной: “Книга Тахо-Годи убедительно опровергает широко пропагандируемое сейчас представление, согласно которому в России до последнего времени духовная жизнь не существовала или, по крайней мере, чуть-чуть теплилась. Верно то, что на “официальном” уровне эта жизнь игнорировалась и даже подавлялась. Но, как ясно из книги, духовное творчество А. Ф. Лосева прямо и непосредственно воспринимало множество людей. А это, может быть, самый прекрасный удел мыслителей, не столь уж часто выпадающий на их долю...” Вадим Кожинов. Была ли духовная жизнь? (Тахо-Годи А. А. Лосев). (12/1997. С. 143).

“Лосев, конечно, не ограничивался общением с людьми: он оставил многотомное собрание сочинений. И если его первые книги (одна из них в 1930 году как раз и легла в основу “обвинений” в “преступных” деяниях и воззрениях – в том числе в “черносотенстве” – и привела его в лагерь...) оставались до самого последнего времени крайне малоизвестными, то, скажем, его изданная в 1978 году тиражом в 50 000 (!) экземпляров “Эстетика Возрождения” немедля разошлась и сыграла весомейшую роль в общественном сознании. Она противустала господствующей точке зрения на эпоху Возрождения (в ходе которой, в частности, были зверски казнены сотни тысяч людей) как на некий “рай”. И своего рода ключевыми для понимания и того времени в Западной Европе, и эпохи Российской революции стали лосевские слова о великой правде шекспировского искусства – слова “о горе трупов, которой кончается каждая трагедия Шекспира” (как, скажу от себя, и “Тихий Дон”).

Еще один пример его высокого профессионализма. Известно, как Вадим Валерьянович любил русскую поэтическую классику, писал книги о поэзии: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Рубцов – были предметом его глубокого интереса. “Свидетельства “без купюр” – так называлась рецензия В. В. Кожинова на книгу Гуслярова Е. и Карпухина О. “Лермонтов в жизни” (“Москва” 12/1998).

Рассуждения Вадима Валерьяновича свидетельствуют о глубоком понимании им жизнедеятельности великого поэта и его поэзии: “Для творчества поэта его способность одновременно и подниматься в горние выси, и спускаться в “преисподнюю” исключительно ценна, – утверждает В. Кожинов. – Этот не ограниченный ни сверху, ни снизу – “вертикальный” – творческий диапазон (“горизонтальный”, захватывающий широкий круг явлений мира, значительно менее “ценен”) во многом определил ту совершенно особенную, поистине уникальную притягательность творчества Лермонтова, благодаря которой он является “самым любимым” поэтом едва ли не для преобладающего большинства русских людей”.

Среди многих проблем, связанных с изучением взаимоотношений Лермонтова с окружающим миром, критик выделяет одну – “поэт и император”, тенденциозно подаваемую в советском литературоведении. На конкретных примерах он убеждает нас в спорных, а порой и неточных выводах некоторых исследователей на основании неправильного сопоставления фактов или неверного прочтения конкретного слова (тонкие наблюдения, основанные на знании лексики 1-й половины XIX века).

Только один пример: “Е. Гусляров и О. Карпунин приводят резко критическое высказывание Николая I об образе Печорина. Но, дабы правильно понять императора, целесообразно было бы отметить, что примерно так же “оценивали” сей образ люди славянофильского круга, в особенности Шевырев, и, как ни парадоксально, Чернышевский и Добролюбов. Первые считали Печорина своего рода антиподом патриотического деятеля, вторые – “революционного” деятеля, а Николай I, очевидно, – истинного офицера, защитника государства (император очень высоко оценил образ Максима Максимовича)...”

От себя добавим, что не только “люди славянофильского круга” так считали (например, Н. М. Языков резко не принял “Героя нашего времени”), – все истинно православные люди, а император был глубоко верующим человеком (см. статью Вл. Соловьева “Памяти Императора Николая I”, 1896).

Кожинов не боялся отстаивать свою точку зрения на отечественную культуру, которая расходилась с официальными взглядами. Вадим Валерьянович даже такую специфическую тему, как “ленинская концепция национальной культуры” (статья “Уроки истории”, “Москва”, 11/1986), использует для серьезного просветительского разговора.

Приводя множество примеров неуважительного, а то и наплевательского отношения к отечественной истории – касается ли это сноса памятников древней культуры, церквей, или выброса части текста, или искажения при переиздании книг, цитируя духовных вандалов – в частности такие чудовищные по цинизму стихи Д. Алтаузена:

*Я предлагаю Минина расплавить,  
Пожарского. Зачем им пьедестал?  
Довольно нам двух лавочников славить,  
Их за прилавками Октябрь застал.*

*Случайно им мы не свернули шею,  
Я знаю, это было бы под стать.  
Подумаешь, они спасли Расею!  
А может, лучше было не спасать? —*

В. Кожинов пишет: “Кое-кто может удивиться, – зачем сегодня все это беречь, мол, время все поставило на свои места. Но в том-то и дело, что не поставило, и незнание печальных страниц своей истории мешает нынешнему молодому поколению понять многое из того, что происходит сегодня, что является ответом на те, нередко зловещие, деяния, совершившиеся во имя “революционных” завоеваний” (С. 194).

Написанное двадцать лет назад и сегодня актуально. Вы думаете, что нет нынче “духовных вандалов”? Есть. Среди нас их немало. За примером далеко ходить не надо. В январском номере журнала “Экспресс” ОАО “Российские железные дороги” за 2004 год появилась большая статья некоего Алекса Нирвала под названием “Большой обман”. Прямо по центру первой полосы набрано крупным шрифтом и выделено малиновым цветом следующее утверждение: “Все врут календари... Бессмертную фразу грибоедовского героя с полным основанием можно отнести к учебникам российской истории. Если начать подробно, методично, без предубеждения разбирать описанные в них события, выясняется: около 90% из того, что нам вдалбливали с детства, – откровенная фальсификация. Да-да, почти 90%! Призвание на Русь варягов, Куликовская битва, подвиг Ивана Сусанина – все это, увы, циничные подтасовки или в лучшем случае плоды романтической фантазии летописцев и историков”.

Как этот борзописец, укрывшийся под таким невзрачным псевдонимом (кстати, Алекс Нирвал легко расшифровывается), трансформирует историче-

ские события на современность – станет понятно на таком примере: “Мамай выступил против Тохтамыша, когда князь Дмитрий был совсем юн и Московским княжеством правил митрополит Алексей. Темник, кстати, хотел дружить с Москвой, и в том, что ее жители встали на сторону Тохтамыша, виноват Сергей Радонежский, воспротивившийся союзу с Крымом по очень простой причине: генуэзцы, союзники Мамаю, просили разрешения покупать меха на Русском Севере. Сергей же считал, что с латинянами дела иметь нельзя. Не любил он католиков, и все тут. А может, у него были свои интересы в сфере торговли мехом?”

И далее идут заимствования из книг академика Фоменко, Льва Гумилева и других в таком же вульгарном пересказе. Я не вижу смысла оспаривать подобное. Здесь впору последовать совету академика Рыбакова, который он мне дал в 1998 году, когда я спросил его, как относиться к историческим изысканиям математика Фоменко: “Лучшим ответом будет гробовое молчание”. И это справедливо. Но не в отношении такого мощного полемиста, каким был Кожин.

Особого разговора стоит его статья “Внимание: литература США сегодня”, в которой шла речь о постмодернизме. В его основе, писал литературовед, “лежит идея полной бессмысленности, абсурдности всего человеческого бытия и прежде всего – созданной людьми культуры; отсюда проистекает обозначение наиболее заостренных выражений постмодернизма словом контркультура” (“Москва” 11/1982. С. 181). О влиянии “контркультуры”, а также неоконсерваторов, их апологетов на литературу и политику и говорится в этой статье В Кожина. Прочитать заключительную мысль автора могу с удовольствием: “На самом деле перед нами, так сказать, две стадии развития одного литературного и, шире, идеологического явления. Различие состоит в том, что постмодернисты стремились оттеснить или вообще уничтожить подлинную культуру американского народа с помощью и во имя нигилистических идей авангардизма, а неоконсерваторы стремятся делать то же самое с помощью традиционных мифов. Цель же и на той, и на другой “стадии” одна: превратить американский народ в послушное орудие международного империализма и сионизма” (там же. С. 191).

И, продолжая эту тему на современном уровне, я задам вам, уважаемые читатели, одну загадку, которую опубликовала в своем элитном приложении за март несколько лет назад очень элитная газета “Дача на Рублевке”. Цитирую из заметки “Владимир Слуцкер пожертвовал 250 000 долларов”: “Еврейские организации России восприняли избрание Слуцкера (президентом Еврейского конгресса. – А. П.) как признак грядущего сближения между Конгрессом и властями. Об этом свидетельствует тот факт, что Кремль публично поздравил его с новой должностью – раньше такого не случалось.

А тем временем президент фонда “Холокост” Алла Гербер считает, что в целях борьбы с антисемитизмом в России нужно предпринять такие же меры политкорректности, какие в свое время были предприняты в США в целях борьбы с белым расизмом. Российское общество должно пройти через это и научиться всему, чему научились за это время американцы – считает госпожа Гербер”.

Так что же нам, “российскому обществу”, готовит госпожа Гербер? Каким “мерам политкорректности” научит она нас “в целях борьбы с антисемитизмом”? Что стоит за этим? Какое новое потрясение России?..

Необъятен круг интересов Кожина-исследователя, невероятна компетенция его в различных сферах национальной и мировой культуры, многолика эрудиция его. Журнальные публикации, рецензии, анкеты, как кусочки смальты, создают многоцветный, многосмысловый портрет Вадима Валерьяновича – активного деятеля русской культуры второй половины XX столетия, подвижника русской мысли, принципиального борца за духовное возрождение России.

---

*Поздравляем нашего старого товарища, замечательного поэта  
Анатолия Анатольевича Парпару с 70-летием*

*Редакция*

МИХАИЛ ШАПОВАЛОВ

## “ТЫ ДАЖЕ ТЕНЬЮ ЗНАМЕНИТ...”

Первый раз, еще не будучи с ним знаком, я увидел Вадима Валериановича Кожина в общежитии литературного института на улице Добролюбова. Он стоял против лифта на пятом этаже. Хорошего роста... подтянутый... поблескивали стекла очков... сквозь них смотрели внимательные глаза... Курил сигарету, вставленную в простой черный мундштук. У него была известность: критик и литературовед. Шла журнальная война между “либералами” и “консерваторами”, и Кожин считался одним из лидеров “консерваторов”. Помню, поэт Федор Сухов говорил мне:

– Вадим – лучший критик в Москве... Умный... Вся русскую лирическую поэзию наизусть знает!

В сентябрьском номере за 1971 год журнал “В мире книг”, где я работал, опубликовал статью Кожина “Величие Достоевского”. В ней автор полемизировал с оценкой героя “Преступления и наказания” в работах, где Раскольников представляют как человека, потерпевшего крах. На что Кожин писал: “при характеристике убийцы Раскольников внутренне предан безусловно справедливости и моральности”. Это парадоксальное суждение Кожина подтверждал ссылкой на труд М. Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского”. Статья вызвала отклики. Какая-то учительница литературы возмущалась по телефону:

– Вы (то есть редакция) выступаете против государственной программы обучения. Это безобразие! Вы сбиваете ребят с толку.

После трагической смерти Николая Рубцова я написал о нем и после некоторых сомнений послал “Записки” Вадиму Валериановичу. Он откликнулся письмом:

**“12/V-75**

**Уважаемый Михаил Анатольевич!**

Спасибо Вам за живой и интересный “мемуар”. Из того, о чем Вы рассказываете, я знаю сам лишь эпизод с портретами Пушкина, Лермонтова и Некрасова (я был в тот день в т. н. “общаге”).

Я только что сдал в “Сов. Россию” крохотную книжечку о Рубцове, где в одном месте ссылаюсь на Вас (о чемодане – точнее, бауле, набитом рукописями).

Возможно, в Вологде будет организован музей поэта, куда я передам скопившиеся у меня материалы. Если Вы не возражаете, я включу в них и Вашу рукопись.

Всего Вам доброго,  
В. Кожин”.



“Книжечка” о Николае Рубцове сыграла существенную роль в открытии читателями подлинного поэта. Она превосходила информационно все бывшие до того рецензии и статьи, посвященные Рубцову. В нее вошли краткая биография поэта и насыщенный анализ его творчества. Разборы текстов написаны не только твердой рукой профессионала, но человеком, любящим и чувствующим природу поэтического слова. “Книжечка” тиражом двадцать тысяч экземпляров в считанные дни была раскуплена, превратилась в раритет.

Жил Вадим Валерианович на улице Мясковского, а рядом, в Староконюшенном переулке, в старом московском доме обитал Юрий Паркаев, друг мой. Они общались. У Паркаевых, Юрия и Валентины, часто собирались интересные люди: литераторы, артисты, коллекционеры. Когда Кожинов узнал, что у них, случается, играет гитарист Орехов, он буквально взмолился:

– Юра! Дайте знать, когда Сергей Дмитриевич прибудет. Я где-нибудь у вас приткнусь незаметно. Хоть в ванной, лишь бы его послушать... Хорошо?..

Я был свидетелем того, как слушал Кожинов у Паркаевых Орехова. Он отказался пройти в комнату, где собрались гости, и остался за закрытой дверью в коридоре. Орехов для начала “прошелся” по струнам, потом стал импровизировать. Это был высокий класс игры: от русских народных мелодий до всплеска цыганщины, от испанских мотивов до чего-то нового, своего. Полчаса пролетели, как одна минута. Кожинов (я видел его в профиле) сидел неподвижно, а когда раздались аплодисменты, снял очки и коснулся платком глаз. Быстро встал, отказался от приглашения хозяина “к столу”, поблагодарил и ушел. Он хотел сберечь впечатление от ореховской гитары, не перебивая его застольными разговорами. Годы спустя он напишет: “Знакомство с искусством Сергея Орехова всегда оказывается настоящим событием или даже потрясением”.

Кожинов и сам играл на гитаре в подражание любимому им Аполлону Григорьеву. Есть у Анатолия Передреева стихотворение, обращенное к другу-критику. В нем знаменательна концовка:

*Еще струна натянута до боли.*

*Еще душе так непомерно жаль*

*Той красоты, рожденной*

*в чистом поле,*

*Печали той, которой дышит даль...*

*И дорогая русская дорога*

*Еще слышна — не надо даже слов,*

*Чтоб разобрать из далека-далёка*

*Знакомый звон забытых бубенцов.*

Приходилось встречаться с Вадимом Валериановичем в самых разных местах. Бывало, придешь в издательство в выплатный день за гонораром, а в бухгалтерии очередь, и последним в ней Кожинов. Завязывается непринужденный разговор... Или так – за столиком в кафе ЦДЛ собратья по перу обсуждают новый ежегодник “День поэзии”. Появляется Кожинов, подсаживается, его просят высказаться. Он говорит, невзирая на имена, веско, порой с иронией. Бывал я у Вадима Валериановича и на Мясковского. Беседовали о Фете. Когда я заметил, что “Афанасий Афанасьевич и хозяин был рачительный на орловской земле”, Кожинов живо прокомментировал:

– Это в нем немецкая кровь давала себя знать. Он ведь немец по матери. Отсюда – трудолюбие во всем, тяга к порядку, к закону. Ordnung ist Ordnung.

Я спросил, успел ли он заглянуть в подборку стихов моих, что я дал ему на неделю.

– Я их прочел, – ответил Вадим Валерианович, – мне понравилась “Оса”. Он продекламировал:

*И комнатный кубик легко залила*

*тишина,*

*Теперь здесь осталась живая душа*

*лишь одна.*

– Да вы сами-то понимаете, что написали?..

Прошли десятилетия. Читая Ильина, я наткнулся на фразу: “Художник часто знает о своем произведении меньше, чем его произведение высказывает о самом себе”. И мне вспомнился этот давний эпизод.

По случаю выхода в свет книги Кожинова “О русской лирической поэзии” в Малом зале ЦДЛ состоялся вечер. Мы с женой были на нем. Говоря об исключительной роли Пушкина в нашей словесности, Вадим Валерианович отверг распространенное мнение, по которому к дуэльному барьеру поэта толкали сплетни светских салонов. Он напомнил присутствующим сказанное Пушкиным Жуковскому: “Какое мне дело до мнения графини такой-то или княгини такой-то... Единственное мнение, которым я дорожу, есть мнение среднего класса, который в настоящее время является единственно истинно русским”. И еще Кожинов озвучил слова Пушкина, сбереженные памятью Софьи Карамзиной, дочери историка: “Мне нужно... чтобы доброе имя мое и честь были неприкосновенны во всех углах России”.

Кожиновская книга давала читателям общую панораму возникновения и развития русской лирики XIX века: от Пушкина до Блока. Автор привлек к раскрытию темы образцы творчества поэтов “второго” или даже “третьего” ряда, существенно тему обогатив. Ведь имена К. Случевского, К. Фофанова или, допустим, А. А. Голенищева-Кутузова мало что говорили современному читателю, однако без их “присутствия” в поэзии панорама была бы неполной, обедненной.

После бездарной “эпохи Брежнева” Кожинову стало тесно в рамках собственно литературы, он обратился к истории. Его изначальный тезис “Культура порождается историей” способствовал созданию им глубоких, в чем-то неожиданных книг. Поверяя событиями прошлого день нынешний, Кожинов как культуролог предлагает читателям ряд истин. Среди них:

**Россия – уникальная цивилизация и культура, русская литература проделала тысячелетний путь развития.**

Вполне корректно (не срывая голос, не бия себя в грудь) Кожинов опровергает на фактах западные мифы о России (ее дикости, агрессивности и т. п.). Вывод из **кожиноведения** простой: нам, русским, есть чем гордиться.

Дружба Кожинова с поэтом Юрием Кузнецовым – глава особая.

– У меня душа оттаивает, – признавался он, – когда я слушаю его.

Юрий Кузнецов посвятил Кожинову стихотворение:

*Ты жил от сердца: песни пел  
И мысль наставлял годами.  
И черт едва тебя терпел,  
Качая русскими горами.*

*Ты даже тенью знаменит.  
Но понимал, что в этом мире  
Кольцо врагов тебя теснит.  
Хотя круги друзей все шире.*

*Какие годы полегли!  
Им не подняться... И порою  
Печаль — ровесница земли —  
В Москве беседует с тобою.*

*И с каждым годом реже свет.  
Река времен уже по плечи.  
Как написал не твой поэт:  
Иных уж нет, а те далече.*

*Еще по-русски говорят,  
И там Георгий скачет с пикой,  
Где твой сливается закат  
С закатом Родины великой.*

...Я вышел из метро “Арбатская” и, подхвачен течением толпы, неся к проспекту. Неожиданно я увидел Вадима Валериановича. Он стоял обособленно у края тротуара и, подняв голову, смотрел вверх на летнее выцветшее солнце, которое садилось за московские крыши. По инерции я сделал и пять, и десять шагов. И не стал возвращаться, чтобы приветствовать его. Думаю, был прав. Так в последний раз я видел Кожинова.

СЕРГЕЙ НЕБОЛЬСИН

## О РОССИИ, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ

(письмо Вадиму Кожинovu)

Шестнадцать лет назад, прилетев в Москву после длительного отсутствия и издалека (мне и октября 1993 года не пришлось увидеть, и сведения о нем доходили неполные), я встретил Юрия Кузнецова. Он сидел у себя в редакционном кабинете, и я задал ему вопрос, который помнил по известной статье Кожинова: “Итак, **в какой стране мы живем?**”

Кузнецов ответил своими словами, причем особо подчеркнул: “Вот, прочитай. Это никакому компьютеру не поддается: ни написать, ни вычислить смысл”. И он протянул свое стихотворение, которое мне даже и знающим его хочется еще раз огласить. Оно было свежее и называлось “Федора”.

*На площадях, на минном русском поле,  
В простом платочке, с голосом навзрыд,  
На лобном месте, на родной мозоли  
Федора-дура встала и стоит...*

Голос навзрыд нам знаком; но только не по стихам Кузнецова. “Как мне жить и плакать без тебя”, “над тоскою нив твоих заплачу” – эти мелодии-рыданья, они из Блока; они блокоподобны и блокообразны, и явно из той стихии, если вы ее изучали, что Есенин называл тоскливо-завороженным путешествием по Руси **в голландских ботфортах**. Но признаемся: выкладки какой бы то ни было учености – тоже компьютерщина, Кузнецов не зря чурался ее.

И вот, глуша компьютер в самом себе над стихотворением Кузнецова, – да: все-таки слышишь в нем и отголоски тютчевско-блоковских стенаний и радений, но больше находишь ими же не почувствованное и не постигнутое. И оно создано вполне, что кажется после пережитого в 1993 году, “по итогам октября”, как это издавна предписывало ответственной поэзии начальство.

*У бездны, у разбитого корыта,  
На перекате, где вода не спит,  
На черепках, на полюсах магнита  
Федора-дура встала и стоит.*

*На полавке, на льдине, на панели,  
На кладбище, где сон-трава грустит,  
На клавише, на соловьиной трели  
Федора-дура встала и стоит.*

*В пустой воронке вихря, в райской куще,  
Среди трех сосен, где талант зарыт,  
На лунных бликах, на воде бегущей  
Федора-дура встала и стоит.*

*На лезвии ножа, на гололеде,  
На точке i, откуда черт свистит,  
На равенстве, на брани, на свободе  
Федора-дура встала и стоит.*

*На карусели, на словечке “надо”,  
На пятом колесе, что восьмерит,  
На чарах зла, на гребне водопада  
Федора-дура встала и стоит.*

*На граблях, на ковре-пансамолете,  
На колокольне, где набат гремит,  
На истине, на кочке, на болоте  
Федора-дура встала и стоит.*

*На лилии, на плечи мухомора,  
На снежном коме, что с горы летит,  
На трех китах, на яблоке раздора  
Федора-дура встала и стоит.*

*На опечатке, на открытой ране,  
На камне веры, где орел сидит,  
На рельсах, на трибуне, на вулкане  
Федора-дура встала и стоит.*

*Меж двух огней Верховного совета,  
На крышах мира, где туман сквозит,  
В лучах прожекторов, нигде и где-то  
Федора-дура встала и стоит.*

Эта непростая, невычисленная и невычислимая вещь навела меня на размышления, которые излагаю.

\* \* \*

Что “умом Россию не понять”, общеизвестно как слова Тютчева: общеизвестно не как истина, ибо напрасна уж такая настроенность против ума, — но как слова крылатые. А так-то зачем сомневаться: разве Пушкин-то виденную им Россию своим умом не понял?

Будь оно как угодно, над неизмеримую Россией и над стихами Тютчева об этом имелись и охотники глумиться.

Летом 1917 года (обстановка была такая, какая Тютчеву не предвиделась ни сном ни духом) Алексей Максимович Горький печатал свои ироничные “Русские сказки”, среди которых одна как раз обыгрывает классический образ. Живет, мол, на свете несуразная и неуклюжая баба Матрена. Ни умом ее, нелепую, не понять, ни даже обхватить нельзя — по ее необъятной дородности. Россия-Матрена; она велика, но ум ее короток; она нескладна, и ничто в ней путем никак не сложится; так что ни демократического реформирования, ни какого иного дельного прогресса от нее не жди.

Все чаще, в том же 1917 году, выходявший на улицу “босяцкий элемент” (как его называли) смотрел на дело совсем не по Тютчеву. Словно Горький научил его не признавать ни ума, ни общего аршина, ни веры.

**Пальнем-ка пулей в святую Русь!** — и все тут. Единственное, что в ней несомненно — ее несуразность. Она не нужна была издавна ни Горькому, ни его же пером воспетым когда-то героям-босякам: кондовая, избяная, толсто-задая. Вот в ее погребях и на “этажах” — пошарить можно. С такими словами на босяцких устах — но, правда, без особой похвалы, скорее, с оторопью — вывел подобный люд на панели ночного Петрограда и Александр Блок.

Блок Горького терпел, а Тютчева любил; и что наша страна не под силу никакому уму, наверняка соглашался (на трезвый взгляд, повторим, соглашался ошибочно). Согласен он был, очевидно, и с тем, что говорила тютчевская вера:

*Истомленный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде царь небесный  
Исходил, благословляя.*

Таким образом, что поэту “Двенадцати” оставалось делать, когда

*Толпа вошла, толпа вломилась?*

Это опять слова из Тютчева: толпа вломилась — **и ты невольно устыдилась и тайн, и жертв, доступных ей**; Блок и эти слова оценил. Оценив это, он не мог такого восхвалять, конечно. Но даже и падших, даже и падких на душегубительный бунт — он их хотел не то что славословить, но подобно обескураженному мученику-страстотерпцу подставить им щеку, а нас хотел пусть как-то, но обнадежить. Дозор, чеканящий шаг по Питеру, встревожен, ибо

*Кто там машет красным флагом?*

А ну-ка, выходи, иначе стрелять начнем — приструнивают фигуру с флагом сами же красные. Ибо в чьих-то не тех флаг руках, и гулящей рати это подозрительно (как бывало подозрительно и всяким критикам — например, “марксистской генеральше” Марии Андреевой). Но вспоминаешь почему-то не только генеральшу, а бдительную кондукторшу из булгаковского трамвая “Аннушки”: **вы куда со своим котом? с котами нельзя!**

И Блок одновременно и сам взвинчен, и всех же, как мы сказали, обнадеживает и успокаивает. Будь сейчас хоть несусветная вальпургиева ночь, а все равно —

*Впереди — Исус Христос.*

И пускай со своею жемчужностью этот субъект у Блока как-то чересчур анемичен и женствен — и пускай он, конечно, **не вера, а греза с декадентским оттенком** — но прорицание понятно. Да, уж если началось, то красному флагу подыграет и красный петух. Но пускай вы, ребяташки, к такому

*Ко всему готовы,  
Ничего не жаль —*

а того, с красным флагом, вам и ни догнать, ни обогнать, ни устранить. Впереди, хоть в лепешку разбейся при всем своем “атеизме”, окажется и будет поджидать именно он.

\* \* \*

Не так ли оно и вышло, с какой стороны ни подойти? (Ну, скажем, со стороны тех, кто совсем не так давно голь перекатную смирил, разогнал или развенчал, а Христа, для порядку отобрав у него красный флаг, учредил вновь —

и все бьется, все бьется лбом о паперть: если не в очень элитарных храмах, то всегда в крайне приличной компании.)

Так оно вышло или с оттенками, а сейчас нами пережит уже какой-то совершенно особый октябрь — и уж его-то, опять же, ни сном ни духом не предполагали они все: и Пушкин, и Тютчев, и Блок. О Блоке, что первый из октябрей увидел и готов был ему сказать: что ж, безумствуй, даже сожигая и меня — о Блоке мы добавим, занимая от силы минуту, лишь немного. Да, не вполне к лицу “светлому иноку” замороженно поддакивать поножовщине, но так было: пальбою по кондово-избяному-толстозадому Блок хоть на ненадолго, но оказался увлечен. Да, он и сам набедокурил, упившись тем, что увидел в этом “размах”.

Но готов же был Блок заранее, что и ему достанется в полную меру, когда ощутимей окажутся не размах, а что-то похлеще? Готов. И многим бы у него поучиться — хотя бы в чем-то, хотя бы задним числом, однако и у него.

\* \* \*

Перевернем эту страницу. Толпа ведь уже и на наших глазах вломилась вторично, освободила от рвани, заняла и хочет расширить захваченный пятчок; она не склонна уважать никаких тайн, не помышляет и о малейших жертвах (если только о своих — то ни о малейших). Ничего себе христианство, сказал бы кто-то; но нам здесь уже не хватает учености, и предпочтем немотствовать.

Однако мы русские — и каким-то хоть сугубо русским умом, а надо же это как-то ухватить? Неужели он послабее других: страну-то веками собирал он, и предохранял и оборонял он же. Сколько раз он сурово и точно прикидывал виды на будущее и жертвенные нужды настоящего, и сколько раз надо было повторить, повторим снова и мы: **если мы не успеем — нас сомнут**. И если вы добавите, что это был не русский собственно ум, а **русский дух** — что ж, почему не согласиться.

Однако как ни назови, а у русского духа — сразу две бесподобные гениальные одаренности.

Первая — **полет и крылатость**. От ковра-самолета и конька-горбунка до пансамолета, до Королева и Юрия Гагарина. От Карпат и Днепра до Камчатки и Чукотки. Без крыльев такие дела не делаются. У Аристотеля спросили: дай формулу человека — и он ответил: **двуногое, но без перьев**. И хитро “сформулировал”, и безупречно: ведь не сказал же **без крыльев**. Это не только грекам, это всем природой завещано, это нам даровано, это нами исполнено бесподобно. Крылатый конь Ермака донес его дружину до Тобольска; Суворов преодолел Альпы; крылатый Пушкин дал крылья Глинке и Чайковскому. И разве Транссибирская магистраль, разве Северный морской путь, разве Гастелло и Александр Матросов — не полет? Разве все это — не та же птица-тройка?

Кто-то заметит или почти возразит, что это верно, лишь “говоря образно”. Но как же иначе, если наше русское самое емкое мышление — мышление в образах и есть? Не Владимир же Соловьев выразил русский дух в своей “русской идее” — и взвинченной, и какой-то униатски-пораженческой, не сказать дезертирской. (Туда же и все бердяй-булгаковичи, как назвал эту публику остроумный Иван Солоневич.) Нет, не они, а уж скорее Пушкин — и выразил вполне “в образах”. Правда, и Пушкин от кого-то свой русский дух сам впитывал. “Спой мне песню...” И что же — разве “Калинка” в исполнении победоносного Краснознаменного ансамбля в мундирах (сам слышал и видел: на моих глазах рукоплескали этой нашей победоносной музыке и Германия, и Япония) — разве наша песня не русский полет?

\* \* \*

И вот среди несусветного беспорядка и месива осколков и обломков

*Федора-дура встала и стоит.*

Перехожу к Кузнецову, для разгадок которого еще нет, он сам сказал, никакого “компьютера”. Вторая чисто русская одаренность — **гениальная одаренность к саботажу, учиняемому против чванливой лжи**, особенно лжи начальства.

Вспомните одного из кузнецовских наставников, литературоведа и историка. Россия к 1917 году на всех парах развивала капиталистический прогресс. Изнывала от собственных достижений. Обгоняла уже чуть ли не весь свет, говорил Кожин. Но не вышло; какой-то, говорил ученый, случился перегрев. А мне-то кажется, что завелась, завелась и распространилась в ее теле какая-то антипетровская, антипушкинская, антименделеевская ржа, даже лжа — и Россия весь этот бескрылый напор державно-толстопузых великих князей, тайных советников, неопишимо изобретательных ухватисто-смекалистых купцов первой гильдии, прочих сытых предпринимателей и прочих упитанных задержавших, всю эту “капитализму” — Россия саботировала, распознав застарелую уже, дряблую сытость и подлог даже в крикливо-демократичной керенщине.

Дальше — было при нас, ибо с нами вошло в поговорку (удостоверил, конечно, “Борис Леонидович”). Истерзанная и измочаленная, полуголодная Россия двинулась на собственную всесоюзную стройку — и построила. С букварем в руках взялась за создание “яков” и “катюш” — создала их и дала отпор супостату. Мы успели, и нас не успели смять. Но выдохся с годами, снова без пушкинского и без менделеевского начала, ставший напыщенным и безнациональным уклад — и народ сперва исподволь, а потом и открытою брабнюю, насмешкой и неделаньем саботировал и оказенившуюся “социализму”.

**Нет саботажа, который бы своей гениальностью выигрывал у русского, самородного саботажа.** (Василий Розанов считал это саботажом тупо-непонятливых, но ошибался.)

И вот задумаемся: не подобная ли участь ждет и казенщину новую; ее торжества и вспышкopusкательства уже без всякой попытки к русскому полету, ее выкладки насчет “верховенства закона” — при “правовом государстве”, но без тени чести и совести? Не она ли, эта участь, ждет всяческую новую русскую толстопузость с ее “устойчивыми развитиями”?

О, да! о, конечно: упершаяся на чем-то своем Федора есть “дура”, скажете вы; ведь и Кузнецов так обозначил! Но ее всемирного значения и ее гениальнейший до простодушия саботаж — ее саботаж нынешнему капиталистическому посулу непреклонен. В упорствовании этом — русский дух; тут обнадеживающе Русью пахнет. В нем есть и русский ум, если посмотреть с не обозначающейся раньше стороны. Кургуз тот ум, которому такую Россию не понять. И за этот ее гений с благодарностью и через много-много лет будет называть Россию, как повторял это Кожин, **“всяк суущий в ней язык”**. Может, даже и весь мир. А мы пока что поживем в ней такой, как она —

### *меж двух огней Верховного Совета*

стала, от пули невредима, и стоит.

Вы спросите: а как же все-таки “с голосом навзрыд”? Да как: ведь были и пули, и Кузнецову долго слышались, наверное, чьи-то прямые рыданья. А впрочем, не каждое лыко в строку: у Пушкина “лошадка... плетется рысью, как-нибудь” — тоже не совсем внятно. Но Русью и это пахнет, хотя и тысячами слов русский дух не ухватить и не охватить: с одной стороны — “я слез не проливал”; с другой стороны — “порой опять слезами обольюсь”.

Кстати, а мы-то живем где: **в стране или в духе?** Кажется, что ответ ясен. Но стоит огласить его, как опять есть опасение, что получится какая-то казенщина или напыщенность.

Только если бы Кожин спросил нас: **в какой стране вы там живете?** — ответить было бы вполне можно. Вадим Валерьянович, мы живем в стране, где вас вспоминают повсюду: и в Москве и в городе на Неве, и в Краснодаре и в Армавире, и в Вологде, в родном Крыму и во Владивостоке, и на Курильских дальних островах.

## АРМАВИРСКИЕ ЧТЕНИЯ

*С 2002 по 2008 годы в Армавирском государственном педагогическом университете (АГПУ) на кафедре литературы, возглавляемой профессором Ю. М. Павловым, проводились Международные конференции, посвященные творческому наследию русского патриота, выдающегося литературоведа, историка, философа Вадима Валериановича Кожина.*

*Наследие Вадима Валериановича Кожина привлекало и привлекает внимание многих ученых из разных стран, известных писателей, критиков, всех, кто неравнодушен к судьбе России и русского слова. Сам факт проведения конференции на протяжении семи лет подряд подтверждает современность и востребованность творчества мыслителя, свидетельствует о его жизни после смерти.*

*К 80-летию со дня рождения В. В. Кожина в сентябре этого года в АГПУ пройдут очередные чтения.*

*Подборка отрывков выступлений, прозвучавших во время Кожинских конференций в разные годы в Армавире, предлагается вниманию читателей.*

**Е. В. Ермилова (Москва)**

### **НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИЧНОСТИ В. КОЖИНОВА**

Я расскажу только маленький эпизод – как это начиналось. Вадиму Валериановичу надо было заполучить бумагу за подписью Федина, который тогда был руководителем Союза писателей. И это было трудно сделать, потому что Вадим не хотел идти официальным путем, будучи справедливо убежденным, что Федин откажет в официальной обстановке Союза писателей. Он решил поймать его дома. Это было не просто, потому что никто ему не мог сказать, когда появится Федин. И удалось, грубо говоря, “расколоть” секретаршу на этом, прошу прощения, “чувстве всемирности”, которая выразилась в низкопоклонстве перед Западом – он притворился немецким писателем. Он купил ее немецким акцентом, очень активно его наигрывая. И она дала ему всего-навсего время, когда Федин должен появиться дома. Вадим Валерианович караулил его. Мы жили в том же доме, только в другом крыле – он караулил его во дворе. Федин приезжает. Вадим Валерианович решил ему дать 15 минут, чтобы вымыть руки, переодеться, – и позвонил в дверь. А тут еще долж-



но было сработать вот что: Федин его не узнал, хотя были они в дружеских отношениях, голос совести должен был пробудиться. И, когда дверь открыла дочь, которая и секретарша и цербер жестокий при Федине, — Вадим с порога громко сказал, чтобы голос звучал на всю квартиру: “Я по поводу Михаила Бахтина”. Это отдалось в дальних комнатах, и Федин выскочил на этот звук: “Кто вы, родственник?” — “Да нет, совершенно необходимо издать книгу Бахтина”. В общем, у него была заготовлена бумага, и после некоторой заминки Федин ее подписывает. Это был самый первый шаг, толчок к началу бахтинской эпопеи Вадима Валериановича. Дальше пошло знакомство, потому что очень милая, чудесная женщина, жена М. Бахтина, написала ему отчаянное письмо: “Вы должны как можно скорее приехать к нам. Я не зову Вас в гости. Это очень важно. Важно для всех нас”. Понятно, что она очень болела, в 70-м году она умерла. Она очень боялась, что, когда она умрет, Мишенька будет никому не нужен, за Мишенькой некому будет присмотреть. И, поверив в полную преданность Вадима, она как бы передавала его с рук на руки. Он поехал почти сразу, и вместе с ним — Бочаров, Гачев. Ну и, конечно, впечатление было потрясающее. Впечатление величия, монументальности. Я приехала к ним уже в следующий приезд Вадима Валериановича. Действительно, это потрясение, это была Встреча с большой буквы. Бахтин потрясал сразу ощущением, что идет непрерывно богатейшая внутренняя работа. Ну и, кроме того, дальше продолжалось в том же авантюрном ключе, в котором все это началось. Надо было поторопить издателя и получить еще подпись Федина. Вадим Валерианович уже на даче, разогнавши свой велосипедик, влетел в калитку под яростный лай какого-то пса. Надо сказать — единственное, чего боялся Вадим Валерианович, так это собак. А пес мчался за ним вдоль террасы. Хозяин выглянул на шум, и Вадим Валерианович дал ему подписать две бумаги. Причем ощущение было, что это как бы два экземпляра, просто обращены к разным людям. На самом деле речь шла о двух разных книгах и разных изданиях — о Достоевском и Рабле. Ну и дальше примерно так же шло, в таком вот страстном напоре. Как нужно было убеждать Перцова, чтобы тот подписал! А со Шкловским вообще получилось забавно, потому что Ермилов как раз перед этим написал о нем какую-то разгромную статью, а Шкловский увидел: “Как это! я буду подписывать один документ вместе с Ермиловым?” И тут Вадим Валерианович разыграл сцену и сказал поникшим голосом: “Простите, но я считал Вас самым эксцентричным, самым интересным человеком в России. Представьте, как будет интересно, как будет увлекательно именно то, что вы подписываете вместе с Ермиловым”. И тот сказал: “А что? В этом что-то есть”. И подписал. Вот так шло на каждом этапе.

2003

## Л. И. Бородин (Москва)

### В. КОЖИНОВ НА ФОНЕ РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 60–80-х ГОДОВ

Есть одна вещь, которую я считаю совершеннейшим шедевром и великим подвигом писателя, — это книга о Тютчеве. <...> Что для меня удивительно в этой книге? Кожинов сумел воссоздать не только историю личности, историю замечательного, великого русского поэта, но эпоху, как бы не замечая или забыв о всех возможных и реально существующих ограничениях на этот счет. Книга написана так, как будто она написана в сегодняшнее время. Так вот, меня поразило то, как он сумел осознать, ощутить, восстановить целую эпоху, потому что речь ведь идет не только о Тютчеве. Какое колоссальное знание материала! Я не представляю, сколько надо сидеть и читать, смотреть, изучать, чтобы таким образом, с такой достоверностью, как мне думается, поскольку я тоже по образованию историк, с такой полнотой, объемом воссоздать эпоху. И не случайно, по-моему (наверное, я не объективен, говоря, что это лучшая его книга), объектом исследования стал именно Тютчев, потому что это один из самых таинственных, один из самых загадочных поэтов XIX века. Он не погиб на дуэли, был служащим, более того, был генералом по званию, был цензором. Он служил России. Это так нетипично сегодня.

Если бы вы попали на какую-нибудь конференцию подобного типа, то прежде всего услышали бы банальные фразы: “Поэт в России больше, чем поэт”. И чем дальше русский интеллигент стоит от власти – тем лучше. Это сейчас везде – стоит только включить любую интеллектуальную передачу по телевизору – обязательно прозвучит. Тютчева и не любят вспоминать из-за этого. Что он, что Полонский, который тоже занимал высокую должность. И то, что Кожина заинтересовала фигура Тютчева в таком объеме, в каком он ее подал, вызывает у меня колоссальное уважение. Я скажу, что у него были удивительные – случайные – фразы. Год примерно 74-й, “Литературка”, в газете небольшая статья о литературе царствования Николая I и в нескольких фразах совершенно апокрифическое трактование эпохи его царствования. Я помню, с этой газетенкой я тоже носился по лагерю и показывал ее всем. Как можно? Ведь об этом говорить нельзя или опасно, и самое удивительное, что это воспринимается. Когда человек напуган, а потом через испуг что-то проговаривает, тут его, наверное, сразу и секут, потому что страх в строках ощущается. А когда это рождается совершенно органически, практически машинально – оно и проходит, оно и проскакивает. И много такого я помню. Жалею, посчитал нескромным, а надо было бы привести и показать... Мы ведь как делали: получали журнал – статья Кожина. Вырывается, берется полочка материи – мы шили рукавицы – прошивается. И у меня это было. Просто постеснялся. Зря, думаю. Я показал бы вам эту подшивку мою. Это примерно такая папочка. От полутора страничек до толстых статей – это все вырезанный Кожин из различных изданий, журналов, газет и прочего.

Ну и последнее, что я хочу сказать. Была у Вадима Валериановича одна тема, большая для него тема, главная для него, которую он не решил. Это тема “Россия и социализм”. Она сидела у него глубоко. В наши короткие встречи, так уж случилось, мы каждый раз договаривались: “Ну, как-нибудь соберемся, поговорим”. Не случилось. Не произошло. Ну жизнь, ну ладно, еще успеем. И я, честно говоря, немножко побаивался такого разговора. Могли разойтись мы в суждениях. По-моему, и он не очень тоже настаивал. Но иногда приходил, заходил в кабинет журнала “Москва”, произносил две-три фразы, – обозначал как бы заначку для разговора. Но тут же: “Это мы поговорим отдельно, это ладно, встретимся” – и прочее. Он попытался вычислить присущность, свойственность социалистического идеала самой русской душе. Кое-какие у нас небольшие разговоры на эту тему были. Не споры, а разговоры. Мы сразу их как-то прекращали. Но я абсолютно уверен, что для него это было очень важной и очень существенной темой, потому что, помимо этой темы, он чувствовал призванность России, мессианскую роль России. И у каждого народа есть своя миссия в истории. И, как мне думается, миссия России – это все-таки осуществление социализма. Правда, как я понял по одной из его фраз, – и мне это очень понравилось, он начал понимать разницу между социальностью и социализмом. Эту мысль он почти проговорил. И думаю, что не для него одного эта тема большая. Я слежу за внепатриотической литературой – и все время вижу эту боль. Иногда она от небольшого ума, а иногда именно от боли за Россию, от убеждения в том, что России суждена какая-то особая, своя неповторимая миссия.

2003

## **В. И. Лихоносов (Краснодар)**

### **ВСТРЕЧИ С ВАДИМОМ КОЖИНЫМ**

Я хочу сказать, что есть тема, которую наша печать как-то не осветила. Эта тема не разработанная, не исповеданная письменно, но она звучит в моей душе, поскольку, повторяю, я провинциал, – “московские писатели – и русские провинциалы и провинция”. Это огромная и очень жизненная тема для нашей литературы. Ведь провинциальные писатели, те, которые остались навсегда в провинции, и те, кто уехал в Москву, московская элита, – они шли навстречу друг другу все время, изначально, едва только появляясь на горизонте друг у друга. Как только что-то мерцало, В. Кожин тотчас обрадован-

но это замечал, как нечто родное, а если это талант – то родное вдвойне. Москвичи как будто всю жизнь ждали этого свежего воздуха талантливого из провинции. Я думаю, что Вадим Валерианович является собирателем культурной Руси. Это первый, по-моему, самый главный человек был в Москве. Он так многих обогрел, он столько открыл... Он, в отличие от моего друга Михайлова, участвовал в судьбе того писателя, которого он любит. Он братски относился к тем писателям и поэтам, которых он открыл. В нашей среде этому чувству придается огромное значение. Поэтому многие его никогда не забудут. Поэтому в это время, черствое, холодное, надо почувствовать эту сокровенность Вадима Валериановича, а не просто его сухую мудрость. Его чудесное знание, его редкая эрудиция, о чем часто говорят, – все правда, но еще большая правда и необходимость в том, что это редкий был по братскому чувству человек, по русскому братскому чувству. Я считаю, что Кожинова можно называть душой русской Москвы. Я все время сегодня с утра вспоминаю слова Г. Адамовича о Бунине. Он сказал, что Бунин – это последний луч какого-то прекрасного русского дня. Я все время вспоминаю эти слова применительно к Кожинову, хотя будет обидно – еще лучи есть в Москве и во всей России, лучи прекрасного русского дня есть еще. Но почему-то хочется вкусить вот это чувство последнего кожиновского пребывания. Кожиновского слова. Впечатления от него всегда были изумительные.

2003

**Г. М. Соловьев (Краснодар)**

### **РУССКОЕ ПОЛЕ ВАДИМА КОЖИНОВА**

#### **(Нравственно-идеологический контекст газетно-журнальных публикаций)**

Исследователи творчества В. В. Кожинова, на мой взгляд, постоянно находятся перед соблазном двух крайностей: крайности “отстранения” и крайности “растворения”. То есть, с одной стороны, реализуется “очень вольная”, доходящая до парадоксальности интерпретация мыслей Вадима Валериановича в области российской истории и культуры; а с другой – догматическая подмена живого учения его мертвой буквой. Как представляется, в особенности это симптоматично даже не в контексте исследования литературоведческих трудов Кожинова, а, скорее, при рассмотрении его газетно-журнальных публикаций, посвященных развенчанию псевдоисторических мифов о так называемой “духовной пришибленности России”. (Как известно, статьи и интервью Вадима Кожинова, касающиеся путей русского национального самосознания, регулярно появлялись на изломе XX века в газетах “Завтра”, “Правда”, журналах “Наш современник”, “Москва”, онлайн-изданиях “Русский переплет” и “Русское Воскресение”...)

Чем же симптоматичен нравственно-идеологический контекст газетно-журнальных публикаций Кожинова? Как думается, поставленная им перед собой фундаментальная задача предполагала взгляд современника эпохи размышления национальных и духовных приоритетов России – на величие основных вех ее истории и аутентичной культуры. Здесь, кстати, любопытна имплицитно проявленная позиция автора: искажение русского национального “я” привело к тому, что русский начал говорить не то, что думает, а то, что о нем якобы думают другие... Это кривое самосознание, безусловно, приводит неизбежно в свою очередь к потере ориентации в объективном мире.

И еще один интересный нюанс. Публицистические произведения Вадима Кожинова как бы перетекают друг в друга, рисуя страстно и эмоционально широкий исторический контекст эпох. А стержневое начало в этих публицистических откровениях – исполинский образ охранителя культурных и национальных традиций, тех корней, без которых новые поколения не могут пустить ростки. Эта патриотическая идея красной нитью проходит, например, через интервью корреспонденту “Комсомольской правды”, приуроченное к 120-летию со дня рождения И. В. Сталина. Кожинов, в частности, утверждает: “Не Сталин определял, а история, ход истории – ходы Сталина...” Та же симптоматика харак-

терна и для беседы Вадима Кожина с Владимиром Липуновым и Вячеславом Румянцевым за “круглым столом” онлайн-журнала “Русский переплет”, и для интервью газете “Завтра”, озаглавленного “Только верить...”

Подводя же некоторые итоги рассмотрения нравственно-идеологического контекста газетно-журнальных публикаций Вадима Кожина, необходимо сказать, что в них рационализация свободного патриотического мышления автора (чуждого одновременно и декларативности и конформизма) достигается, пожалуй, трояким образом. Во-первых, фиксацией темы (пути русского национального самосознания как осмысления глубочайших нитей духовной жизни народа и исторического своеобразия России). Во-вторых, фиксацией системы ассоциаций (к этнической абберации приводит только абберация духовная). И, в-третьих, фиксацией ассоциативных полей (осмысление величия национальных приоритетов в свете многовековой истории, притом не в духе эффективных экскурсов в прошлое, а на основе серьезного его изучения и понимания).

2002

### **А. А. Безруков (Армавир)**

#### **ЧЕЛОВЕК, ПРИЧАСТНЫЙ РОССИИ**

В нашем первом обращении к наследию В. Кожина в статье “Срединный русский литературовед и мыслитель” мы стремились доказать, что срединность русской природы в кожиновском понимании и толковании формируется на православной основе и что В. Кожин, выявляя цельность и основательность православного восприятия жизни, способного охватить в пределах возможностей человеческой личности самые потаенные глубины человеческого бытия, объективно опровергает тезис о недостаточном, если не ущербном рассмотрении наследия русской классики в границах православия.

Думается, что наша попытка выделить феномен *возвращения* русской классики XIX века к православию, которая стала возможной во многом благодаря обращению к творческому наследию Вадима Валериановича Кожина, может еще раз подтвердить правоту слов М. Бахтина, с которыми, несомненно, был согласен и передавший их нам Кожин: “Человек, причастный России, может исповедовать именно и только Православие”.

2003

### **В. И. Шульженко (Пятигорск)**

#### **В. КОЖИНОВ КАК КРИТИК Ю. ТРИФОНОВА**

Будучи истинным филологом (что иногда, мне кажется, намеренно умаляется в угоду другим ипостасям этого уникального человека), В. Кожин формирует свою цель как анализ “самых форм воплощения автора в произведении, различных типов соотношения автора и персонажей и т. п.” Только отмечу здесь, что в силу известных обстоятельств тогда мало кто смог обратить внимание на то, что такая констатация была прямым выпадом в полемике с Р. Бартом, статья которого с говорящим названием “Смерть автора” (1968) триумфально шествовала по обоим полушариям, становясь настоящим катехизисом интернационального сообщества методологических диссидентов. Бартовской игре с феноменом автора, в целом крайне важной для искусства XX века, В. Кожин противопоставляет учение М. Бахтина, в первую очередь ту его часть, в которой говорится об авторе как творческом субъекте произведения, воплощенном не в форме образа, а в форме всепроникающего голоса автора, который “представляет собою необходимую художественную объективизацию автора, без которой вообще немислимо произведение”. И задачу исследователя В. Кожин, вслед за своим великим учителем, как раз видит в том, чтобы уловить и аналитически выявить голос автора, ибо в нем воплощены виде-

ние, понимание и оценка созданного в произведении художественного мира.

Развивая далее индивидуальную версию бахтинского учения, выкристаллизовавшуюся впоследствии в отечественной историософии культуры в свое собственное направление, В. Кожинов, дифференцируя “художественного” автора от реального, видит главное отличие первого в высшей ответственности суждений и оценок, которую налагает на него даруемая искусством уникальная свобода в создании художественного мира.

Сознавая глобальность проблемы, В. Кожинов в случае с Ю. Трифионовым сужает ее спектр, выдвигая на первый план мало изученный в науке вопрос, связанный с эволюцией голоса автора в процессе творческого пути и, что оговаривается специально, изменением его, автора, отношения к создаваемым им образам.

Так, обращаясь к двум написанным с четвертьвековой разницей повестям Ю. Трифионова, В. Кожинов отмечает, что, несмотря на очевидную близость образов главных героев, существенную трансформацию в их обрисовке претерпевает прежде всего голос автора. Прежняя лояльность к Вадиму Белову, главным его добродетелям – кропотливости, упорству, медлительности – оценивается в “Доме на набережной” в связи с другим главным героем – Вадимом Глебовым – уже как безличность. Определение “никакой” теперь становится не достоинством образа героя, а его явной, целенаправленной дискредитацией.

2005

## М. Д. Головятинская (Волжский)

### В. КОЖИНОВ О ФЕНОМЕНЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАПАДНИЧЕСТВА В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ

Кожинов подошел к анализу явления западничества с культурно-антропологических позиций. “Казалось бы, – писал он, – последовательный западник – это человек, преодолевший свою “русскость” (которая, как ни крути, оценивается в западнической идеологии в качестве чего-то “второсортного”...).” Вместе с тем, по Кожинову, западника в Европе не встретишь, там нет желающих в массовом порядке преодолевать “свое” и усваивать “чужой” образ жизни и мысли. А потому западник – это “тип” именно русского человека, которым “овладело стремление превратиться в западноевропейца, и с известной точки зрения “русское” в этом типе выступает даже более явно и резко, чем в тех русских людях, которые попросту живут в своем мире, оставаясь самими собой”. Приговор Кожинова таков: “последовательное западничество является собой, в сущности, один из видов русского экстремизма”, а сами западники как носители некоего “комплекса национальной неполноценности” “второсортны” в русской культуре. Наиболее яркими носителями подобного экстремизма и “второсортности” он называл В. С. Печерина и И. С. Гагарина. Он полагал, что мыслители славянофильского лагеря, в числе которых Киреевский, Хомяков, Тютчев, Достоевский, Григорьев, Леонтьев, Розанов и другие, “по своему духовному уровню гораздо выше современных им “западников”. О представителях же западнического крыла российской интеллигенции он говорил преимущественно как о мыслителях второго ряда. Все русские западники оказываются людьми, у которых формируется своего рода двойная идентичность: “первая” – генетически присущая им по факту рождения в России, усвоенная в процессе социализации родного языка и народных традиций, и “вторая” идентичность или “вторая природа” – по определению искусственная, приобретенная в процессе образования и приобщения к универсалиям европейского Просвещения, вступившая в противостояние с собственной “первой природой”. “При интенсивном усвоении романо-германской культуры, – полагал Кожинов, – “русскость” может вроде бы полностью стереться, исчезнуть, – к чему, собственно говоря, и стремились (и стремятся) так называемые “западники”. Но на деле в жертву приносятся лучшие качества “русскости”, а превалировать начинают экстремизм вкупе с инфантилизмом как отсутствием реалистического взгляда на вещи. В сочетании с

избыточным самосознанием это приводит к доминированию “второй”, рефлексивной природы над “первой” и предопределяет “второсортность” западничества, проявляющуюся прежде всего в неспособности полноценного функционирования в русской среде.

2006

## **И. В. Гречаник (Москва)**

### **РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ НАЧАЛА XX ВЕКА**

Выявляется такая закономерность: стоит увлечься каким-либо вопросом – открываешь книги В. В. Кожина и изумляешься – у него об этом давно написано! Уровень осмысления многих проблем настолько высок, что возникают ассоциации с энциклопедией или кулинарной книгой со множеством рецептов, где описаны составляющие явлений, событий, мировоззрений. Каждый рецепт – своего рода прорыв мыслящего сознания, качественный скачок, поднимающий осознание каждого вопроса на несколько порядков. Уникальный мыслитель щедро оставил нам плоды своего труда и размышлений, поэтому теперь намного легче жить тем, кто идет следом – можно продолжать, домысливать – но фундамент уже есть.

Говоря о начале XX века в работе “Россия. Век XX”, В. В. Кожин представляет спектр значимых идеологических направлений, среди которых выделяет отнюдь не религиозных философов, а тех, кто, по его мнению, обладал подлинной долей предвидения исторического пути России; тех, кто являлся подлинными носителями русского культурного наследия; тех, кто фактически создал программу для современной сегодняшней борьбы в сфере идеологии, программу вероятного грядущего пути России; тех, кто исповедовал христианско-православные, монархически-самодержавные и народно-национальные убеждения. Речь идет о черносотенном направлении, предшественниками которого были славянофилы, Н. В. Гоголь, почвенничество, Ф. М. Достоевский.

В. В. Кожин оценивает тех или иных деятелей и мыслителей по их отношению к черносотенцам. Сразу отметим приоритеты мыслителя: это В. В. Розанов, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, митр. Антоний (Храповицкий). В остальном, по мнению критика, шел процесс не только прискорбного замалчивания ценнейшего наследия русской культуры, но и жесткая борьба против него, например, тенденция “преодоления Достоевского”.

Говоря о Г. П. Федотове, В. В. Кожин называет его одним из “опомнившихся прогрессистов”. Критик трезво и без сентиментальности смотрит на прозрение и покаяние Г. П. Федотова: “...Очень уж чувствуется, что он прямо-таки наслаждался своей покаянной медитацией – смотрите, мол, какой я хороший... Помог разбить русское государство, а теперь, поняв, наконец, что оно значило, готов искупать свою вину”. В. В. Кожин указывает на то, что Г. П. Федотов, критикуя А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, считает социалиста А. И. Герцена единственным из века учителем свободы.

2006

## **М. Кога (Япония, Осака)**

### **“ЛАСКОВОЕ НЕТ” В РУССКИХ СТИХАХ О ЛЮБВИ**

Вадиму Кожину принадлежит любопытное рассуждение о пушкинском стихотворении “Я вас любил...”. Как известно, эти стихи кончаются словами:

*Я вас любил так искренно, так нежно,  
Как дай вам Бог любимой быть другим.*

И Кожин советует читателю не понимать эти строки прямо. А именно: перед нами не краткое согласие с оставляющей поэта возлюбленной, а намек на то, что в действительности никто другой не будет любить героиню так, как любил ее “я”, и она должна сделать из этого серьезный вывод.

Очевидно, Пушкина мы поймем более верно, если в его “Как дай вам Бог” расслышим именно кротость и щедрость. А если же и надо что-то прослушивать у него между строк и слов, то это не своей ласковостью, а своей твердостью примечательное “нет”. Оно не звучит здесь прямо, и это твердое “нет” говорит не женщина мужчине, а мужчина самому себе. И оно не менее, а может быть, и более благородно, чем те “нет”, “перестаньте”, “оставьте меня” и т. п., которые так легко направить собеседнику, не обращая подобных требований в свой собственный адрес.

2006

## К. А. Кокшенева (Москва)

### **“ЛЕВЫЕ” СТАРЫЕ И “ЛЕВЫЕ” НОВЫЕ. “ЛЕВОЕ ИСКУССТВО” В ОЦЕНКЕ В. В. КОЖИНОВА**

Современные “левые” свою революционность реализуют через оппозиционность. Вообще “оппозиционность” к чему-либо составляет принципиальную черту “левого искусства”. Оппозиционность к власти, к государству. Оппозиционность к культурному наследию. Именно в этом пространстве В. Кожин рассматривает негативизм и нигилизм авангардистов: как в творческой практике, так и в научных работах ОПОЯЗа, теоретических трактатах ЛЕФа. Он прямо пишет: “Для авангардизма характерно прямое или более сложное <...> отрицание прошлого и его культуры, различные формы дегуманизации искусства и техницизм; в нем причудливо сплетаются анархические и догматические тенденции”. Правда, ученый никак не развивает мысли о сущности “догматических тенденций”. Тем не менее критика эстетики левого искусства у него очевидна: это и “упрощенное, обедненное, поверхностное представление о человеке и вульгарное и формалистическое понимание высших сфер человеческого творчества”. Отмечает В. Кожин и уверенность авангардизма в том, что человека можно очень просто “изучить, “развинтить” и переделать, реконструировать”. <...>

Самая тяжкая болезнь “левых” — конфликт с национальным, определенное презрение к национальному, борьба с национальным. Не случайно сам же В. Кожин в другой, более поздней своей работе “Пути русской культуры” в 1997 году писал, что к 1930-м годам существовали следующие литературные группы и направления: левовцы, конструктивисты, имажинисты, Серапионовы братья, “южнорусская школа”, “перевальцы” и крестьянские писатели “есенинского круга”. Среди них “русским национальным сознанием были проникнуты” только неославянофильское крыло “Перевала” и крестьянские писатели. Именно представители национальной культуры, — пишет В. Кожин, — в тридцатые годы “все — буквально все” были репрессированы (за исключением Пимена Карпова, переставшего печататься с 1933 года), в то время как из “пяти десятков основных участников перечисленных выше пяти группировок, далеких от “русских идей”, репрессированы были всего только двое писателей — левовец С. Третьяков и представитель “южнорусской школы” И. Бабель”. <...>

Христианство в “левой” адаптации удивительно вульгарно. Христианство в “левой” интерпретации приобретает очертания прежде всего некой физической силы, как будто не две тысячи лет оно нам являло совершенно иной источник. Левизна искусства содержит в себе неполноту. Об этом, в сущности, писал и В. Кожин, хотя и избежал обсуждения вопросов “левые и национальное сознание”, “левые и христианство”. “Левое” искусство принципиально не может в себя вместить самобытность национального мира. В нем по-прежнему человек как личность остается на нижнем этаже техногенного мира.

2004

## А. В. Репников (Москва)

### ВКЛАД В. В. КОЖИНОВА В ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ПРАВОМОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В неоднократно переиздававшейся и дополнявшейся работе В. Кожинова, посвященной правым организациям<sup>1</sup>, была представлена исследовательская версия истории правомонархического движения в России. Автор обратился к острому вопросу, связанному с социальным составом правых, погромами периода первой русской революции, параллелям между черносотенством и фашизмом.

Прежде всего, В. Кожинов рассмотрел само определение “черносотенцы”, которое долгие десятилетия носило откровенно негативный оттенок. Одним из первых он затронул вопрос не только о низовых членах правых организаций, но и о связях с черносотенцами видных ученых, писателей, художников и церковных иерархов<sup>2</sup>.

В. Кожинов попытался рассмотреть и такой болезненный вопрос, как погромы и черносотенный террор (прежде всего, убийства А. Караваева, М. Герценштейна, Г. Иоллоса), обратившись как к мемуарной литературе, так и к первой в отечественной науке специальной монографии С. Степанова о правых<sup>3</sup>. В результате В. Кожинов пришел к выводу, что “Союз русского народа” просто не мог быть организатором произошедших ранее столкновений, которые представляли собой не спланированную и подготовленную акцию, а стихийную реакцию монархистов. Статистика свидетельствует, что большинство уличных столкновений монархически настроенных толп с радикалами и либералами приходится на октябрь, а “Союз русского народа” как массовая партия возник в ноябре 1905-го, и далеко не факт, что те, кто принимал участие в погромах, обязательно вступили потом в монархические союзы. Вряд ли можно точно выявить, какое число погромщиков впоследствии влилось в ряды правых партий, к тому же социальный состав правых был весьма разнороден, а после падения самодержавия некоторые из рядовых монархистов поддержали большевиков<sup>4</sup>. <...>

В. В. Кожинов был одним из первых постперестроечных исследователей истории правомонархического движения в России. “Можно с чем-то не соглашаться в книге В. Кожинова, но нельзя не признать разрушение им сложившихся старых стереотипов освещения ряда важных и острых вопросов темы, что если и не решает, то “расчищает” дорогу для решения этих вопросов”, — отмечал Ю. Кирьянов<sup>5</sup>.

2004

## Н. И. Дорошенко (Москва)

### В. В. КОЖИНОВ И СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Есть писатели, которые только своим присутствием в текущей жизни внушают нам уверенность, что жизнь эта не лишена смысла. По крайней мере, они способны даже в наши разочарования вносить элемент творческо-

<sup>1</sup> Кожинов В. Загадочные страницы истории XX века. “Черносотенцы” и революция. М., 1995; Он же. “Черносотенцы” и революция (загадочные страницы истории) (Изд. 2-е, дополненное). М., 1998; Он же. Россия. Век XX. (1901–1939). История страны от 1901 года до “загадочного” 1937 года. Опыт беспристрастного исследования. М., 2002. Ранее исследование, посвященное “черносотенцам”, публиковалось на страницах журнала “Наш современник”.

<sup>2</sup> Отметим, что ряд церковных деятелей, поддерживавших правые партии и состоящих в них, был канонизирован в последнее десятилетие, в том числе и в момент массовой канонизации новомучеников на юбилейном Архиерейском соборе 13–16 августа 2000 года. Подробнее см.: Русь Православная. 2000, № 9.

<sup>3</sup> Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992.

<sup>4</sup> Об этом, в частности, писал в дневнике и В. Вернадский, отмечавший, что “черносотенные элементы находятся массами среди большевиков” // Вернадский В. И. “Придется перейти через кризис” // Огонек, 1990, № 49, с. 15.

<sup>5</sup> Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы: В 2 т. — Т. 2. 1911–1917 гг., с. 737.



го или хотя бы утешительного ожидания. Таким в русском литературном процессе и в русской национальной мысли был Вадим Валерианович Кожин. <...>

Именно его пытаются изгнать наши радикальные националисты (как в свое время евреи изгнали Спинозу!) из своего уже сильно охолонувшего поля влияния. В частности, Кожинову ставится в вину недостаточно четко обозначенный антисемитизм и даже якобы воспринятый от Бахтина нравственный релятивизм.

Кожиновский “релятивизм” опровергать бессмысленно, потому что, находясь в здравом уме, его обнаружить невозможно. А вот “антисемитом” Кожинов действительно не был, при всем весьма очевидном для него как историка трагизме русско-еврейского противостояния. Мне представляется весьма справедливым и мнение о том, что Кожинов, как, впрочем, и Станислав Куняев, и Татьяна Глушкова, испытал на себе в юные годы некое еврейское влияние. Известны даже некие попытки Кожинова найти повод к русско-еврейскому диалогу.

Но давайте наконец-то поймем следующее: когда значение Кожинова для русского самосознания нам предлагают проверять степень его антисемитизма, то тем самым и само наше русское бытие нам предлагается воспринимать не как некое самостоятельное духовно-историческое и культурное явление, а как реакцию на еврейское присутствие на территории России и в мире, как нечто заведомо вторичное, не имеющее самостоятельной ценности.

Проще говоря, нам предлагается быть неуверенными в важности и в актуальности кожиновского стремления строить русское духовное и историческое пространство не из ненависти к еврейскому присутствию в русской жизни, а, в первую очередь, из любви ко всему тому, в чем русский человек может узнать свое национальное бытие, свою собственную, соотношенную с вечным временем душу. Да, уже никто не посмеет оспорить нынешнюю значимость плеяды буквально вбитых Кожиновым в русское сознание поэтов – от Рубцова до Лапшина и Сырневой. Уже никто не посмеет посягнуть на бесспорность (при всей нашей нынешней патриотической эклектике!) именно кожиновской трактовки советской истории, где, может быть, ключевой является глава “Загадка 37-го года”, поясняющая историческую значимость советского выбора между Троцким и Сталиным в пользу Сталина. Но нас продолжают запутывать по мелочам, по частностям. Нас морочат. В одно только законное чувство нашей русской исторической обиды на евреев хотят превратить весь наш русский космос, – так, чтобы от Достоевского остались для нас значимыми только его заметки по еврейскому вопросу, а “Евгений Онегин” Пушкина чтобы пылился в чулане вместе со шлангом от давно выброшенной стиральной машины и с давно сломанным фотоаппаратом “Смена”.

2003

## А. В. Татаринов (Краснодар)

### **СУЖДЕНИЯ В. В. КОЖИНОВА О ТРАГЕДИИ И ТРАГИЧЕСКОМ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ**

В гуманитарных науках есть разные пути. Для кого-то вполне приемлема и даже необходима узкая специализация, посвящение себя одной из элитарных тем филологии или философии, требующих интеллектуального одиночества и диссертационной отчужденности от неизбежной суеи диалога с *профанным* миром. Творческая судьба В. В. Кожинова – пример иного, максимально контактного, подчеркнуто диалогического пути, на котором встреча с читателем и слушателем становится обязательным условием научного бытия. Когда литературовед-теоретик становится историком, философом и даже политиком, не забывая при этом литературу и всегда к месту используя ее знание, видишь впечатляющий пример гуманитарного синтеза. Представляешь себе и читателя, уставшего от изощренных терминологических игр и получающего возможность мыслить о сложных предметах на родном языке, минимально пострадавшем от типичной для сегодняшнего дня агрессии лингвистических

терминов. Постмодернистский способ познания, превращающий речь в дискурс, пространство потенциального разговора – в мир без конца расширяющихся значений и исчезающих смыслов, – был В. В. Кожинovu малоинтересен.

Удивляет умение В. В. Кожинова оставлять вполне уютные и по-настоящему актуальные области гуманитарной науки, чтобы сделать очередной шаг вперед, постоянно приближаясь к читателю и слушателю. Из теории – в историю русской словесности, в статьи и книги о великих и почти безвестных поэтах и писателях. Потом – национальная история, и сюжет художественного произведения в трудах В. В. Кожинова уступает место общерусскому историческому сюжету на фоне всемирных процессов, в контексте глобального противостояния идей и образов. Из книг по истории России – в публицистику, в многочисленные выступления о *текущем моменте*, который всегда рассматривается как существенный эпизод общерусской судьбы. Философы и писатели минувших эпох включаются в неспешный диалог, снимая острую боль настоящего и превращая политику в нечто большее, чем борьба партий или проблема усмирения отдельно взятого российского региона.

Мир для В. В. Кожинова не был *текстом*. Литературные сюжеты, как и жизнь предшествующих поколений, не стали для него местом и временем для герменевтических игр, полем изощренных интерпретаций. Простая, но не аксиоматическая для сегодняшнего дня мысль о том, что *реальность действительно есть*, что история по-настоящему существует и не исчерпывается нашими речами о ней, в трудах В. В. Кожинова отстаивает себя постоянно. За любым сюжетом – жизнь, за каждым героем – человек, за автором – повторяемая судьба. *Бумажные существа*, в которые превращаются автор, повествователи и герои в постмодернистском тексте, здесь не появляются. Обостренное чувство реальности, переживание ее на всех уровнях – от конкретно-исторического до метафизического – редко остается вне трагического мироощущения.

Экзистенциального трагизма, располагающего к постоянным воспоминаниям о смерти, к скорбным словам о суровом характере мироздания, в трудах В. В. Кожинова нет. Есть, на наш взгляд, *трагизм* как глубинный подтекст размышлений об ушедших поколениях и отдельных творцах истории, *трагизм* как вера в бессмертие по-настоящему высокого, что должно претерпеть страдания и жить вечно, *трагизм* как способ видения и оценки мировой истории, не знающий отдыха от проясняющих смысл катастроф.

2003

## Ю. М. Павлов (Армавир)

### ВАДИМ КОЖИНОВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Дискуссия о гибели Пушкина получила свое продолжение в 1991–1993 годах. Теперь уже “чистый” пушкинист С. Фомичев, которого Кожинов называет “весьма посредственным” и “малоизвестным литературоведом”, сначала приписывает критику масонскую версию гибели Пушкина (“Русская литература”, 1991, № 2). После ответа Вадима Валериановича он вынужден был признать безосновательность своих утверждений и... тут же выдвинул новый вариант “обвинения”: П. Щеголев, Г. Чулков, И. Андроников, Д. Благой, на которых ссылается В. Кожинов, говоря о космополитической “окраске” заговора, ничего подобного не утверждали. Приведя цитаты из работ названных авторов, Кожинов делает закономерный вывод: “Как видим, и П. Е. Щеголев, и Г. И. Чулков, и И. Л. Андроников, и Д. Д. Благой были убеждены, что гибель Пушкина явилась “результатом зловещих действий “ареопага”, “олигархии”, “клики”, “верхушки”, суть коих определена в их работах словами “интернациональная”, “космополитическая”, “международная” <...> и, с другой стороны, “никак не связанная с русской культурой”, “антинародная”, “антинациональная” и, добавлю от себя, откровенно русофобская. В 1837 году это понял даже иностранный дипломат, назвавший погибшего Пушкина представителем “русской партии”, противостоящей иной, антинациональной группировке” (“Литературная Россия”, 1993, № 28–29).

В 1999 году Вадим Валерианович вновь вернулся к этой теме в статье “О тайне гибели Поэта” (“Москва”, 1999, № 6). Он значительно детализирует событийно-человеческий фон трагедии, при этом положения двух предыдущих работ почти в полном объеме органично входят в данную статью. Называются и новые авторы, которые в разное время высказывали идеи, созвучные кожиновским. Это Николай Страхов и Владислав Ходасевич.

Вообще в год 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина В. Кожин опубликовал восемь статей о поэте. В них рассматриваются самые разные вопросы: от места рождения Пушкина (“Где родился поэт?” // “Труд”, 1999, 5 мая) до его историософских взглядов (“Пушкин и Чаадаев. Из истории русского национального самосознания // “Национальные интересы”, 1999, № 2). Одиннадцать статей о Пушкине вошли в книгу Вадима Валериановича “Великое творчество. Великая Победа” (М., 1999), в которой закономерно связываются явление Поэта и наша Победа 1945 года.

Через многочисленные “пушкинские” интервью Кожинова лейтмотивом проходит мысль, вынесенная в заглавие беседы с Вяч. Морозовым: “Мы все еще должны дорасти до пушкинских стихов” (“Наш современник”, 1999, № 6). О Вадиме Валериановиче Кожинове можно сказать, что он до пушкинских стихов дорос.

2007

## Н. И. Крижановский (Армавир)

### СОБОРНОСТЬ В ВОСПРИЯТИИ В. КОЖИНОВА И СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

В статьях В. Кожинова 70–80-х годов можно найти первичные подходы к осмыслению сущностных сторон категории соборности. В 1970 году в работе “Величие писателя”, посвященной произведениям Ф. Достоевского, критик, особенно пристально анализируя роман “Преступление и наказание”, говорит, что герои Достоевского “постоянно действуют и сознают себя перед лицом целого мира, а их проблемы оказываются в конечном счете всечеловеческими”. В. Кожин обозначает эту особенность поведения героев как обращенность ко всему миру, соотносимость с целым миром, с человечеством. Осмысляя художественный мир произведений Достоевского еще до появления работ Ю. Селезнева, В. Кожин отмечает стремление писателя изобразить поступки героев в соотношении со всем миром и весь мир сопрягать с происходящим в романе. Заканчивая статью, исследователь приходит к выводу, что искусство Достоевского дает основу для решения мировых трагических противоречий. Эта основа – в личной ответственности человека перед миром и ответственности мира перед ним: “Если чувство единства с целым миром есть – значит, разрешение всех противоречий возможно”.

Спустя десятилетие, создавая “заметки о духовном своеобразии России” и определяя в них основные черты русской литературы, в статье “И назовет меня всяк сущий в ней язык...” (1980) критик выделяет “всемирность” и “всечеловечность” – те качества, которые несут в себе произведения отечественной словесности, и в первую очередь произведения Достоевского. Здесь же он справедливо указывает на “Слово о Законе и Благодати” как на первое произведение нашей литературы, где впервые выразилась русская идея всечеловечности. Исследователь вплотную подступает к выражению одной из важнейших черт соборности, воплотившейся в русской литературе и заложенной в корне этого слова, – духовному единению людей. В. Кожин обращает внимание не только на стремление персонажей из произведений классиков русской словесности совершать свои поступки, как бы соотнося их со всем миром, но и на то, что от общего, единого по своей духовной природе мира герой может отпасть, отделиться. Например, Раскольников “отрезал себя, как ножницами” от всех убийством старухи-процентщицы и ее сестры. Так герой отпал от человеческого единства, и ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он вновь обретет эту важнейшую связь с людьми, которая и есть живое проявление соборности. <...>

В творческом наследии В. Кожина интересующее нас понятие впервые осмыслено в статье “Соборность лирики Тютчева”. В ней исследователь утверждает, что в “поэзии Ф. И. Тютчева воплощено духовное состояние (и порожденное им творческое деяние), истари определяемое словом “соборность”.

Прежде всего, критик отделяет понятие соборности от общинности. По мысли критика, в общинности присутствует “ограничение собственно личных человеческих качеств и устремлений, подчинение личности общим интересам и целям”. Отличие соборности именно в том, что она рождается “только при свободном, ничем не связанном и не ограниченном самораскрытии личности”, то есть ничто земное не должно обуславливать воплощение соборности. В. Кожин косвенно указывает на ошибку Ю. Сохрякова, соединявшего соборное и общинное начала как нечто однородное, сходное. Кроме этого, критик не приемлет соборность в качестве только религиозного, церковного понятия. Он указывает, что в жизни церкви соборность выступает с наибольшей ясностью и полнотой, хотя эта категория “может воплощаться и в иных актах объединившихся людей – в подвигах, совершаемых во имя Отечества, или ради торжества справедливости, или в целях освоения еще не подвластных человечеству пространств мира и т. д.”

2003

## **В. Г. Бондаренко (Москва)**

### **УЧИТЕЛЬ КОЖИНОВ**

Вадим Кожин – это человек без чинов и званий, этакий литературный пастырь. И если в книгах своих он успешно проповедовал свои взгляды на русскую историю и русскую литературу, то в жизни, сколько я его помню, он увлеченно работал с молодыми – поэтами, прозаиками, критиками. Ладно бы за это, как иным литначальникам, деньги платили – это было его влечение души. Жить в своем академическом кругу ИМЛИ, или же в полемической борьбе с многочисленными оппонентами и справа, и слева – от Владимира Бушина до Бенедикта Сарнова – ему было мало. Какая-то часть души оставалась невостребованной.

И потому он охотно возился с молодыми литераторами вне всяких студий и семинаров. Он по характеру был учителем, наставником. Сколько раз был у него дома по литературным делам – всегда рано или поздно к нему приходил или ему звонил один из его воспитанников. То Юрий Кузнецов, то Сергей Небольсин, то Петр Кошель.

Взглянем на его сверстников, таких же как он, критиков – Чалмаев, Лобанов, Ланщиков, или из другого лагеря – Лакшин, Дедков, Рассадин. Каждый, плох он или хорош, – сам по себе.

Лишь наш Вадим Валерьянович выше своих статей и книг ставил работу с молодыми писателями. Впрочем, не только с молодыми. Никто не отрицает, что долгие годы Вадим Кожин был неформальным идеологом журнала “Наш современник”. Удивительно, при Союзе писателей СССР тогда в советское время существовала масса комиссий по работе с молодыми писателями: тут и Олег Попцов в московском “Союзе”, и Юрий Лопусов в аппарате СП СССР, и Валерий Деметьев в Союзе писателей России. Проходили совещания молодых, семинары, иные из молодых месяцами кочевали из Малеевки в Ялту, из Ялты в Дубулты, оттуда в Пицунду... Сам Вадим Кожин ни в каких аппаратах не состоял, никаких зарплат не получал, но его квартира, его телефон, его почтовый ящик – и были главными центрами по становлению новой русской национальной литературы. Он и ездил, пока было здоровье, по городам и весям России, подбирая своих, близких ему людей – поэтов, критиков, литературоведов, мыслителей.

2008

**В. КОЖИНОВ О ПОСТМОДЕРНИЗМЕ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Развернутую характеристику постмодернизма В. Кожинов дает в статье “Внимание: литература США сегодня. Достижения и просчеты современной американистики”, написанной в обычной для критика диалогической манере, с привлечением несобственно прямой речи и цитированием работ литературоведов-американистов (А. Анастасьева, А. Зверева, А. Мулярчика).

В центре внимания В. Кожинова проблемы советской критики 70-х гг., феномен постмодернизма и его роль в литературном процессе Америки XX в., поэтому критик начинает статью констатацией факта, что “с середины 1950-х гг. на первый план литературы США выдвигаются, все нарастая и расширяясь, явления, которые бесспорно выражает и объединяет понятие постмодернизм”. Абсолютно верно утверждение исследователя о том, что только классика была способна противостоять его натиску, только ей было под силу “затормозить” развитие постмодернизма. В этом можно убедиться на примере распространения модернизма в литературе США в начале XX века, который, как справедливо отмечает В. Кожинов, “сдал свои позиции” к 30-м гг. во многом “благодаря художникам, чья творческая деятельность в самой своей основе являла собой развитие классических традиций искусства слова”. Среди художников, которые “определяли во второй четверти XX в. лицо американской литературы”, В. Кожинов называет Ш. Андерсена, Р. Фроста, Ф. С. Фицджеральда, Т. Вулфа, У. Фолкнера, Э. Хемингуэя, Д. Стейнбека, Э. Колдуэлла. Хотя данным писателям также не удалось избежать воздействия “модернистских веяний”, они остались верными народным основам творчества.

Их традиции продолжили в 70-е гг. XX в. Д. Гарднер, Р. П. Уоррен, Дж. Чивер, Дж. К. Оутс. Но новым реалистам приходилось отстаивать классические традиции уже в других, более сложных условиях, когда разрабатывались принципы постструктурализма как теоретической основы критики и литературы. В этой связи нельзя не согласиться с мнением В. Кожинова о том, что борьба за подлинную литературу “настолько остра, что крупнейшие художники вынуждены выступать с боевыми публицистическими книгами”. И в качестве примера он приводит работы Р. П. Уоррена и Д. Гарднера. Острая борьба за подлинную литературу, как справедливо отмечает исследователь, идет не только среди писателей, но и в критике, что нашло отражение в полемической направленности данной статьи.

В связи с этим основополагающей в статье становится характеристика В. Кожиновым постмодернизма не только как литературного направления, но и как идеологического явления. Исходя из экзистенциалистской философии и ее категорий тревоги, заброшенности и отчаяния, постмодернизм считает абсурдным “человеческое бытие и созданную людьми культуру”. Поэтому В. Кожинов достаточно категоричен в негативном отношении к данному направлению, так как постмодернизм представляет жизнь “полностью лишенной истинных ценностей – ценностей социальных, нравственных, культурных, ценностей истории и повседневного быта, ценностей национальных и общечеловеческих”.

Однако философское определение художественной ценности приводит критика к не всегда верным и глубоким оценкам. Так, например, его характеристика постмодернизма нуждается в следующем уточнении: жизнь представляла в литературе постмодернизма полностью лишенной не истинных, а христианских (духовных) ценностей. Данная формулировка позволяет рассматривать постмодернизм как антихристианское явление, и в этом свете становится очевидной его антигуманная направленность. Так же, как смысл главного положения экзистенциалистской философии “Экзистенциализм – это гуманизм” (Ж. П. Сартр) в православно-христианской трактовке сводится к формуле “экзистенциализм – это индивидуализм”, где понятие “гуманизм” приобретает негативную семантику, а следовательно, воздействие экзистенциализма на постмодернизм приводит к еще большей девальвации христианских ценностей.

## ТОБОЛЬСКИЙ КОНЁК

*Конек-Горбунок, или Тобольский сказочник Петр Ершов. Тобольск, 2009.*

Выход в свет этой книги, без всякого преувеличения, можно назвать событием. Ершовского “Конька-Горбунка” издавали на родине и за границей десятки, если не сотни раз, но никогда и ничего подобного не было. Воистину, если сибиряки хотят удивить мир, то удивляют, как теперь принято говорить, по полной. Особенно когда речь заходит о выдающихся земляках. А Петр Павлович Ершов, конечно, давно и прочно находится в первом ряду замечательных сибиряков. При этом неважно, что свой шедевр он написал в студенческие годы в Санкт-Петербурге девятнадцати лет. Ведь после этого он вернулся в Тобольск, где учительствовал почти полвека, оставив по себе память талантливого педагога, прошедшего путь от скромного преподавателя словесности до директора гимназии и дирекции училищ губернии.

Правда, все эти годы он порывался вновь перебраться в столицу (и только однажды побывал там в служебной командировке), желая закрепиться в среде профессиональных литераторов и жалуясь в письмах петербургским друзьям на тяготы провинциальной жизни. Но этим планам не суждено было осуществиться, также, впрочем, как и юношескому замыслу масштабного путешествия по Сибири с целью ее изучения, поддержки коренных народов, издания регионального журнала. Однако П. П. Ершов не переставал печататься в центральных изданиях. Чего только он ни писал: баллады, элегии, песни, послания, поэмы, пьесы, водевили, либретто опер, рассказы, повести и т. д. Конечно, с годами творческая продуктивность шла на убыль – сказывалась и служебная занятость писателя. Да и ни одно из последующих произведений (при всей их оригинальности) не могло сравниться с “Коньком-Горбунком”.

Сам автор замечательно определил причину несравненного успеха своей сказки. “На “Конька-Горбунка” (sic!) воочию сбывается русская пословица, – указал он в одном из писем, – не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку. Зазвенела родная – и русское сердце отозвалось”. Да еще как отозвалось! При жизни автора по “Коньку” был поставлен балет, в XX веке сказка не раз экранизировалась, преимущественно в мультипликационной форме. Великий автор “Сказки о царе Салтане”, “Сказки о рыбаке и рыбке” и других, как-то заметивший, что “этот Ершов владеет стихом точно своим крепостным мужиком”, заявил после “Конька-Горбунка”: “Теперь мне можно и оставить этот род поэзии”.

Глядя на внушительный, около 400 страниц, квадратный том, понимаешь, почему уже в XVIII веке любили повторять: “Сибирь – золотое дно”. Издание поражает, в первую очередь, щедростью, порой даже чрезмерной, с

какой в него включен самый разнообразный материал: фотографический, живописный, словесный. Каждая страница окружена нарядной рамкой, каждая заставка – пример изящества, каждая буква, инициал в тексте сказки – фотоокошко в мир сибирской природы. Перед нами – образец высокого полиграфического искусства, напечатанный веронской фирмой “График”, плод вдохновения и мастерства дизайнера, каковым является известный книжный художник Александр Быков.

Это не просто подарочный, коллекционный раритет (часть тиража составляют восемьдесят пронумерованных экземпляров), выпущенный “к 175-летию рождения сказки” издательским отделом общественного благотворительного фонда “Возрождение Тобольска”, а своего рода фундаментальная энциклопедия выдающегося литературного произведения, ставшего одним из символов России, русского народного духа. В составе книги впервые с 1872 г. переизданы полумемуары-полубиография петербургского друга писателя А. К. Ярославцева “П. П. Ершов, автор сказки “Конек-Горбунку”, по сию пору являющиеся основным источником сведений о жизни и творчестве писателя. Открывает издание вдохновенное вступительное слово руководителя проекта и председателя фонда “Возрождение Тобольска” Аркадия Елфинова. Следом идет не менее вдохновенная, но гораздо более обширная статья Сергея Небольсина “Крылатый конек”. Ее пафос вполне можно выразить лапидарным суворовским: “Мы русские – какой восторг!”, а содержание поистине всеохватно. Это своеобразная литературоведческая медитация о значении народного слова в судьбах различных культур и государств.

Где-то с середины книги на читателя обрушивается красочный, многоцветный водопад: сотни детских рисунков, посвященных “Коньку-Горбунку”, – их авторам от 3 до 14 лет. Часть из них рассредоточена по пространствам книги, другие собраны в ее конце, образуя своеобразный альбом-галерею – памятник любви к сказке и благодарности ее автору. Кого тут только нет: и сам Иванушка, и Царь-девица с ее небесным теремом, увенчанным православным крестом из звезд. И, конечно, совсем неслучайно появившийся в сказке “однофамилец” автора – задиристый Ерш Ершович. К слову сказать, именно так в одном из частных писем и назвал себя автор “Конька”. Вот и Гоголь несколько позже вывел в финале “Тараса Бульбы” свой природный “автопортрет”: “гордого гоголя”, быстро несущегося по “речному зеркалу” Днестра.

Отметим и удачную находку дизайнера книги, связанную с постоянно разворачивающимся на ее страницах диалогом между художниками-детьми и их профессиональными коллегами. На авантитуле издания помещено, наверное, самое популярное изображение П. П. Ершова, точнее, его “зеркалка”: литография П. Ф. Бореля с портрета известного тобольского художника и друга писателя М. С. Знаменского. А закрывает книгу современная реплика на эту литографию: портрет П. П. Ершова десятилетнего Димы Кудашева. Но насколько юный тюменский художник в выразительности пошел дальше своего оригинала: его Ершов сам стал почти эпически-сказочным персонажем. И не только потому, что над головой автора “Конька” парит “чудо-юдо рыба-кит”, а сбоку летит кораблик. Неожиданный, “совмещенный” ракурс портрета буквально “открыл” Ершову глаза, и они превратились вместе с круглыми очками в колеса какой-то фантастической гигантской предпотопной брички, волосы закрубились и стали подобны волнам “моря-окияна”, на фоне которого и изображен писатель.

“Чудо-юдо рыба-кит”, конечно, один из любимых героев детских рисунков. Каких только китов тут не увидишь! Это и сине-голубой акварельный кит-кашалот восьмилетнего С. Олега из Тобольска, приветливо раскрывший пасть навстречу Иванушке, который взобрался на огромную прибрежную зелено-желтую скалу-валун. И добродушно улыбаясь “рыба-кит” двенадцатилетнего Руслана Павлинского из Тюмени, рисунок ее чешуи многократно повторяется в сине-белых барашках океана. Все киты, как правило, радостны и благодушны: они уже знают, что прощены, и с большим удовольствием отпускают на волю “корабли за кораблями с парусами и гребцами”. А какие у детей получаются Жар-птицы! Ни в сказке сказать, ни пером описать! Вот, например, выполненная в импрессионистической “капельной” технике, калейдоскопическая картина восьмилетней Насти Бронниковой из Тобольска, которая так и горит райским многоцветьем, искрится и переливается, точно драгоценный камень. Словом, всего не перечислишь.

Вольно же было Александру Быкову “столкнуть” прямо лоб в лоб, иногда на соседних страницах книги, произведения детей с работами профессионалов-художников. Ведь, за редкими исключениями, любой профессионализм всегда теряет, блекнет на фоне детской непосредственности. А “Конька-Горбунка” иллюстрировали многие выдающиеся художники: В. М. Васнецов, М. В. Нестеров и др. Конечно, сегодня весьма странно смотреть рисунки первого иллюстратора сказки Р. К. Жуковского с его условными пейзажами, Царь-девицей с лирой в руках и с длинной косой, за которую уцепился Иванушка, или оперно-салонные иллюстрации Е. П. Самокиш-Судковской. Другая крайность – сатирические, обличающие “идиотизм деревенской жизни” иллюстрации А. Ф. Афанасьева, Е. А. Соколова, А. М. Елисеева и др. вплоть до К. П. Белова. При этом многие из них технически безупречны, выполнены на самом высоком уровне. Наверное, только эскизы иллюстраций к сказке Ю. А. Васнецова или несколько плакатные работы Н. М. Кочергина могут сравниться с детскими рисунками по жизнерадостной полноте и красочной нарядности. Но понятно, что за каждым из иллюстративных циклов помимо индивидуальности мастера стоит эпоха со всеми своими взлетами и издержками. Все это проанализировано прямо тут же в книге, в статье Натальи Сеzewой “Мир сказки П. П. Ершова “Конек-Горбунок”. Из истории иллюстрирования”. В оформлении издания использованы также гравюры, литографии, живописные произведения русских художников XIX и начала XX вв., фотографии А. Елфимова и т. д. Под стать всей праздничной атмосфере книги прозаический этюд Александра Быкова “Русская сказка в трех частях” с его графическими эпиграфами по работам Ивана Билибина. Но главное, что стоит за всем многосложным, многоярусным сооружением, напоминающим ярмарочную карусель и названным “Конек Горбунок, или Тобольский сказочник Петр Ершов”, – это, конечно, великая сказка с ее гениально простым началом:

*За горами, за лесами,  
За широкими морями,  
Против неба — на земле,  
Жил старик в одном селе.*

Виктор Гуминский